

|| 6 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1965 ||

Н О В Ы Й М И Р

6



1965

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания ХLI

№ 6

Июнь, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. КОНЕВ — Сорок пятый год. Страницы воспоминаний. Продолжение	3
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Стихи этого года. Перевел с белорусского Я. Хелемский	60
ВИТАЛИЙ СЕМИН — Семеро в одном доме, повесть	62
ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР — Пять стихотворений. Перевел с немецкого Лев Гинзбург	145
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Угощаю рябиной, рассказ	149
УИЛЬЯМ БЛЕЙК В ПЕРЕВОДАХ С. МАРШАКА	157

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ — Борьба за второй фронт. Из записок посла	168
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ. Искусство управлять (Заметки из Целинного края)	187
М. ГЕФТЕР, Я. ДРАБКИН, В. МАЛЬКОВ — Мир за двадцать лет	206

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СОКОЛОВ — Свой жанр (О документальной прозе С. С. Смирнова)	231
Л. ЗОНИНА — Заметки о Сент-Экзюпери	237

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	250
Л. Лебедева. Мужественная поэзия.— Е. Ландау. Станный и обыкновенный человеческий взгляд.— Всеволод Ревич. Лед и пламень.— Г. Березкин. О прошлом — сегодня.— Видас Силюнас. Трагедия мертвого времени.	
<i>Политика и наука</i>	264
В. Гоффеншефер. Первая марксистка.— Д. Валентей. Наука о народонаселении.— Ю. Кузнец. Торжество правды.— С. Эпштейн. Ученые приказчики капитала.— Б. Левин. Рассказывает «отец кибернегики».	
КОРОТКО О КНИГАХ	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

И. КОНЕВ,

Маршал Советского Союза

★

СОРОК ПЯТЫЙ ГОД *

Страницы воспоминаний

И так, 18 апреля Рыбалко и Лелюшенко, оторвавшись от Шпрее, шли все дальше к Берлину. 13-я армия Пухова, наступавшая в центре нашей ударной группировки, за этот день переправилась через Шпрее, а справа и слева от нее армии Гордова и Жадова вели ожесточенные бои с немцами на обоих флангах нашего прорыва.

Прежде чем говорить о дальнейшем ходе операции, мне хочется именно здесь, после того, как я рассказал о маневре танковых армий, вернуться немножко в прошлое и проследить, как складывалось в ходе войны развитие наших танковых войск и каковы были реальные возможности и тенденции этого развития.

По существу в ходе войны нам пришлось создавать свои танковые войска почти заново. Перед войной у нас были механизированные корпуса трехдивизионного состава, которые по замыслу должны были представлять мощную силу, имея по полному штату до шестисот и семисот танков в каждом корпусе. Но практически начало войны застало эти корпуса в самом невыгодном положении. Новые, современные танки у нас еще только ставились на производство, их первые серии были выпущены совсем недавно и незадолго перед войной направлены на частичное укомплектование нескольких механизированных корпусов.

Новая материальная часть была только недавно получена и не вполне освоена, а старая — главным образом устарелые легкие танки — находилась в состоянии и физического и морального износа.

Несколько механизированных корпусов в ту пору только формировалось и не было укомплектовано боевой техникой и вооружением.

Ход событий в самом начале войны достаточно известен. Механизированные корпуса в первых сражениях с превосходящими силами противника потеряли почти всю технику и — что было еще тяжелее — понесли большой урон в командных кадрах.

Ни для переформирования, ни для развертывания новых корпусов у нас не оказалось достаточных сил и средств, кадров и техники. Приведу только один факт, бросающий свет на многое другое.

К концу сентября 1941 года, перед началом наступления немцев на Москву, на всем Западном фронте мы располагали лишь сорока пятью современными танками. Летом и осенью 1941 года в условиях жестокой нехватки танков мы, естественно, не занимались воссозданием

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

механизированных корпусов, а формировали отдельные полки, танковые батальоны и постепенно нащупали наиболее правильную организационную форму — танковую бригаду.

Потом, когда у нас появились первые материальные возможности и начали восстанавливаться кадры танкистов, мы на основе танковых бригад стали создавать корпуса трехбригадного состава. В бригаду входило шестьдесят — семьдесят танков, артиллерийский дивизион, мотобатальон. И это сравнительно небольшое и гибкое соединение представлялось нам тогда наиболее целесообразным, так как давало реальные возможности для эффективного применения на поле боя, для четкого управления, а также для технической организации дела, восстановления и ремонта техники.

Затем, как я уже сказал, накопив кадры и технику, мы стали создавать в сорок втором году танковые и механизированные корпуса и танковые армии. Танковые армии были, как правило, трех-, а в отдельных случаях — двухкорпусного состава.

Война есть война, и, разумеется, количество танков в танковой армии или корпусе меняется — и в разные периоды войны, и в разных операциях, да и в ходе самих операций. Но для того, чтобы читатель мог представить реальное соотношение сил — наших и противника, — когда говорится, что в таком-то сражении на таком-то участке друг другу противостояли наша танковая армия и немецкий танковый корпус, — он должен иметь в виду, что это не означает трехкратного превосходства сил, исходя из схемы «три корпуса против одного». В период своего расцвета, скажем, к 1943 году, немецкий полнокровный танковый корпус из трех дивизий имел около шестисот — семисот танков, то есть примерно столько же, сколько имела в своем составе наша танковая армия во время войны.

Скажу уж кстати, поскольку я заговорил об этом, что соответствующие поправки при сравнении корпуса с корпусом, дивизии с дивизией следует вносить и говоря о пехоте. Численный состав немецкой пехотной дивизии на протяжении большей части войны соответствовал составу примерно двух наших стрелковых дивизий.

Конечно, в ходе войны чем более мы громили германскую армию, чем с большим трудом после каждого очередного разгрома немцы восстанавливали свои части, тем заметнее менялось это соотношение. Но еще в 1944 году и на пороге 1945-го соотношение это все еще сохранялось примерно таким же.

А теперь несколько слов о нашей и немецкой танковой технике. Подавляющее большинство танков, с которыми мы начинали войну, — Т-26, БТ-5, БТ-7 — были быстроходны, но слабо вооружены, у них была слишком легкая броня, они легко горели и вообще были очень неустойчивы на поле боя. Немецкие средние танки значительно превосходили их по своим боевым качествам. Наши «тридцатьчетверки» даже с семидесятишестимиллиметровым орудием, которое они имели вначале, безусловно превосходили по своим качествам тогдашние немецкие танки. Но беда была в том, что этих «тридцатьчетверок» перед началом немецкого наступления на Москву у нас на всем Западном фронте было, как я уже сказал, всего сорок пять штук.

К 1943 году наши танковые соединения, имевшие теперь на вооружении не устаревшие «БТ», а «тридцатьчетверки», показали себя такой грозной силой, что немцы были вынуждены противопоставить нашим танкам новые типы боевых машин. Так появились «тигры», «фердинанды», «пантеры», а впоследствии и так называемые «королевские тигры».

Новые немецкие танки и самоходки были хорошо вооружены, имели отличную восьмидесятивосьмимиллиметровую пушку с высокой началь-

ной скоростью и мощным зарядом. Артиллерийская мощь сочеталась с сильной броневой защитой.

Надо прямо сказать, что уже в первых боях с ними наши танки, в том числе «тридцатьчетверки», натолкнулись на очень серьезное препятствие, уничтожить которое было не так-то просто. Чтобы добиться успеха, нам пришлось выдвигать вперед, в боевые порядки пехоты, а также в боевые порядки танковых частей для их сопровождения и обеспечения и наши мощные стовдцатидвухмиллиметровые пушки и стопятидесятидвухмиллиметровые пушки-гаубицы, то есть такие орудия, которые были способны пробивать мощную лобовую броню «тигров» и «фердинандов».

Я с особым интересом наблюдал всегда действия нашей стовдцатидвухмиллиметровой пушки. Она превосходно расстреливала новые немецкие танки, тем более что «тигры» и «фердинанды» не обладали высокой маневренностью. Опыт борьбы этих двух типов орудий против новых немецких танков впоследствии подсказал нам создание новых мощных танков и самоходок СУ-100, «ИС» и «ИСУ», соответственно вооруженных стомиллиметровой, стовдцатидвухмиллиметровой пушками и стопятидесятидвухмиллиметровой пушкой-гаубицей.

Именно этот наш тяжелый танк и тяжелая самоходка стали впоследствии командовать на поле боя. Они были грозой для всех немецких танков и самоходных орудий, в том числе и для появившихся у немцев в 1944 году «королевских тигров».

«Королевские тигры» были еще более мощными и еще менее маневренными машинами, чем простые «тигры» с орудием в сто миллиметров. На Сандомирском плацдарме мы захватили их целый батальон — штук пятнадцать — двадцать. Захватили целыми и невредимыми, и, как я мельком уже упоминал, гостюясь к Висло-Одерской операции, танковая армия Лелюшенко практиковалась на этих «королевских тиграх», проводила на них, так сказать, всю предоперационную научно-исследовательскую работу.

Возвращаясь к нашей боевой технике, хочу сказать доброе слово о самом замечательном нашем танке — о Т-34. «Тридцатьчетверка» прошла всю войну от начала до конца, и не было лучшего танка ни у одной армии, участвовавшей во второй мировой войне. Ни один танк не мог идти с ним в сравнение — ни американский, ни английский, ни немецкий. Его отличали высокая маневренность, компактность конструкции, небольшие габариты, приземистость, которая повышала его неуязвимость и вместе с тем помогала ему вписываться в местность, маскироваться. К этому следует добавить высокую проходимость, хороший двигатель, неплохую броню. Правда, сначала у Т-34 была недостаточно сильная пушка, но когда вместо нее появилась новая — восьмидесятипятимиллиметровое превосходное орудие, — то он пробивал все танки, за исключением «королевского тигра».

Т-34 поистине до самого конца войны оставался непревзойденным. И надо во весь голос сказать о том, как мы были благодарны за этот танк нашим уральским и сибирским рабочим, техникам, инженерам. И — сейчас это уже давно перестало быть военной тайной — хочется вспомнить славные имена создателей наших боевых машин: конструктора тяжелых танков Котина и замечательного конструктора наших «тридцатьчетверок» Морозова.

Но вернемся к Берлинской операции.

Пожалуй, для большей наглядности и ясности изложения событий, которые развертывались в последующие дни в ходе этой операции в масштабах всего Первого Украинского фронта, есть смысл прибегнуть к календарю и сейчас, задним числом, составить своего рода дневник всех этих событий последовательно, по числам.

19 апреля.

Армии Рыбалко и Лелюшенко продолжали свое наступление на Берлин. Рыбалко за этот день продвинулся с боями на тридцать—тридцать пять километров. Лелюшенко наступал еще стремительнее и к вечеру продвинулся на пятьдесят километров.

Пухов со своей 13-й армией, обеспечив введ в прорыв Лелюшенко и Рыбалко, сам вслед за ними успешно продвигался на запад. В центре прорыва его войска глубоко вклинились в расположение немцев. Но на обоих флангах его армии висели крупные группировки противника. Справа — в районе Коттбуса, и слева — в районе Шпремберга. Так что в этот день 13-я армия вела бои одновременно и фронтом на запад, и фронтом на север, и фронтом на юг.

Вдобавок имелись данные о том, что в тылу 13-й армии обнаружено передвижение некоторых не разгромленных в первые дни группировок противника. С утра Николай Павлович Пухов выражал мне по этому поводу свое беспокойство.

В середине дня я приехал к нему на наблюдательный пункт. Проехал сознательно как раз по центру его полосы наступления и за время поездки ни на какие группы противника — ни на крупные, ни на мелкие — не наткнулся. Слухи оказались преувеличенными, и при встрече с Николаем Павловичем мне пришлось намекнуть ему на то, чтобы он поменьше обращал внимания на эти слухи.

Я начал с того, что отдал должное действиям его армии, которая превосходно выполнила задачу первых трех дней и обеспечила успешное развитие маневра танковых армий. Но, отдав должное, я вслед за этим пожелал Пухову, чтобы смелое продвижение вперед не начинало его беспокоить.

— Помните, что впереди вас уже танковые армии, — сказал я ему. — Вам теперь остается действовать в соответствии с тем стремительным темпом наступления, который они взяли, и обеспечивать их фланги и тыл. А о том, чтобы обеспечить ваши фланги и ваш тыл, позаботимся в свою очередь мы.

Левее Пухова войска 5-й гвардейской армии Жадова с приданным ему 4-м танковым корпусом Полубоярова продолжали бои за расширенные плацдармы на западном берегу Шпрее и переправляли туда свои главные силы.

В течение 19 апреля войска армии закончили прорыв третьей полосы немецкой обороны на рубеже Шпрее и вместе с частями Пухова к исходу дня окружили шпрембергскую группировку противника, упорно оборонявшую город Шпремберг на Шпрее.

Мое наибольшее внимание в тот день, признаюсь, приковывали события на нашем правом фланге — в 3-й гвардейской армии Гордова. Армия частью сил своего левого фланга, примыкавшего к армии Пухова, настойчиво продвигалась на запад и северо-запад. Но в центре и на правом фланге у Гордова дела складывались не то чтобы неблагоприятно, но трудно. Немцы беспрестанно атаквали его в районе Форста, а, кроме того, на его правом фланге «висела» сильнейшая коттбусская группировка. В итоге он все время шел вперед левым флангом и отставал правым — все больше разворачивался фронтом на север, создавая для немцев соблазн ударить под основание прорыва. Тем более что у них были для этого силы. В район Коттбуса немцы стянули несколько танковых дивизий именно с этой целью: ударом под корень парировать наступление нашего фронта.

Но хотя положение армии Гордова было напряженное, налицо были все возможности, чтобы оно не превратилось в критическое. В резерве,

во втором эшелоне, у Гордова еще оставалось к этому дню два нетронутых корпуса — стрелковый и танковый. Располагая такими силами, он мог в случае острой необходимости отразить контрудар немцев на правом фланге нашего прорыва.

Однако 19 апреля такая необходимость не возникла. Когда в середине дня немцы попытались, наступая из района Коттбуса, ликвидировать занятые частями армии Гордова плацдармы на Шпрее, он справился с наступлением, не вводя в бой свои корпуса второго эшелона. На то направление, где немецкие контратаки были особенно жестокими, была переброшена 1-я артиллерийская дивизия прорыва под командованием полковника Хусида.

Эта дивизия всегда отличалась высокой маневренностью и боевой стойкостью. И на этот раз она под огнем врага вброд форсировала Шпрее, заняла позиции на западном берегу реки и, не имея никакого специального пехотного прикрытия, но лишь примыкая на фланге к стрелковым частям армии Гордова, с блестящим успехом отразила мощным огнем все контратаки противника.

А тем временем Рыбалко и Лелюшенко шли и шли вперед — к Берлину. И в стремительности их действия немалую роль играло то, что они были спокойны за свои тылы. Во всяком случае сам Рыбалко вскоре после войны в своих воспоминаниях «Удар с юга» писал об этом так: «Мы шли вперед в то время, как позади нас оставались еще недобитые немецкие дивизии. Мы не боялись за наши коммуникации, так как знали, что высшим командованием приняты все меры для ликвидации этих недобитков. Фланги и тыл в продолжение всей операции были надежно прикрыты». Так Рыбалко совершенно справедливо отдавал должное своим соратникам по Берлинской операции — командующим 5-й, 13-й и 3-й общевойсковых армий.

Если по военной привычке самым кратким образом подвести итог дню 19 апреля, то можно сказать: в этот день наши танковые армии и 13-я армия развивали прорыв в оперативную глубину, а 3-я и 5-я гвардейские армии расширяли этот прорыв в сторону флангов и деятельно готовились к решительной ликвидации угрозы, возникшей на севере и на юге, в районе Коттбуса и Шпремберга.

20 апреля.

Преодолевая все заранее подготовленные немцами рубежи, прорываясь сквозь труднопроходимые леса и болота, которых на подступах к Берлину очень много, войска нашей главной ударной группировки наступали круглые сутки — днем и ночью.

Армия Рыбалко вместе с приданным ей 6-м танковым корпусом захватила город Барут — важный опорный пункт немцев на подступах к Берлину. В этот же день танкисты Рыбалко вторглись в глубину так называемого Цоссенского рубежа обороны.

Этот рубеж не только был одним из звеньев большого оборонительного Берлинского кольца — он имел значение и сам по себе, и даже символическое значение. В центре Цоссенского укрепленного района, в глубоких подземных убежищах, уже давно размещалась ставка генерального штаба сухопутных войск германской армии. Здесь задумывались и планировались многие операции этой войны, отсюда осуществлялось руководство ими. А теперь танкисты Рыбалко по дороге к своей конечной цели — Берлину — захватывали, как очередной рубеж, цоссенские позиции, прикрывавшие ставку германского генерального штаба, этого «мозга армии» — как когда-то, в тридцатые годы, назвал свою книгу о генеральном штабе Шапошников.

Мне самому пришлось побывать там, в Цоссене, лишь к исходу 23 апреля, уже после полного захвата всего этого района. Вряд ли немецкий генеральный штаб, приступая к выполнению плана «Барбаросса», предполагал, что четыре года спустя ему придется в срочном порядке очищать свою подземную штаб-квартиру в Цоссене. А очищать ее немецким генералам и штабным офицерам пришлось настолько срочно, что им удалось затопить и взорвать лишь часть своих подземных сооружений.

Подземная штаб-квартира была так велика, что ни у Рыбалко, ни у меня не было тогда времени все это осмотреть. И наши войска, и наши мысли были уже давно за Цоссеном — в Берлине. (Я смог осмотреть все эти сооружения лишь через шестнадцать лет после войны. В 1961 году, как главнокомандующий группой советских войск в Германии, я вновь прибыл на эти места в связи с событиями 13 августа 1961 года — установлением вокруг Западного Берлина границы, обеспечивавшей безопасность Германской Демократической Республики и всего социалистического лагеря.)

В течение 20 апреля армия Рыбалко вела бои вокруг Цоссена и одновременно продвигалась на север, к Берлину. За эти сутки танкисты 3-й гвардейской армии продвинулись на шестьдесят километров.

Армия Лелюшенко, совершая в этот день более сложный маневр, заходя левым плечом на запад и встречая сильное сопротивление немцев, особенно в районе Луккенвальде, тем не менее тоже шла в хорошем темпе и продвинулась на сорок пять километров.

В ночь на 21 апреля танковая группировка фронта вышла к внешнему Берлинскому оборонительному обводу, оторвавшись в этот день от общевойсковых армий примерно на тридцать пять километров.

Тем временем на нашем правом фланге 3-я армия Гордова, продолжая вести упорнейшие бои с коттбусской группировкой, не только отразила сильные контратаки немцев, но и успела выйти на пути их отхода на запад, прижав их к болотистой пойме Шпрее.

Немцы понимали опасность своего положения, но тем не менее упорно держались за Коттбусский узел обороны. Для них было ясно, что с падением этого важного пункта обороны и крупного узла дорог рухнет вся их система обороны на этом участке и обнажится фланг немецкой 9-й армии, которая все еще упорно оборонялась, стоя фронтом на восток: главными силами — против Первого Белорусского фронта, а частью сил — против нашей правофланговой армии Гордова.

Мы же не могли в данном случае ограничиться окружением Коттбусского узла, возможность которого вырисовывалась. Слишком чувствительно нарушал этот узел всю работу наших тылов. Пока он не был взят, нам приходилось обходить его проселочными дорогами, с большим трудом организуя подвоз и горючего и боеприпасов, в особенности для танковых армий.

В этот день я поехал к Гордову и провел, как говорится, «воспитательную работу». Ее целью было укрепить у командования 3-й гвардейской армии решимость как можно скорей покончить с коттбусской группировкой.

Общая атака на Коттбусский узел была намечена на следующий день, причем предполагалось оказать Гордову поддержку крупными силами авиации и артиллерии.

Это происходило у нас в тот день на правом фланге, а вот как обстояло дело на остальных участках нашего фронта.

Тринадцатая армия Пухова силой двух корпусов продолжала в этот день наступать на запад вслед за танковыми армиями и прошла к вечеру тридцать километров. 5-я гвардейская армия Жадова тоже частью

сил продолжала наступать на запад, а частью сил во взаимодействии с левым флангом 13-й армии громила окруженную шпрембергскую группировку немцев.

Мы хотели до наступления ночи поставить точку на Шпрембергском узле, игравшем на нашем левом фланге такую же неприятную для нас роль, как Коттбусский узел на правом. Чтобы сделать это, были приняты все необходимые меры.

Для разгрома Шпрембергского узла была создана сильнейшая артиллерийская группировка из четырех артиллерийских дивизий прорыва. Все это было дополнением к мощной армейской артиллерии. А всего для удара по Шпрембергу было сосредоточено тысяча сто орудий и сто сорок гвардейских минометных установок.

Погода в этот день не особенно благоприятствовала, но тем не менее мы ударили по Шпрембергскому узлу не только артиллерией, но и авиацией, которая сделала тогда здесь за день более тысячи двухсот самолето-вылетов. И когда в 11 часов утра после артиллерийской подготовки 33-й гвардейский корпус пошел на штурм, то после упорного боя он не только овладел самим Шпрембергом, но и продвинулся за него на пять-шесть километров.

Одновременно соседние корпуса армии Жадова — 32-й и 4-й гвардейский танковый — продвинулись на запад на двадцать километров. Однако 34-му корпусу, обеспечивавшему наступление 5-й гвардейской армии и находившемуся на ее левом фланге, пришлось растянуться на шестьдесят километров, продолжая поддерживать связь со 2-й армией Войска Польского и с нашей 52-й армией Коротеева, действовавшими на Дрезденском направлении.

В этот день на фронте армии Жадова сложилось очень интересное оперативное положение. Один корпус шел вглубь, развивая наступление, другой успешно штурмовал крупный укрепленный узел, третий вынужден был растягиваться на широком фронте, обеспечивающем эту операцию.

Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что в тот день действия войск фронта приобрели резко маневренный характер не только в острие нашего прорыва — там, где танкисты подходили к Берлину, — но и на флангах главной ударной группировки фронта.

Останавливаясь на разгроме Шпрембергского узла, следует подчеркнуть не только сложность организации такого боя, но и те возможности, которыми к этому времени располагали войска фронта для быстрого сокрушения препятствий, встречаемых в ходе выполнения задачи. У нас тогда уже были достаточно мощные и современные средства, позволившие в самый короткий срок и без помех для продолжающегося наступления основных сил ударной группировки фронта в оперативной глубине прорыва разделаться с такими опорными пунктами, как Шпремберг, расчищая себе дальнейший путь для выполнения общих задач операции.

Однако располагать мощными средствами борьбы — это еще не все. Надо уметь их правильно использовать. Вот с этой задачей — надо им отдать должное — успешно справились командующий 5-й армией генерал-полковник Жадов и его штаб во главе с генералом Лямыным и командующим артиллерией армии генералом Полуэктовым.

Вспоминая о действиях наших артиллеристов под Шпрембергом, не могу не рассказать о таком эпизоде.

На одном из участков нашего наступления, там, где немцы продолжали свои попытки контратаковать нас танками, командир артиллерийского корпуса прорыва генерал Корольков проводил дополнительную мощную артиллерийскую подготовку. Условия для наблюдения у него

были неважные: лесистая равнина, ни одной подходящей высоты, на которой было бы удобно развернуть наблюдательный пункт. Но зато ему под руку попался завод. Уже не помню, какой это был завод, но во всяком случае командир корпуса генерал Корольков в азарте боя, для того чтобы лучше управлять всей своей артиллерийской машиной, забрался на самую макушку единственной на всю окрестность высокой фабричной трубы. Мужчина он был такого внушительного объема, что, боюсь, наверху диаметр трубы не намного превосходил его собственные габариты.

Я подъехал к его наблюдательному пункту как раз тогда, когда он находился в полной недосыгаемости. Он сидел с телефоном на верхушке трубы, а центр управления огнем размещался внизу, под трубой.

Когда потом он, завершив наблюдение, слегка запыхавшись, слез с трубы, я не сдержался и спросил, как ему удалось туда забраться. Он пожал плечами и сказал: «Товарищ маршал, обстановка принудит — петухом запоешь».

Вслух, разумеется, я выразил неодобрение по поводу пребывания генерала Королькова на трубе, даже отругал его и сказал, что на трубу следовало послать наблюдателя. Формально, конечно, я сказал все правильно, но по существу несколько покривил душой. Когда все достоинства командира сводятся лишь к тому, что он готов куда угодно залезть и где угодно показать свою храбрость, но при этом ни управлять своими подчиненными, ни руководить боем по-настоящему не умеет, — это беда. Но, должен сознаться, когда образованный, превосходно знающий свое дело командир испытывает иногда потребность непременно увидеть обстоятельства боя своими глазами, непременно собственным взглядом оценить те или иные подробности и оттенки происходящего, когда он, умело управляя большой военной машиной, нисколько не белоручка и готов самолично забраться куда угодно, хоть на фабричную трубу, если это кажетя ему нужным в интересах дела, — я питал и продолжаю питать уважение к таким командирам. А к их числу и принадлежал один из самых талантливых артиллеристов нашего фронта генерал Корольков.

Если говорить о действиях нашей главной ударной группировки 20 апреля, то в итоге их мы глубоко вклинились в расположение противника и на исходе дня полностью отсеки немецкую группу армий «Висла» от группы армий «Центр». Фронт немцев был в этот день фактически рассечен на две части. Левый фланг группы армий «Висла» оказался отброшенным на север и разваливался под ударами наших танковых армий. Правый фланг группы армий «Центр» оказался отброшенным на юг.

Как ни странно, но немцы все еще продолжали называть свою оборонявшую Берлинское направление группу армий «Вислой», хотя название это сейчас, после всего происшедшего, звучало уже иронически.

Чтобы дать представление о сложившейся обстановке с точки зрения противника и этим дополнить нарисованную картину, приведу свидетельство одного из офицеров генерального штаба германской армии, опубликованное в четвертом томе военного дневника верховного командования германских вооруженных сил. Вот что писал этот офицер, фамилия которого при публикации дневника не была названа:

«Когда в ночь с 20 на 21 апреля я докладывал Гитлеру о прорыве советских войск в районе Коттбуса, который привел к крушению Восточного фронта и к окружению Берлина, я находился с ним — это был единственный раз — один на один. За несколько часов до этого Гитлер принял решение перенести свою ставку, штаб верховного командования

дования, а также генеральные штабы сухопутной армии и военно-воздушных сил... в так называемую Альпийскую крепость, то есть в район Берхтесгадена и южнее... Гитлер внимательно слушал полное трагизма донесение, но снова не нашел иного объяснения успеху советских войск, кроме слова «предательство». Учитывая, что при этом не было свидетелей, я набрался храбрости и задал Гитлеру вопрос: «Мой фюрер, вы так много говорите о предательстве военного командования, верите ли вы, что действительно совершается так много предательств?» Гитлер бросил на меня нечто вроде сочувствующего взгляда, выражая тем самым, что только дурак может задать такой глупый вопрос, и сказал: «Все неуспехи на Востоке объясняются только предательством». У меня было такое впечатление, что Гитлер твердо в этом убежден».

Так в ночь на 21 апреля оценивала обстановку ставка Гитлера. К этому следует добавить, что один на один с Гитлером автор записок остался, собственно, потому, что, по его словам, все, кто находился в имперской канцелярии, были заняты упаковкой и погрузкой багажа для переправки его в новую ставку — в Альпы. Угроза окружения Берлина уже становилась реальной, и хотя Гитлер в эти дни кружным путем еще мог, конечно, выбраться в Берхтесгаден, но теперь уже не могло быть и речи о том, чтоб оттуда сколько-нибудь реально руководить действиями всей немецкой берлинской группировки, поставленной нашими войсками под угрозу окружения и разгрома.

Видимо, именно это неожиданное для Гитлера развитие событий, сокрушившее его недавние надежды на затяжку войны, и привело в конечном итоге к тому, что он остался в Берлине.

Картина дня была бы неполной, если б я не сказал о трудностях, которые именно в этот день — 20 апреля — особенно явственно обнаружили в втором оперативном направлении нашего наступления — на Дрезденском.

На этом направлении, в центре, дела шли неплохо — наши войска продвигались на запад. Но на фланге — в районе Герлица — немцы, усилив там на протяжении предыдущих дней свою группировку, перешли в яростные контратаки на фронте 52-й армии Коротеева и на левом фланге Второй Польской армии генерала Кароля Сверчевского.

Двадцатого апреля в результате этих контратак немцам удалось остановить продвижение 52-й армии, несколько потеснить к северу части Польской армии и выйти на ее тылы. Словом, положение, сложившееся на левом фланге нашей дрезденской группировки, требовало внимания со стороны командования фронтом. В 52-ю армию и во Вторую Польскую армию по моему указанию выехал начальник штаба фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

Обдумывая необходимые меры, я в этот день дал предварительную ориентировку штабу фронта, а командарму 5-й Жадову намекнул, что ему придется внимательнее следить за своим левым флангом и кое-что приберечь про запас. Генералу Коротееву я выразил неудовольствие тем, что, по полученным сведениям, перед одним из его корпусов, находящимся в обороне на второстепенном направлении, немцы уже начали снимать войска и перебрасывать их для нанесения контрудара. Сообщив об этом Коротееву, я приказал ему перебросить этот корпус на усиление своей главной группировки.

В заключение следует отметить, что 20 апреля активно действовал 1-й кавалерийский корпус генерала Баранова, наступавший в общем направлении на Оттрант. Действовал, разумеется, вместе с танками, усиливавшими его пробивную способность.

Это уже были самые последние дни войны, но и тогда конница показала, что при соответствующей обстановке и умелом управлении она

способна с успехом действовать в глубине обороны противника. Другое дело, когда она напарывалась на сплошной фронт обороны, да еще в условиях, когда в воздухе висит неприятельская авиация. Тогда коннице тяжело, я бы даже сказал: очень тяжело. Но в Берлинской операции в воздухе уже целиком господствовала наша авиация; этот подвижной зонтик над кавалерией действовал безотказно, спасая ее от всякого рода неприятностей.

Намечая для корпуса Баранова направление удара, я имел еще одну цель, подсказанную мне Семеном Михайловичем Буденным: за Эльбой, там, куда должен был выйти Баранов, по полученным сведениям, находился один из наших крупнейших племенных конных заводов, вывезенный немцами с Северного Кавказа. Попутно с другими более серьезными боевыми задачами я поставил перед Барановым задачу вести разведку специально на этот счет и, напав на след этого конного завода, непременно захватить его целым и невредимым.

Нужно сказать, что Баранов прекрасно выполнил и эту задачу — переправился через Эльбу в районе Ризы, нащупал следы конного завода, захватил его целехоньким, и мы впоследствии полностью возвратили его на то самое место, откуда он был угнан немцами в 1941 году.

21 апреля.

Еще в ночь на 21 апреля, возвратившись в штаб фронта, я принял решение ввести в бой вновь прибывшую 28-ю армию, которой командовал генерал-лейтенант Александр Александрович Лучинский. Это было продиктовано двумя причинами. Во-первых, требовалось срочно усилить общевойсковыми соединениями быстро наступавшие на Берлин танковые армии фронта. Во-вторых, требовались дополнительные силы для того, чтобы завершить с запада окружение 9-й немецкой армии.

К этому времени наши танковые армии уже вышли с юга в тылы 9-й немецкой армии. Но их порыв был целиком направлен на Берлин, то есть дальше на северо-запад, и сплошного фронта, обращенного на восток и перекрывающего возможные пути отхода 9-й армии, они создать не могли. Да это и не входило в их задачу. Если бы я как командующий фронтом пошел на это, то немедленно раздробил бы, растянул бы ударную силу обеих танковых армий и мне нечем было бы наносить удар по Берлину.

Армия Гордова, охватывавшая южный фланг 9-й немецкой армии, или, как потом мы стали ее называть, франкфуртско-губенской группировки, с юга и с юго-запада, к вечеру 20 апреля уж чересчур сильно растянула свой фронт. У Гордова, вполне понятно, возникло опасение, что одними своими силами он не сумеет накрепко запереть окруженную с юга и юго-запада немецкую группировку и она сможет выскользнуть. Словом, немедленный ввод в дело 28-й армии Лучинского рисовался нам в ту ночь как неотложная задача.

Двадцать восьмой армии было приказано форсированными маршами — на фронтовом автотранспорте, который был ей подан в эту же ночь, — двигаться из района Фюрстенау вслед за 3-й гвардейской танковой армией.

К исходу дня 23 апреля армия Лучинского первым эшелоном должна была уже выйти в район Цоссен — Барут, то есть в места, отстоявшие всего на несколько десятков километров от Берлина. При этом две стрелковые дивизии, тоже переброшенные на фронтовом автотранспорте, должны были сосредоточиться в лесах вокруг Барута еще к исходу 21 апреля.

Район Барута запирает основные пути выхода из крупного лесного

массива к востоку от Берлина, где были сосредоточены силы 9-й немецкой армии. Кроме того, выходя в район Барута, дивизии Лучинского уже одним своим присутствием ликвидировали разрыв, образовавшийся между 3-й гвардейской армией Гордова и 3-й танковой армией Рыбалко, к этому времени вышедшей на внешний обвод Берлина. Разрыв был порядочный — несколько десятков километров.

Армия Гордова 21 апреля продолжала драться с ожесточенно сопротивлявшейся коттбусской группировкой противника, фактически уже находившейся в полуокружении, отрезанной от коммуникаций, прижатой к болотистой пойме реки.

Выразив неудовольствие командарму 3-й гвардейской за промедление в ликвидации этой группировки, я выделил ему в помощь крупные авиационные силы — 4-й и 6-й бомбардировочные корпуса, 2-й и часть 6-го истребительного корпуса и 2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус.

Кроме того, командарму было приказано ввести в дело 25-й танковый корпус, находившийся у него во втором эшелоне. Однако при ликвидации коттбусской группировки Гордов по существу так и не использовал его по назначению.

Слов нет, в районе Коттбуса у немцев была сильная противотанковая оборона, да и сама местность не особенно благоприятствовала действиям танков. Тем не менее, на мой взгляд, в начале и в середине боев под Коттбусом Гордов излишне медлил и неуверенно использовал танки. У него как у командарма вообще не хватало вкуса к быстрым маневренным действиям и к связанному с ними правильному и решительному использованию танковых войск.

Итак, 21 апреля бои в районе Коттбуса продолжались и, в общем, шли успешно, хотя и в более медленном темпе, чем мы были вправе ожидать после того усиления, которое получила в то утро армия Гордова.

Немецкое командование после первой растерянности, вызванной нашим прорывом, начало принимать срочные меры, сию же минуту во что бы то ни стало задержать наше наступление на Берлин с юга.

В течение 21 апреля нам навстречу для обороны внешнего Берлинского обвода и городов Цоссен, Луккенвальде, Виттербот ими был выброшен из районов Берлина ряд пехотных и танковых частей и подразделений — все, что в эти часы оказалось под рукой. Само перечисление этих частей и подразделений характеризует ту лихорадочную поспешность, с которой вынуждены были действовать немцы. В числе других частей был брошен навстречу танкистам учебный танковый батальон, бригада штурмовых орудий, три рабочих и два строительных полка, две школы летчиков и части, находившиеся на формировании пехотной дивизии «Фридрих Людвиг Ян».

Весь день нашим танковым армиям пришлось ломать во многих местах достаточно упорное сопротивление этих немецких частей и остатков частей, разбитых раньше.

Дело затруднялось тем, что эти части, хотя и наспех переброшенные, опирались, однако, на хорошо подготовленные узлы сопротивления, такие, как Цоссен, Кумерсдорф, Луккенвальде. а кроме того, нашим танкистам приходилось в этом районе преодолевать многочисленные заграждения и завалы, каналы, заболоченные поймы и другие препятствия — большие и малые.

Несмотря на это, к исходу 21 апреля наши танкисты, разбив все наспех брошенные им навстречу группы немцев, подошли вплотную к Берлинскому оборонительному обводу и оказались всего в двадцати четырех километрах от южных окраин Берлина, в пригородах немецкой

столицы. В частности, в этот день был взят Вюнцдорф, где еще недавно размещался командный пункт группы армий «Висла». В некоторых местах к вечеру была уже перерезана и Берлинская кольцевая дорога.

Тринадцатая армия Пухова, двигаясь за танкистами, уверенно продолжала свое наступление на запад и, надежно обеспечивая с тыла действия танковой группировки фронта, прошла за день двадцать километров.

Пятая гвардейская частью сил еще добивала последние остатки шпрембергской группировки немцев, а главными силами наступала на запад.

Донесения о событиях минувшего дня позволили составить представление об уничтоженной шпрембергской группировке. В нее входили части танковой дивизии «Охрана фюрера» (помню, получив это донесение, мы шутили, что, поскольку охрана фюрера уже ликвидирована, теперь дело остается только за ним самим), 10-я танковая дивизия, части 21-й танковой дивизии, 125-го мотополка, 785-го пехотного полка, 344-й пехотной дивизии, части нескольких зенитных артиллерийских полков и несколько батальонов фольксштурма. На поле боя осталось около пяти тысяч убитых немецких солдат и офицеров.

Поставив крест на Шпремберге, войска 5-й гвардейской были готовы всеми силами двинуться на запад. Но в связи с обстановкой, складывавшейся южнее, мне пришлось несколько расширить полосу наступления 5-й гвардейской армии, сдвинуть границу этой полосы на юго-запад с тем, чтобы она, наступая, нависала над дрезденско-герлицкой группировкой немцев, которая на протяжении 21 апреля продолжала активно контратаковать армии Коротеева и Сверчевского.

Наступавший в полосе 5-й гвардейской армии кавалерийский корпус Баранова, обогнав пехоту, продвинулся в этот день на сорок километров.

Ликвидация Шпрембергского узла и новые решительные удары по коттбусской группировке оказали свое действие на немцев. Видимо, до сих пор они все еще надеялись задержать наступление наших войск фланговыми действиями у Коттбуса и Шпремберга, а теперь, увидев бесплодность этих попыток, начали поспешно отводить свои уцелевшие войска на запад, сясь оторваться от преследующих их частей 13-й и 5-й гвардейской армий.

В складывавшейся обстановке отступавшие немецкие части сплошь и рядом оказывались в промежутках между нашими танковыми и общевойсковыми армиями и стремились ускользнуть через эти промежутки, чтобы присоединиться к группировке 9-й немецкой армии, действовавшей в лесах и болотах севернее Коттбуса. Туда же стремилось уходить и все, что осталось от коттбусской группировки. Другого пути у них уже фактически не было.

Переговоры со Ставкой в этот день, как и в предыдущие два дня, были, как правило, очень короткие, никаких дополнительных указаний фронт не получал. Да это и понятно, потому что план наших действий, скорректированный в ночь на 18 апреля, после решения о повороте танковых армий на Берлин, в основном выполнялся без особых отклонений, поэтому мои доклады были предельно краткими.

За эти три дня я только один раз говорил со Ставкой, доложил, что мы ворвались в район Цоссена, что бои с немецкими частями там еще продолжаются, но уже ясно, что главный штаб немецких сухопутных сил успел покинуть свою бывшую резиденцию.

Генеральный штаб получал от нас подробную и систематическую информацию, и у него не возникало почти никаких вопросов. Дерготни сверху в эти дни не было.

Наш штаб — фронта — в свою очередь получал систематическую информацию от армий. Трудность моего положения как командующего фронтом заключалась в том, что действия развертывались на несколько направлений сразу и каждое из этих направлений требовало внимания и руководства. На севере продолжались бои за Коттбус, в центре, после ликвидации Шпрембергского узла, шло уверенное наступление на Берлин и к Эльбе. Однако на левом фланге, на Дрезденском направлении, дела складывались все еще неблагоприятно, и это сильно отвлекало меня от направления главного удара.

К тому же и в глубоком тылу у нас находился еще один очаг — достаточно крупная группировка немцев, окруженная в Бреслау, — и командующий 6-й армией генерал Глуздовский продолжал там активные операции. С одной стороны, можно его понять, конечно: ему не хотелось опоздать, не хотелось взять Бреслау позже, чем мы возьмем Берлин, хотя впоследствии так оно и вышло. Но, понимая это, мне все же приходилось сдерживать его и даже прямо запрещать проведение активных наступательных действий. Я исходил из того, что Бреслау будет взят в любое время, как только мы разделимся с Берлином. Но, невзирая на эту достаточно ясно изложенную установку, я вынужден был и в час ночи, и позже — глубокой ночью, после всех других докладов — выслушивать и очередные соображения генерала Глуздовского о том, как он хочет, не выходя за пределы дозволенного, все-таки покончить с немцами, засевшими в Бреслау. Ведь, несмотря на все свои сдерживающие указания, я не мог полностью игнорировать понятное стремление командования 6-й армии покончить с Бреслау.

С точки зрения широты круга вопросов, которыми приходилось ежедневно и еженощно заниматься командованию фронтом и мне лично, не знаю, пожалуй, за весь период Великой Отечественной войны операции, которая по своей сложности была бы для меня равна Берлинской. Хорошо еще, что связь не доставляла нам дополнительных затруднений, работая так, как должно. Она дублировалась и по радио и по ВЧ. Но в эти дни управление главным образом шло по ВЧ.

Ежедневно к исходу дня — это был уже заведенный на фронте порядок, и командиры его знали — каждый из них, как правило, докладывал обстановку мне лично, и мы совместно намечали планы действий на следующий день. А затем штаб фронта дублировал мои устные указания в соответствующих распоряжениях по телеграфу, по радио, а если эти средства почему-либо отказывали, то самолетами или офицером связи, отправленным на машине.

22 апреля.

В ночь на 22 апреля мною был принят ряд новых решений, и первое из них — решение о максимальном усилении 3-й гвардейской танковой армии. Она вышла на внешний обвод Берлина, уже встретилась с очень сильным сопротивлением на южных подступах к этому обводу, и имелись все основания предполагать, что чем дальше, тем больше это сопротивление будет усиливаться.

С этой целью я в ту же ночь переподчинил Рыбалко 10-й артиллерийский корпус прорыва под командованием уже упоминавшегося мною генерала Королькова. В дополнение к этому корпусу мы дали Рыбалко еще 25-ю артиллерийскую дивизию прорыва и 23-ю зенитно-артиллерийскую дивизию.

Кроме того, непосредственно в его оперативное подчинение был передан еще и 2-й истребительный авиационный корпус.

Все названные мной артиллерийские соединения к этому времени дислоцировались в полосе 5-й армии, в районе Шпремберга, и им предстояло совершить стремительный марш-маневр с юга на север, по маршруту, еще далеко не очищенному от немцев. На весь марш были даны самые жесткие сроки — от суток до полутора. А расстояние предстояло преодолеть немалое — сто тридцать — полтораста километров, а некоторым артиллерийским частям пришлось пройти почти двести километров, ликвидируя собственными средствами встречавшиеся на пути немецкие группы, пытающиеся прорваться — одни на запад, другие на север, к своей 9-й армии.

Надо сказать, что наши артиллерийские корпуса и дивизии прорыва, полностью моторизованные, механизированные, уже имели к тому времени и привычку и — я добавил бы — вкус к таким стремительным передислокациям и маневрам. Освободившись после своего удара по Шпрембергу, они ожидали новой задачи и сразу же получили ее: рвать рубеж внешнего обвода Берлина, а затем вести бои в самом Берлине.

Для таких боев необходим был мощный артиллерийский кулак. И мы его создали, сманеврировав крупными соединениями своей артиллерии, дивизиями, корпусами.

Я думаю, что сформулирую верно, хотя, быть может, и несколько грубо, если скажу, что артиллерийские корпуса и дивизии прорыва стали могучим молотом в руках командующего фронтом. И нашему брату не пристало делить эту силу на части, «по-братски»: в одну армию — дивизию, в другую — бригаду, в третью — еще что-то, кто попросил, тому и дал. Нет, какими законными и обоснованными ни казались бы подобные просьбы, — высшие интересы дела требовали пренебрегать такими просьбами, не дробить эту мощь, а, напротив, концентрировать ее, целиком подчинять тому командарму, который в данный момент выполнял важнейшую в масштабах фронта задачу. А как только артиллерист выполнил задачу — значит, все, забирай свои пушки и иди, братец мой, выполнять новую задачу на новом участке.

Думаю, что такой маневр артиллерийскими соединениями прорыва целиком оправдывал себя с оперативной точки зрения. Мы делали все более требовательными: мы осуществляли прорывы, имея по триста стволов на километр. Мы уже давно отвыкли сидеть на голодной норме боеприпасов. У нас было такое количество танков, самоходной артиллерии, артиллерии на механической тяге, что все это требовало громадных количеств горючего. Работа наших армейских, фронтовых тылов становилась все масштабнее, все сложнее, но теперь трудности подвоза, снабжения техникой и боеприпасами были связаны не с нашей слабостью, а с нашей силой; сама наша мощь, масштаб этой мощи порождал и масштаб трудностей.

Итак, 22 и 23 апреля вся эта махина артиллерийских соединений прорыва двигалась из района Шпремберга на северо-запад, к Берлину.

Среди других распоряжений, отданных в ночь на 22 апреля, существенным было установление новой разграничительной линии между 5-й гвардейской и Второй Польской армиями. Эта новая разграничительная линия давала возможность Второй Польской армии, несколько сузив свой фронт и не тревожась за правый фланг, сосредоточить свои усилия на отражении продолжавшихся на ее участке ожесточенных контратаках немецкой дрезденско-герлицкой группировки.

Дивизии Лучинского стремительно, в хорошем темпе выдвигались в назначенный им район, готовясь поддерживать наступление танкистов на Берлин. А танкисты все шли и шли вперед. В ночь на 22 апреля армия Рыбалко — а надо сказать, что она продолжала бои и ночью, — 9-м механизированным корпусом Сухова и 6-м гвардейским танковым кор-

пусом Митрофанова форсировала канал Нотте и прорвала внешний оборонительный обвод Берлина. Форсировав канал, 9-й механизированный корпус к 11 часам утра 22 апреля перерезал кольцевую Берлинскую автостраду в районе Юнсдорфа, продолжал наступать на Берлин и с хода захватил пригороды Бланкфельде, Малопф, Лихтенраде.

Думаю, что выход этого корпуса на южные подступы к Берлину и захват первых берлинских пригородов относятся к такого рода фактам истории войны, которые не грех фиксировать со всей доступной точностью.

Захватив названные предместья, корпус Сухова вклинился во внутренний Берлинский обвод в районе Мариенфельде и к концу дня 22 апреля, действуя уже вместе с подошедшей к нему на помощь 61-й дивизией 28-й армии Лучинского, ворвался на южные окраины Берлина. Всего за этот день они продвинулись на двадцать пять километров.

В тот же день вечером танкисты Сухова вышли уже в самом Берлине на Тельтов-канал и остановились, наткнувшись на сильный огонь немцев, занявших сплошную оборону по северному берегу канала.

Шестой гвардейский танковый корпус Митрофанова, в начале дня форсировав канал Нотте в районе Цоссена и наступая на северо-запад, к вечеру тоже прошел около двадцати пяти километров, захватил по дороге город Тельтов и вышел на южный берег Тельтов-канала. Так же как на участке Сухова, немцы, заблаговременно заняв северный берег канала, вели по танкистам сильный огонь.

На тот же самый Тельтов-канал в районе Штатсдорфа вышел к вечеру и 7-й гвардейский танковый корпус. Он также был остановлен сильным огнем немцев с северного берега, после того как за день прошел с боями тридцать пять километров.

Таким образом, вся армия Рыбалко развернулась перед Берлином, выйдя на широком фронте на Тельтов-канал.

Сосед Рыбалко слева — 4-я танковая армия Лелюшенко — в течение 22 апреля, преследуя немцев в общем направлении на Потсдам, не ввязываясь в бой, обошел город Луккенвальде и, продвинувшись на двадцать километров, овладел Зармундом на юго-западных подступах к Берлину.

Два корпуса Лелюшенко — 10-й и 6-й — выходили к Берлину по касательной, стремясь все дальше на северо-запад, то есть двигаясь так, что это в итоге привело к окружению Берлина.

Одновременно с этим 5-й гвардейский механизированный корпус Лелюшенко, прикрывая левый фланг своей армии и тем самым обеспечивая ей возможность поворота на север, действовал в полном соответствии с нашей фронтовой директивой, составленной еще в начале апреля, до наступления. В ней было сказано то, что сейчас осуществлялось: корпус должен был на фронте Лютербок — Луккенвальде установить прочный заслон против немцев фронтом на запад.

Именно здесь и несколько западнее 5-му гвардейскому механизированному корпусу вскоре пришлось принять на себя удары 12-й армии Венка, которая по приказу Гитлера пыталась как раз на этом участке прорваться к Берлину.

Захватив после упорного боя Луккенвальде и выйдя на рубеж Беетлиц — Тройенбритцен — Кропшттет, 5-й гвардейский корпус полностью выполнил поставленную перед ним нелегкую задачу.

В Тройенбритцене танкисты 5-го гвардейского мехкорпуса освободили около тысячи шестисот военнопленных, главным образом англичан, американцев и некоторое количество норвежцев. Среди них был командующий Норвежской армией генерал Отто Руге. Мне об этом тотчас же донесли, но крайняя напряженность событий этого дня не позволила мне,

к сожалению, встретиться с освобожденным нами из плена норвежским командующим.

К концу 22 апреля армия Лелюшенко заняла очень выгодное исходное положение для удара на Потсдам и Бранденбург, который должен был стать завершающим маневром полного окружения всей берлинской группировки немцев.

Продвижение на запад армии Лелюшенко, а левее ее — 13-й армии Пухова, которая, стремительно преследуя немцев, прошла за этот день сорок пять километров и вышла на один уровень с левым флангом армии Лелюшенко, — все это окончательно перехватывало пути, которые могли быть использованы немцами при попытке освободить свою окруженную юго-восточнее Берлина группировку встречным ударом с запада.

На нашем северном фланге 3-я гвардейская армия Гордова, после успешного обходного маневра и двухдневных ожесточенных боев, 22 апреля штурмом овладела городом Коттбус и довела до конца разгром коттбусской группировки.

В ходе этих кровопролитных боев были разбиты 342-я, 214-я, 275-я немецкие дивизии и множество отдельных частей и подразделений. В боях за Коттбус войска Гордова захватили сто танков, две тысячи автомашин и около тысячи семисот пленных. То, что число пленных оказалось относительно небольшим, объяснялось исключительной жесточечностью оказанного немцами сопротивления. Они дрались под Коттбусом буквально до последнего дыхания.

После ликвидации коттбусской группировки войска Гордова не только повернули на север, но и стали выходить на северо-восток, непосредственно на немецкую 9-ю армию. Теперь Гордову предстояло целиком заниматься именно ею — громить и не допускать ее прорыва на тылы фронта.

Говоря о начале боев за Коттбус, я выражал командарму известную неудовлетворенность медлительностью его действий и нерешительностью в использовании танков. Однако я не хотел бы, чтобы обоснованные в данном частном случае упреки дали повод составить одностороннее представление об этом боевом командаре, на протяжении всей войны сражавшемся, если так можно выразиться, не покладая рук, на многих тяжелых и ответственных ее участках.

Гордов был старым, опытным командиром, имел за плечами академическое образование и обладал сильным характером. Словом, это был военачальник, способный руководить крупными войсковыми соединениями. Если взять в совокупности все операции, проведенные им во время войны, то они вызывают к нему должное уважение. В частности, надо отметить, что он проявил и мужество и твердость в трудные времена и в московском и в сталинградском сражениях, воевал, как говорится, на совесть и со знанием дела.

Это был человек опытный, образованный, но в то же время иногда недостаточно гибко воспринимавший и осваивавший то новое, что рождали в нашем оперативном искусстве возросшие технические возможности. Преданный делу, храбрый, сильный, своенравный и неуравновешенный — все вместе.

При всех его недостатках, с именем генерала Гордова связан ряд операций, успешно проведенных армиями, находившимися под его командованием.

После войны Гордов, к нашей большой горечи, стал одной из трагических жертв необоснованных репрессий.

Но вернемся к событиям 22 апреля — дня во многом знаменательного.

В результате наступления 8-й гвардейской, 69-й и 33-й армий Первого Белорусского фронта и 3-й гвардейской, 3-й танковой и части сил 28-й армии Первого Украинского фронта к вечеру этого дня совершенно отчетливо обозначилось кольцо, готовое вот-вот замкнуться вокруг франкфуртско-губенской группировки немцев. С севера, с востока, с юга и частично с запада она была уже плотно охвачена сплошным фронтом трех общевойсковых армий Первого Белорусского фронта и трех нашего фронта.

Войска армии Рыбалко, наступавшие на Берлин с юга, к вечеру были отделены от 8-й гвардейской армии Чуйкова, наступавшей на юго-восточные окраины Берлина, лишь узкой, примерно двенадцатикилометровой полосой.

Второе важное обстоятельство состояло в том, что правофланговые соединения главной ударной группировки Первого Белорусского фронта и наши танковые армии были уже близки к тому, чтобы соединиться к западу от Берлина, образуя второе огромное кольцо, соответственно берлинской группировке.

К исходу расстояние между передовыми частями 47-й армии генерала Перхоровича (Первый Белорусский фронт) и нашей танковой армией Лелюшенко уже не превышало сорока километров.

Таким образом, на наших глазах складывались и даже почти замкнулись два кольца окружения. Одно вокруг 9-й армии немцев восточнее и юго-восточнее Берлина; другое западнее Берлина — вокруг частей, оборонявших непосредственно германскую столицу.

К вечеру расстояние между франкфуртско-губенским кольцом — назовем его Малым — и берлинским — назовем его Большим кольцом — достигало в западном направлении восьмидесяти километров, а в южном — пятидесяти. Внутри между этими двумя кольцами окружения находился Берлин со всеми его пригородами.

Еще далее к западу от Берлинского кольца находились немецкие части, оказавшиеся между нами и нашими союзниками, в том числе и армия Венка, о которой пойдет речь впереди.

Окружив в лесах юго-восточнее Берлина остатки 4-й и 9-ю немецкую армию, Белорусский и Первый Украинский фронты по существу отрезали от Берлина главные силы немцев, предназначенные для его обороны, и теперь могли бить по частям ту берлинскую группировку, которая еще недавно представляла собою единый кулак.

Оценивая действия немцев в ходе этой операции, военные историки часто задают вопрос: имела ли возможность, не дожидаясь окружения 9-й и остатков 4-й армии, заранее отвести эти войска к Берлину?

Отвечаю: безусловно имела. Но это не изменило бы обстановку в целом. Планируемые нами удары были неотразимы. Мы могли разгромить всю берлинскую группировку в любом ее положении.

Чем ближе к Берлину, тем плотнее и плотнее становилась оборона немцев, тем больше средств усиления получала их пехота — и артиллерию, и танки, и большое количество фауст-патронов. Уже 22-го на Тельтов-канале мы встретились с системой сплошного организованного ружейно-пулеметного, минометного и артиллерийского огня весьма высокой плотности, и форсировать канал с ходу нам не удалось.

Со всем этим нам пришлось столкнуться даже при том условии, что мы окружили и заперли 9-ю армию юго-восточнее Берлина. Естественно, что, если бы ее войска своевременно отступили на Берлинский обвод, они дрались бы там ожесточенно и усилили бы оборонительные возможности берлинского гарнизона, хотя в конечном итоге могли повлиять своим сопротивлением только на темпы берлинского сражения, но отнюдь не

на его исход. Могло быть и наоборот. Во время отхода были бы смяты и разгромлены нашими войсками.

В связи с выходом частей Первого Украинского фронта к Берлину Ставка установила с шести часов утра 23 апреля новую разграничительную линию между Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами.

Как уже говорилось, при разработке плана операции эта разграничительная линия была остановлена на пункте Люббен. Теперь войска Первого Украинского фронта уже продвинулись далеко на север и северо-запад от Люббена, и Ставка, учитывая сложившееся положение, установила соответствующую ему разграничительную линию: Люббен — Тойпиц — Миттенвальде — Майендорф — Антгальский вокзал в Берлине. То есть от Люббена наша разграничительная линия была теперь повернута резко на северо-запад, почти на север.

Одновременно с этим Ставка потребовала от нас — от маршала Жукова и от меня — не позднее 24 апреля завершить окружение франкфуртско-губенской группировки противника и ни в коем случае не допустить ее прорыва ни на Берлин, ни в западном или юго-западном направлении.

В связи с итогами дня и с полученными от Ставки указаниями в ночь на 23 апреля пришлось как следует поработать. Армии Рыбалко было приказано на следующий день принять все необходимые меры для того, чтобы утром 24-го форсировать Тельтов-канал и ворваться непосредственно в Берлин. День 23 апреля использовать для подготовки наступления.

Командующему 28-й армией Лучинскому было приказано, продолжая наступать главными силами армии на Берлин с юга, одновременно двумя дивизиями занять рубеж Тойпиц — Бонсдорф, перехватить там все дороги между озерами прочной противотанковой и противопехотной обороны и не допустить на этом участке попыток прорыва 9-й и остатков 4-й немецких армий через тылы нашего фронта на запад и на юго-запад.

Командующий 3-й гвардейской армией Гордов получил задачу вернуть активные действия против окруженных частей 9-й немецкой армии, которая была теперь его основным противником.

Рыбалко наряду с подготовкой к форсированию Тельтов-канала было приказано на следующий день овладеть пригородом Берлина Буккоф и принять все меры к тому, чтобы сомкнуться в тылу франкфуртско-губенской группировки немцев с войсками Первого Белорусского фронта.

Таковы были мои основные распоряжения в ночь с 22 на 23 апреля.

23 апреля.

На северном берегу Тельтов-канала немцы подготовили довольно крепкую оборону. Там были траншеи, железобетонные доты, зарытые в землю танки и самоходки. На той стороне канала стояла почти сплошная стена домов, и эти каменные дома были приспособлены к длительной, упорной обороне. Все это были капитальные строения. Толщина стен в метр и больше. Значительную часть северного берега канала занимали крупные железобетонные корпуса промышленных предприятий, обращенные к каналу тыловой, глухой стороной и образующие собой как бы средневековую крепостную стену, спускающуюся к воде. Часть мостов через канал была подготовлена к взрыву, а часть — уже взорвана. Да и сам канал представлял достаточно серьезное препятствие при ширине в сорок — пятьдесят метров и глубине в два-три метра.

Представьте себе этот наполненный водой глубокий и широкий ров

с высокими бетонированными, круто обрывающимися берегами. И на двенадцатикилометровом участке, куда вышли танкисты Рыбалко, на немецкой стороне было согнано все, что оказалось у немцев под рукой, — тысяч пятнадцать человек. Плотность — тысяча двести человек на километр в условиях городских боев — надо сказать, очень высокая. И притом больше двухсот пятидесяти орудий и минометов, сто тридцать танков и бронетранспортеров и больше пятисот пулеметов. А фауст-патронов было такое количество, что, в сущности, его можно было считать неограниченным.

К тому же следует помнить, что в сознании оборонявшихся на Тельтов-канале немецких солдат и офицеров это был последний рубеж, на котором они могли нас удержать. За их спиной был Берлин. А кроме Берлина, кроме отчаянной решимости драться до конца, погибнуть, но не пустить нас в Берлин — а такая решимость, судя по ожесточенности боев, у большинства последних защитников германской столицы была, — кроме этого у них за спиной были еще и эсэсовские «молниеносные» трибуналы и облавы. В этот период — что единодушно подтверждается десятками и сотнями показаний пленных — эсэсовцы и гестапо действовали с особой беспощадностью, расстреливали и вешали всякого, кто оставлял позиции или был по каким бы то ни было причинам заподозрен в этом.

В те дни Гитлер, как известно, вел себя уже совершенно как одержимый, высказывался в том духе, что немецкий народ недостойн такого руководителя, как он. Относясь с ненавистью к собственному народу, он готов был мстить ему за бесславное крушение своей кровавой авантюры.

В Берлине царил атмосфера истерически молниеносных расправ, предельной жестокости. И она безусловно, вселяя страх, продлила агонию немецкой столицы.

Кого только не было там, на Тельтов-канале, особенно в батальонах фольксштурма, состоявших из стариков и подростков, которые плакали, но дрались и поджигали своими фауст-патронами наши танки.

Днем артиллерийский корпус Королькова и другие артиллерийские соединения прорыва ускоренным маршем продвигались к Берлину. 24-го к утру они уже должны были стоять на позициях и обеспечивать переправу Рыбалко через Тельтов-канал.

Легко можно представить себе, какими темпами проходил этот пятидесятикилометровый марш, для обеспечения которого, помимо собственных транспортных средств, артиллеристам пришлось дать тысячу триста фронтовых автомашин.

Действия артиллеристов при данных им крайне коротких сроках осложнялось еще и тем, что им приказали сниматься с позиций ночью, чтобы противник не был полностью ориентирован в происходящей перегруппировке.

Немецкая авиация не могла действовать большими группами, но одиночные разведывательные самолеты все время летали над полем боя, в том числе летал и наш старый враг — разведчик «фокке-вульф», или, как мы его называли, «рама». Так что возможности для наблюдения, хоть и ограниченные, у немцев еще оставались.

«Рама» доживала тогда свои последние дни. Но те, кто видел ее, невольно вспоминали, сколько неприятностей доставила она нам на всем протяжении войны. Я не раз имел возможность на разных фронтах наблюдать действия этих самолетов, которые были разведчиками и корректировщиками артиллерийского огня, и, скажу откровенно, очень сожалел, что на всем протяжении войны мы так и не завели у себя подобного этой «раме» специального хорошего самолета для аналогичных целей.

Утром 23 апреля на помощь танковым корпусам Рыбалко подошла 48-я гвардейская стрелковая дивизия армии Лучинского. Это было очень существенно, потому что перед таким серьезным препятствием, как Тельтов-канал с его хорошо организованной обороной, у нас на первых порах оказались одни танкисты, и они крайне нуждались в поддержке пехоты.

Пока подходили стрелковые дивизии, Рыбалко вместе со своими командирами корпусов вел подготовку к форсированию канала. Проходила командирская разведка, в которой участвовали и прибывшие сюда впереди своих частей командиры артиллерийских дивизий. Все планировалось в очень сжатые сроки, но по-настоящему, основательно.

Было принято решение форсировать канал всеми тремя корпусами на широком фронте одновременно. Но при этом было определено главное направление, на котором и сосредоточили наибольшую плотность артиллерийского огня. Был создан артиллерийский кулак, способный прошибить наверняка все, что противостоит нам,— прошибить и открыть дорогу прямо в Берлин.

На фронте главного участка прорыва протяжением в четыре с половиной километра было сосредоточено около трех тысяч орудий, минометов и самоходных установок. Шестьсот пятьдесят стволов на километр фронта! Пожалуй, это единственный случай такой плотности артиллерийского огня за всю мою практику на войне.

Однако я считал это оправданным и сложившейся обстановкой, и тем, что уже виден был конец войны. Оставалось еще больше приблизить его.

Кроме артиллерии, предназначенной для общего подавления обороны немцев на Тельтов-канале, специально для обеспечения форсирования и дальнейшей поддержки наступления было выделено много орудий прямой наводки. По существу вся непосредственно войсковая артиллерия, начиная от сорокапятимиллиметровок и кончая стодвадцатидвухмиллиметровками, а также и тяжелая артиллерия стопятидесятидвух- и двеститрехмиллиметровых калибров предназначалась к использованию как орудия прямой наводки, наиболее точной и прицельной.

Продолжительность артиллерийской подготовки планировалась пятьдесят пять минут. Так как времени на подготовку было мало — всего одни сутки — и полностью, на всю глубину, разведать систему обороны противника было, разумеется, невозможно, огонь главным образом планировался по переднему краю, а в глубине подавлялись лишь узлы на перекрестках, которые могли потом послужить препятствием при продвижении наших танков и пехоты.

Начало подготовки было назначено на 6 часов 20 минут 24 апреля. Мы сознательно взяли не круглую цифру, которую частенько брали до этого, потому что круглые цифры — 6.00, 7.00 — обычно вызывают у обстрелянных солдат и командиров противника настороженную готовность к тому, что «ага, вот 6.00, не исключено, что именно сейчас может произойти какой-нибудь артиллерийский налет или начнется артподготовка...»

Пока в течение 23 апреля основные силы армии Рыбалко готовились к завтрашней переправе через Тельтов-канал, произошло частное, но знаменательное событие: через офицера связи была установлена связь с частями 1-й гвардейской армии генерала Катучкова, которая в это время также подходила вплотную к Берлину.

Две бригады Рыбалко — 70-я и 71-я — выполняли задачу, поставленную им минувшей ночью: выходили навстречу частям Первого Белорусского фронта.

Тем временем танкисты Лелюшенко продолжали успешно наступать на Потсдамском направлении, прикрываясь с запада 5-м механизированным корпусом. 6-й механизированный корпус в районе Штуккена добил остатки немецкой пехотной дивизии «Фридрих Людвиг Ян», взяв в плен ее командира и продолжал наступать дальше в направлении на Бранденбург. Продвинувшись на двадцать пять километров, он занял населенный пункт со странно звучащим тогда на немецкой земле названием «Ленин», которое было, конечно, просто фонетическим совпадением.

К вечеру этого дня армия Лелюшенко уже охватывала Берлин с юго-запада. Расстояние, которое теперь отделяло ее от пробивавшихся ей навстречу войск Первого Белорусского фронта — 47-й армии Перхоровича и 9-го корпуса танковой армии Богданова, составляло всего двадцать пять километров.

Армия Гордова после предыдущих жестоких боев весь этот день производила необходимые перегруппировки, ликвидируя образовавшиеся в ходе предыдущих боев разрывы между частями и создавая сплошной фронт, плотно и прочно закрывающий пути отхода франкфуртско-губенской группировке немцев.

Двадцать восьмая армия Лучинского продолжала стремительно выдвигаться к Берлину. Некоторые ее соединения, как я упоминал, подошли уже к Тельтов-каналу, и им предстояло завтра участвовать в его форсировании; одна из дивизий Лучинского — 152-я, — выходя к Миттенвальде, во второй половине дня вступила в бой с небольшой частью франкфуртско-губенской группировки немцев, пытавшихся прорваться к Берлину. Ликвидировав эту попытку, дивизия к вечеру уже дралась на западной окраине Миттенвальде.

Главные силы Лучинского — 20-й и 3-й гвардейские корпуса — продолжали двигаться к южной окраине Берлина. Одному из этих корпусов предстояло, не доходя до Берлина, сосредоточиться в районе Барута с тем, чтобы своим присутствием дополнительно держать на замке то направление, в котором в случае какой-либо неожиданности у Гордова могла прорваться франкфуртско-губенская группировка немцев.

В этот день на моем передовом командном пункте я впервые встретил Лучинского и лично познакомился с ним. Основным моим местонахождением в последние дни была армия Пухова, и я совмещал с его командным пунктом также и свой передовой командный пункт. Накануне я выехал от Пухова в районы, занятые танкистами. Но оказалось, что пути еще недостаточно очищены, мне не удалось проехать и пришлось вернуться. 23 апреля Рыбалко, с которым, несмотря на все бродившие где-то между танкистами и пехотой немецкие группы и группочки, была все время устойчивая связь по ВЧ, так же как и с Лелюшенко, доложил мне, что у него был командарм 28-й Лучинский.

Я сел в «виллис» и поехал к Рыбалко. После взятия Коттбуса, запиравшего нам сразу несколько дорог и доставлявшего большие неудобства, теперь положение намного облегчилось и можно было ехать прямо по дороге от Коттбуса на Барут и дальше — на Берлин.

Где-то между Цоссеном и Берлином, увидев со своего «виллиса» ехавшего мне навстречу — тоже на «виллисе» — генерал-лейтенанта Лучинского, мы оба вышли из машин, он представился и кратко доложил о состоянии армии и о выполнении моего приказа.

Из доклада я вынес впечатление, что он правильно понял приказ и принимает все меры к тому, чтобы как можно энергичнее и быстрее выдвинуться в назначенные ему районы — и в район Барута, и на южные окраины Берлина — для усиления танкистов.

Мне оставалось только ориентировать его в некоторых особенностях того сложного переплета, в котором приходилось нам действовать.

Лучинский при первой встрече произвел на меня очень хорошее и не обманувшее меня впоследствии впечатление своей собранностью, четкостью, подтянутостью. Потом обычно как-то забываешь о внешности человека, с которым долго работаешь вместе, но в первый момент это тоже играет свою роль. Лучинский imponировал и внешне. Высокий, стройный, бравый — настоящий гвардеец.

Хотя, повторяю, доклад Лучинского, да и то обстоятельство, что он уже успел связаться с Рыбалко, побывать у него, уточнить вместе с ним задачу на завтрашний день, произвело на меня хорошее впечатление, но тем не менее, не побоявшись показаться излишне настойчивым, я дважды или трижды во время разговора напомнил о том, что один его корпус должен как можно скорей встать у Барута и как можно прочней чувствовать себя там.

Судя по докладу Лучинского, у него все было в порядке, дивизии двигались по графику и даже опережая его, оперативная группа и штаб тоже выдвигались вперед.

Но обстановка в этот день складывалась настолько благоприятная, интересная и в то же время до предела напряженная, что мне хотелось вдохнуть в этого вновь прибывшего командарма свое собственное настроение, хотелось еще немножко придать ему бодрости, чтобы он шел к Берлину еще энергичнее.

И судя по его дальнейшим действиям, генерал Лучинский и вся его армия действительно быстро сжились с той сложной оперативной обстановкой, в какой они очутились, когда, едва прибыв в состав Первого Украинского фронта, были сразу же брошены прямо на Берлин. А ведь в то время сюда мечтали попасть все, чтобы именно здесь поставить точку на своем боевом пути.

Тринадцатая армия Пухова, проведя за ночь и утро частичную перегруппировку, все ближе подходила к Эльбе. Так же, как Гордов, и так же, как Лучинский, Пухов имел у себя во втором эшелоне в районе Люккау корпус, который мог быть использован двояко. Во-первых, против франкфуртско-губенской группировки, а во-вторых — и тут у Пухова была уже своя специфическая задача, — для контрудара по немецким частям в том случае, если они будут предпринимать попытки прорваться к Берлину с запада. Такой возможности мы тоже не исключали, и, как выяснилось впоследствии, правильно делали.

Войска Пухова продвигались успешно, имели достаточную плотность, и это позволило мне забрать у него одну из дивизий — 350-ю — и, передав ее в оперативное подчинение Лелюшенко, срочно, в тот же день, направить ее автотранспортом на север в район Потсдама для усиления танкистов, чтобы им было чем занимать и закреплять за собой населенные пункты.

Армия Жадова к утру вышла своими передовыми частями, а к исходу дня и своими главными силами на восточный берег Эльбы на широком шестидесятикилометровом фронте Эльштер — Риза.

В этот же день на Эльбу вышли танкисты 4-го гвардейского танкового корпуса генерала Полубоярова, войска 34-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Бакланова и 32-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Родимцева. Того самого Родимцева, который всего за два с половиной года до этого, командуя своей 13-й гвардейской дивизией, сидел в обороне на одном из последних узких клочков волжского берега в Сталинграде.

Собственно говоря, с выходом этих трех корпусов на Эльбу 5-я гвардейская армия уже выполнила основную задачу, поставленную ей перед началом операции. Однако на самом деле ей предстояло воевать и дальше, причем без сколько-нибудь значительной паузы.

В связи с контрнаступлением герлицкой группировки немцев против 52-й нашей и Второй Польской армий южнее армии Жадова создавалась серьезная и даже неприятная обстановка. Я получил донесение о выходе корпусов Жадова на Эльбу, а он в свою очередь получил от меня приказание вывести танковый корпус Полубоярова и 32-й гвардейский корпус во второй эшелон армии для выполнения новых задач.

Создавая такую группировку за счет корпусов 5-й гвардейской армии, выполнивших свои предыдущие задачи, я намерен был нанести ей удар по герлицкой группировке немцев, остановив ее дальнейшее распространение на север.

На Дрезденском направлении, где и прежде шли очень напряженные бои, в этот день дело обстояло особенно неблагоприятно. Произведя в ночь на 23-е перегруппировку своих войск и нащупав стык между 52-й армией генерала Коротеева и Второй Польской армией генерала Сверчевского, немцы, двигаясь вдоль реки Шпрее, нанесли удар по 48-му корпусу армии Коротеева.

Общее направление их ударов шло на Шпремберг. Допускаю, что они не полностью были информированы о ликвидации шпрембергской группировки и стремление соединиться с нею сыграло свою роль в направлении их удара. Во всяком случае, если бы мы своевременно не покончили со Шпрембергом и со всем, что там было, на нашем левом фланге создалось бы, не скажу — критическое, но достаточно сложное положение.

С утра ударная группировка немцев — две дивизии и около ста танков — перешла в наступление, прорвала фронт 48-го корпуса 52-й армии, продвинулась к северу на двадцать километров и вышла на тылы Второй Польской армии.

Часть дивизий Польской армии, правым флангом примыкавших к армии Жадова, успешно продвигалась в это время на запад, а на их левом фланге удар немцев пришелся по самому слабому месту — по тылам армии, вдобавок сильно растянувшейся и находившейся в это время в движении. При этом было нарушено боевое взаимодействие некоторых соединений и связь между ними. Такая обстановка была бы сложной для любой прошедшей долгий боевой путь армии. Тем более была она чувствительна для Второй Польской армии, для которой Берлинская операция была первой после ее формирования.

Тем не менее поляки проявили большое мужество и после некоторого замешательства в первый момент прорыва дрались с перевернутым фронтом с возрастающей стойкостью и отвагой.

В связи со сложившейся обстановкой я отдал вечером ряд распоряжений, ближайшей целью которых была ликвидация прорыва, а дальнейшей — полный разгром герлицкой группировки немцев. Я понимал, что, предпринимая этот довольно сильный фланговый контрудар, немцы были намерены создать кризисную обстановку на всем левом фланге наших войск и повлиять на ход операции на главном — Берлинском — направлении. Но такая задача была уже им не по силам.

Кризисного положения им создать не удалось. Контрудар немцев не вызвал ни малейших изменений в наших основных планах. Мы правильно сделали, не пожалев сил и средств на ликвидацию обеих немецких группировок на флангах нашего прорыва — и шпрембергской и коттбусской. Если бы мы затанули с этим, то контрудар герлицкой группировки был бы гораздо чувствительнее для нас. А сейчас этот удар уже запоздал. Для разгрома герлицкой группировки у нас уже не было надобности ослаблять свои силы, наносящие удар по Берлину. Оценкой реального положения и были продиктованы мои решения.

Через сутки, к вечеру 24-го, войскам Второй Польской армии, 52-й

армии, двух корпусов 5-й гвардейской армии и танкового корпуса удалось приостановить наступление противника, который успел продвигаться в направлении Шпремберга на тридцать три километра.

Если говорить о далеко идущих оперативных замыслах немцев, то в условиях сложившегося к этому времени соотношения сил я никак не могу оценить эти замыслы положительно. Но если говорить о том, как немцы проводили эту одну из последних своих наступательных операций в войне с точки зрения тактической, то надо отдать им должное: стык они нащупали очень точно и действовали напористо, сосредоточив для прорыва восемь полноценных дивизий (из них две танковые) и около двадцати отдельных батальонов.

В эти дни я главным образом бывал на своем передовом командном пункте, а на основном командном пункте фронта находился начальник штаба фронта генерал армии Иван Ефимович Петров. Я поручил ему выехать в войска Коротеева и Сверчевского и помочь на месте организации взаимодействия войск, которые при поддержке частей 5-й гвардейской армии должны были не только отразить наступление немцев, но и в свою очередь нанести им удар.

Одновременно с этим — так как после выхода немцев на тылы Второй Польской армии у меня была утеряна связь с ее командармом генералом Сверчевским — я поставил частную задачу начальнику оперативного управления фронта генералу Костылеву: он должен был выехать во Вторую Польскую армию и установить связь со Сверчевским.

Генерал Костылев успешно выполнил эту задачу и в течение суток связал Сверчевского с его соседями: с Жадовым, с командиром танкового корпуса Полубояровым, с командиром 33-го корпуса Лебеденко — словом, скоординировал обстановку на месте.

Костылев был вообще очень настойчивым в выполнении приказов и превосходно знающим обстановку штабным офицером. Сам я не мог оторваться в эти дни от всех забот, связанных с проведением Берлинской операции. Начальник штаба фронта Петров, находясь у руководства такой штабной машины, как штаб Первого Украинского фронта, тоже не мог выключаться из своей работы на длительное время. Он только выезжал на Дрезденское направление на несколько часов в день и снова возвращался в штаб фронта. К 18—19 часам ему необходимо было находиться в штабе, потому что к этому времени уже начинали накапливаться доклады об обстановке за день на всем том огромном фронте, на котором наши войска вели бои, и одновременно с этим готовить операцию на следующий день, планировать, организовывать и наконец отчитываться перед Генеральным штабом и Ставкой.

Поэтому генералу Костылеву было поручено в самый острый момент в течение суток заниматься непосредственной координацией действий всех частей, нацеленных на то, чтобы сначала остановить наступление немцев, а потом и разгромить их.

К вечеру 24 апреля наступление герлицкой группировки немцев было остановлено совместными усилиями частей Второй Польской и частью сил 5-й гвардейской и 52-й армий.

Говоря о первом неудачном для нас периоде этих боев, я уже упоминал о недостаточном опыте и недостаточной обстрелянности Второй Польской армии. К этому надо добавить, что командарм 52-й генерал Коротеев, вообще-то говоря, боевой и опытный командующий, в данном случае не проявил достаточной заботы о стыке с поляками, что и привело к прорыву противника на заведомо угрожаемом фланге. Впрочем, справедливости ради следует сказать и то, что армия у него в этот период была небольшой и противник на участке прорыва в несколько раз превосходил его в силах.

Направление и сила немецкого удара заставляли вспомнить еще об одном обстоятельстве, имеющем, несомненно, особую политическую окраску. Когда перед началом Берлинской операции поляки, сменив часть сил 13-й армии, занимали передовые траншеи, то немецкие, в том числе и эсэсовские части, занимавшие оборону напротив, пришли в бешенство и не скупилась на яростные выкрики и всякого рода угрозы. Видимо, им нелегко было примириться с тем, что те самые поляки, которых они в течение шести лет хотели считать навсегда проглоченной добычей, покоренным народом, наступают теперь на Берлин.

Это настроение, к тому же подогреваемое, видимо, сверху, сыграло свою роль и в стремлении нанести удар именно по польской армии, и в той ярости, с которой велось это наступление, и в том количестве сил, которое в этот критический для них период немцы сумели сосредоточить именно на этом участке.

И когда во взаимодействии с нашими войсками именно поляки под командованием генерала Сверчевского — героя гражданской войны в Испании, еще там лицом к лицу встречавшегося с немецкими фашистами, — дали как следует по зубам герлицкой группировке, то это вызвало у меня чувство двойного удовлетворения: кроме естественной радости победы, было и ощущение справедливого возмездия.

24 апреля.

К этому дню обстановка на нашем фронте была сложной и разнообразной, но все же в ней можно было различить пять основных узлов событий.

Первый узел — это развертывающееся сражение за Берлин. В нем из состава Первого Украинского фронта принимали участие 3-я и 4-я танковые и введенная с ходу 28-я армии. Сюда же можно включить и действия армии Лелюшенко северо-западнее Берлина,двигающейся в обход его — навстречу Первому Белорусскому фронту.

Второй узел — ожесточенная борьба с пытающейся прорваться франкфуртско-губенской группировкой. К этому времени 9-я армия Буссе — основная сила этой группировки — уже получила приказ Гитлера пробиваться на юго-запад, навстречу армии Венка. Если мысленно представить себе, что продвижение 9-й немецкой армии и 12-й армии Венка оказалось бы успешным и они сомкнулись бы, то это смыкание произошло бы как раз в том самом районе Луккенвальде — Барут, куда я с такой настойчивостью приглашал Лучинского поскорее прочно посадить свой корпус.

Третий узел связан с наступлением армии Венка. Выполняя приказ Гитлера, Венк начал наступление с запада на левый фланг армии Лелюшенко и правый фланг армии Пухова, нанося основной удар как раз в том направлении, куда мы по самой первоначальной директиве фронта выдвинули 5-й мехкорпус армии Лелюшенко. Если бы нашему брату было положено говорить о предчувствиях или особом чутье, то можно было бы сказать, что именно какое-то чутье подсказало нам, что здесь-то и следует прикриты с запада 5-м мехкорпусом.

Четвертый узел связан с выходом 5-й гвардейской и 13-й армий на Эльбу и с предстоящей встречей с американцами.

Наконец пятый узел — Дрезденское направление, отражение ударов герлицкой группировки немцев.

И каждый из этих узлов, каждое из этих направлений требует в большей или меньшей мере внимания штаба фронта и командующего фронтом. Я говорю об этом потому, что хочу дать читателю представление о том, как складывался в период Берлинской операции рабочий день,

или, вернее, рабочие сутки, командующего фронтом. Их началом следует считать поздний вечер предыдущего дня, когда принимались все основные решения, которым предстояло определить собою очень многое из того, что будет происходить завтра.

Надо сказать, что маневренный характер операций Первого Украинского фронта, стремительное наступление войск, в особенности танковых армий, наложили и не могли не наложить свой отпечаток на характер управления войсками.

Как правило, к исходу дня при любых обстоятельствах я принимал нашего фронтового разведчика и говорил с ним раньше, чем принять окончательные решения на проведение операции следующего дня. Принял его и на этот раз — поздним вечером.

Обстановка, складывавшаяся к исходу 23 апреля, требовала от меня ряда решений. Необходимо было завершить окружение франкфуртско-губенской группировки и окончательно ликвидировать возможность ее выхода на запад, на Берлин, а также на юго-запад и юг. Для этого надо было закончить перегруппировку 3-й гвардейской армии, окончательно ввести в дело 28-ю армию и таким образом сомкнуть фланги Первого Украинского с флангом Первого Белорусского фронта в тылу 9-й немецкой армии.

Требовалось закончить подготовку и осуществить форсирование Тельтов-канала армией Рыбалко с дальнейшим прорывом в Берлин. Для этого надо было не только создать ударный кулак из артиллерии и авиации, но и поставить перед артиллеристами и авиаторами соответствующие задачи.

Необходимо было позаботиться об управлении в период этой операции и по возможности постараться самому проследить за ее ходом. Надо было соблюсти верное направление движения танковой армии Лелюшенко, с тем чтобы он не ввязался в затяжные бои на окраинах Берлина, а шел бы навстречу войскам Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов, западнее Берлина, чтоб в кратчайший срок замкнуть кольцо.

В то же время такое быстрое продвижение армии Лелюшенко на северо-запад сильно растягивало его левый фланг; намечался разрыв между его левым флангом и правым флангом армии Пухова. Об этом тоже следовало подумать.

Был я озабочен и тем, чтобы на фронте Беетлиц — Тройенбритцен иметь под руками дополнительные силы. Их надо было отыскать. Одну дивизию я уже взял у Пухова и послал на Потсдам с тем, чтобы закрепить все, что захватит там Лелюшенко. Теперь приходилось выводить один корпус Пухова во второй эшелон армии, в район Ютерборг — туда, где этот корпус можно было использовать в зависимости от обстановки двояко: либо усилить им внутреннее — Берлинское — направление, либо усилить внешнее — западное — направление в районе Беетлиц — Тройенбритцен, где уже действовал 5-й мехкорпус армии Лелюшенко.

Это меня особенно заботило, потому что уже 23 апреля появился ряд признаков того, что у немцев на западе начинается какая-то перегруппировка и они, очевидно, готовятся ударить по нам с запада. Точного направления предполагаемого удара мы не знали, данных не было, но для нас уже было совершенно очевидным, что такая попытка будет предпринята.

Позже выяснилось, что уже существовал приказ Гитлера, по которому 12-я армия Венка должна была, прекратив действия против наших западных союзников, повернуть фронтом на восток и создать ударную группировку для деблокирования Берлина ударом по советским войскам, наступающим на него с юга. Одновременно такой же приказ был

передан 9-й армии Буссе, которая тоже должна была наступать на южные пригороды Берлина с тем, чтобы соединиться в этом районе с армией Венка.

Мы в общих чертах предугадывали этот план, и в этом нет ничего удивительного, потому что он отнюдь не был лишен целесообразности. В нем не было реального учета сложившегося соотношения сил — это другое дело. Гитлер в те дни буквально жил этим планом встречного удара Венка и 9-й армии. Он придавал этому настолько большое значение, что послал самого Кейтеля в штаб Венка, чтобы проинспектировать действия его войск, их быстроту и решимость.

Разумеется, я не знал тогда, чем живет и на что надеется Гитлер, какие задачи он ставит Кейтелю, и не знал даже в точности, где обретаются тот и другой. Но для меня было совершенно ясно, что если наш противник вновь попытается предпринять что-то активное, то он прежде всего сделает попытку подрезать прорвавшиеся к Берлину войска Первого Украинского фронта с запада и с востока.

Я был убежден, что этот прогноз оправдается, и он оправдался. В ночь на 24 апреля я был особенно озабочен тем, чтобы предпринять такие меры, которыми мы смогли бы отпарировать удары немцев.

Изрядное время ушло в ту ночь и на то, чтобы дать необходимые указания в связи с выходом на Эльбу 5-й армии Жадова и подходом к ней армии Пухова. Основные разговоры на эту тему были с Жадовым, так как именно ему предстояло подготовиться к встрече с американцами.

Мне пришлось давать указания также и Пухову, потому что некоторым его дивизиям тоже предстояли такие встречи.

Немало забот было связано с отражением контрудара на Дрезденском направлении.

Особенно большая работа, как и каждый вечер, была связана с докладами командармов, которые и в этот день, как обычно, начались с 21 часа и продолжались почти до двух часов ночи. А в промежутках между докладами надо было давать указания штабу, надо было выслушать итоговый доклад начальника штаба Петрова, прочесть, скорректировать и подписать донесение в Ставку, которое, как правило, должно было быть окончено к двум часам ночи.

Наконец пришлось иметь дело еще с одной группой вопросов, связанных с действиями авиации. Как правило, командующий фронтом ежедневно ставит авиации задачи на следующий день, исходя из общего плана операции и из тех коррективов, которые за день внесла обстановка, какие-то цели отменив, а какие-то добавив. В данном случае, в ночь с 23-го на 24-е, я потребовал сосредоточить основные усилия авиации для завтрашнего удара по герлицкой группировке противника.

Второе направление, на котором должны были работать крупные силы авиации, — это поддержка форсирования Тельтов-канала и наступления армии Рыбалко на Берлин.

Одновременно я счел нелишним напомнить авиаторам, что, нанося удары на указанных направлениях, они должны считать своей святой обязанностью внимательнейшее наблюдение за окруженной франкфуртско-губенской группировкой и без всяких проволочек наносить бомбовые удары по скоплениям войск, обозначающим направление возможного прорыва.

В пять утра 24 апреля я выехал к Рыбалко, чтобы увидеть своими глазами, как проходит операция по форсированию Тельтов-канала, и иметь возможность в случае необходимости внести на месте свои коррективы.

Спал я, как правило, ночью с двух до шести, иногда немножко доль-

ше. Если обстановка была благоприятная, иногда позволял себе выслушать доклад оперативного дежурного об обстановке за ночь не в шесть утра, а в семь. Этот утренний доклад входил в ежедневный распорядок настолько же свято и крепко, как в свое время молитва «Отче наш» — в крестьянский быт. Докладывал или оперативный дежурный, или начальник оперативного управления.

Память, в том числе и зрительная, была у меня в то время настолько обострена, что все основные направления, все географические и даже главные топографические пункты как бы всегда стояли перед глазами. Я мог принимать доклад без карты; начальник оперативного отдела, докладывая, называл пункты, а я мысленно видел, где и что происходит. Мы оба не тратили времени на рассматривание карты; он лишь называл цифры, связанные с упоминаемыми им пунктами, — продвижение на столько-то километров, левее, правее, — и нам обоим было все ясно.

Конечно, эта ясность была результатом крайнего напряжения памяти, но такой порядок докладов настолько отработался в нашей боевой практике, что лично я этого напряжения даже не замечал.

В этот день я выслушал доклад раньше, чем обычно, к 7 утра был уже у Рыбалко, на его командном пункте, и оставался там до 13 часов. Подробности я расскажу позже. Сейчас мне хочется дать представление лишь о более или менее привычном распорядке одного рабочего дня. Около четырнадцати часов, пообедав на ходу там же, у танкистов, я к семнадцати часам должен был снова вернуться на командный пункт фронта, чтобы заслушать доклад об обстановке. Сперва докладывал оперативный дежурный или начальник оперативного управления. Потом состоялись беседы с членами Военного совета. Вопросы, которые следовало обсудить, было в тот день достаточно — в их числе были и детали предстоящих встреч с американцами. После этого командующие разными родами войск докладывали о выполненных в течение дня задачах и излагали свои соображения и планы на завтрашний день. В подробном докладе начальника тыла были некоторые вопросы, особенно беспокоившие меня в тот день. Это касалось прежде всего бесперебойной подачи горючего и боеприпасов для группы войск, действовавших в Берлине.

К исходу дня многое повторялось снова: доклады командующих армиями, работа с начальником штаба и так далее и тому подобное.

Таким, если брать его в общих чертах, был мой распорядок дня в самый разгар Берлинской операции. Таким же — с небольшими ежедневными коррективами — оставался он и до конца операции.

Этот распорядок в значительной мере связан с работой штаба фронта, и потому я хочу здесь хотя бы кратко сказать о начальнике штаба Первого Украинского фронта в период Берлинской операции — генерале армии Иване Ефимовиче Петрове. Он сменил генерала Соколовского буквально перед самым началом Берлинской операции. Соколовский отбыл на Первый Белорусский фронт заместителем командующего к маршалу Жукову. Перед этим мне позвонил Сталин и спросил, согласен ли я взять к себе начальником штаба генерала Петрова.

Я знал, что за несколько дней до этого Петров был освобожден от должности командующего Четвертым Украинским фронтом.

Мое личное мнение о Петрове, в общем, было положительным, и я дал согласие на его назначение.

На второй день после прибытия на фронт ему предстояло как начальнику штаба составить донесение в Ставку. Мы обычно заканчивали составление этого донесения к часу-двум ночи. К этому сроку я и предложил ему составить Ивану Ефимовичу. Но он возразил:

— Что вы, товарищ командующий. Я успею составить донесение раньше, к двадцати четырем часам.

— Не затрудняйте себе задачи, Иван Ефимович,— сказал я ему.— Мне спешить некуда, дел у меня еще много, я буду говорить с командармами, так что у вас время до двух часов есть.

Однако, когда подошел срок подписывать боевое донесение и я рано в два часа ночи позвонил Петрову, он смущенно ответил по телефону, что донесение еще не готово, по такой-то и такой-то армии еще не собраны все необходимые данные.

Понимая его трудное положение, я не сказал ни слова и отложил подписание на четыре часа утра. Но донесение не было готово и к четырем. Петров представил мне его только в шесть утра. И когда я подписывал это первое его донесение — притом, на первый случай, подписывал с некоторыми довольно значительными поправками,— Иван Ефимович (это было в его характере) прямо и честно заявил:

— Товарищ маршал, я виноват перед вами. С такими масштабами действий я встречаюсь впервые, и мне с непривычки оказалось трудно справиться с ними.

И несмотря на то, что первый блин оказался комом, такое прямое заявление со стороны Петрова было для меня залогом того, что дело у нас с ним пойдет.

Иван Ефимович был человеком с хорошей военной подготовкой и высокой общей культурой. На протяжении всей войны он проявлял храбрость и мужество и был этим известен в армии.

Будучи до этого в роли командующего фронтом, а под конец войны впервые в своей практике оказавшись начальником штаба фронта, этот боевой генерал не проявлял ни малейшего оттенка обиды. Напротив, он с живым интересом к новому для себя делу говорил: «Вот теперь вижу настоящий фронт — и по количеству войск, и по размаху, и по задачам, которые стоят перед фронтом». Он хорошо отдавал себе отчет в том, что, несмотря на весь боевой опыт, в роли начальника штаба фронта ему надо кое-чему поучиться. И действительно честно учился.

Сработались мы довольно быстро. У меня было полное доверие к нему, так же как и у Петрова ко мне,— я это чувствовал. Отношения у нас сложились хорошие, хоть и приходилось порою делать известную скидку на то, что все-таки Петров не штабной командир, что до сих пор все его должности — и в мирное и в военное время — были командные: начальник училища, командир дивизии, командующий армией, командующий фронтом. Надо отдать должное генералу Соколовскому, который до Петрова в течение года был начальником нашего штаба,— он оставил очень слаженный, хорошо организованный штабной коллектив. Опираясь на этот коллектив, Петров не испытывал в своей работе каких-либо существенных трудностей.

Петров оставался начальником штаба нашего фронта до последнего дня войны. Вместе с ним мы у себя, на Первом Украинском фронте, завершили Великую Отечественную войну, и завершили как будто неплохо...

...Я уже говорил, что накануне заночевал не на командном пункте фронта, а на своем передовом командном пункте — в армии Пухова. Отсюда до Рыбалко было значительно ближе. Заслушав утренние доклады, я выехал с таким расчетом, чтобы успеть попасть к Рыбалко к концу артиллерийской подготовки, к началу форсирования реки.

Конечно, когда выезжаешь в пять утра, а накануне лег достаточно поздно, то клонит ко сну. Но спать в машине в этот период не приходилось.

Там и сям бродили разрозненные группы немцев. Некоторые участки дорог, по которым нам предстояло ехать через тылы 3-й танковой армии, были еще не полностью разминированы. В ряде мест прихо-

дилось делать объезды. Кругом торфянистые болота, грунт мягкий, танки наделали гусеницами такие колеи, что ехать по этим колеям на колесных машинах очень трудно, то и дело приходилось маневрировать.

И по этим же танковым колеям, обходя минированные участки дорог, буквально всюду, где бы мы в этот день ни проезжали, шли нам навстречу освобожденные из неволи люди.

Шел целый интернационал — наши, французские, английские, американские, итальянские, норвежские военнопленные. Шли угнанные и теперь освобожденные нами девушки, женщины, подростки. Все они двигались со своими наспех сделанными национальными флагами, тащили за собою свой скарб, свои немудреные пожитки — вручную, на тележках, на велосипедах, на детских колясках, изредка на лошадях.

Они радостно приветствовали шедшие навстречу советские войска, ехавшие им навстречу машины, кричали что-то — каждый на своем языке. Останавливаться не было времени ни им, ни нам; они спешили если не прямо домой, то во всяком случае поскорее выбраться из зоны боев, а мы торопились к Берлину.

И хотя все эти люди не знали местности и карт у них не было под руками, но у меня создалось впечатление, что дороги они выбирают правильно, чутьем находят наиболее безопасные направления, избегая мин и встреч с остатками разбитых немецких войск. Больше всего, как я заметил, они шли по танковым следам — тут уж наверняка мин нет, раз благополучно прошли танки.

Лица изможденные, усталые: сами оборванные, полураздетые. Хотя в конце апреля уже сравнительно тепло, но утром все-таки было заметно, что немудреная одежонка, а сплошь и рядом просто лохмотья, слабо защищают этих людей от утреннего холодка. Едешь навстречу и испытываешь противоречивые чувства: с одной стороны — радостно глядеть на людей, наконец освободившихся от всех ужасов гитлеровского ада; с другой стороны, зная, какие важные дела ждут нас впереди, поневоле досадовал на задержки, связанные с встречным движением. А задержкам не было числа. Все дороги к Берлину были буквально забиты людьми. И поднимались они со своих временных ночлегов и отправлялись в путь рано-ранехонько. Как бы рано ты ни выехал — они уже шли тебе навстречу по дорогам.

Люди шли по сотням дорог и тропок; каждая группа шла по-своему, но к этому времени наше управление тыла во главе с генерал-лейтенантом Николаем Петровичем Анисимовым уже заботилось о том, чтобы освободившиеся из неволи люди не забрели по несчастной случайности слишком близко к району окружения 9-й немецкой армии, чтобы они, уже спасшись, не подверглись новым опасностям. Управление тыла и комендантско-дорожная служба организовывали за счет фронтовых ресурсов питательные пункты по главным маршрутам следования. Такие пункты были в Люккау, в Коттбусе и в ряде других городов и городков.

Что касается немецких пленных, то они шли по другим, специально выделенным маршрутам, от этапа к этапу. Как только на пунктах сбора накапливалась колонна выловленных и сдавшихся немцев, их собирали и отправляли по маршруту дальше.

Где-то здесь же, в лесах, бродили еще не сдавшиеся и не разоруженные группы немцев. Особенно много их было на маршруте между Сетшау — Люббеном, где леса погуще.

Мне везло все эти дни. Несколько раз стреляли по нашим машинам из лесу, но впрямую напороться на какую-нибудь из неприятельских групп — от этого меня бог миловал, хотя другие, случалось, и напарывались. Обычно я ездил тремя «виллисами»: на первом — шофер, я, адъютант и автоматчик; вслед за мной — вторая машина с офицером

оперативного управления и двумя автоматчиками и наконец третий «виллис» — четыре человека охраны во главе со старшиной. У меня как у командующего фронтом был специальный взвод пограничников, который прошел со мной всю войну. Командовал им старшина Анищенко. Он и сейчас держит со мной связь; работает под Москвой и не забывает от времени до времени писать мне — главным образом в наши фронтовые юбилейные даты.

В свое время, после того как один из наших командармов по ошибке заехал прямо к немцам и был убит наповал в машине, Ставка отдала приказ, запрещавший командующим армиями и выше выезжать в зону боевых действий без бронетранспортеров. Что касается меня, то там, где это было нужно, где был прямой риск встретиться с противником, я этим бронетранспортером не пренебрегал. Но постоянно пользоваться бронетранспортером было не с руки. Они двигались слишком медленно, и, отправляясь на своей тройке «виллисов», я был куда оперативнее и подвижнее.

Главным залогом безопасности при таких передвижениях в сторону фронта я всегда считал не количество охраны, а собственную правильную ориентировку на местности. Карту я, как положено военному, знал хорошо, на местности ориентировался, сам следил за дорогой, ехал в первой машине, и никаких недоразумений в этом смысле у меня никогда не бывало. Но и спать по дороге к фронту, сидя в машине, не приходилось.

В этот день я мчался к Рыбалко во всю прыть с тем, чтобы поспеть к началу форсирования канала. По дороге, помимо толп освобожденных из неволи людей, которые в эти дни были еще новым, непривычным зрелищем, все остальное, что я видел в это утро, было обычным зрелищем войны: разрушения, разбитые дороги, взорванные мосты. А кругом — оживающая весенняя природа, зеленеющие лиственные леса.

Причем леса — нужно отдать немцам должное — они содержали в большом порядке, очищенными и прореженными. А для нас это было очень важно. Западнее Шпрее на многие километры шел сплошной лесной массив. Но то, что леса были разрежены, через них были пробиты просеки, а кое-где по просекам проведены даже дороги с твердым покрытием, — все это обеспечивало нашим танковым войскам хороший маневр.

Сначала, когда я глядел на карту, меня это беспокоило. Сплошной лесной массив. Просеки, за редким исключением, не нанесены. Глядишь и думаешь: как бы не пришлось замедлять здесь темпы. А на практике оказалось, что, совершая марш-маневр и наступление на Берлин танковых армий через эти леса, мы в некоторые дни проходили по пятьдесят — шестьдесят километров за сутки. А вообще за всю операцию среднесуточный темп продвижения танковых армий был двадцать — двадцать пять километров в сутки, а средний темп общебойковых частей и соединений — семнадцать километров. Темпы, конечно, очень высокие.

Дорог, несмотря на их частичное минирование, в нашем распоряжении было все-таки много; дороги были хорошие, особенно полезной оказалась автострада от Бреслау на Берлин. Она стала как бы основной осью движения в полосе Первого Украинского фронта.

Правда, первое время на этой автострате нам довольно сильно докучали немецкие реактивные истребители. Отрезок пути, который мне надо было сделать по автострате, я для экономии времени обычно делал на «паккарде», и в период подготовки Берлинской операции, под самый конец войны, несколько раз приходилось-таки вылезать из этого «паккарда» и прятаться в кюветах. Но сейчас немецкой авиации над дорогами почти уже не было, и с нею практически можно было не считаться.

В Тельтов я приехал к самому концу артиллерийской подготовки. Еще у въезда в город, на повороте, меня встретил офицер, и, проезжая, я увидел наши войска, занявшие исходное положение, — танки, мотопехоту и артиллерию, которая уже заканчивала свою работу.

В тот момент, когда я подъехал к Рыбалко, он следил за действиями своих войск, руководя форсированием. Был момент первого броска. Передовые отряды начали форсировать канал, не дожидаясь окончания артподготовки.

Все содрогалось. Кругом стоял дым. Артиллерийские бригады тяжелых калибров били по домам на той стороне канала, прошибая их сразу. Летели камни, куски бетона, щепки, пыль. На узком фронте было сосредоточено больше шестисот орудий на километр, и все это било по северному берегу Тельтов-канала.

Бомбардировочная авиация тоже наносила свои удары — эшелон за эшелон.

Первый наблюдательный пункт Рыбалко на южном берегу Тельтов-канала мне не понравился, и мы перешли на плоскую крышу самого высокого дома. Там еще до нашего прихода расположился командир авиационного бомбардировочного корпуса Никишов.

Я, Рыбалко, командующий артиллерией фронта Варенцов, командиры двух авиационных корпусов, командир артиллерийского корпуса, — все мы разместились на этой крыше.

Левый фланг с этого дома виден был так далеко, что даже чуть-чуть просматривался вдали Потсдам. Виден был и правый, где должны были на окраине Берлина соединиться войска Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. Дом этот был восьмизэтажным, кажется каким-то конторским зданием. Жителей в нем не было, потому что дом находился не только под артиллерийским, но и под ружейно-пулеметным огнем.

Сначала, когда мы вылезли на крышу, немецкие автоматчики послали по нам несколько очередей с той стороны канала, но все кончилось благополучно. На плоскую крышу выходили огромные трубы отопления, прекрасно защищавшие от автоматного огня.

Немцы хотя и безрезультатно, но продолжали время от времени постреливать очередями. В конце концов мне надоело это. И, видя, откуда они стреляют, я приказал сосредоточить по ним огонь артиллерии. Их подавили быстро. Хотя откуда-то еще продолжались иногда одиночные выстрелы.

То, что немцы стреляли по этому самому высокому, выделявшемуся из всех домов Тельтова, зданию, вполне понятно: это слишком очевидный ориентир. Приходилось считаться с тем, что, находясь здесь, мы привлекаем к себе внимание, но что делать — другого такого хорошего места поблизости не было.

С высоты восьмого этажа был хорошо виден Берлин, в особенности его южная и юго-западная части.

Утренняя дымка над городом уже начинала рассеиваться. Поднимались столбы огня и дыма, вызванные действиями нашей авиации пожары. Было ощущение огромности широко разбросанного города. Я отмечал для себя массивные старые постройки, которыми изобилует лежавший перед нами район, отмечал густоту застройки. Словом, отмечал все, что обещало нам при взятии Берлина сложные и тяжелые бои.

Отметил я про себя и хорошо видимые сверху каналы, реки и речки, пересекающие Берлин в разных направлениях. Такое множество водных преград обещало дополнительные трудности.

Перед нами лежал фронтовой город, осажденный и приготовившийся к защите. Если бы во главе Германии стояло разумное правительство,

то в сложившейся обстановке было бы логично ожидать немедленной капитуляции, которая одна могла сохранить все, что еще оставалось к этому дню от Берлина, и спасти жизнь берлинского населения. Но, видимо, ожидать разумного решения не приходилось — предстояли бои.

Глядя на Берлин, я думал о том, что с концом его обороны будет связан конец войны. Чем мы быстрее возьмем город, тем быстрее кончится война.

Конечно, хочется, чтобы под самый конец войны было меньше потерь, и все же затягивать борьбу нельзя и ради скорейшего ее окончания придется идти на жертвы особенно в боевой технике, и прежде всего в танках.

И еще одна мысль, которая тогда же пришла мне в голову. Это стало для меня очевидным при первом же взгляде на Берлин с крыши дома на Тельтов-канале: надо тащить сюда тяжелую артиллерию, включая самую тяжелую. Я сразу связался со своим штабом, торопясь доложить в Ставку Верховного Командования, что нам понадобится артиллерия особого назначения, особой мощности. Она находилась в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования. Я не знал, где находится она сейчас, но знал, что такая артиллерия есть.

Все же по моей просьбе эта артиллерия была нам послана и успела принять участие в последних боях за Берлин.

Тем временем на моих глазах происходило форсирование Тельтов-канала, и хотя нельзя сказать, что оно шло без сучка без задоринки, но, в общем, успешно.

Передовые части 9-го мехкорпуса, переправлявшиеся на северный берег канала в районе Линквица, были контратакованы немецкими танками и пехотой, не смогли удержать захваченный плацдарм и, понеся потери, отошли на южный берег канала. Там дело поначалу не пошло, но на находившемся прямо перед нами, даже, можно сказать, под нами, участке 6-го гвардейского танкового корпуса переправа шла как по нотам.

Передовые отряды 22-й гвардейской мотострелковой бригады переправались на ту сторону канала на деревянных лодках и частично по остову разрушенного моста. И, удачно маневрируя, прикрываясь быками моста, передовой батальон под заслоном огня артиллерии и танков благополучно форсировал канал и захватил небольшие плацдармы на его северном берегу.

В семь утра, используя этот успех, к форсированию приступили основные силы бригады. Они переправлялись через канал на деревянных и раскладных лодках.

Вслед за батальонами мотострелков через канал начали переправляться передовые части 48-й гвардейской дивизии армии Лучинского. Дивизия эта сейчас находилась в оперативном подчинении у Рыбалко.

Армейские инженерные части взялись за наводку понтонных мостов. Около 13 часов первый из этих мостов был готов, и по нему началась переправа танков и артиллерии. Вскоре началась переправа и по второму мосту.

Немцы, видя это, попытались отчаянной контратакой сбросить с берега наши зацепившиеся на плацдармах передовые части. Было ясно, что если они не сбросят их сейчас, то сделать это после переправы наших танков уже не удастся.

Но мотострелки и пехота прочно вцепились в берег, и переправа продолжалась без перебоев.

Еще до того, как были наведены первые мосты, в 10 часов 30 минут к нам на крышу пришло известие о том, что 71-я мехбригада из армии Рыбалко, ведя бои за берлинский пригород Шенефельд, продолжала

одновременно с этим наступать на восток и в 10.30 вышла с запада к Бонсдорфу — населенному пункту, восточная часть которого еще 23-го числа была занята частями 8-й гвардейской армии и 1-й танковой армией Первого Белорусского фронта.

Так произошло соединение войск Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов в тылу 9-й немецкой армии.

Добавлю, заглянув немного вперед, что к вечеру 24-го и пехота 61-й гвардейской дивизии армии Лучинского, ведя весь день вместе с частями 9-го мехкорпуса бои за Мариендорф, установила уже в районе Букова прочную локтевую связь с 8-й гвардейской армией Чуйкова. Этим была завершена полная изоляция 9-й армии от берлинской группировки немцев.

Около 13 часов, когда был наведен понтонный мост и первые танки переправились по нему на тот берег Тельтов-канала, я уехал с наблюдательного пункта Рыбалко.

Части 6-го гвардейского танкового корпуса и 48-й гвардейской стрелковой дивизии весь день вели бои на той стороне канала, буквально штурмуя дом за домом и медленно, но верно продвигаясь в город. К концу дня они прошли по улицам местами два, а местами два с половиной километра.

Еще когда я был у Рыбалко, он принял решение, в связи с удачным форсированием Гельтов-канала на участке 6-го гвардейского танкового корпуса, переправить здесь, через эти же переправы, и другие свои корпуса — 7-й и 9-й. Хотя 7-й гвардейский корпус на своем участке тоже частично форсировал канал и захватил небольшой плацдарм в районе Штонддорфа, но расширять небольшой плацдарм при яростном сопротивлении противника не было никакого расчета. Проще было переправиться на уже захваченные 6-м корпусом крупные плацдармы.

Переправа шла весь день, вечер и ночь. Ночью 24 апреля войска Рыбалко, форсировав канал, прорвали внутренний оборонительный обвод немцев, прикрывавший центральную часть Берлина с юга, и ворвались в Берлин.

Так выглядел в нашем боевом донесении, отправленном ночью в Ставку, этот один из основных итогов дня.

В 13 часов с минутами я уехал с наблюдательного пункта Рыбалко на его основной командный пункт. Он размещался теперь в Цоссене, в бывшей ставке главного штаба сухопутных войск германской армии. Но, разумеется, не в подземельях, а в наземном городе. Там, на восточной окраине Цоссена, были новенькие коттеджи — квартиры офицеров немецкого генерального штаба, оставшиеся совершенно целыми.

Павел Семенович Рыбалко предоставил мне для отдыха один из этих коттеджей, чтобы я мог, так сказать, прочувствовать все те удобства, которыми пользовались офицеры немецкого генерального штаба в те времена, когда им еще не снилось, что мы можем сюда прийти. Но от отдыха мне по здравом размышлении пришлось отказаться. В отведенном мне коттедже я лишь на скорую руку пообедал и поехал дальше — на свой передовой командный пункт к Пухову с тем, чтобы после небольшой остановки ехать дальше, в штаб фронта.

Я чувствовал необходимость двинуться в обратный путь пораньше, потому что дороги были забиты, а события, происходившие на левом фланге фронта, продолжали меня беспокоить. Интересовало меня также и что происходит у Лелюшенко.

Пока я находился у Рыбалко, мне один раз удалось переговорить с Лелюшенко по телефону. Он доложил, что подошел к Тельтов-каналу западнее Рыбалко и делает попытки переправиться, но встречает сильное сопротивление.

Я его информировал о том, что войска Рыбалко переправляются успешно, и намекнул, что будет неплохо, если и он в свою очередь рокирует войска, переправится через Тельтов-канал по следам Рыбалко, а затем вернет войска на запад, в свою полосу, уже по северной стороне канала. Лелюшенко не оставил этот намек без внимания и, воспользовавшись добрым советом, этой же ночью так и поступил, избавив себя от многих лишних жертв.

Заехав на свой передовой командный пункт к Пухову и получив там некоторые срочные информации, я не теряя времени двинулся дальше, около 17 часов был уже в штабе и ознакомился с обстановкой, сложившейся к этому времени на всем протяжении фронта.

Две бригады танкистов Лелюшенко, наступая на Потсдам, овладели населенным пунктом Нуавес — теперь всемирно известным как контрольно-пропускной пункт в Западный Берлин.

К вечеру Лелюшенко вышел к реке Хавель. Потсдам разделен этой рекой пополам, и Лелюшенко удалось в этот день захватить только его юго-восточную часть, потому что все мосты через Хавель были взорваны немцами. Приходилось готовиться к форсированию.

Шестой гвардейский мехкорпус армии Лелюшенко, успешно наступая к северу и северо-западу, продвинулся на восемнадцать километров на Бранденбург и тоже вышел к реке Хавель, в другом месте. Одна из его бригад во второй половине дня уже ворвалась на восточную окраину Бранденбурга.

К этому же времени на левом фланге Лелюшенко и на правом фланге Пухова начала складываться новая обстановка, возникновение которой мы предвидели. Как я уже упоминал, 22 апреля Гитлер отдал приказ 12-й армии генерала Венка, снятой с Западного фронта, о наступлении на Берлин с запада и юго-запада.

Хотя в эту армию входили уже несколько потрепанные части, все же масштабы группировки, пытавшейся прорваться к Берлину, были весьма внушительны. В 12-ю армию Венка входили: 41-й танковый корпус, 39-й армейский корпус, 20-й армейский корпус и 48-й танковый корпус.

Днем 24-го армия Венка предприняла первые танковые атаки на участке Беетлиц — Тройенбритцен, стремясь прорвать позиции 5-го гвардейского механизированного корпуса генерала Ермакова и частей 13-й армии, только что перед этим подошедших и своим флангом сомкнувшихся с танкистами.

Танкисты Ермакова, выполняя заранее поставленную перед ними задачу — при всех обстоятельствах прочно обеспечивать с запада левый фланг армии Лелюшенко, — в течение дня отразили несколько ожесточенных атак, предпринятых танками, пехотной дивизией «Теодор Кернер» и 243-й бригадой штурмовых орудий.

Вскоре после начала немецких атак на командный пункт генерала Ермакова приехал сам командарм Лелюшенко и командир штурмового авиационного корпуса генерал Рязанов. Оба они со своего наблюдательного пункта — с крыши одного из домов на окраине Тройенбритцена — сами нацеливали штурмовики на танковые группировки наступавших войск 12-й армии Венка.

Штурмовики корпуса Рязанова, имевшие большой опыт борьбы с танками, и на этот раз превосходно показали себя на поле боя и, парируя удар достаточно сильной и крупной немецкой группировки, оказали неоценимую услугу не только 5-му гвардейскому мехкорпусу и армии Лелюшенко, но и всему нашему фронту в целом.

Когда я возвращался в штаб фронта, я уже имел первые сведения об атаках армии Венка. Добравшись до штаба, я узнал, что дела идут

вполне благополучно для нас. 5-й гвардейский мехкорпус организовал систему обороны и, поддержанный артиллерией и штурмовиками, подпертый с фланга подошедшими частями армии Пухова, удачно отбил все атаки немцев.

Армия Венка, которая по замыслу Гитлера должна была спасти Берлин, понесла за время первых атак тяжелые потери, но никакого успеха не добилась.

А Гитлер в это время сидел в имперской канцелярии и непрерывно требовал докладов: как наступает армия Венка?

Я упомянул о командире 1-го штурмового авиационного корпуса генерал-лейтенанте Василии Георгиевиче Рязанове. Хочу сказать о нем несколько подробнее.

Это был один из лучших авиационных начальников, с которыми мне приходилось работать в бытность мою командующим фронтом, человек своеобразной военной судьбы. Я знал его издавна, еще по 17-й Нижегородской дивизии, которой командовал в тридцатые годы. В те годы Рязанов был инструктором политотдела дивизии, весьма образованным и знающим свое дело. В середине тридцатых годов он поступил в Военно-воздушную академию, кончил ее, затем кончил курсы усовершенствования, командовал рядом частей и соединений в авиации. Одно время командовал бригадой, которая, как образцовая авиационная часть, существовала при Воздушной академии имени Жуковского.

Сравнительно поздно начав летать, он летал сам, и летал хорошо.

Так он за свою жизнь в армии прошел как бы две служебных лестницы — сначала политработника, а потом авиационного командира.

Во время войны он был командиром авиационного корпуса — сначала в составе Второго Украинского фронта, а потом Первого. Он был исключительно добросовестен в выполнении боевых заданий, которые принимал на себя. Рязанов никогда не знал скидок на метеорологию и не любил ссылаться на технические условия. Его штурмовики штурмовали врага и в дурную погоду, штурмовали всегда и везде, преодолевая любые препятствия.

Впервые мне запомнились и понравились действия Рязанова во время форсирования Днепра, на Втором Украинском фронте. Это было в районе Переволоки, там, где когда-то переправлялся через Днепр бежавший после полтавской битвы Карл XII. Здесь спустя двести тридцать лет переправлялись и мы. Место было удобно для переправы, но обстановка сложилась трудная.

Седьмая гвардейская армия под командованием генерал-полковника Михаила Степановича Шумилова переправилась на ту сторону и зацепилась за берег, но, фигурально выражаясь, у армии голова и туловище были уже на берегу, а ноги еще в воде.

Немцы яростно старались вышибить Шумилова с этого маленького плацдарма. В один из дней положение настолько обострилось, что он позвонил мне и сказал: «Дальше держаться, очевидно, не смогу. Прошу разрешения уйти с плацдарма». Тогда я сам вылетел на У-2 и добрался к командному пункту Шумилова, находившемуся буквально у самой воды, прямо напротив плацдарма.

Здесь же, на наблюдательном пункте, находились два командира авиационных корпусов: Рязанов — штурмовик и Подгорный — истребитель.

Неприятельская авиация непрерывно и ожесточенно билась и по плацдарму, и по наблюдательному пункту Шумилова, и по переправам, и по тылам. Положение у Шумилова действительно сложилось крайне трудное. Вообще-то говоря, Шумилов в обороне был мастер: если раз зацепился — значит, все, не уйдет. Уже одно то, что он запросил разре-

шения уйти с плацдарма, было показателем той силы, с которой на него жали.

Немцы шли волна за волной, притом летали они почти безнаказанно. А наши истребители вели себя довольно пассивно, да и было их слишком мало. Я поначалу сказал пару нелестных слов командиру истребительного корпуса, но, к сожалению, дело от этого не улучшилось. А если и улучшилось, то в слишком малой степени.

Через некоторое время прилетела большая группа «фокке-вульфов» и начала бесчинствовать над переправой, расстреливая все живое.

Как раз в этот момент штурмовики, отбомбившись по немецким танкам, возвращались на свой аэродром. Рязанов находился рядом со мной. Я не выдержал и сказал ему:

— Рязанов! Нельзя допустить, чтобы эти «фокке-вульфы» господствовали над полем боя. Поверните своих штурмовиков. Разгоните их.

И Рязанов, не колеблясь, отдал приказание своим штурмовикам. В обстановке полной неожиданности этого маневра для немцев штурмовики всей девяткой вступили в бой, сбили не то три, не то четыре «фокке-вульфа», а остальных разогнали.

А через час-другой и Подгорный навел порядок у себя в корпусе, и его истребители исправнее, чем раньше, стали прикрывать переправы.

Во второй раз я с удовольствием наблюдал действия штурмовиков Рязанова в период Дуклинской операции, когда 38-я армия генерала Москаленко прорывалась через Карпаты, а Рязанов поддерживал наступление пехоты и танков с воздуха. Его штурмовики буквально ползали по горам, непрерывно висели над полем боя, брали на себя значительную часть трудностей этой горной войны.

Теперь под Тройенбритценом — своей помощью с воздуха корпусу Ермакова — Рязанов вновь сделал большое дело: помог не допустить прорыва 12-й армии Венка навстречу уже начавшей пытаться к этому времени вырваться из окружения 9-й армии Буссе.

Летчики корпуса Рязанова были лучшими штурмовиками, каких я только знал за весь период войны. Сам Рязанов был командиром высокой культуры, высокой организованности, добросовестнейшего отношения к выполнению своего воинского долга. Он умер после войны еще сравнительно молодым человеком, и я тяжело переживал эту утрату...

Пока штурмовики Рязанова вместе с танкистами Ермакова под руководством самого командарма 4-й Лелюшенко отбивали атаки армии Венка в районе Тройенбритцена, правый фланг армии Лелюшенко завершил маневр на окружение берлинской группировки немцев. К вечеру расстояние, отделявшее западнее Берлина войска Лелюшенко от войск Первого Белорусского фронта, не превышало десяти километров.

В это время на внутреннем кольце нашего окружения, замыкавшем 9-ю армию Буссе, войска Гордова вели бои примерно на прежних рубежах, начиная при этом чувствовать, как на некоторых направлениях немцы начинают искать слабое место, чтобы попытаться организовать прорыв.

Такое же давление начали испытывать на себе и примыкавшие к войскам Гордова дивизии 28-й армии Лучинского.

На центральном участке фронта 13-я армия Пухова, частью сил поддерживая танкистов против армии Венка, двумя корпусами наступала вдоль берега Эльбы на запад. К концу дня войска Пухова, продвинувшись на десять километров, вышли на окраины Виттенберга. Пухов доносил мне об этом по телефону в несколько более торжественном тоне, чем обычно, упомянул о красоте города Виттенберга и о замечательном Виттенбергском монастыре.

Признаюсь, я был так занят круговоротом фронтовых дел, что не сразу вспомнил, чем знаменит Виттенберг. До моего сознания это дошло с некоторым запозданием, когда Николай Павлович Пухов, объясняя мне причины своего повышенного энтузиазма, напомнил, что в Виттенберге, куда ворвались его части, похоронен Мартин Лютер.

Левее армии Пухова 5-я гвардейская армия Жадова осталась на Эльбе, на восьмидесятикилометровом фронте, только одним 34-м корпусом генерала Бакланова, а остальные части армии уже приступили к действиям против герлицкой группировки.

Кавалерийский корпус Баранова вышел на Эльбу и форсировал ее, обойдя с северо-запада город Мейссен, знаменитый великолепным саксонским фарфором.

Наша авиация сделала за день две тысячи самолето-вылетов. В воздухе было замечено двести десять немецких самолетов, из них двенадцать было сбито.

Из важных событий этого дня стоит отметить крупное перебазирование нашей авиации. До сих пор она стояла восточнее Нейссе, а теперь перебазировалась западнее, чтобы оперативнее поддерживать действия наших войск.

Перебазировались главным образом истребители и штурмовики. Бомбардировщики оставались еще на прежних местах, поскольку радиус действия у них больше и они могли работать и со старых аэродромов.

К вечеру в штаб фронта поступили сведения о том, что герлицкая группировка немцев в основном остановлена.

В 12 часов ночи позвонил командарм 6-й Глуздовский и, как обычно, стал нажимать на меня, добиваясь разрешения вести более активные действия против Бреслау. И я ему это в очередной раз не разрешил. По численности к этому времени его армия была меньше, чем окруженная в Бреслау немецкая группировка, но Глуздовский имел значительное превосходство в артиллерии и в его распоряжении находилось некоторое количество танков для маневров в случае попыток немцев прорваться из окружения.

Конечно, действия армии Глуздовского не сводились только к патрульной службе; полностью полагаться на бездействие противника не приходилось, следовало напоминать ему о себе, тревожить, бить артогнем, вообще делать его жизнь в окружении трудной. Но конец войны был уже не за горами, и я считал, что каждый день предпринимать атаки за Бреслау нет никакой необходимости. Раз нам не удалось с ходу, в первые дни, взять этот город-крепость, дальнейшие постоянные атаки я считал излишними. Надо было держать его под прицелом и от времени до времени напоминать немцам ультиматумами, что положение их безнадежно и выхода у них нет.

Бреслау к этому времени мало беспокоил меня. Гораздо большее внимание к себе вызывала окруженная юго-восточнее Берлина 9-я армия Буссе. Сейчас, когда все пространство между ней и Берлином было уже заполнено нашими войсками и попытки ее прорыва на Берлин были уже немислимы, у меня все тверже складывалось ощущение, что, судя по всем данным, она будет искать себе выхода на юго-запад, через наш Первый Украинский фронт. И мы должны были оказаться подготовленными к этому.

Если брат весь этот интересный, утомительный день в целом, то главным в нем было то, что начались бои непосредственно за Берлин. В этот день, условно говоря, закончился первый этап берлинского сражения — прорыв его обороны и окружение берлинской группировки двойным кольцом наших войск. Отныне начинался последний, завершающий

этап битвы, связанной с овладением Берлином и полным и окончательным поражением гитлеровской Германии.

В ходе операции войск Первого Украинского фронта это был день переломный в нашу пользу на всех направлениях. Утомительный и хороший день. Такой, за успех которого — закончив наконец все дела и глядя на ночь — не грех бы и выпить чарку. Однако ни на что постороннее, даже на чарку перед сном, времени не оставалось. Да и мое тогдашнее состояние здоровья этого не позволяло.

* * *

Прежде чем перейти к событиям, развернувшимся на следующий день, 25 апреля, хочу немножко отвлечься в прошлое.

Вспоминая генерала Рязанова, начавшего свой путь политработником, потом ставшего летчиком и крупным авиационным командиром, я сказал, что это путь своеобразный, хотя в нашей армии и не столь уж редкий. Говоря так, я в какой-то мере имел в виду и себя. Начав военную службу еще в царской армии солдатом-артиллеристом, я, прежде чем пройти свой путь от командира полка до командующего фронтом, был в годы гражданской войны комиссаром бригады, затем — комиссаром 2-й Верхне-Удинской дивизии Забайкалья, а впоследствии комиссаром 17-го Приморского корпуса на Дальнем Востоке. Так что и в моем боевом пути несколько лет были целиком отданы политработе.

Но сейчас я заговорил об этом лишь для того, чтобы вспомнить об одном интересном и даже замечательном человеке, с которым меня свела в те годы судьба по дороге на X съезд партии.

Я говорю о комиссаре одной из дальневосточных партизанских бригад Александре Булыге, который впоследствии стал известен всей стране как писатель Александрович Фадеев.

Тогда мы оба, и он и я, были избраны от армейских партийных организаций Дальнего Востока на X съезд партии и в течение почти целого месяца ехали вместе от Читы до Москвы в одном купе, ели из одного котелка — ложки, правда, были разные, у каждого своя. Оба мы были молоды: мне шел двадцать четвертый, ему — двадцатый; оба были расположены друг к другу, чувствовали взаимное доверие.

Александр Булыга нравился мне своим открытым, прямым характером, дружеской простотой, располагавшей к близким и простым товарищеским отношениям. Эта дружба, завязавшаяся во время долгого пути через Сибирь, продолжалась и во время съезда.

После сообщения Ленина о тяжелом положении в Кронштадте и призыва направить часть делегатов съезда для усиления наших частей, приступающих к ликвидации кронштадтского мятежа, и Фадеев и я, не сговариваясь, подали записки в президиум о том, что готовы добровольно ехать под Кронштадт.

Уже не помню сейчас, поехал ли еще кто-нибудь из нашей дальневосточной делегации, — во всяком случае под Кронштадтом я встречался только с Фадеевым.

Во время съезда мы жили вместе в Третьем Доме Советов. Наши койки стояли рядом. Записавшись, мы поехали в Петроград в одном поезде. Между прочим, это был поезд Михаила Васильевича Фрунзе.

Там, в Петрограде, делегатов съезда распределили на два направления: часть на ориенинбаумское, а часть на сестрорецкое. И снова мы с Фадеевым оказались вместе — оба попали на сестрорецкое направление. И там мы были направлены в одну группу, готовившую наступление на номерные форты Кронштадта. Лишь в этой группе мы оказались уже в разных подразделениях. Фадеев попал в пехоту, а я как бывший артиллерист — в артиллерию.

Положение было сложное, настроения неустойчивые, некоторые курсанты отказывались наступать, некоторые артиллеристы отказывались стрелять. Надо, правда, сказать, что борьба с крупнокалиберной крепостной артиллерией и с восставшими линейными кораблями «Петропавловск» и «Севастополь», вооруженными двенадцатидюймовыми орудиями, была трудной борьбой. Прямого эффекта огонь нашей полевой артиллерии дать, конечно, не мог, но косвенный эффект был тоже важным делом. Наступавшая по льду пехота должна была чувствовать, что она поддержана артиллерией. И вся наличная полевая артиллерия была привлечена для борьбы с мятежной крепостью и главным образом для сопровождения огнем своих войск, пока они двигались по льду Финского залива.

Наблюдательный пункт нашей батареи был на косе Лисий Нос. Где-то около этого Лисьего Носа мы и расстались тогда с Фадеевым, который ушел в пехоту политбойцом. А я остался, тоже политбойцом, на этой батарее.

Наступление было очень тяжелое. Снег, лежавший поверх льда, растаял. Но под водой лед был еще крепким. Хотя мы начали наступление в темноте и в тумане и хотя все были одеты в белые халаты, восставшие все-таки обнаружили наступавшую в цепях пехоту и открыли по ней заградительный огонь с фортов и с кораблей. Канонада буквально глушила нас мощью бризантных двенадцатидюймовых снарядов. Это и на берегу не слишком приятно, когда хлопнет такая дура, в чьей воронке и в ширину и в глубину можно разместить целый двухэтажный дом, а на льду-то еще чувствительнее...

Но самое трагичное заключалось не в том, что рвались тяжелые снаряды, а в том, что каждый снаряд, независимо от того, наносил или не наносил он поражение, падая на лед, образовывал огромную воронку и ее почти сейчас же так затягивало битым мелким льдом, что она переставала быть различимой. В полутьме, при поспешных перебежках под огнем, наши бойцы то и дело попадали в эти воронки и тут же шли на дно.

Так нам с Фадеевым пришлось стать участниками небывалого в истории войн события, когда первоклассная морская крепость, дополнительно обороняемая линейными судами, была взята штурмом сухопутными войсками.

Это было нелегко. Но революционный энтузиазм был настолько велик, что все, буквально все, начиная от руководившего операцией Тухачевского и лично участвовавших в боях Ворошилова и Дыбенко до рядовых бойцов, в том числе и нас, политбойцов, делегатов съезда, горели одним желанием: поскорей покончить с мятежным Кронштадтом, поставить точку на этом событии, крайне неприятном и тревожном в тот исторический момент для всей Страны Советов.

В бою я Фадеева не видел. Каждый был увлечен своим делом, и пока мы до конца не выполнили задачу, пока Кронштадт не был взят, ни я, ни остальные не в состоянии были думать ни о чем другом.

После взятия Кронштадта, вернувшись на берег и попав на командный пункт дивизиона, я узнал, что полученная телефонограмма содержит приказ делегатам X съезда возвратиться в Петроград. Наша миссия закончилась. Я позже других прибыл из Кронштадта на берег и позже других попал на железнодорожную платформу Дубки, откуда надо было ехать на Петроград. Там я встретил Фадеева, который тоже немного задержался.

Я заметил повязку. Оказалось, его немножко поранили там, на льду. Ранение было легкое, осколочное, и он так и не ушел все время боев из строя. На голове у него была большая японская — корзиной — трофейная шапка, а тут еще и повязка — вид вдвойне боевой.

В Петроград мы возвратились вместе. Большинство делегатов уже уехало к этому времени в Москву. Мы пошли в политуправление Петроградского военного округа, предъявили свои делегатские мандаты, и нам выписали один на двоих документ о том, что мы возвращаемся в Москву, в распоряжение ЦК.

Когда там, в Москве, я входил в здание ЦК партии, не скрою, у меня были такие мысли, что мятеж теперь подавлен и война кончена. Правда, там, на Дальнем Востоке, еще остались японцы и белогвардейцы, но возвращаться в Приморье мне уже не хотелось. Мне казалось, что я отвоевал свое, что моя военная миссия выполнена и я вправе попроситься на гражданскую мирную работу.

Именно это я и сказал в ЦК. Но со мной не согласились. «Нет, дорогой товарищ, направляйтесь в распоряжение ПУРа, а ПУР определит, куда и кем вам ехать».

ПУР определил это, и я так и остался на всю жизнь в армии.

Когда, побывав в ЦК, мы с Фадеевым вернулись в Третий Дом Советов, то обнаружили, что вернувшиеся из Петрограда делегаты еще никуда не уехали. Хотя съезд уже кончился, но шел разговор о том, что вот-вот должно быть для делегатов съезда, уезжавших в Кронштадт, специальное выступление Ленина. Возможности послушать Ленина мы ждали с воодушевлением и даже, сознаюсь, рассматривали это как заслуженную награду за наше пребывание под Кронштадтом.

И действительно, вскоре в Свердловском зале Ленин сделал нам сообщение о замене продрозверстки продналогом, по существу повторив тот основной доклад, который делал на съезде.

В переполненном зале было немало раненых с повязками. И среди них — Фадеев.

Ильич обращался к нам, а мы слушали его и были вдвойне довольны: и тем, что выполнили в Кронштадте свою задачу, и тем, что сидим здесь живые и здоровые и слушаем Ленина.

Мы чувствовали, что впереди — упорная борьба для проведения той линии, которая содержалась в докладе Ленина, и что в особенности решительно придется бороться с троцкистами, — дискуссия с ними развернулась еще до съезда.

После выступления Ленина кто-то из нас предложил сфотографироваться. Владимир Ильич охотно согласился, мы вышли из здания правительства вниз, на улицу, и тут же сфотографировались. На этом снимке делегатов X съезда, возвратившихся из-под Кронштадта и снявшихся вместе с Лениным, можно найти и нас с Фадеевым. Оба мы с ним были тогда комиссарами гражданской войны, у обоих за плечами был во многом схожий путь, а впереди были пути совершенно разные, которые мы в то время оба вряд ли предвидели.

Вскоре я потерял Фадеева из виду. Меня снова все-таки послали на Дальний Восток; я вернулся в дивизию, воевал там, пока не покончили со всей белогвардейщиной, и лишь в двадцать третьем году вместе с 17-м Приморским корпусом попал с Дальнего Востока на Украину.

Примерно в это время или, может быть, чуть позднее я прочитал в каком-то журнале первую напечатанную вещь Фадеева. Но только после «Разгрома» я узнал, что это тот самый Булыга, которого я хорошо знал.

«Разгром» на меня как на человека, знавшего характер гражданской войны на Дальнем Востоке, произвел сильное впечатление своей правдивостью, напомнил многих людей, с которыми я встречался в жизни.

Впоследствии, когда я учился в Академии Фрунзе, мне случилось однажды делать доклад по книге «Разгром». И, надо сказать, я делал

его с большим внутренним волнением и, помимо разговора о книге, позволил себе некоторые личные воспоминания об авторе как о комиссаре бригады и делегате X съезда.

За двадцатилетие между гражданской и Отечественной войной я встретил Фадеева только один раз — на одном из съездов, и то мельком, не помню уж, почему так сложилось.

И вот — Великая Отечественная война. Я команду 19-й армией. Развертываются бои под Смоленском и на Ярцевском направлении. И вдруг ко мне являются три писателя — Александр Фадеев, Михаил Шолохов и Евгений Петров.

Наша встреча в эти очень тяжелые дни была, как я считаю, полезной и для меня, и для них. Для них она была полезна тем, что они увидели кусочек войны, а для меня тем, что я почувствовал: страна правильно понимает, как нелегко нам приходится, и вот лучшие ее писатели приходят к нам, солдатам, идут на передовую, в боевые порядки. Не скрою, в те дни это было для меня большой моральной поддержкой. Кроме всего прочего, это создавало уверенность, что передовая наша интеллигенция готова до конца разделить нашу участь и, веря в окончательную победу, выдержать тот страшный натиск немцев, который уже привел их на дальние подступы к Москве.

Уезжая, все трое обещали написать о своих встречах с воинами 19-й армии. Но, к сожалению, это обещание выполнил впоследствии только Евгений Петров, написав в «Огоньке» очень теплую, хорошую корреспонденцию.

Второй раз во время войны я встретился с Фадеевым уже зимой 1942 года, когда командовал Калининским фронтом. Калинин был уже взят. Александр Александрович приехал ко мне на фронт в ходе дальнейшей наступательной операции.

Мне приходилось встречаться с Фадеевым и после войны, но в данном случае я сознательно хочу ограничиться только теми воспоминаниями о нем, которые связаны с двумя войнами: гражданской и Отечественной.

25 апреля.

Армия Рыбалко и корпус 28-й армии Лучинского в течение всего дня вели ожесточенные бои в южной части Берлина. На долю танкистов выпала необычная для них задача — штурмовать укрепленный город, брать дом за домом, улицу за улицей.

Танкисты Рыбалко уже много раз брали крупные города, но при этом почти всегда делали это методом маневра, обхода, вынуждая противника к отступлению или бегству. А здесь пришлось брать пядь за пядью, да еще в условиях, когда защитники города были обильно вооружены таким опасным для танков оружием, как фауст-патроны.

Однако напор танкистов, их стремление скорей покончить с этим трудным делом привели к тому, что к вечеру этого дня они продвинулись на три-четыре километра в глубь Берлина, очистив от немецких войск районы Целендорфа и Лихтерфельде, и завязали бои за Штеблиц.

Жестокая борьба, в которой один штурм сменялся другим, потребовала от нас создания специальной боевой организации — штурмовых отрядов. В каждый такой отряд во время боев за Берлин входило от взвода до роты пехоты, три-четыре танка, две-три самоходки, несколько орудий крупных калибров до двухсот трех миллиметров, две-три установки тяжелых «эрэсов»¹, группа саперов с мощными подрывными средства-

¹ Установка реактивной артиллерии.

ми — а они, надо сказать, играли во время боев в Берлине особенно большую роль — и несколько орудий артиллерии сопровождения для работы прямой наводкой, восьмидесятипятимиллиметровые и двадцатидвухмиллиметровые пушки и стопятидесятидвухмиллиметровые и двеститрехмиллиметровые пушки-гаубицы.

Чем дальше шли бои, тем все больше и органичнее соединяли мы танкистов с пехотой. Танк в условиях городских боев поставлен в трудное положение. У него ограниченная видимость, особенно на узких улицах, в густонаселенных кварталах. А пехота видит шире, и хотя в ряде случаев, выручая танкистов, она несла серьезные потери, но нам пришлось идти на это. При всем мужестве своих экипажей, танкисты сами по себе не в состоянии были добиться решительного успеха в уличных боях.

Пока Рыбалко дрался в Берлине, армия Лелюшенко продолжала вести бои с немцами за переправы через Хавель юго-восточнее Потсдама. 6-й гвардейский мехкорпус Лелюшенко форсировал Хавель и в 12 часов дня соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии генерала Перхоровича. Теперь уже и западнее Берлина войска Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов вошли в непосредственную связь, замкнув кольцо окружения западнее Берлина.

После этого соединения 6-й мехкорпус Лелюшенко вместе с 47-й армией Перхоровича продолжал наступление на Потсдам.

На крайнем правом фланге фронта армия Гордова продолжала ожесточенные бои против франкфуртско-губенской группировки.

Положение 9-й армии немцев, тесно зажатой теперь между двумя фронтами — Первым Белорусским, наступавшим на нее с востока и с севера, и Первым Украинским, стоявшим на ее пути с юга и юго-запада, — становилось все более катастрофическим.

Но все же 9-я армия продолжала сохранять боеспособность: 25 апреля она производила перегруппировку и продолжала прощупывание тех мест, где немцы надеялись осуществить прорыв и идти на соединение с армией Венка.

На западе армия Пухова и 5-й мехкорпус армии Лелюшенко на прежних рубежах продолжали вести бои с войсками армии Венка. Здесь на довольно широком фронте Венк развернул несколько пехотных дивизий, поддержанных танками.

Думаю, что ни командующий 9-й армией немцев, ни командующий их 12-й армией, ни командующий группой армий «Висла» не могли не видеть реального положения, заведомо делавшего невыполнимыми те планы, которые они все-таки так или иначе пытались выполнять.

В своих послевоенных сочинениях немецкие генералы, участвовавшие в этой операции, в том числе генерал Типпельскирх в своей «Истории второй мировой войны», все неразумные распоряжения этого периода ваяют главным образом на голову Гитлера, а отчасти на головы Кейтеля и Йодля.

В значительной мере это верно. В самом деле, Кейтель, приняв на первых порах участие в организации наступления армии Венка, успел дезинформировать, как говорится, обе стороны. Перед Венком он не раскрыл полностью того трагического положения, в котором уже оказались и окруженная 9-я, и полуокруженная севернее Берлина 3-я армия немцев, вселяя в него, таким образом, напрасные надежды. А докладывая Гитлеру, заведомо преувеличил реальные возможности армии Венка.

В результате Гитлер продолжал верить в реальность своих планов — в то, что соединенные усилия 9-й, 12-й и 3-й армий еще могут спасти его вместе с Берлином. Очевидно, именно с этими надеждами

и было связано в значительной мере его решение оставаться в Берлине. И, надо сказать, что какие бы фантастические предпосылки у этого решения ни были, в нем была и доля логики.

Надо к этому добавить и его надежды на то, чтобы в последний момент столкнуться нас с нашими союзниками.

Новые попытки армии Венка в районе Беетлиц — Тройенбритцен не увенчались успехом и 25 апреля. Атаки были яростные, но отражали мы их весьма успешно, неся при этом минимальные потери.

Генерал Рязанов, поддерживая в этот день 5-й гвардейский мехкорпус Ермакова, особенно удачно использовал своих штурмовиков. Они действовали волна за волной, как правило, на бреющих высотах, забрасывая наступающие немецкие танки мелкими противотанковыми бомбами. Теперь наступавшие немецкие танковые части испытывали на своей шкуре то, что когда-то, в сорок первом и в сорок втором, испытывали наши танкисты, когда их душила с воздуха господствовавшая немецкая авиация.

Похоже было на то, что для Венка этот день стал днем психологического перелома. Он продолжал выполнять полученное приказание, но уже чувствовалось по действиям, что крупной реальной цели за этим наступлением не стоит, что оно, так сказать, продолжается для очистки совести.

События развивались так, что и все попытки деблокировать Берлин, и все усилия разрезать Первый Украинский фронт пополам и отсечь его ударную группировку от остальных войск к 25 апреля явно потерпели крах. Ничто уже не могло вывести из западни, в которой они очутились, ни Гитлера, ни гитлеровский режим, или, верней, те остатки его, которые гнездились под развалинами Берлина.

На путях отступления немецкой армии столбы и деревья увешаны были трупами солдат, казненных якобы за трусость в бою, за самовольный отход с позиций.

Я употребил слово «якобы», потому что, по моим впечатлениям, немецкие солдаты, как правило, дрались в сложившейся отчаянной обстановке упорно. И не поведение Гитлера, или Кейтеля, или Йодля, а именно их солдатское поведение на передовой оставалось в эти дни почти единственной реальной силой, оттягивающей на считанные дни и часы наступление неизбежного исхода.

Вешая своих ни в чем не повинных солдат, фашистская верхушка стремилась хоть еще на какой-то срок оттянуть собственный конец. Я говорю в самом прямом смысле — о физической смерти. Потому что моральная ее смерть уже давно наступила.

Что же сказать обо всем этом? Только то, что это было достаточно подло и достаточно глупо.

Непосредственно в самом Берлине оказалась окруженной группировка немецких войск численностью примерно в двести тысяч человек. Она состояла из остатков шести дивизий 9-й армии, одной охранной бригады СС, многочисленных полицейских подразделений, десяти артиллерийских дивизионов, бригады штурмовых орудий, трех танковых истребительных бригад, шести противотанковых дивизионов, одной зенитной дивизии, остатков еще двух зенитных дивизий и нескольких десятков батальонов «фольксштурма». Определяя численность этой группировки, надо учесть, что каждый день боев она в большей или меньшей мере пополнялась за счет населения.

Все население Берлина, которое можно было поднять на борьбу против наших наступающих войск, было на эту борьбу поднято. В оружии недостатка не было. Кроме того, гражданское население использо-

валось в качестве рабочей силы для саперных работ, а также как подноски боеприпасов, как санитары и наконец как разведчики.

Говоря о некотором количестве людей, сражавшихся с нами на улицах Берлина в гражданской одежде, следует отметить и обратное явление, характерное для самых последних дней и для периода капитуляции. Часть солдат и офицеров немецкой армии, стремясь избежать плена, переодевалась в гражданское и смешивалась с местным населением.

А в общем,— в этом случае я опираюсь на данные органов разведки Первого Белорусского фронта — цифра участников обороны Берлина двести тысяч не может претендовать на абсолютную точность. Вероятнее, что она не выше, а ниже действительной цифры.

Двадцать пятого апреля в Берлине шли ожесточенные бои. Армия Чуйкова к исходу дня уже вела бои в юго-восточных кварталах центральной части Берлина и в районе Мариендорфа соединилась своим левым флангом с армией Рыбалко.

Рыбалко, усиленный тремя дивизиями армии Лучинского, очистил от противника юго-западные пригороды Берлина и теперь вел бои за пригород Шмаргендорф, наступая навстречу 2-й гвардейской танковой армии генерала Богданова. Лелюшенко продолжал вести бои за Потсдам и Бранденбург.

Коротко хочу сказать о сложностях, которые возникли — и, добавлю, не могли не возникнуть — на этом этапе Берлинской операции в нашем взаимодействии с соседом — с Первым Белорусским фронтом. Чем дальше продвигались войска обоих фронтов к центру Берлина, тем больше возникало трудностей, особенно в применении и нацеливании авиации.

Во время уличной борьбы в городе вообще очень трудно ориентировать точные удары авиации именно по тем объектам, которые в данный момент должны подвергнуться атаке. Все в развалинах, все окутано пламенем, дымом, пылью. Сверху вообще трудно разобрать — где что.

По докладам, полученным мною от Рыбалко, я понял, что он то здесь, то там несет потери от ударов нашей собственной авиации. Трудно было в таких случаях отличить, авиация какого именно фронта бьет по своим в сутолоке уличных боев.

Когда на фронте вследствие тех или иных оплошностей вдруг ударяют по своим, а тем более наносят потери — это всегда воспринимается крайне остро и драматически. Особенно остро это воспринималось во время боев за Берлин, тем более что донесения такого рода в течение всего дня 25-го шли одно за другим, и, очевидно, не только ко мне, но и к Жукову.

Командующие обоих фронтов обратились в Ставку Верховного Главнокомандования с тем, чтобы в дальнейшем внести ясность в вопросы, связанные с дальнейшей организацией взаимодействия войск, воюющих в Берлине, и исключить никому не нужные споры.

В результате директивы Ставки была установлена новая разграничительная линия, проходившая через Миттенвальде, Мариендорф, Темпельхоф, Потсдамский вокзал. Все эти пункты, как выражаются в военных документах,— включительно для Первого Украинского фронта.

Это было вечером. К моменту установления этой разграничительной линии целый корпус Рыбалко оказался далеко за ее пределами, в полосе, которая теперь была полосой Первого Белорусского фронта. Предстояло вывести его из центра Берлина, за разграничительную линию. Но это легче сказать, чем сделать. Каждый, кто воевал, легко поймет, как психологически трудно было Рыбалко вывести своих танкистов за установленную линию. И в самом деле: они первыми вошли в прорыв, первыми повернули к Берлину, захватили Цоссен, форсировали

Тельтов-канал, с окраин Берлина после жесточайших и кровопролитных боев прорвались к его центру, и вдруг в разгаре последней битвы получить приказ сдать свой участок соседу,— легко ли пережить это? Конечно, приказ есть приказ, и его, разумеется, необходимо безоговорочно выполнить. Он и был выполнен, но людям это далось нелегко.

Как мы видим, день 25 апреля был полон крупных событий. Но самое крупное из них произошло не в Берлине, а на Эльбе, в 5-й гвардейской армии генерала Жадова, где 34-й гвардейский корпус генерала Бакланова встретился с американскими войсками. Так здесь, в центре Германии, германская армия оказалась окончательно рассеченной пополам.

В Берлине, около Берлина и севернее его остались части 3-й, 9-й, 12-й армий, а на юге — вся группа армий «Центр», находившаяся под командованием фельдмаршала Шернера.

Хотя само соединение произошло в спокойной обстановке, без боев с противником, но оно явилось результатом многолетней борьбы, множества операций и сражений, успех каждого из которых приближал эту встречу на Эльбе. И наконец она состоялась.

Приведу короткую выписку из донесения, которое мы послали в Ставку:

«25 апреля сего года в 13.30 в полосе 5-й гвардейской армии, в районе Стрела, на реке Эльба, части 58-й гвардейской дивизии встретились с разведгруппой 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской армии.

Того же числа в районе Торгау на реке Эльба головным батальоном 173-го гвардейского стрелкового полка той же 58-й гвардейской дивизии встретились с другой разведывательной группой 69-й пехотной дивизии 5-го американского корпуса 1-й американской армии».

Мне давно уже хотелось хотя бы коротко остановиться на деятельности командующего 5-й гвардейской армией Алексея Семеновича Жадова, но, видимо, логичнее всего будет сделать это теперь, когда, правда, не закончив еще своего боевого пути — ей предстоит путь на Прагу, — армия Жадова вышла на Эльбу и первой встретилась с американцами.

Впервые я встретил Алексея Семеновича Жадова в звании генерал-лейтенанта и в должности командующего 5-й гвардейской армией, когда в июне сорок третьего года принимал войска Степного фронта. До этого его армия в составе Донского фронта воевала под Сталинградом и, в частности, на заключительном этапе боев пленила основную массу так называемой северной сталинградской группировки немцев во главе с ее командующим генерал-полковником Штреккером. Оттуда армия прибыла в состав Степного фронта и, как весь Степной фронт, находясь в резерве, занималась боевой подготовкой.

Уже при первой встрече — во время поездки по участкам подготовленной армией обороны — Жадов произвел на меня положительное впечатление ясностью, определенностью и твердостью своих суждений.

Бывает так, что проникаешься к человеку уважением и доверием с первой же встречи и сохраняешь эти чувства потом навсегда. Так было и в моих отношениях с командармом 5-й гвардейской Жадовым. Доверие к нему ни разу не было у меня поколеблено в течение всей войны, которую мы вместе прошли, — сначала на Степном, потом на Втором Украинском и наконец на Первом Украинском фронтах.

Сохранил я к нему это доверие и уважение и после войны, когда я был главнокомандующим сухопутными войсками и имел возможность оценить его в роли своего первого заместителя.

В период битвы на Курской дуге Жадов лично, как командарм, и армия, которой он руководил, вся в целом, показали примерную стойкость. Отражение немецкого удара под Прохоровкой 5-й гвардейской и 5-й танковой армиями, несомненно, было решающим событием во всей обстановке, сложившейся на южном фланге Курской битвы.

Вскоре 5-я гвардейская вышла к Днепру и, форсировав его в районе Кременчуга, захватила плацдарм на том берегу.

В декабре сорок третьего года А. С. Жадов со своей армией участвовал в проведении Кировоградской операции. Операция была локальная, рассчитанная на то, чтобы ликвидировать обращенный в нашу сторону немецкий выступ и создать более выгодные условия для проведения последующей Корсунь-Шевченковской операции. Но проводить эту локальную операцию пришлось в тяжелых условиях, зимой, в декабре, столкнувшись при этом с очень сильной немецкой обороной, густо насыщенной танковыми войсками.

Пятая армия Жадова в этой операции выполнила главную задачу по прорыву обороны и освобождению самого Кировограда. Войска армии проявили большую стойкость и воинское умение, и в значительной степени их трудам мы были обязаны успешным исходом операции.

Когда в сорок четвертом году я был переброшен командовать Первым Украинским фронтом и при планировании крупной Львовско-Сандомирской операции у фронта создавались большие резервы, — я обратился в Ставку с просьбой передать в число этих резервов и армию Жадова (находившуюся к тому времени в резерве Второго Украинского фронта на отдыхе и восстановлении).

Согласие было получено, армия Жадова вновь оказалась у меня, и здесь, на Первом Украинском фронте, мы прошли вместе с Алексеем Семеновичем весь последующий боевой путь до самого конца войны.

В дни Львовско-Сандомирской операции я долго удерживался от всяческих соблазнов ввести 5-ю гвардейскую из резерва для выполнения таких задач, которые, по зрелом обсуждении, можно было выполнить и без ее участия. И все-таки, выдержав характер, ввел 5-ю гвардейскую в дело только тогда, когда подошел действительно решающий момент сражения — когда уже на Висле шла ожесточеннейшая борьба за Сандомирский плацдарм.

Немцы стянули туда очень большое количество и пехоты, и танковых войск и ожесточенно нажимали на нас по обоим берегам. Создалось очень сложное положение, особенно на левом фланге. Тут-то я и ввел в дело 5-ю гвардейскую под командованием Жадова. И она внесла резкий перелом. Она с ходу смяла всю немецкую группировку, находившуюся перед нами на восточном берегу Вислы, расчистила путь к переправам и обеспечила их. Потом, переправившись на Сандомирский плацдарм, заняла оборону на левом фланге и, когда немцы вслед за этим трижды обрушивались на нее массированными атаками нескольких танковых дивизий, отбила все атаки, показав под руководством своего командарма исключительную стойкость, тем более заслуживающую похвалы, что в числе танков противника, кроме «фердинандов», «тигров» и «пантер», были впервые введены в бой «королевские тигры».

Алексей Семенович Жадов являл собою тип командарма, который отличается большой продуманностью и глубиной всех своих решений, который глубоко знает обстановку и все, что решает, решает обстоятельно и фундаментально. Причем эта фундаментальность не противостоит мобильности и оперативности, а удачно сочетается с ними.

В трудный послевоенный период, когда приходилось проводить крупные мероприятия по перестройке армии, внимательно исследовать опыт войны и закреплять его в уставах и наставлениях, Жадов был незаме-

нимым работником. Он знал сухопутные войска — я могу это смело утверждать — так досконально и обстоятельно, как никто другой.

И, рассказывая о завершающих операциях Великой Отечественной войны, я с глубоким удовлетворением вспоминаю среди своих ближайших соратников Алексея Семеновича Жадова — талантливое командарма, подлинного труженика войны и настоящего мастера в воспитании и обучении войск в мирное время.

26 апреля.

Бои в самом Берлине продолжались днем и ночью, и я хочу здесь, не привязывая, так сказать, эти наблюдения к определенному дню, остановиться на характере обороны Берлина, с которой нам пришлось иметь дело в ходе этих боев.

Мне приходилось встречаться с суждениями насчет того, что бои в Берлине можно было, дескать, вести с меньшей яростью, ожесточением и поспешностью, а тем самым в итоге — с меньшими потерями. В этих рассуждениях присутствует внешняя логика, но они игнорируют самое главное — реальную обстановку, реальное напряжение боев и реальное состояние духа людей. А у людей было страстное, яростное, нетерпеливое желание поскорее покончить с войною. И тем, кто хочет судить об оправданности или неоправданности тех или иных жертв, о том, можно или нельзя было взять Берлин на день или на два позже, — следует помнить об этом. Иначе в обстановке берлинских боев нельзя понять ровно ничего.

Как известно, с 24 апреля обороной Берлина командовал генерал артиллерии Вейдлинг — в прошлом командир 56-го танкового корпуса. Имперским комиссаром обороны Берлина был Геббельс, а общее руководство обороной осуществлял лично Гитлер — вместе с Геббельсом, Борманом и последним начальником своего генерального штаба Кребсом.

Геббельс возглавлял органы гражданской власти и был ответственным за подготовку к обороне гражданского населения города. Что касается Вейдлинга, то при вступлении в должность командующего обороной Берлина он получил от Гитлера достаточно категорический приказ: оборонять столицу до последнего человека.

Немцы готовили Берлин к прочной и жестокой обороне, рассчитанной на длительное время и построенной на системе сильного огня, опорных пунктов, узлов сопротивления. Чем ближе к центру, тем оборона становилась плотнее. Массивные каменные постройки с большой толщиной стен приспособлялись к длительной обороне. Окна и двери многих зданий заделывались; в них оставлялись лишь амбразуры для ведения огня.

Несколько укрепленных таким образом зданий образовывали узел сопротивления. Фланги прикрывались прочными баррикадами толщиной до четырех метров. Эти баррикады были одновременно мощными противотанковыми препятствиями. В баррикадах использовались и дерево, и земля, и цемент, и железо. Особенно укреплялись угловые здания, позволявшие вести из них фланговый и косопрямельный огонь.

Все это, с точки зрения организации обороны, было достаточно продумано. Все узлы обороны были насыщены большим количеством фауст-патронов, которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием.

В системе обороны немцы широко использовали подземные сооружения, которых в городе было больше чем достаточно. Бомбоубежища, тоннели метро, подземные коллекторы, водосточные канавы, вообще все

виды подземных коммуникаций использовались и для маневра войск — позволяя перебрасывать группы под землей с одного места на другое, — и для подброски боеприпасов на передовую. Пользуясь подземными сооружениями, защитники города причиняли нам чрезвычайно много неприятностей. Наши войска возьмут тот или другой узел сопротивления, казалось бы, в этом пункте все кончено, а немцы, пользуясь подземными ходами, выбрасывают в наши тылы свои разведывательные группы и отдельных диверсантов и снайперов. Такие группы автоматчиков, снайперов, гранатометчиков и «фаустников», выброшенные через подземные коммуникации, вели огонь по передвигающимся по уже захваченным улицам автомашинам, по танкам, по орудийным расчетам, рвали линии связи и создавали напряженную обстановку позади нашего переднего края.

Бои в Берлине потребовали большого искусства от младших начальников, непосредственно организовывавших бой на своем участке, прежде всего от командиров полков и батальонов, потому что нашими штурмовыми группами чаще всего руководили именно командиры батальонов.

Продвижение наших войск в уличных боях затруднялось еще рядом обстоятельств, кроме тех, которые я уже назвал. В Берлине, особенно в центральной его части, было много специальных железобетонных убежищ. Самые крупные из них представляли собой надземные железобетонные бункера, в которых мог помещаться крупный гарнизон от трехсот до тысячи солдат. Некоторые из бункеров имели по шесть этажей, высота их доходила до тридцати шести метров, толщина покрытий колебалась от полутора до трех с половиной метров, а толщина стен в один — два с половиной метра была практически недоступна для современных полевых систем артиллерии.

На площадках бункеров обычно находилось несколько зенитных орудий, работавших одновременно и против авиации, и против танков, и против пехоты.

Эти бункера являли собой своеобразные крепости, вписанные в систему обороны внутри города, и насчитывалось их по всему Берлину около четырехсот. В городе было также настроено много железобетонных колпаков полевого типа, в которых могли сидеть пулеметчики. Наши солдаты, ворвавшись на площадь, на территорию того или иного завода или фабрики, сплошь и рядом сталкивались с огнем, который немцы вели из таких железобетонных колпаков.

Берлин имел также много зенитной артиллерии, и в период уличных боев она сыграла особенно большую роль в противотанковой обороне. Если не считать фауст-патронов, то большинство потерь в танках и самоходках мы понесли в Берлине именно от немецких зениток.

Во время Берлинской операции немцам удалось уничтожить и подбить восемьсот с лишним наших танков и самоходок. Причем основная часть этих потерь приходится на бои в самом Берлине.

Стремясь уменьшить потери от фауст-патронов, мы в ходе боев ввели простое, но очень эффективное средство — создали вокруг танков так называемую экранировку: навешивали поверх брони листы жести или листового железа. Фауст-патроны, попадая в танк, сначала пробивали это первое незначительное препятствие, потом за этим препятствием была пустота, а затем патрон наткнулся на броню от танка, уже потеряв свою реактивную силу, и чаще всего рикошетировал, не нанося ущерба.

Почему эту «экранировку» применили так поздно? Видимо, потому что практически не сталкивались с таким широким применением фауст-

патронов в уличных боях, а в полевых условиях не особенно с ними считались.

Особенно широко были вооружены фауст-патронами батальоны фольксштурма, в которых преобладали пожилые люди и подростки. Фауст-патрон был именно таким средством, которое могло создать у физически не подготовленных и не обученных войне людей чувство психологической уверенности в том, что, лишь вчера став солдатами, они сегодня могут реально что-то сделать. И, надо сказать, что эти «фаустники», как правило, дрались до конца и на этом последнем этапе проявляли значительно большую стойкость, чем выдавшие виды, но надломленные поражениями и многолетней усталостью немецкие солдаты.

Солдаты по-прежнему сдавались в плен только тогда, когда у них не было другого выхода. То же следует сказать и об офицерах. Но боевого порыва у них уже не было. Оставалась лишь мрачная, безнадежная решимость драться до тех пор, пока не будет получено приказа о капитуляции.

А в рядах фольксштурма в дни решающих боев за Берлин господствовало настроение, которое я бы охарактеризовал, как истерическое самопожертвование. Эти последние защитники третьей империи, в том числе совсем еще мальчишки, видели в себе олицетворение последней надежды на чудо, которое вопреки всему в самый последний момент должно произойти.

Что касается распоряжений и приказаний Гитлера в этот период, следует иметь в виду, что все его усилия деблокировать Берлин, все отданные на этот предмет приказания — и Венку, и Буссе, и командующему 3-й армией Хенрици, и Шернеру с его группой войск, и гросс-адмиралу Деницу, который по идее должен был прорваться к Берлину с моряками, — все это при сложившемся соотношении сил не имело под собою реальной базы. Но в то же время неправильно было бы рассматривать такие попытки, как заведомый абсурд. Своими действиями мы сделали их нереальными — и предшествовавшими, и теми, которые развертывались уже в ходе боев за Берлин. Замыслы Гитлера не рухнули бы сами собой. Они могли рухнуть только в результате нашего вооруженного воздействия. Именно успехи наших войск, добытые в нелегких боях за Берлин, с каждым днем, с каждым часом все более обнажали нереальность последних планов и последних распоряжений Гитлера.

При ином характере действий с нашей стороны последние приказы и планы Гитлера могли бы оказаться не столь фантастическими. Об этом вовсе не следует забывать.

К 26 апреля мы стали «захлопывать» все больше и больше окруженных частей — и в районе Берлина, и в районе франкфуртско-губенской группировки. Среди пленных появились и командиры полков и бригад, и командиры дивизий, и штабные офицеры.

Лично допрашивать кого бы то ни было из них я был не в состоянии, но теми данными, которые фиксировала при допросах наша разведка, разумеется, интересовался. И чаще всего разочаровывался тем, что получал. Пленные были настолько ошеломлены событиями, что от них трудно было услышать что-либо вразумительное. Были такие, что старались сделать вид, будто они знают обстановку, но на самом деле не знали ее.

С точки зрения общего положения, я в эти дни знал обстановку в лагере противника гораздо шире, чем захваченные нами в плен немецкие генералы и штабные офицеры. Различные информации и перехваты складывались в общую довольно выразительную картину, к которой мало что могли добавить показания пленных — даже в больших чинах.

Двадцать шестого апреля мы продолжали освобождать все больше и больше заключенных, находившихся в лагерях на подступах к Берлину. Многие военнопленные и иностранные рабочие были освобождены в районе заводов, в том числе и подземных, расположенных вокруг Коттбуса. А невдалеке от Берлина танкисты Лелюшенко освободили бывшего премьер-министра Франции Эдуарда Эррио — человека, который еще в двадцатые годы был одним из первых сторонников франко-советского сближения.

Сообщение об этом меня очень обрадовало, и, несмотря на все напряжение этого дня, я сумел выкроить время для того, чтобы встретиться с Эррио. Когда его привезли на наш командный пункт, я прежде всего постарался доставить ему то элементарное удовольствие, в котором особенно нуждается человек, только что вышедший из немецкого концлагеря: приказал подготовить походную баню и подыскать всю необходимую экипировку, чтобы он мог переодеться, отправляясь дальше, в Москву.

Эррио был сильно истощен, но, несмотря на все пережитые им испытания, в этом далеко уже не молодом человеке чувствовались внутренняя сила, бодрость и энергия.

Разговор наш касался главным образом хода и характера войны. Он выражал удовлетворение действиями Советской Армии, горячо хвалил лейтенанта, который первым явился к нему в лагерь и произвел на него большое впечатление своей заботливостью и вниманием.

Вообще в тот день он был счастлив. В разговоре со мной Эррио, не скрывая, радовался тому, что его освободили именно русские войска, и упоминал, что лично для него это лишний раз подчеркивает, насколько прав он был, всегда делая ставку на союз с Россией.

Разговор был недолгим, так как я понимал состояние своего собеседника и опасался за его здоровье.

После краткого отдыха Эррио был специальным самолетом отправлен в Москву.

27 апреля.

Весь этот день Рыбалко продолжал наступать в Берлине на север и северо-запад, имея в своем оперативном подчинении, кроме танкистов, три дивизии армии Лучинского.

Танковая армия Лелюшенко после того, как она совместными усилиями с 47-й армией Перхоровича ликвидировала потсдамскую группировку противника, вела теперь бои с немецкими войсками, оборонявшимися на острове Ванзее. На этом небольшом острове скопилось изрядное количество немецких войск, как выяснилось после их разгрома и пленения — около двадцати тысяч.

Хоть я и был крайне недоволен в тот день Лелюшенко за то, что он долго возится с этой немецкой группировкой, отвлекающей его войска от Берлина, но он был по-своему прав. Двадцатитысячной группировкой нельзя пренебрегать. Даже если она и требует отвлечения сил от Берлина.

К 27 апреля в результате действий глубоко продвинувшихся к центру Берлина армий Первого Белорусского фронта и в результате действий армий нашего фронта немецкая берлинская группировка вытянулась в гору узкой полосой с востока на запад — шестнадцать километров в длину и два-три, в некоторых местах пять километров в ширину. Вся занимаемая ею территория находилась под непрерывным воздействием нашей артиллерии.

Одновременно с этим продолжались бои по ликвидации немецкой франкфуртско-губенской группировки.

Ей наносили концентрические удары со всех сторон пять общевойсковых армий: 3-я, 69-я и 33-я Первого Белорусского фронта, а также 3-я гвардейская армия Гордова и часть сил 28-й армии Лучинского Первого Украинского фронта. Разгром группировки с воздуха был возложен на входившую в наш фронт 2-ю воздушную армию Красовского.

Все три армии Первого Белорусского фронта большими силами и с большой энергией били по немецкой группировке с севера, северо-востока и востока. Они пытались рассечь своими ударами группировку, но немецкие войска все время выскальзывали из-под ударов и, сжимаясь, как пружина, в свою очередь жали на стоявшие на их пути и преграждавшие им дорогу на юго-запад армии нашего фронта. И чем сильнее на них нажимали и били их сзади, тем с большей энергией они прорывались вперед — в наши тылы. Каждый удар, нанесенный им там, сзади, вызывал как бы отзвук в их ударе по нам, здесь, впереди. Все более уплотняя свои боевые порядки, противник обрушивался всеми своими силами на нас все активнее и активнее. И ничего иного не приходилось от него ждать. Если не считать капитуляции, у него не оставалось никакого иного выхода, кроме попытки пройти насквозь через наши порядки и соединиться с Венком.

В этом и заключалось своеобразие обстановки. Действия против других окруженных группировок — скажем, сталинградской или корсуньшевченковской — производились концентрическими ударами, сходящими к центру. Здесь же было совершенно другое положение. Группировка была сама по себе активна и подвижна. Она стремилась во чтобы то ни стало пробиться и выполняла эту задачу всеми силами и средствами. А поскольку она пробивалась на нас, то и наше положение становилось от этого довольно трудным.

За время боев им удалось дважды прорвать кольцо окружения, созданное нашими частями. Прорвали один раз — были остановлены, и прорвали второй раз. И в результате последовательно нанесенных ими ударов в итоге продвинулись довольно далеко — в район Беетлицца, где им 1 мая оставалось каких-нибудь пять километров для того, чтобы соединиться с продолжавшими свои атаки с запада войсками армии Венка.

Конечно, во время этого двойного прорыва такого положения, чтобы немцы прорвались и пошли по нашим тылам, не было. Они прорывались, их зажимали, окружали, они снова прорывались, их снова зажимали. Они двигались в кольце наших войск, но, как бы то ни было, пример этих боев лишний раз доказывает, что даже в самых тяжелых условиях двести тысяч бойцов — это двести тысяч, тем более когда они руководимы твердой рукой и целеустремленно пробиваются к своей конечной цели.

В район Беетлицца из этих двухсот тысяч пробилась только седьмая часть ее, примерно около тридцати тысяч. Но тем не менее пробилась. И для того, чтобы не выпустить эти тридцать тысяч, нам пришлось, продолжая драться перевернутым фронтом с Венком — фронтом на запад, 3-й гвардейской армии Гордова — фронтом на восток и северо-восток, повернуть часть войск 5-го гвардейского мехкорпуса фронтом также на восток, привлечь часть сил 13-й армии, часть сил 28-й армии, несколько бригад из вторых эшелонов 3-й гвардейской танковой армии и некоторые другие части, вплоть до оказавшегося под руками мотоциклетного полка. Активно действовали на бреющих полетах и штурмовики корпуса генерала Рязанова.

Без малого двадцать лет спустя — в 1962 году, будучи в Берлине и выехав в район Барута, — я еще видел в окрестных лесах следы этого побоища. До сих пор в лесу валяются проржавевшие каски, остатки ору-

жил; в одном из озер, в свое время заваленном трупами, все еще нельзя пользоваться водой.

Все напоминало здесь о последних днях прорыва остатков 9-й немецкой армии, в котором бессмысленность жертв сочеталась с мужеством отчаяния и мрачной решимостью.

В западной историографии имеет хождение явное преувеличение, связанное с тем, каким силам бывшей 9-й армии в итоге удалось ко 2 мая прорваться из окружения на запад. В некоторых из этих утверждений речь идет о двух и даже трех десятках тысяч человек. Преувеличение вполне очевидное и очень большое. На самом деле я должен как командующий Первым Украинским фронтом засвидетельствовать, что в ночь с 1 на 2 мая на запад не столько прорвались, сколько просочились через леса на разных участках фронта лишь немногие разрозненные группы — вряд ли больше трех-четырёх тысяч человек.

Борьба с франкфуртско-губенской группировкой и ее ликвидация потребовала десяти дней боев, считая с момента осуществления ее оперативного окружения — с 22 апреля.

Ликвидация этой группировки проводилась главным образом не в районе ее первоначального окружения, а в процессе дальнейшей борьбы с нею, во время ее попыток прорыва на запад. То есть в движении.

Не имея выбора в условиях фактически безнадежных, противник способен принимать самые рискованные и неожиданные решения. Он осмеливается идти на прорыв в столь неблагоприятных условиях, в которых не рискнул бы это сделать ни при каких других обстоятельствах. При этом компактное расположение сильной неприятельской группировки в кольце на сравнительно ограниченной площади позволяет ей быстро создавать на нужных направлениях ударные силы, добиваясь короткого, но решающего превосходства на узких участках прорыва. В данном случае этому способствовали большие лесные массивы в районе окружения, позволявшие немцам совершать свои перегруппировки скрытно и мешавшие наблюдению нашей авиации.

В наших действиях против этой группировки требовалось быстрое маневрирование и искусство в использовании резервов, чтобы немцы даже при временном успехе прорыва не успевали получать свободы маневра.

В то же время мы относились к происходящему с достаточным хладнокровием, продолжали считать главным для себя бои в районе Берлина и, не проявляя излишней нервозности, отводили ликвидации франкфуртско-губенской группировки такое место, которое требовалось в соответствии с общим ходом операции, — не больше и не меньше.

Немало поработала там и авиация. Участвуя в ликвидации группировки, летчики Первого Украинского фронта сделали 2459 штурмовых и 1683 бомбардировочных самолето-вылетов.

Особенно хорошо при ликвидации группировки сражалась наша артиллерия. Даже в тех случаях, когда немцы крупными силами выходили непосредственно на ее позиции, она не отступала, а принимала их на прямую наводку, на картечь, с классическим мужеством выполняя эту задачу.

Сравнивая действия 12-й армии Венка и 9-й армии немцев, прорывавшейся ему навстречу, должен сказать, что это сравнение в моих глазах в пользу 9-й армии. Венк, получив сильные удары в первых же боях, в дальнейшем продолжал воевать, но больше, если так можно выразиться, по протоколу, для очистки совести. А 9-я армия, пробиваясь из окружения, действовала смело, напористо, дралась насмерть. И именно таким решительным характером своих действий доставила нам немало неприятностей и трудностей в эти последние дни войны.

28 апреля.

С ликвидацией немецкого плацдарма в районе Шпандау — Вильгельмштадт и выходом 47-й армии Первого Белорусского фронта на реку Хавель от Потсдама до Шпандау, прорыв окруженной в Берлине группировки на запад стал практически невозможным. К тому же немцы в Берлине стали испытывать острый недостаток в продовольствии и особенно в боеприпасах. Склады боеприпасов в основном были расположены в уже захваченных нами пригородах Берлина.

В этот день наблюдались попытки снабдить окруженные немецкие войска боеприпасами по воздуху. Но они ни к чему не привели. Почти все транспортные самолеты, шедшие на Берлин, были сбиты нашей авиацией и зенитной артиллерией еще на подходах к городу.

Весь этот день войска обоих фронтов продолжали вести напряженные уличные бои.

В этот же день командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг решил доложить Гитлеру план прорыва немецких войск из Берлина на запад.

В своем докладе Вейдлинг указывал, что немецкие войска смогут воевать в городе не больше двух суток и после этого останутся без боеприпасов. Он предполагал осуществить прорыв южнее Винкенштадта, вдоль Андерхештрассе на запад тремя эшелонами. В первый предполагалось включить части 9-й авиаполевой дивизии и 18-й моторизованной дивизии, усиленных основной массой танков и артиллерии, еще оставшихся в распоряжении немцев.

Во втором эшелоне должна была прорываться группа «Монке» в составе двух полков и батальона морской пехоты. Этот батальон адмирал Дениц еще 26 апреля перебросил в Берлин по воздуху. Со вторым эшелонам должна была прорываться и сама гитлеровская ставка.

В третьем эшелоне, прикрывая прорыв, должны были идти остатки танковой дивизии «Мюнхенберг», боевой группы «Беенфенгер», остатки 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд» и части 79-й авиаполевой дивизии.

Но Гитлер не дал согласия на этот план.

Сопоставляя этот план с реальной обстановкой, сложившейся к 28 апреля, я считаю, что он уже был нереален. Строго говоря, это было предложение совершить отчаянную, можно даже сказать безумную, попытку в условиях, когда такой разумный выход, как капитуляция, по-прежнему отвергался, а никакого третьего выхода не было.

Армия Рыбалко еще накануне получила от меня задачу в течение 28 апреля во взаимодействии с 20-м корпусом армии Лучинского полностью овладеть юго-западной частью Берлина и выйти на рубеж Ландзер-канала и юго-западнее его.

После произведенной за ночь перегруппировки войска Рыбалко вслед за короткой артиллерийской подготовкой перешли в наступление. 9-й мехкорпус во взаимодействии с 61-й дивизией армии Лучинского наступал в общем направлении на парк Генриха V — Викторияштрассе с тем, чтобы к вечеру 28 апреля овладеть рубежом Ландзер-канал.

На этот же рубеж должен был выйти и 6-й гвардейский танковый корпус Рыбалко с 48-й гвардейской стрелковой дивизией Лучинского. 7-й гвардейский танковый корпус Рыбалко с 20-й дивизией Лучинского должен был наступать на Тиргартен и к концу дня овладеть Аквариумом, ипподромом и западной частью парка Тиргартен.

Тем временем сосед Рыбалко справа — 8-я гвардейская армия Чуйкова — в течение первой половины дня решительно продвинулся на запад, вплоть до южного берега Ландзер-канала, и вышел к Антгаль-

скому вокзалу, Лютцов-плацу и к перекрестку Плацштрассе и Маассенштрассе.

Учитывая быстрое продвижение войск Чуйкова на запад и стремясь не допустить в запутанных условиях уличных боев перемешивания частей 9-го мехкорпуса Рыбалко с войсками 8-й гвардейской армии Чуйкова, я приказал Рыбалко после выхода на Ландзер-канал повернуть свои наиболее далеко продвинувшиеся части на запад и в дальнейшем продолжать наступление в новой, установленной к этому времени полосе действий Первого Украинского фронта.

Телефонный разговор, который я имел по этому поводу с Павлом Семеновичем Рыбалко, был довольно неприятным. Он заявил, что ему не понятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, по моему приказу отворачиваются западнее, меняют направление наступления.

Я хорошо понимал переживания командарма, но мне оставалось только ответить, что наступление войск Первого Белорусского фронта на Берлин проходит успешно, а центр Берлина по установленной разграничительной линии входит в полосу действий Первого Белорусского фронта.

Зная Рыбалко, должен сказать, что его недовольство не было результатом того, что он рвался взять еще несколько улиц и площадей, чтобы прославить свое имя. Он и так был герой, лишней славы ему не было нужно. Но, находясь на поле боя, в самой гуще его, и видя прямую возможность еще чем-то помочь быстрейшему очищению Берлина, он буквально должен был пересилить себя, чтобы выполнить мой приказ. И я не склонен его осуждать за эти хорошо понятные мне личные переживания.

Что касается моих собственных соображений, то я считаю, что установить в этот период точную разграничительную линию между двумя фронтами было необходимо. Следовало исключить всякую возможность путаницы, потерь от своего огня и прочих неприятностей, которые бывают связаны с перемешиванием войск, да еще в условиях уличных боев.

Я принял поправки, сделанные в разграничительной линии между фронтами, как должное и считал их продиктованными высшими интересами дела.

Войска Первого Белорусского фронта к этому моменту уже не нуждались ни в чем содействии для того, чтобы справиться со всеми поставленными задачами. Это уже была совершенно иная ситуация, чем та, которая сложилась в первые дни, когда прорыв Первого Белорусского фронта происходил с серьезными затруднениями и желательность и даже прямая необходимость поворота танковых армий Первого Украинского фронта на Берлин была обусловлена сложившейся обстановкой. Каковы бы ни были переживания тогда, исторические события, связанные с последними днями боев за Берлин, не должны оставить никакого осадка у их участников.

Сохранение боевой дружбы и товарищества между фронтами в любой обстановке и при любых обстоятельствах куда важнее, чем чье бы то ни было личное самолюбие. Полагаю, что даже в тот психологически трудный момент, несмотря на все свои переживания, это понимал и Рыбалко. Во всяком случае он доказал это всеми своими последующими действиями.

Двадцать восьмого апреля во время своего наступления на Шарлоттенбург его 7-й гвардейский корпус, нанося главный удар на своем правом фланге, оставил в центре и на левом фланге только одну 56-ю гвардейскую танковую бригаду. К этому времени в зоне действий этой бригады соединились три группировки немцев, оттесненных сюда из разных

районов,— около двадцати тысяч человек с некоторым количеством танков и штурмовых орудий.

Почувствовав ослабление наших сил на левом фланге 7-го гвардейского танкового корпуса, эта группировка ожесточенными атаками оттеснила части 56-й гвардейской танковой бригады и, заставив их отойти, устремилась к реке Хавель. Но западный берег реки Хавель был уже занят частями 47-й армии Перхоровича, и, напоравшись на их жесткую оборону, немецкая группировка закончила свое существование, так и не сумев переправиться через Хавель.

Одновременно с этими событиями 10-й гвардейский танковый корпус Лелюшенко вместе с 350-й дивизией армии Пухова продолжал борьбу с тоже довольно большой, примерно двадцатитысячной, группировкой немцев на острове Ванзее. Весь этот день Лелюшенко готовился к форсированию протоки южнее острова. Его 10-й корпус был усилен понтонными частями, батальоном танков «амфибия», двумя инженерно-штурмовыми батальонами и соответствующей артиллерией усиления.

В ночь на 29 апреля в 23 часа, после короткого огневого налета, танкисты Лелюшенко и пехота Пухова начали форсирование протоки и в полночь уже захватили первый плацдарм на северном берегу.

Едва был захвачен плацдарм, как сразу же началась наводка понтонного моста.

Откровенно говоря, не очень мне была по душе эта переправа через протоку на остров. Вообще, действуя в этом районе, изрезанном островами и протоками, танки оказывались в очень невыгодном положении. Но поскольку корпус уже втянулся в бои за Ванзее и переправа для него уже была подготовлена, мне оставалось только согласиться с этим планом. Менять его было уже поздно.

В итоге боев 28 апреля положение немцев в Берлине значительно ухудшилось. Удары войск Первого Белорусского и нашего фронта с юга все приближали час расчленения окруженной немецкой группировки на три части. Уже несколько раз казалось, что узкие горловины, соединяющие эти группировки, вот-вот будут ликвидированы. Горловина между группировкой, окруженной в северной части Берлина, и группировкой в районе парка Тиргартен сузилась всего до тысячи двухсот метров. Другая горловина была еще уже — всего пятьсот метров.

И только наличие широко развитой сети подземных путей сообщения и других подземных коммуникаций все еще позволяло немцам своевременно маневрировать оставшимися небольшими резервами и перебрасывать их из одного района в другой.

Бои за Берлин близились к концу.

На Эльбе наши войска уже три дня как соединились с американцами. Южнее, на Дрезденском направлении, контратаковавшие нас немецкие части были окончательно остановлены. И только на юге ослабевала последняя, еще не разбитая крупная немецкая группировка — группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера, и группа «Австрия», по-прежнему занимавшая часть Саксонии и большую часть Чехословакии и Австрии.

Как ни велико было напряжение боев за Берлин и как ни многообразны были задачи, стоявшие перед Первым Украинским фронтом, однако чем дальше, тем чаще приходилось вспоминать о существовании группы армий Шернера, находившейся на нашем левом крыле и южнее, за пределами его, перед нашими соседями — Вторым и Четвертым Украинскими фронтами.

Поэтому не могу сказать, что звонок из Ставки, связанный с этой еще не решенной проблемой, застал меня врасплох.

Вопрос был такой:

— Как вы думаете, кто будет брать Прагу?

Оценивая обстановку и зная, что войска Первого Украинского фронта по существу нависли над Чехословакией и вскоре начнут освобождаться после выполнения задачи, связанной с Берлином, я понимал, что положение нашего фронта, видимо, будет выгодно использовать в связи со сложившейся обстановкой. Тем более что, несмотря на жестокие бои и значительные потери, наши армии еще имеют большую ударную силу и, следовательно, могут совершить быстрый маневр с севера на юг и нанести удар западнее Дрездена — на Прагу.

Прикинув все это еще раз, я доложил Сталину, что, по-видимому, Прагу предстоит брать войскам нашего Первого Украинского фронта.

Бои за Берлин были еще не завершены, нам еще предстояло трое с половиной суток драться в городе, предстояло еще делать все от нас зависящее, чтобы не выпустить на запад франкфуртско-губенскую группировку, но одновременно со всем этим было необходимо в короткий срок подготовить и представить в Ставку свои соображения об участии войск нашего фронта в будущей — Пражской — операции. Одно еще далеко не кончилось, но другое уже начиналось...

(Окончание следует)



В июне 1965 года Петрусь Бровка исполняется шестьдесят лет. Редакция «Нового мира» горячо поздравляет поэта и желает ему здоровья, счастья, многих лет успешной работы.

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

СТИХИ ЭТОГО ГОДА

С белорусского

Родная речь — первоисточник
Всего, чем славится народ.
О, сколько в ней сравнений точных,
Кочующих из рода в род!

О, сколько образов знакомых!
Как струны, борозды легли,
А сосны — рыцари в шеломах,
А море — синий взор земли.

Все чисто и предельно просто.
Как серебро, течет ручей,
И, словно гвозди, вбиты звезды
В густую синеву ночей.

Язык то ласковый, то хлесткий.
Печаль с улыбкой. Лед с огнем.
С чем схожа девушка? С березкой.
А старец? С обомшелым пнем.

Народ приметил все и взвесил.
Его открытиям нет числа.
Над старым бором юный месяц,
Как будто лодка без весла.

И облако скользит, как рыба,
Заплывшая в небесный плес.
А хлеб напоминает глыбу
Той почвы, на которой рос.

* * *

Да, жизнь прожить — не поле перейти.
Без навыка уйдете далеко ли?
Уменье пригодится нам в пути,
Иначе и дровишек не наколем.

Вы думаете, колют ксе-как?
Все дело в глазомере и расчете,
С которым вы поставите кругляк
И свой удар с размаху нанесете.

Примерка. Взмах. Веселый греск и гром.
Спина в поту. Но, всем на удивленье,
Куда ни глянь, раскиданы кругом,
Белы, как сахар колотый, поленья.

* * *

Еще я крепок и подвижен,
Еще гожусь для трудных дел.
Но в зеркале себя увижу
И сразу сникну — постарел.

Потом утешусь: «Ты ж мужчина.
Силенки есть? Держись и впредь.
Стеклом отражены мрщины.
Души ему не разглядеть».

* * *

Люблю и солнышко в зените,
И сумрак тучи грозовой.
Дождя связующие нити
Сближают облако с травой.

Защита будущему хлебу —
Снежинки падают во мгле.
Мы издавна стремимся к небу,
А небо тянется к земле.

Перевел Я. Хелемский.



ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

СЕМЕРО В ОДНОМ ДОМЕ

Повесть

Глава первая

Они пили водку, спорили о том, что быстрее пьянит — разбавленный спирт или водка. Говорили, что папироса после водки пьянит сильнее, чем две кружки пива. На них была чистая рабочая одежда. Они только что искупались под душем в саду. Душ этот самодельный. Чтобы наполнить его, надо наносить воды из водопроводной колонки. Воду носить далеко, почти целый квартал, к тому же потом с ведрами надо подняться по приставной лесенке и перелить воду в бочку. Короче говоря, особенно не накупаешься. Руки у них были сыростно-белыми. Такими они бывают, если смыть с них глину, налипшую за целый день. Такую глину смываешь, будто отдираешь кожу, обожженную солнцем, и остается новая кожа, еще не тронутая солнцем. Кто-то из них успел прочитать дневные газеты. В «Известиях» была статья о долголетию. Какой-то польский профессор сравнивал статистические данные смертности мужчин и женщин за несколько веков. Выходило, что во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин «смертность», а у мужчин — «сверхсмертность». Во-первых, война, во-вторых, алкоголизм, курение. Или, может быть, во-первых, алкоголизм и курение, а во-вторых, война...

— Он придет с войны, — сказал Толька Гудков, — а у него пять ран. Когда-то они дадут знать.

— Пей не пей, а если пять ран...

Все-таки войну они хотели бы поставить на первое место.

— Мы ж ходим по домам, видим, — сказал Толька.

Все они работают в ДПО — добровольном пожарном обществе. Проверяют в новых домах газовые колонки, в старых — угольные печи. Кладут угольные печи, ремонтируют их.

— Бабки в каждом доме есть, — продолжал Толька, — а дедов почти не видно.

— Но вы их можете просто не видеть, — сказал я. — Все-таки вы ходите по квартирам днем, а днем многие деды работают.

— Да что там далеко ходить, — сказал Толька, — поднимите руки, у кого есть отцы.

И он посмотрел на сидящих за столом. На Вальку Длинного, на хозяина дома Женьку, на меня, на Валерку. Никто не поднял руки.

— У меня есть, — сказал Валька Длинный, — ты ж знаешь.

— И у тебя считай, что нет. Он же не с тобой живет.

В это время из коридора открылась дверь, и Женькина мать позвала меня.

— Витя,— горячо и раздраженно заговорила она, когда я вышел к ней,— ты им что-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А мне завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили. Глаза залили. Пусть расходятся. Посидели — и хватит. Скажи им, ты ж все-таки постарше.

В кухне крикнула девочка, и Женькина мать побежала к ней.

— Да ничего я им не рассказываю,— отнекивался я. Я еще постоял в коридоре — все думал о том, как Толька Гудков попросил поднять руки тех, у кого живы отцы.

Потом пришла с работы Дуся, Женькина жена, решительно распахнула дверь, сказала:

— А ну, ребята, закругляйтесь! Посидели — и хватит. Дитю негде спать.

— Замолчи! — крикнул Женька.— Ребята на тебя целый день пахали, дом тебе строили.

— Знаю, как вы строите,— крикнула Дуська.— Вам лишь бы водки нажраться!

Ребята, обходя Дуську, стали выходить на улицу. Вышел и я. В хате кричали друг на друга Дуська и Женька. Потом раздался звук пощечины, Дуськин крик:

— Унижаешь меня перед своими обормотами, подлец!

— Еще дать? — крикнул Женька и выбежал на улицу. В темноте он почти наткнулся на меня.

— Ты ж сам видел, Витя,— сказал он мне,— ты ж видел! Ребята пахали. Ты сам напахался сегодня. А они с утра еще на работе вкальвали. Кирпич, глина, а после работы ко мне. Плечи же могут полопаться. А она — такое! Ей же строят. Правильно, да? Кто за стакан водки целый день саман таскать будет? Ей все даром делают, а она и тут не может не гавкать!

— Нет, Витя, ты скажи, что мы такого сделали,— подошел Толька Гудков.— Тихо, спокойно сидели. Мы ж не ради водки пришли. А то, что выпили, так это вроде положено. Да? Поработал, ну тебе и поднесли.

— Нет, Витя, ты скажи, в чем я не прав? — спрашивал Женька.— Ну, вот ты так подумай и скажи.

Рядом пытался завести свой «ковровец» Валька Длинный. Мотор мотоцикла не заводился, длинная Валькина нога неуверенно жала на рычаг. Наконец мотор затарахтел, зажглась лампочка, освещающая спидометр, свет от большой передней фары уперся в толстый ствол уродливо остриженной акации — недавно электромонтеры срезали ветки, мешавшие проводам,— высветил кучу глины на углу, угол хаты, в двух комнатах которой совсем недавно жили я с женой и сыном, Женька с женой и дочкой, мать Женьки и моей жены и бабка Женьки и моей жены. Валька Длинный перешагнул через мотоцикл и, как на детский стульчик, уселся на сиденье. Он оглянулся на нас и усмехнулся. Он не считал, что произошло что-то такое, из-за чего стоит так много разговаривать.

— До завтра,— кивнул он.

— А ты никого с собой не берешь? — спросил я.

Длинный оглянулся на Гудкова.

— Нет,— сказал Толька,— он пьян. Пусть сам разбивается на своем драндулете.

Валька усмехнулся. Отталкиваясь длинными ногами, он двинулся мимо акации, обогнул кучу глины и выехал на дорогу. Дорога была немошеной, разбитой грузовиками, мотоцикл вилял, луч прожектора высвечивал проезжую часть дороги от одного темного ряда акаций до другого, но нигде не было видно сколько-нибудь гладкого места.

Валька свернул с дороги на узкий асфальтовый тротуар, газанул, задний фонарик, наливаясь ярким светом, помчался мимо одноэтажных домов.

— Собьет же кого-нибудь,— сказал я.

— Да ничего,— равнодушно сказал Толька Гудков.

— Пусть не ходят,— сказал Женька.

Потом мы провожали Тольку и Валерку, возвращались с Женькой домой. Я мирил Женьку с Дуськой, что-то говорил им, а сам все думал о том, что никто из ребят не поднял руки, когда Толька спросил, у кого живы отцы.

Глава вторая

В октябре сорок пятого года вернулся домой отец Женькиного приятеля — Васи Томилина. Приехал он часов в десять утра, мать свою послал за женой на работу, а сам, даже не побрившись, сбросив на кровать мешок и шинель, пошел в школу за сыном. В школе было пусто и тихо, он шел по длинному коридору, потрясенный этой тишиной, потрясенный своим счастьем. Он собирался лишь приоткрыть классную дверь, а распахнул ее во всю ширину, и щеки его дрожали, когда он, отыскав среди тридцати ребят своего сына, позвал:

— Вася!

Потом он стоял, оглушенный плачем и криком, и не понимал, почему учительница говорила ему:

— Не надо было этого делать...

Какой-то мальчишка, оттолкнув его кулаками, выскочил из класса и побежал по коридору, крича: «А-а!»

Женькина мать работала в школе техничкой, она видела, как Женька бежал по коридору.

— Побежала я за ним,— рассказывала она мне,— Витя, а он выскочил на улицу — и домой. Упал на кровать, бьет кулаками подушку, кричит: «И к Кольке отец приехал, и Петька уже с отцом на рыбалку ходил, и Васька теперь пойдет...» Ну, жалко же его, идиота, скотину.

В «идиотах», «скотинах» Женя ходит давно. С тех пор, как вернулся из армии. Он и сам о себе иногда так говорит: «А вот к вам пришел Женя-идиот».

Он прекрасно понимает, что лучше всего засмеяться над собой первым...

— А ведь я, Витя, не хотела, чтобы он родился. Ирке тогда было уже четыре года. Хватит с меня, думаю, детей. Хиной его травила. По два часа в горячей ванне сидела — ходили мы для этого с Николаем в баню. А потом Николай говорит: «Хватит. Будешь рожать. Не могу и больше на это смотреть». Я и родила. А он родился весь в отца, футболист — четыре килограмма двести грамм. И сразу заорал: «Бе-е!» — Она засмеялась. — Ну, думаю, глотка здоровая, грудь мне оторвет. Николай узнал, что Женька весит четыре двести, говорит: «Завтра побежит в футбол играть». А мы с Николаем познакомились на стадионе. Я Ирккой была беременна, живот был большой, а все бегала в баскетбол, пока меня раз прямо на площадке не стошнило. Николай меня увел и говорит: «Чтоб больше сюда ни ногой». Я и до сих пор, хоть и пятьдесят мне, хоть и туберкулезом болела, стойку сделаю лучше, чем Женька. Ирка спортивная, натянет свой купальник, начнет во дворе заниматься, а я посмотрю на то, что она делает, и все повторяю сама. На фабрике во время физкультурпаузы наша физкультурница говорит: «Молодые, посмотрите, как Анна Стефановна упражнения выполняет».

Анной Стефановной ее зовут только на фабрике. Дома ее зовут Мулей. Она удивляется.

— Для них,— говорит она об Ирке и Женьке,— у меня другого имени нет. Увидят мою детскую фотографию: «Му-уля стоит!»

Мулей ее зовут и соседи... До войны когда-то это было просто «мамуля». Сегодняшняя Муля с довоенной мамулей не имеет ничего общего.

—...А Женька попробует стойку сделать — и не может. Ирка над ним смеется, а он стесняется. Слабости своей стесняется. Он и купаться стесняется. Соберется еще мальчишкой купаться, выгонит всех из хаты, окна одеялами занавесит, позатыкает все дырки, а Ирка кричит ему: «А я тебя все равно вижу». Он орет: «Муля, прогони ее!..» Ирка на меня обижается. И всегда обижалась — считает, что я Женьку больше люблю, чем ее. Пусть заведет двоих или троих, тогда узнает, можно ли одного своего больше любить, чем другого. Жалела я Женьку больше, потому что вину перед ним чувствовала. Травила же его, пока он не родился. Он и рос слабым. И мамсиком он был у меня. Ирка — та больше к отцу, и отец к ней. Читать она рано научилась. И вообще самостоятельная. У бабки ее оставишь — она останется. А Женька только со мной. И болел он. Я часто думала, в кого он? Николай здоровяк. Плечи вот какие, грудь борца — борьбой занимался, — бедра узкие. У него только чиряк вскочит или там насморк, а так больше ничего. И я — хоть у свекрови спроси, она меня не любит — подыхаю, а не работать не могу. Совсем уж умирала от туберкулеза, детей ко мне не подпускали, а в кровати почти не лежала, не могла. Полежу немного, а потом вскочу, в комнате убираю, во дворе, пока меня Николай в кровать не загонит. И ничего, выздоровела. Потом рентгеном в легких ничего не могли найти. А ведь в тот год умерли брат и сестра Николая. Ее дочку сейчас воспитывает свекровь. У нас тогда в доме эпидемия была. Старший брат Николая всех заразил. Он был такой... особенный, что ли. Ну, справедливый. Я про таких потом только в книжках читала, а в жизни не видела. В горисполкоме работал, пост крупный занимал. С утра до ночи на работе, по командировкам мотался, а у самого зимнего пальто не было. Он и простудился где-то в командировке и на болезнь не обращал внимания, пока уже смерть не увидел. А у него даже не туберкулез, а скоротечная чахотка. Он и жену заразил, и сестру. Жена выжила, а сестра умерла. Я тогда с Николаем поругалась. Николай не хотел, чтобы я детей к своей матери отправила, боялся, чтобы брат и сестра чего-нибудь не подумали. А я ничего не боялась, только за детей. А сама болела — не боялась, и за больными ходила — не боялась.

И вообще я болезни не признаю. Во время войны только и спасались огородом, только и жили с него. А у меня под мышками вот такие нарывы, сучье вымя. Руки носила, как крылья, к бокам прижать не могла. А сама утром на работу, а с работы прибегу — и с лопатой на огород. Сколько нас тогда на этот огород было? Моих двое, да свекровь с внучкой, которая после умершей дочки у нее осталась, да мать свекрови тогда еще жива была, да тесть мой, муж свекрови, сумасшедший. Какая от них помощь? У свекрови ноги пухнут, тесть под себя ходит. Ирке тогда одиннадцать лет было. «Мама, я пойду с тобой на огород тебе помогать». Ну, пойдем. Отойдем от города километр: «Мама, я устала». Посажу ее в тачку на мешки. Сидит. Приедем, а она за бабочками погоняется, выдернет две травинки и заснет на грядке. Я ее опять в тачку, впрягусь и привезу домой. Вот и вся помощь.

А Женька с детства был слабым. Сладенькое любил. Ирка и сейчас сладкого не любит и в детстве не любила, а Женька — конфетки, киселик. Это он сейчас грубит, водку пьет, а то был настоящим мамсиком. А сколько раз он помирал! В шесть лет его дизентерия схватила. Полгода

на одном-рисовом взваре и манной каше сидел. Помирает — и все! Николай одного врача приведет, другого. Профессора какого-то. Диету доктора приписывают, а ему все хуже. И плачет: «Мама, борща хочу». Я не даю, а Николай как гаркнет: «К черту! Видишь же, помирает! Пусть перед смертью съест, чего хочет». Я налила ему борща полную тарелку. Жирный борщ, с кусками мяса. Женька всю тарелку и съел. Я плачу, на Николая обижаюсь — если бы Ирка заболела, он бы так не сказал. А Женька борщ съел и назавтра ему лучше.—Муля засмеялась.—Поправляться стал.

Она не боится вспоминать и рассказывать страшные истории. И о ком бы она ни говорила — о муже, о сыне, о себе,— всегда в том, что она рассказывает, есть какой-то вызов: «Со мной и не такое было, а это ерунда!»

— ...В сорок четвертом с легкими у него плохо стало. И весь он сделался слабый, доходяга, под ветром шатался. Синий такой, аж прозрачный. Я в больницу, я в военкомат, я в школу. Дали ему место в санаторную школу. Лесной она сейчас называется. Отправила я его туда, и аж легче мне стало. Одного, думаю, пристроила. Два первых дня даже решила к нему не ходить. Тогда в первый же вечер за мной прибегают пацаны, Женькины приятели, стучат в окно: «Тетя Аня, вас Женька зовет». Набросила я пальто на плечи, платок — школа рядом с нами была, это сейчас ее перевели в другой район,— подбегаю к забору, куда мне пацаны показывают, а он раскинул руки, лежит в расстегнутом пальто грудью на снегу и говорит: «Муля, если ты меня отсюда не заберешь, так и буду лежать на снегу». Вот такой зараза был уже тогда.

Муля внимательно смотрит на меня черными, испытывающими, какими-то непрощающими глазами:

— Ничего, что иногда ругаюсь? Я привыкла на фабрике с бабами. Фабрика у нас женская. А бабы без мужиков как соберутся... Только Ирке не говори, а то Ирка у меня принципиальная. Я раньше думала, что лучше моей дочери нигде нет, такая она комсомолка правильная и принципиальная. Аж робела я рядом с ней, аж холодно мне было. Я выругаюсь, а она перестанет со мной разговаривать. Месяц может молчать.

«Ах ты такой-сякой,— говорю я Женьке,— а ну, вставай сейчас же! Ты знаешь, сколько мне стоило выходить тебе путевку в санаторную школу? Человек с ног сбился! Ты знаешь, сколько на это место претендуют? Тебе его дали потому, что на отца похоронная пришла. Отца бы не убило — тебе бы десять лет сюда очереди дожидаться. Дома вон еще сколько людей есть хотят. Ты в школе питаешься, так нам хоть облегчение. Вставай сейчас же, паршивец!» Встал он, а я домой, сварила ему молочный кисель — два литра молока я в тот день как раз достала, сахар у меня был, крахмалу немного, и все на кисель пошло. Принесла ему полную двухлитровую банку. Он мне говорит: «Зачем мне твой кисель? Я домой хочу без твоего киселя». Но банку все-таки взял. Съел он в тот вечер весь кисель. Сначала полбанки, а потом, чтобы кисель не пропал, остальное. Тошило его, рвало всю ночь. И скажи ты — до сих пор молочного киселя не ест, а раньше самая любимая его еда была.

Пришлось мне все-таки забрать его из санаторной школы до срока. Каждый день, только с работы приду, уже стучат в окно: «Тетя Аня, идите, Женька вызывает». Прибегаю, а он, паршивец, лежит в снегу: «Забери домой». Или грозит выпрыгнуть из окна третьего этажа.

А потом — не помню уж когда — завел голубей. Загадили весь чердак, и сам, как черт, грязный — в паутине, в перьях, в пыли, в саже. Водить пацанов с разных улиц стал в хату. Я ему говорю: «Продай голубей или я их переведу к черту». — «А я, говорит, хату спалю». Товарищи

у него появились — дураки-голубятники по двадцать, тридцать лет. Дела у него с ними — голубей меняют, выкупают друг у друга, если к чужим залетит. Один раз просит у меня пять рублей. «Зачем тебе, Женя?» — «Надо». — «Зачем?» — «Надо!» — «Ты знаешь, как человеку пять рублей достаются? А ты — пять рублей!» — «Я должен». — «А ты скажи тому, кому должен, что мать у тебя уборщицей в школе работает, что у нее таких денег нет и что она не может платить за твоих голубей столько денег. Вот возьми рубль и отдай ему». Он взял у меня из рук рубль да вот так его передо мной на мелкие клочки, а потом все это в кулак — и бросил мне в лицо. «На тебе твой рубль!» Да так по-блатному: «На-на», — говорит. И даже не «на», а «нэ тэбэ». Ах ты гад сопливый! Все во мне перевернулось. А это на улице было, при людях. Я его по морде, по морде. «Я тебя, говорю, больше знать не желаю. Ты мне не сын и домой не приходи». Он убежал. Весь день и весь вечер его дома не было, а ночью слышу стук в дверь. Выхожу в коридор, спрашиваю: «Кто?» — «Теть Аня, откройте, это мы с Валеркой» — голос Васи Томилина, Женькиного товарища. «Чего вам? От Женьки пришли? Так нам говорить не о чем. Так ему и передайте». Слышу — шепот. Потом Васька опять: «Теть Аня, да вы на минуту откройте, я вам что-то хочу сказать». Приоткрыла дверь, а Женька — раз в щель; пробежал в комнату, забился в угол и сидит. Ну, извиная: «Муля, я погорячился», обещал учиться на одни четверки, помогать дома.

И правда, помогал, печку топил, смотрел, чтобы горела, пока я с работы приду. А понимать, как деньги достаются, так и не научился. С Ирккой они все смеются надо мной: «Муля, ты колбасу, как портянку, на метры покупаешь?» — мол, такая дешевая. «Муля, твоими яблоками только мостовую мостить». А какую я могла на свои деньги колбасу им покупать? Только ливерную. Сама я ни кусочка колбасы, ни яблока. Утром встану — еще темно, еще они спят, — приготовлю им завтрак, бабке, матери своей тоже приготовлю, одному в шкаф положу, другой оставлю на столе, матери — на подоконнике. Напишу на каждой порции записки, а они проснутся, все перепутают и смеются надо мной. Смеются, что у меня погребки, куда я на черный день крупы спрячу, муки, масла. «Муля сама не может найти, куда спрятала». А я и правда не могу. Забита же голова целый день. И то надо, и это. И все для них. Сама я после смерти Коли в одном платье и в одном пальто десять лет проходила. На фабрике, в столовой, надо мной тоже смеются. Как подходит моя очередь, так кассирша говорит: «Знаю, знаю, Анна Стефановна, вы, как всегда, полборща, полкаши и полхлеба». А сколько лет я одной кашей жила! Я и сготовлю — сама не съем.

Во время войны и после, в трудные эти годы, я и менять ездила, и огород держала, и так крутилась. После работы побежишь за Дон к рыбакам, они тебе за пол-литра и накидают ведро рыбы. А я пирожков с рыбой нажарю и на вокзал, к поезду. Один раз Женьку с собой взяла, чтобы помогать нести. Пришли на вокзал, а тут милиционер. Я поставила ведро, говорю Женьке: «Сиди рядом, карауль». А сама бежать. Милиционер ушел, а я вернулась, вижу ведро стоит, а Женьки нет. Искала, искала его, нашла: «Что ж ты целое ведро пирожков бросил?» А он смеется: «Га-га-га! Вот, Муля, ты бежала от милиционера». Смешно ему, как я бежала от милиционера. Даже приседает от смеха...

А голубей его кот передошил. Был у нас такой здоровый кот Васька. Поцарапанный весь. Охотник, вор. Женька его любил. Кот на Женькин голос шел. Спали они даже вместе. Женька увидел задушенных голубей, залез на чердак и плакал там: «Голубчики мои...» А кота с тех пор смертным боем бил. Кот как увидит его, так фырчит. Видеть Женьку не мог.

И с бабкой, моей матерью, он каждый день дрался. Мать моя, да- ром, что у нее семеро нас было, детей не любит. Я дам Женьке, Ирке по конфете, а она ревнует: «Им даешь, а мне жалеешь!» — «Да это ж дети! Детям же, мама!» — «А что, говорит, душа у нас не одна?» — «Да я ж сама ни одной не съем!» — «Вот и дура, говорит, ешь, пока сама хозяйка, а потом никто тебе не даст». — «А я, говорю, всегда сама себе хозяйка буду. Я никогда на иждивение детей не пойду. И не для них я это делаю, а для себя». Я пока с ней поговорю — из себя выйду. Глухая же, кричать ей надо. Я и ору, надрываюсь. Как в сумасшедшем доме, честное слово. Целый день у нас крик. Женька ее и ненавидел. Она у него конфеты ворует, а он ее дразнит, пакости ей строит. Она во двор выйдет, а он в хате запрется, будто ушел из дому и ключ с собой унес. Это ему цирк. Он хочет посмотреть, как бабка будет в форточку лезть. Под шестьдесят ей тогда уже было, худущая, страшная, а сильная и ловкая! Витя, ты не поверишь! Она ведь, точно, в форточку лазила. А помогать мне дома не хотела: «Голова болит...»

Муля смотрит на меня:

— Грешница я, да? Не люблю свою мать... Но уж если Женька ей в руки попадался, она его своими деревянными ручищами! Видел, какие у нее пальцы? Как пики. Она его, а он ее. Она его руками под бока, по заду, а он ее коленками, зубами, чем придется. А вырвется — чем-нибудь в нее запустит. Он-то все-таки моложе, увертливее. Я приду с работы, а она мне жалуется: «Голова болит, Женька ударил». — «Мама, да он же дитя еще. Вы же в два раза больше его. У вас же и в библии написано про детей, что в них царство небесное или уж я не знаю, как там». Видел, Витя, у нее коричневая книжечка? Переплет от биографии Сталина, а внутри библия? Пошутили над ней или просто так получилось — не знаю.

Она год перед этим у моего однорукого брата Мити жила. Она должна была у него два года прожить, но он не дождался срока, отправил ее ко мне. Митя двадцать лет жил с женщиной, которая лет на десять была старше его. Она умерла, а он женился на молодой. Пишет мне: «Аня, дай хоть последние годы пожить для себя». Бойтся, что молодая жена не захочет жить с бабкой. Ну, жалко его. Он безотказный такой. Руку ему на фронте оторвало, а он и с одной рукой и столяр и плотник. Он еще до войны у первой своей жены на квартире стоял. Она ему готовила, стирала, а потом и окрутила. Он все собирался уйти от нее, да жалко ему ее было. А потом сын появился — он и вовсе о разводе бросил думать. А теперь вот на старости лет женился на молодой. И другие мои братья тоже от бабки отрешиваются: негде, некуда, не с кем. Одной Муле есть где и есть куда — вали всех до кучи!

Так вот она от Мити привезла эту библию. Я вначале испугалась, хотела содрать переплет, а потом подумала — да черт с ним! А бабке и вовсе все равно, лишь бы переплет хороший.

Я ей говорю: «Мама, вы же библию читаете, как же вы можете детей не любить? Чего вы с ними деретесь?» Она говорит: «Это Женька. Ира меня не трогает». А Ирка, правда, никогда ее не трогала, хотя бабка и у нее конфеты воровала. Ирка и промолчит. И мне ничего не скажет. А Женька так не мог. Женька лез на рожон. Но и на бабку никогда не жаловался.

А вообще он был не жадный. В сорок четвертом году на вокзале было много беженцев — возвращались домой. Едут-едут из Сибири за фронтом. С детьми, с вещами, без вещей. Голодные, босые — кто как. Кто с билетом, кто без билета. На товарных, на воинских эшелонах, редко кто на пассажирском. Довезет их воинский или товарный до нашего города — они и слоняются по вокзалу, пока их на новый не посадят. Я с пирожками пойду на вокзал, а они пирожки глазами едят. Ну, я кому и

раздам. Один раз мы с Женькой ходили, он говорит: «Муля, дай вон той тетке пирожок, у нее дети». А там вшивое такое, грязное, больное. Смотреть страшно. Да не ее, дуру, мне жалко, а детей жалко. «Куда едешь?» — «На Украину». — «На Украину! А детей доведешь?» — «Як бог даст». — «Дура ты, дура!.. Возьмем их, Женька, домой? Пусть хоть ночь переспят?» — «Бери, мать». Привела я их вот сюда, поставила на печку ведро воды, еще кастрюлю: «Раздевайтесь!» А ей, дуре, и переодеться не во что. Трое суток у нас жили, а потом я ее на вокзал проводила, сама на поезд сажала. Ничего, доехали. Потом года три письма писала.

Жалко-то жалко, а и некогда было жалеть. Себя некогда пожалеть. Испугаться за себя некогда. Немцы, когда в первый раз пришли, народу на вокзальной площади положили — и военных и беженцев! Бабы мне говорят: «Аня, нет ли твоего Николая там?» Я и побегала. Как увидела эту площадь — боже ты мой! Немец на меня автоматом, кричит по-своему, а мне хоть бы что. Иду от мертвого к мертвому, в лица им засматриваю. И после страху этого было столько, что я перестала различать, где страх, а где не страх.

Менять едешь — страху натерпишься. Возвращаешься — еще больше страху: как бы кто продукты не отобрал. Раз с тремя бабами сели в товарный эшелон, закрылись со своими мешками в тормозной будке и сидим. На какой-то остановке в окошечко видим — немец по ступенькам лезет. Поезд тронулся, а он за ручку двери дергает. Я говорю бабам: «Держи!» Он дергает, а мы держим. Поезд все быстрее, ему там холодно, он сильнее дергает, думает, забито, а мы держим. Потом я говорю бабам: «Бросай!» Они бросили, а немец рванул изо всех сил и на полном ходу полетел под откос.

Приехали мы в город ночью, после комендантского часа, бабы боясь: «Сейчас, Аня, нас из-за тебя схватят. Немцам уже, наверно, сообщили». Поезд остановился, стали мы мешки сгружать, а мой снизу худым был, в спешке я его за что-то зацепила — так вся картошка и поехала на рельсы. Бабы бежать. «Бросай все!» — говорят мне. А я им: «Куда бежать? Куда вы без тачки свои мешки донесете!» Сбегала по балке к одной знакомой за тачкой, собрала всю свою картошку, под утро приезжаю домой, а Женька меня спрашивает: «Муля, ты чего-нибудь сладкого привезла?»... И смех и грех...

Я и до войны не робкая была. С Николаем поженились, а он, года не прошло, на работе стал задерживаться. И вином от него запахло. Я собралась и ушла на всю ночь к подруге. Утром прихожу, он ко мне: «Где была?» — «А тебе какое дело? Ты каждый вечер где бываешь?» С тех пор он побаиваться стал. После работы — домой. А во время войны я и совсем бесстрашная стала. Бандитов ходила с милицией в балку ловить. Тогда по балке трамвай еще не ходил, домов, фонарей не было, темнота; бандиты и нападали в балке на тех, кто поздно из города шел. А при немцах бабы меня старшиной квартала выбрали. «Будешь, говорят, нас выручать, карточек нам добиваться». Я и делала, что могла.

Я и теперь никого не боюсь. На работе к начальнику меня вызывают, бабы говорят: «Читай, Аня, «живые помощи». А я говорю: «Мои «живые помощи» — чистая совесть. Никакого начальства я не боюсь».

А Женька робким был. Раз лезут к нам ночью хулиганы. Наш же дом угловой, мужиков нет, забор повален. Стучат: «Откройте!» Я выхожу, спрашиваю: «Кто такие?» — «Откройте, а то хуже будет. Будем фулиганить». — «Я тебе так пофулиганю — улица тесной покажется. Сейчас помоями оболью». Вдруг кто-то мимо меня по коридору промчался. Женька! Я и крикнуть ему не успела, он взлетел на чердак, вылез в слуховое окно да как закричит: «Караул!» Ну, те покидали камни и ушли, грозились на следующую ночь прийти.

А чуть вырос — стал от меня отдаляться. В седьмом классе бросил школу. Учительница меня запиской вызывает. Я пришла в школу, она и спрашивает: «Ваш Женя на работу идет?» — «Как на работу? Я ж разбиваюсь на работе, чтобы он мог учиться». — «А он бросил школу, говорит, идет на работу, а учиться будет в вечерней». — «Не может быть!» Пришла домой, жду его, а он приходит аж поздно вечером. «Бросил школу?» — «Бросил». — «Уходи из дому». — «Муля, я...» — «Уходи, ничего слушать не хочу». — «Да ты послушай, Муля! Ты ничего не понимаешь!»

Согласилась я, дура, на свою голову его слушать. А он наплел мне три короба — мол, это для того, чтобы лучше учиться. Мол, стыдно ему в дневной школе, все привыкли, что он плохо учится, никогда ему не дожидаться высоких оценок, хоть разбейся. И времени у него в дневной школе мало, чтобы догнать ребят, и помочь мне по дому он не может — все время у него занято. «Я ж вижу, Муля, как ты бьешься. Придешь с работы — и печку тебе топить, и обед готовить, и полы мыть. А я тебе и печку растоплю, и воды принесу, и пол когда помою». А он не любил воду носить. Руки слабые. Мужики у нас ведра носят на руках, без коромысла. А он или на коромысле несет, или одно ведро возьмет и, пока от колонки домой донесет, раз десять из руки в руку переложит. Слушаю я его, а сама понимаю — не надо слушать, не надо соглашаться. А согласилась: «Смотри, Женя, учись. Последний раз тебе говорю. Никаких оправданий больше принимать не буду».

С полгода так прошло. И правда, несколько раз полы помыл, печку топил. В школу я к нему не ходила. Он сказал: «Если ты в школу пойдешь, я брошу учиться. Это школа взрослых, не позорь меня». Я и решила не позорить. Думаю, пусть все будет на доверии. А как-то вечером меня встречает Дмитриевна, соседка: «Аня, а где твой Женька?» — «В школе». — «В школе? А ну пойди на соседнюю улицу, чи не он там с ребятами в карты играет?» Я — на соседнюю улицу, а он еще издала меня заметил — ребята ему на меня показали. «А ну, стой!» — кричу. А он не оборачивается, ходу от меня. Только рожу скорчил, фырчит, как кот. Неудобно ему перед ребятами, что убежать от меня приходится. Вижу — не догнать мне его, поворачиваю — и в школу. Он увидел, куда я иду; да и себе кружной дорогой побежал в школу. Обогнал меня, остановился перед школой, не пускает. Шипит на меня: «Ш-шпионишь? Уходи отсюда, все равно в школу не пушу». И за камень. «На мать?!» Побила я его тогда, а он вырвался — и в школу.

Стала провожать я его на уроки. Несколько раз пошла с ним, а больше времени не хватило. Через неделю соседки мне опять и говорят: «Женька на соседней улице с картежниками сидит. Ругаются. Подойти страшно».

А потом несчастье. Начал он за одной девчонкой ухаживать. Верочка. Хорошенькая такая. Он, даром что слабый, девчонкам нравился. Красивый же! А Верочкин отец увидел их вместе и запретил Верочке встречаться с ним. «Чтоб, говорит, я тебя вместе с тем хулиганом не видел». Женька и пошел к нему объясняться. Да не один пошел, с компанией. С Толькой Гудковым, Валькой Длинным, Валеркой, Васей Томилиным и еще с несколькими оторвиголовами. Пришли они, стучатся. А в доме компания. Не то день рождения Верочкиного отца, не то именины, не то просто суббота. Выпивка, в общем. Верочкин отец увидел Женьку, а сам уже подвыпивший, выскочил, кричит: «Мерзавец, негодяй, хулиган, чтоб тебя на километр от моего дома не было». — «Дядя, — говорит Женька, — я с вами по-хорошему поговорить хочу». — «Ты мне еще и угрожать!» Бросился во двор, схватил палку — и на мальчишек. А за ним и мужики, с которыми он выпивал. Свалка там получилась.

Женьке голову палкой разбили, а Верочкиного отца ножом кто-то пырнул. Кто пырнул — Женька до сих пор мне не говорит. «Не я, Муля. Поныла? И все». Побили мужики тогда мальчишек, они и разбежались. А мужики опытные — к следователю, на судебную экспертизу, Верочкиного отца в больницу, хоть и порезали его неопасно. Забегалась я тогда. Матери Тольки Гудкова, Вальки Длинного, Томилина — все на меня. «Это твой Женька ребят подбил, это из-за него им в тюрьму идти». Я к Верочкиному отцу в больницу: «Заберите ваше заявление из суда. Вы же первый начали, вы Женьке голову палкой проломили. Мальчишка с вами поговорить хотел. Не думайте, что на суде это вам сойдет с рук», — на испуг его взять хочу. А он мне говорит: «Платите три тысячи рублей и пусть Женька придет ко мне домой извиняться». Три тысячи рублей! Вот ведь, Витя, люди какие. Сам первый начал, Женьке голову палкой проломил — и плати ему три тысячи рублей. «Вы, говорит, на испуг меня не берите. На суде разберутся, кто виноват. Не мы к ним, а они к нам пришли. Мы мирно выпивали, а они вломились к нам. Хотите замять дело — я, так и быть, молодость вашего сына пожалею. Платите три тысячи рублей и пусть придет ко мне извиняться». Я слушаю и прикидываю — прав он. На суде сразу спросят, кто к кому пришел. Побежала я к матери Гудкова, Томилина, Длинного: «Давайте соберем три тысячи рублей». Ну, Витя, у кого ничего нет и неоткуда взять, кто мне говорит: «Ни копейки не дадим. Твой Женька зачинщик, ты и плати». Пальто я продала, довоенный материал на костюм я берегла до хороших времен — тоже на толкучку пошел. Отдала я эти три тысячи рублей, а извиняться Женька не пошел. Гнала я его, заразу, а он: «Лучше в тюрьму». Сама я за него бегала извиняться.

Я уж Ирку просила: «Возьмись за него». А она мне: «Ты за него все время берешься, а получается что-нибудь? За меня ты никогда не бралась». А не понимает, что если я к ней в тетрадки не заглядывала, то все остальное за нее делала.

А у Женьки скандал за скандалом. Пристали они с Валькой Длинным к какой-то девчонке, та от них заперлась в хате. Так они что придумали — посрывали со всего огорода, который был около хаты, тыквы и сложили их под дверями хаты. А тыквы зеленые. Весь урожай, подлещи, испортили. Мать этой девчонки увидела — чуть жизни не лишилась. Такая же бедолага, как я, без мужа. На эти тыквы у нее вся надежда была. Она ко мне: «Ты мне заплатишь за все! Где отец? Не уйду отсюда, пока отца не дождусь». — «Не дождешься», — говорю. Она смотрит на меня: «Нет отца?» — «Нет». — «На фронте?» — «На фронте». — «Подружка, говорит, ты моя». Сели мы с ней вдвоем на приступочки, обнялись и наплакались.

Глава третья

А потом Женька вдруг даже выправляться стал. Ты от нашего дома к реке ходил? Аэродром видел? Он тут, рядом с огородами, давно. Еще мы с Николаем ходили на самолеты смотреть. Весной там красиво — трава, тюльпаны, степь же. Пацаны там и крутятся. В футбол играют, на самолеты смотрят, на велосипедах ездят. Места много, аэродром не огорожен, самолеты учебные. Женька и повадился туда ходить. Как утро — на аэродром. Я вначале боялась — совсем учебу забросит, а потом узнала, что в аэроклуб этот ребят принимают только по справке из школы, что «двоек» нет, что успеваемость положительная. Смотрю, Женька учебники листает, заниматься стал, книжки о самолетах домой приносит, чертежи какие-то. Утром поднимается в пять и бежит на аэродром — полеты у них рано, в шесть часов утра. Мне ничего не говорит,

считает ниже своего достоинства. Привык перед ребятами свою самостоятельность показывать. Но и со мной стал чаще разговаривать. Шутками все, небрежно, но вижу, и мне ему хочется показать: «Смотри, Муля, Женя у тебя не какой-нибудь идиот».

А тут Вальку Длинного — он на год старше Женьки — в армию забрали, еще дружков из старой компании. Авань, думаю, пути у них разойдутся. Дядька у Женьки есть, замполит летной части, муж моей сестры. Я ему письмо написала, просила, чтобы он Женьке по-своему, по-мужски, по-военному написал. Тот прислал большое письмо. Хорошее, правильное такое. Мне очень понравилось. Про учебу, про то, как трудно мне было без Николая воспитывать двух детей, что Женька должен мне стать помощником, про то, как надо воспитывать характер, чтобы стать военным летчиком. Я Женьке показала, а Женька, подлец, даже читать не стал. Посмотрел и бросил на стол: «Твоя, Муля, работа? Сама и читай».

Но вообще-то он стал лучше. Ирка в тот год университет кончала, читала много, библиотеку на свою стипендию — Ирка всегда получала повышенную — собрала. Женька ее книжками перед ребятами хвастался — Ирка всегда книжек недосчитывалась. Сам стал много читать. «Войну и мир» прочитал, «Анну Каренину», «Золотого тельца» наизусть выучил. Они с Иркой цитатами разговаривали. Ирка смеется: «Женя, я вижу, вы стали образованный. Следы ваших жирных пальцев на всех моих книгах». Она ему в шутку «вы» стала говорить.

Ирка кончила университет, а Женька получил аттестат зрелости и в аэроклубе экзамен сдал. Принес мне свой аэроклубовский диплом, сует под нос: «Смотри, Муля. На, смотри!» В аттестате у него почти все «тройки», а в аэроклубовском дипломе только «пятерки». И по полетам, и по теории, и еще по чему-то. В военкомате его взяли на специальный учет, чтобы направить в летное училище. Ирка смеется: «Вы, Женя, наша Гризодубова, а также Марина Раскова. Стойку на руках вам, Женя, до сих пор слабо сделать». Я говорю Женьке: «Ты напиши с Иркой несколько диктантов, позанимайся с ней физикой и математикой. Ирка пять лет литературу учит, а всю твою физику и математику знает. В училище же экзамены придется сдавать». — «Не твое дело, Муля». До осени ходил на аэродром, а осенью их, аэроклубовских, собрали в военкомате и дали направление в Сибирь, в летное училище. Военком им сказал: «Вы уже почти солдаты. Приедете в училище, пройдете медицинскую комиссию, сдадите экзамены — и сразу у вас присягу примут».

Проводила я его на вокзал, всплакнула, дура, над его остриженной головой, посадила в поезд, а сама собралась и уехала за Иркой в деревню, куда ее направили работать. Уговариваю себя: все хорошо будет, даже успокаиваться начала. Думаю: поживу в деревне, за Иркой поухаживаю, отдохну, а в хату, на свою половину, квартирантов пушу, на деньги, которые с них получу, мебель отремонтирую. Мебель еще ни разу не ремонтировала. Я уже и со столяром договорилась, сколько он возьмет шкаф пошарбовать и лаком покрыть, этажерку отремонтировать, стулья. До войны шкаф светлым был, а тут будто почернел, закоптился. Как в кузнице живем, честное слово.

Приехала я к Ирке в ноябре, кое-как по распутице добралась — там без резиновых сапог шагу нельзя ступить. Одежду ей ватную привезла, таз эмалированный, кадушку купила капусту солить, примус. С хозяйкой, у которой мы с Иркой жили, подружилась, учила ее и как пирог слоеный делать, и как наполеон, и отбивные... Месяц так прошел, пуржисты начали, ветер со снегом, на улице холодно, почта ходит с переборами, а от Женьки писем все нет и нет. Ирка говорит: «Нет писем, — значит, хорошо. Было бы плохо — написал». Я сама так думаю, а все

беспокоюсь. И добеспокоилась — под вечер кто-то стучится в дверь. Дверь открывается... и на пороге появляется сам Женька. Уши белые, на голове фуражечка, весь скривился и говорит: «Перед вами несчастный Мак». В туфельках, в пиджачке, в брюках, а сам храбрится, острит.

Как я и боялась, засыпался на экзаменах. «Ваш брат, Ира, Женя-идиот засыпался на экзаменах». — «Женя, ты хоть бы шпаргалок приготовил». — «Майор мне сказал: шпаргалыщику нельзя доверить новую военную технику». — «А ты, Женя, пытался шпаргалить?» — «Да». — «И тебе дали по рукам?» — «Дали». А у самого слезы в глазах. И замерз страшно. «Как же ты сюда добирался?» — говорю. «На крыше вагона, Муля». Это он из Сибири в такую-то пургу! А домой сунулся — там квартиранты. Он опять на поезд, потом на попутную машину и к нам в деревню. Но самое главное он приберег напоследок — оказывается, он дезертир! Правда, присягу они еще не принимали, но солдатами уже считались. Его и тех, кто засыпался на экзаменах, направили из летного в авиатехническое или авиапарашютное — не знаю уж, как оно называется, — училище, а они — Женька и еще двое оторвиголов — на какой-то сибирской станции пересели с поезда, идущего на восток, на поезд, идущий на запад. Деньги им на дорогу товарищи собрали, но не столько, чтобы на билеты хватило. Вот они и ехали полдороги в тамбурах, полдороги на крыше.

«Что же ты теперь будешь делать?» — спрашиваю. « Попрошу в военкомате направление в другое училище. Буду еще раз сдавать ». — «А там ты не мог пересдать? Попросить начальство?» — «Муля, если бы ты там была, в пять минут выплакала бы перекэкзаменовку. У них там получился недобор». — «А чего ж ты не выплакал?» — «Гордость не позволила».

Так пренебрежительно говорит: «Ты бы выплакала, а мне гордость не позволила».

Бросила я Иркут, поехала с ним в город. Он пошел в военкомат, а там у него документы забрали и говорят: «Никаких направлений мы тебе не дадим. Судить тебя за дезертирство будем». Он пришел домой: «Готовь, Муля, торбу, суши сухари». Я — в военкомат. Говорю секретарше: «Я такая-то, хочу поговорить с военкомом». Она пошла в кабинет, возвращается: «Его нет». Грубо мне так говорит: «Его нет». — «Как нет?» А я его, Витя, и в лицо знаю, и по голосу могу узнать. Я ж его со времени войны помню, когда приходила к нему узнавать, как погиб Коля, и когда Женьке путевку добывала в санаторную школу, пенсию на детей оформляла. «У него нет времени». — «Пусть найдет». Тут выходит сам военком — услышал, как я кричу. «Мне не о чем разговаривать с матерью дезертира». — «С матерью дезертира не о чем, а с женой погибшего на фронте есть о чем?»

А мы с ним, Витя, уже не в первый раз ругались. В сорок четвертом топить в хате было нечем, я к нему за ходатайством для угольного склада ходила. Так с просьбой к нему лучше не приходи — за человека не считает! Морду воротит, «тыкает»... А я ему тоже, а он еще грубее. «Ты, спрашиваю, где был, когда моего мужа убили? Морду отъедал в военкомате? Ты кого собираешься судить, на ком политический капитал зарабатываешь, бдительность свою проявляешь? Ты его кормил в сорок первом, ты его от голодной смерти спасал, что теперь судить собираешься?» Пошла я на него, а он только отмахивается. Офицеры из других комнат выглядывать стали, женщины какие-то. А я их не боюсь, кричу свое... Может быть, Женьку и посадили бы, да время уже менялось, кончался пятьдесят четвертый год. Добилась я своего. Военком обещал подумать. Потом сказал: «Пусть на свой страх и риск и за свои деньги едет на

Украину, там завтра-послезавтра начнутся экзамены для дополнительного набора. А мы документы подошлем».

Купила я Женьке билет, немного денег дала. Говорю ему: «Это Иркины деньги; на обратную дорогу тебе у меня нет. Чтобы больше обратно не приезжал». Опять проводила его на вокзал. Уехал он, а через два дня присылает телеграмму: «Муля, пусть срочно высылают документы». Я побежала в военкомат: «Выслали документы Конюхова?» — «Нет». — «Вы ж обещали выслать». — «Мы не имеем права, запросили облвоенкомат, как там решат». Я — в облвоенкомат. Куда я только не бегала! И в аэроклуб, и в военкомат, и в облвоенкомат. Понимаю, если Женька разорился на телеграмму — значит, положение у него отчаянное. А куда ни прибегу, мне говорят: «Мы не можем решить, придите завтра». — «Да как же завтра, если там уже экзамены начинаются!» Так они мне не говорят «нет». Они говорят: «Вот придет разрешение, мы обсудим и отправим документы». Я в аэроклубе говорю: «Он же у вас был лучшим курсантом, его фотография до сих пор на доске почета, почему вы не поможете ему?» — «Он сам себя наказал. Совершил преступление и теперь расплачивается за него».

Ругалась я с ними, доказывала, а тем временем Женька вернулся. Опять на крыше вагона. Пришла я домой, а он сидит у печки. «Эх, говорит, Муля, не знают они, какого теряют во мне летчика». А у самого озноб, температура. Он неделю ночевал на вокзале, почти ничего не ел.

Он, как туда приехал, пошел к замполиту училища, рассказал ему все: «Разрешите сдавать экзамены, а документы потом подойдут». Тот его внимательно выслушал. Вежливо так. Вместе с ним из училища вышел, прошел с ним квартала два, все расспрашивал. Не спросил только, где Женька ночевать будет. А потом говорит: «У нас все места уже заняты, набор полный, но если твои документы придут вовремя, сделаем для тебя исключение. А если документы не придут, сам понимаешь, никто тебя в такое училище принять без документов не вправе». — «Вы запросите документы», — просит Женька. «Нет, — говорит замполит, — запрашивать документы мы не будем. Ты сам понимаешь, что кругом виноват. Но если документы придут, мы для тебя сделаем исключение». Ждал Женька документы, ждал. Экзамены начались, закончились, а документов нет. Пошел он еще раз к замполиту, а тот говорит: «Ничем не могу помочь, не получилось у тебя на этот раз. Приезжай в следующем году. Буду рад с тобой встретиться». Женька пошел на вокзал, кепку на лоб натянул и подцепился на поезд. Так и приехал домой. «Не знают они, Муля, говорит, какого летчика во мне теряют».

Простудился он сильно, долго болел. В армию его в тот год не взяли, дали отсрочку по болезни, а месяца через четыре медкомиссия признала его для летного училища негодным. Он же с детства был слабым, болезненным, а после этой болезни у него с нервами что-то сделалось, легкие стали плохими, желудок. Взяли его в армию на следующий год, но уже не в авиацию, а в стрелковые части. В военкомате ему предлагали: «Хочешь поближе к самолетам? Направим в части аэродромного обслуживания. Механиком будешь». Не захотел. Унижением для себя посчитал.

К Ирке в деревню я уже не вернулась, опять на фабрику пошла. Кожгалантерейную. Она одна у нас в районе такая, где бабы вроде меня, без специальности, работать могут. У нас во всех цехах бабы. Мужиков раз, два — и обчелся. Механики, слесари-наладчики, местком, завком, партком, директор, а все остальные — бабы. Начальство у нас командует, как хочет. Бабу же, если за нее заступиться некому, легче легкого плакать заставить. Ей что ни скажи, что ни заставь, она утрется

платочком и тянет с утра до вечера. Я бабам говорю: «Вы берите пример с меня. Я никому не дам себя обидеть». — «Да, говорят, тебе легко. Ты бесстрашная».

Принимали у нас соцобязательства — соревновались мы с кожгалантерейной фабрикой другого района. Ну, как эти соцобязательства принимали? Составили их где-то там у директора или в завкоме, а нам в цех принесли, чтобы мы проголосовали. «Кто «за»? Кто «против»? Никого нет?» Я говорю: «Я против». Они даже не поверили, думали ослышались: «Есть кто-нибудь против?» Я говорю: «Я против. У вас там записано снизить себестоимость, на двадцать пять процентов повысить производительность труда... А как повысить? У нас же нет машин. У нас ручной труд. Как вы собираетесь повышать производительность? За счет ускорения ручного труда? Вы запишите: «Обеспечить механизацией повышение производительности труда на сто процентов» — и я соглашусь на сто процентов». Они мне кричат: «Вы не наш человек!» — «Это вы, говорю, не наши люди». На следующий день вызывают в партком: «Вы говорили, что коммунисты фабрики не наши люди?» — «Это вы — коммунисты?» — спрашиваю. «Смотри, Конюхова, за такие слова! Счастье твое, что теперь не то время. Мы к тебе воспитательные меры применим».

А какие они воспитательные меры ко мне применяют? Заберут выгодный заказ, поставят на невыгодный. С народом ссорят. Я ж видишь, какая быстрая. Я очень быстро работаю. Организм у меня такой. Я за двоих молодых работаю. На ручном труде какое может быть равенство? Ты здоровый, ты ловкий — для тебя одна норма, для слабого другая. Меня поставят ремешки клепать — я и накидаю за смену кучу, которую двое накидывали. Я, Витя, не могу мало зарабатывать. Женька вернется из армии — ему надеть нечего, бабку кормить надо. И организм у меня такой — не могу я медленно работать. Бабы на меня обижаются, а я им говорю: «Чего вы голосовали за тот договор? Я-то голосовала против! А теперь обижаетесь, что вам нормы режут».

Не любит меня начальство. Не любит, а сделать ничего не может — в должности не понижишь, некуда, план я всегда перевыполняю. И грубить мне бояться. У нас какой директор? Была у нас в цеху пропажа. Ему ошибочно показали на двух работниц. Он прибежал в цех, орал, топал на них. Бабы плакали, а потом оказалось, что бабы эти ни при чем. Нашелся настоящий вор. Так, думаешь, директор извинился перед теми работницами? Когда ему сказали, он отмахнулся: «Все хороши!» Недавно у нас цеховое профсоюзное собрание было. В цеху плохая вентиляция, плохое отопление, сквозняки — разбитые окна по месяцу не вставляются. Начальнику цеха скажем — никакого внимания. Мы решили позвать на собрание директора. Он пришел, послушал нас две минуты и говорит: «Зачем вы меня позвали? Я думал, у вас тут разговор пойдет по большому счету, о том, как родине дать больше продукции, а вы меня отвлекаете от дела. Работать надо лучше».

Бывало, как на заем подписываться, так по цехам крик. К начальнику цеха таскают, в профком, в партком. Я говорю: «Двадцать пять процентов дать могу, а больше ни копейки». Я, Витя, не против займов. Я понимаю — деньги идут не кому-то там в карман, на строительство новых заводов, больниц — я все это понимаю. И хоть трудно мне, говорю: «Двадцать пять процентов могу дать». А они мне говорят: «Подписывайся на сто процентов». Целый день держат в парткоме, у директора завода. «Подписывайся!» Я говорю: «Вы грамотные? Берите карандаш, давайте считать. На что вы меня толкаете?» — «У нас, говорят, все должны подписаться на сто процентов, а ты нам портишь картину. Подпи-

шись, а мы тебе поможем хорошими заказами». — «Вы люди или не люди? Не могу я подписаться на сто процентов». Тут они мне все припомнят: и про то, как я их ругала, и как голосовала против соцдоговора, и как директору нагрубила: «Мы давно видим, Конюхова, ты не наш человек». Я им говорю: «С мужиком вы так не поговорили бы, мужик фу-ганул бы вас по-русски, чтоб перья от вас полетели. Смотрите, а то и я вас пошлю подальше». Так и не подписалась на сто процентов.

А Женька мне теперь из армии покаянные письма пишет: «Муля, я все понял, я понимаю, как тяжело тебе. Учусь на шофера, скоро получу права. Приеду домой, буду работать и учиться. Тебе не придется за меня краснеть. Передай Ирке, чтобы она не обижала тебя, а то мы привыкли над тобой хиханьки да хаханьки, а все потому, что, как ты правильно говоришь, нас жареный петух в одно место не клевал».

Два года ему еще служить. Вот ведь как у него получилось. А в тот вечер, когда он приехал к нам в деревню, Ирка ему сказала: «А ну-ка, Женя, продиктуй мне условия задачи, которую вы не могли решить». Женя продиктовал, а Ирка через две минуты сказала ответ. «Женя, Женя,— говорит она ему,— летать вы научились, с парашютом прыгали, а физику выучить силы воли не хватило».

Глава четвертая

Мы с Ирккой живем у Мули. Когда год тому назад я вернулся в город и Ирка стала моей женой, оказалось, что мои интеллигентные родители со мной и Ирккой в своей довольно большой квартире ужиться не могут.

— А куда вам идти,— сказала тогда Муля,— где вы возьмете деньги платить за частную квартиру? Живите здесь. А ребенок появится — кто за ним будет смотреть? В кино отсюда далеко, в театр, но живут же люди.

Так мы и переехали к Муле в маленький четырехкомнатный домик, который, собственно, принадлежит не Муле, а ее свекрови, Иркойной бабушке — бабе Мане. Бабе Мане семьдесят пять лет, она уже составила завещание, в котором по одной комнате отписала Ирке и Женьке, а две других — третьей внучке Нинке, которую она воспитывает с тех самых пор, как умерла Нинкина мать.

Муля недовольна этим завещанием:

— Получается, Колины дети хуже, чем Любины. Им по одной комнате, а Нинке — две. Вы всегда, мама, Колю меньше любили, чем других своих детей. И детей его меньше любите. Да этот ваш дом давно бы развалился, если бы не я. Я его каждый год обмазываю, белю, сколько глины уже перемесила вот этими руками. За что же Нинке две комнаты?

Баба Маня всплескивает руками:

— Да я-то еще не умерла! Меня-то ты куда денешь? Я-то должна где-то жить? Ты же меня еще не похоронила!

И Муля, на секунду запнувшись, смотрит на нее своими черными глазами. В самом деле, баба Маня должна же где-то жить! Комнат всего четыре, а внуков трое, к тому же дом поделен на две половины.

Когда-то, давно, когда этот дом строили баба Маня и ее муж. в доме было всего три комнаты, и все они были связаны между собой, однако потом, когда Манин сын Николай женился, когда он привел Мулю, перегородку удлинили, третью большую комнату разделили на две, и дом оказался поделенным на две примерно равные половины. По-

ставили вторую печку, и Муля — это было сделано под ее напором — получила самостоятельность. И сейчас Муля живет на своей половине, а баба Маня с Нинкой на своей, и ничего уж тут придумать нельзя, и никак дом заново не перекрыть, Муля это понимает, но согласиться с этим никак не может.

Двадцать лет она живет в этом доме, пятнадцать лет выполняет все мужские и женские обязанности: мажет хату, белит ее, чинит крышу, перекапывает сад, подпирает кольями, связывает проволокой разваливающийся забор — а места ей в завещании не нашлось. И получается, что живет она не у себя, а на жилплощади детей. Никто ее, конечно, не выгонит из дому, но все же есть во всем этом что-то тревожащее Мулю, поэтому-то она и смотрит на бабу Маню такими пристальными, почерневшими глазами, поэтому-то и возвращается часто к тому, как баба Маня несправедливо поделила дом: две комнаты беспутной Нинке и лишь по одной комнате Колиным детям...

— Вот такая она, Витя, всегда беспокойная была, — сказала мне баба Маня. — Мы, Конюховы, спокойные. Ни скандалов у нас, ни суеты, ни крика. Мужа своего я никогда трезвым не видала, от пьяного вставала, к пьяному ложилась, а тоже спокойный. Так, покричит на меня, чтобы я свое место знала — женился он на мне, когда мне было шестнадцать лет, и сам был на шестнадцать лет старше меня, — а чтоб скандалить, такого не было. Я ж такая — рот замкну и ни «да», ни «нет». Пойду в сарай, переплáчу — и все.

А ведь жизнь у меня какая? Ни одного светлого дня... Сиротой рано стала, мать за второго вышла, за железнодорожника, а он ей обо мне: «Отдай ее в горничные». Ну, правда, не отдала, отстояла. Шить меня научила. А как мы жили? В поездку уедет отчим, куски сахара пересчитает. Так мы и жили. А потом вышла за Василь Васильевича. Ну что ж, Витя, и отзывчивый он был, и добрый, и пьяный. Всегда пьяный. Но спокойный. Поначалу только скандалил — испытывал меня...

И Коля у меня спокойный был. И старший Петя, и Люба. Все дети были спокойные. Я утром, бывало, работаю, их не бужу, чтобы не мешали мне, они и спят. Маленькими долго спали. А проснутся — тоже их не слышно. Покормлю — они и занимаются своими делами. И выросли — спокойными остались. И не жадные. Пока вместе жили, все деньги отдавали мне, и потом, когда Петя женился, он деньги мне приносил. Я его ругала: «Ты костюм купи себе». — «А зачем он, мама, мне?» Он, Витя, справедливым был. Я на него смотрю — такие раньше на царей покушались. Он был партийный, пост большой занимал, а квартиры себе получить не мог. Все по командировкам ездил. Он и заболел в командировке, кашлял с кровью, а о себе ему некогда было подумать.

А Аня к нам пришла, и все у нас вот так вот сделалось, честное слово. Колю замордувала. То, чтобы он курить бросил — денег много на табак уходит, — то еще что-то. И как что не по ее — обижается, к столу не идет: «Я не хочу кушать». Василь Васильевич на что уж суровый был, сам пойдет к ней: «Аня, идите обедать, мы вас ждем». — «Не хочу, я сыта». Это уже все знают, что что-то не по ее. И Коля сам не свой — и передо мной ему не хорошо, и без нее он не может.

Вот, Витя, есть такая примета: баба стирку затеяла, белье ей сушить надо, а на дворе солнце, погода хорошая — значит, муж бабу любит. Шуточная это примета, конечно. Но скажи ты, когда Аня стирку ни затеет, погода разгуляется, солнце светит. «Это, — говорит она, — Коля меня любит». И правда, Николай ее любил. Я про нее ничего плохого сказать не хочу, она и красивая была, и работающая. Так, как она работает, никто не может. Себя она не жалеет. И замуж после смерти Николая не вышла, хогя молодая еще была и предложения ей делали.

Из-за детей не вышла. И блюла себя. Во время оккупации немцы у нас стояли, так один к ней ночью пришел. Она детей с собой в кровать брала, чтобы ее не трогали, а этот все равно пришел. Она ему лоб, нос, щеки — все лицо расцарапала, крику наделала, детей разбудила. Я днем того немца увидела, смеюсь, говорю ей: «Ты, Аня, посмотри, всю жизнь жалеть будешь». Такой немец был здоровый да красивый... Нет, я ничего плохого о ней не хочу сказать.

А вот беспокойная она. Я с ней не могу. Шумная. Бабка, мать ее, глухая как на грех. Начнут они разговаривать — крик в доме. С Женькой разговаривает — кричит. Дом не так поделили... Жизни она мне из-за этого дома не дает. «Я, говорит, этот дом белила, мазала, ремонтировала». Правильно — ремонтировала, мазала, да ведь строили его мы с Василь Васильевичем. Степь тут была тогда, огороды, а к реке — казачья станица. Василь Васильевич получил этот участок, привез меня сюда: «Вот тут, говорит, хата, вот тут огород». Так ведь каждое ведро глины, каждое бревнышко мы с ним своими руками перещупали. А воду откуда возили? Это сейчас колонка за квартал, и мы считаем далеко, а ведь раньше воду с реки бочками возили. Подъедем бочкой к спуску с горы, поставим бочку, подложим под колеса камни, а сами с ведрами за водой. А гора с версту. Плечи полопаются, пока ведрами бочку наносишь. А потом эту бочку еще по степи версты три везти. И опять за водой.

Я сейчас больная да слабая, а раньше здоровая была, так я вся почернела, пока дом строили. Построили его, а он сырой. Бревна клали сырыми. Они сквозь штукатурку и проступали на потолке во время морозов. Топили мы, топили, пока дом высушили. А сад этот? Василь Васильевич привез из питомника сто пятьдесят корней. Так ведь степь, Витя, надо было лопатой вскопать, деревья посадить да все их полить! А ну-ка! Я уж мужу говорю, куда нам этот дом — а строили мы его, Витя, уже перед войной — есть же у нас хибара, заплатили мы за нее деньги, дети взрослые, разойдутся от нас, а нам на наш век хибары этой хватит. «Нет, говорит, будем строить. Хочу в настоящем доме жить. Детям наш дом достанется». Достался! В один год вынесли два гроба. Это ж подумать только — в один год два гроба! Петя и Люба. А в сорок четвертом и Николай.

У меня уж, Витя, все в душе спорело. Эгоисткой я стала. Я во время войны санитаркой в больнице работала. Ну все делала: горшки выносила, утки подавала, полы мыла, простыни, грязное белье стирала. Все делала, а сама, как сонная, как не своя. Работать сутками могла — все равно мне было. А если кого на носилках понесут, я думаю: «Не у меня одной такое горе. И у других тоже». Нет, Витя, устала я жить...

У бабы Мани красные, опухшие, перевязанные грязными бинтами ноги. Эти толстые, негнувшиеся ноги не дают ей нагнуться, присесть на корточки — не выдерживают тяжести большого рыхлого тела. Ранней весной, летом и осенью Маня ходит по двору босиком. И кажется, что Маня не чувствует своими плоскими ступнями ни холода, ни боли — так равнодушно и подолгу она стоит на мокрой земле или ступает по битому стеклу. Случается, что Маня падает. Падает, спускаясь с низеньких порожков или просто на ровном месте. Падает она тяжело, всем большим телом, и не кричит, не зовет на помощь, хотя сама подняться не может. Ждет, пока кто-нибудь выйдет из дому и увидит ее. «Почему ж вы не крикнули, баба Маня? Что ж это такое?!» Маня молча поднимается и только шепотом про себя причитает: «Ох, боже ж ты мой». В бога она не верит: «Если бы он был, Витя, я бы его ненавидела».

Время от времени ноги ее страшно заболевают. Тогда мы вызываем «скорую помощь». «Скорая помощь» приезжает и неохотно забирает бабу Маню в больницу. Неохотно, потому что болезнь бабы Мани неизлечима, как неизлечимо ее возраст, как неизлечимо все то, что она пережила за свою долгую жизнь. И сама баба Маня неохотно уезжает в больницу. Не потому, что ей дома хорошо, а в больнице будет хуже — в больнице баба Маня все-таки отдыхает. Дома Мане приходится смотреть за двухлетней Нинкиной дочкой: «Это ж наказание, Витя, не угонось я за ней на своих ногах. Она убегает, а я не угонось», — а уезжать в больницу баба Маня не хочет, потому что некому смотреть за Нинкиной дочкой. В ясли дочку Нинка не хочет устраивать: «Пусть Наташка будет дома, пусть старуха смотрит».

Мне кажется, что баба Маня безмерно унижена своей великой любовью к беспутной Нинке.

Вот и сегодня нам через стену слышно, как Нинка истерично ругает бабу Маню. Нинка работает кондуктором автобуса, на смену ей надо подниматься в три часа ночи, она не высыпается, возвращается с работы раздраженная. А баба Маня сегодня постирала ей белье и вышивки. Так зачем она постирала! Она не так постирала!

Распахнулась дверь, Нинка влетела к нам. Растрепанная, в слезах, в коротком халатике, остановилась у спинки кровати — к нам здорово не влетишь, от двери до стола, за которым мы сидим, два шага, вытерла рукой щеку под глазом и сказала плачущим, неискренним, ищущим сочувствия голосом:

— Я ж ей говорила: «Отдыхай! Отдыхай!» Сколько можно! Зачем она за мной подлизывает: «Ниночка! Ниночка!» Когда это кончится!

Муля, не поворачиваясь к Нинке — она сидела к ней спиной, — сказала спокойно, буднично:

— Не с... паром, ноги обожжешь.

И Нинка вдруг сразу успокоилась. Еще раз провела рукой по высохшей щеке, взяла стул, запахнула халатик на голых ногах, села к столу и сказала, тарашась, — у Нинки, о чем бы она ни говорила, всегда такое выражение, будто она возбужденно тарашится:

— Видела Юльку Николаеву. Восемь лет детей не было, а сейчас что-то завязалось. — Нинка показала на живот. — Муж там свой не свой. Еще бы! Дом выстроили, плитусы, трафарет. Вдвоем там бьются головами о стены.

Муля заинтересованно глянула на Нинку через очки. Удивительно видеть Мулю в очках «моя добрая старая бабушка» — с дужкой, перевязанной ниточкой, с давней трещиной на стекле. Муля надевает очки, когда шьет при электрическом свете или когда клеит вечерами контрольные талоны, подсчитывает, сколько она заработала у себя на фабрике за неделю. В очках лицо ее становится медлительным, спокойным, и даже нижняя губа как-то раздумчиво и меланхолично выступает вперед.

— Забеременела? Юлька? — переспрашивает она Нинку и на минуту оставляет штопку.

— Забеременела, — возбужденно тарашится Нинка и машет на меня рукой: — А ты не слушай, если тебе не нравится.

Потом Нинка поворачивается к Ирке:

— Представляешь, поставила будильник на полтретьего, а он позвонил без десяти четыре. А в четыре надо быть в парке. Я вскочила и бегом. Лифчик как следует застегнуть не успела, похвatalа, о увидела: сумку, косынку — и на автобусную остановку. Бегу: «Ну все — опоздала». Если дежурный автобус прошел — час ждать. Смотрю — идет, добежала — сердце лопається. Влезла, а там только наши, парковские. Показывают на меня пальцем и смеются. Животы надрывают. А я как

на ночь накрутила волосы, локоны тряпками навязала, так с тряпками в голове и в автобус влезла.

Нинка что-то вспоминает, вскакивает, выбегает из комнаты и возвращается с белым свертком в руках.

— Хотела посоветоваться. Вчера встретила отца. Он и говорит: «Что ж это никто на день рождения мне и пол-литра не поднес?» А я и забыла совсем. Думаю, что бы ему подарить? Может, эту рубашку? Как ты думаешь, мужчина?

Я пожимаю плечами.

Нинка почти не жила у отца. После того, как умерла Люба, Нинкина мать, Нинка жила на два дома — у бабы Мани и у мачехи. А потом баба Маня и совсем забрала ее к себе. Отец вернулся после войны домой и не стал отбирать Нинку у Мани. Так они и живут с тех пор. Нинка изредка ходит к отцу; с мачехой она дружна и уже несколько раз прибежала ко мне с просьбой оборонить мачеху от отца. Когда отец пьян и буен, Нинка ненавидит его, грозит свести со света, бесстрашно бросается на него с кулаками, называет «идиотом», грозит, обещает, что я через газету отниму у него пенсию и вообще заклею. Когда отец трезв, Нинка забывает о своих угрозах, ходит к нему «смотреть телевизор», разговаривает с ним, но никогда не просит у него совета или помощи. К отцу она равнодушна.

— Да ты посмотри,— говорит мне Нинка и разворачивает рубашку.— Ничего? Белая, правда? Стоит девятнадцать рублей. Подарить?

— Как хочешь.

— Да ты посмотри.

Нинка надевает рубашку поверх халата. Широкая мужская рубашка свисает на ее узких плечах, рукава она долго закатывает. В комнате нет большого зеркала, а Нинке хотелось бы сейчас посмотреть на себя в зеркало. Она делает движение бедрами, как будто смотрит в зеркало.

— Муж скоро из армии вернется, а ты перед мужем сестры задом крутишь,— говорит Муля.

— Ничего от него не убудет,— отвечает Нинка и вдруг решает:— Жалко отцу такую рубашку дарить. Подарю ему пол-литра. Или и так хорошо будет. Пашка вернется, спросит, где рубашка? Он ее уже раз надел. Или продать ее? Деньги нужны. Продать? — И неожиданно решает: — Подарю или продам. Белая же! Что я ее буду каждый день стирать?!

Нинка уходит, а минуты через две ей на смену приходит Маня. Тяжело садится на стул, поджимает губы и молчит. Молчим и мы. Ирка предлагает:

— Баба Маня, чаю?

Баба Маня молча отрицательно качает головой.

Муля вздыхает:

— Деточки! Черти своих не узнали да нам подбросили.

Я говорю:

— Маня, вы бы поели.

У бабы Мани одышка, так она тяжело переживает Нинкины оскорбления. Она говорит:

— Витя, мне умереть хочется! Если б ты знал, как хочется умереть.

Несколько дней назад я зачем-то зашел к Мане. Маня была одна, она лежала на кровати и плакала.

— Что с вами? — испугался я.— Ноги опять болят? «Скорую помощь» вызвать?

— Умру я скоро,— сказала Маня.— Не ем ничего. Сил уже ни на что нет. Разве это я ем? За два дня крошку в рот взяла и насильно проглотила. Нет, Витя, даже на еду сил.

— Вам бы надо отдохнуть,— сказал я, пораженный этими слезами бабы Мани. Бабы Мани, которая пережила и своего мужа, и всех своих детей и от которой я столько раз слышал, что ей хочется умереть.— Вам надо бросить все и уехать в дом отдыха. Мы с Ирккой достанем вам пуховку. Что вы отдыхаете себе не заработали, что ли?

— А кто Наташку будет смотреть? — безнадежно сказала баба Маня.

— Пусть Нинка ее в ясли устроит. Она же жена солдата. Ее ребенка обязаны взять в ясли в первую очередь.

— Не хочет она, Витя.

— Да что значит не хочет! У вас что — своей воли нет?

У бабы Мани не было своей воли, если чего-то хотела или не хотела Нинка. Вот и сейчас бабу Маню сотрясает одышка, руки у нее дрожат, она ждет от нас сочувствия, говорит мне: «Вот, Витя, думала, детьми успокоюсь, а дети умерли. Думала, внуками успокоюсь — и на тебе», — а начини я ругать Нинку, и Маня станет мне чужой. И не только мне, но и Ирке и Муле.

Муля говорит:

— До Пашкиного возвращения еще два года.

— Ой, не дай мне бог дожить до этого дня,— отвечает Маня.— Придет пьяница, совсем я тут буду лишняя.

Тогда я все-таки не выдерживаю и начинаю ругать Нинку. Я говорю, что она неблагородный, неблагодарный человек, что она думает только о себе, что баба Маня сама виновата — она своим попустительством разлагает Нинку.

— Говорит же вам Нинка: «Не подлизывай». Вот и не подлизывайте. Пусть сама все делает. Пусть покрутится без бабы Мани.

И тут баба Маня вдруг говорит:

— Слабая она. Жить ей недолго.

— Кому? — не сразу понимаю я.

— Нинке,— говорит баба Маня,— грудь у нее слабая.

— У Нинки?! — изумляюсь я.— А у вас?

Но баба Маня уже замкнулась, говорить не о чем.

Когда-то я собирался просто разрешить спор между Маней и Нинкой.

— Бросьте вы свою Нинку,— сказал я Мане.— Сколько можно! Есть же у вас и еще внуки. Ирка, например.

До сих пор стыжусь этого, как одной из самых больших глупостей, которые мне пришлось совершить.

Было это больше года назад, когда Нинка завоевывала своего Пашку. Мы с Ирккой только что поселились у Мули. Вечерами мне приходилось много работать, я добивался тишины и невлюбил Нинку уже за то, что она всегда говорила громко, подолгу болтала с Мулей, ни на какие намеки не реагировала, а если я прямо просил ее помолчать или уйти к себе, она переходила на громкий, еще более раздражающий меня полусшепот и жаловалась Ирке так, чтобы слышал и я:

— Вот муж у тебя невоспитанный.

А поздно вечером, иногда за полночь, когда мы с Ирккой ложились спать, в ставню нам начинали стучать. Стук был настойчивый. Так не могли стучать мои или Иркины знакомые, так не могли стучать к Муле или к бабе Мане, и, единственный мужчина в доме, я выходил к дверям и говорил каким-то мрачным, нагловатым ребятам:

— Окна Нины выходят во двор. Стучать ей надо со двора.

— Ты,— говорили они мне,— позови Нинку.

И я понимал, что неуважение к Нинке распространяется и на меня. Я стучал к Нинке:

— К тебе!

А Нинка шепотом спрашивала меня из-за двери:

— Это длинный, да? В белой рубашке? С золотым зубом? Скажи, что меня дома нет.

Вначале я соглашался вступать в переговоры с длинным в белой рубашке, и с другим в вельветовой куртке, с лошадиным лицом, и еще с третьим, а потом я говорил Нинке:

— Иди сама.

Нинка затаивалась за дверь и высылала вперед Маню. Маня кричала на ребят:

— Уходите отсюда! Никакой Нинки здесь нет.

А из-за двери продолжали свое:

— Открой, бабка! Нам надо с Нинкой потолковать.

Опять выходил я, требовал, чтобы ребята перестали стучать, а мне отвечали:

— А ты нам не нужен. Мы не к тебе пришли.

Утром баба Маня горестно поджимала губы и отводила в сторону глаза, Муля кричала на Нинку:

— Когда ты перестанешь водить кобелей?!

— Не вожу — сами ходят,— яростно тарашась, отвечала Нинка,— а ты завидуешь. Ты даже своей дочке завидуешь. Тебе самой здорового кобеля хочется.

Мулины черные глаза начинали непримиримо полыхать. Ирка кричала:

— Сейчас же прекратите!

А Нинка плачущим голосом объясняла ей:

— Ты же знаешь, Ирка, я сейчас отшиваю всех ребят. Я только с Пашкой. Я ж не виновата, что они ходят.

Этого Пашу я видел раза два. Ничего особенного: нос уточкой, голубые смущающиеся глаза. Рост немного выше среднего, плечи спортивные. Приятный парень, но, повторяю, ничего особенного. А ведь должно было быть особенное, потому что Нинкина любовь развивалась катастрофически. До встречи с Пашкой Нинка работала продавщицей в «гастрономе» — Нинка окончила торговые курсы,— потом ее с позором выгнали из магазина, и она устроилась автобусным кондуктором. До встречи с Пашкой Нинка не скандалила так истерически с бабой Маней и Мулей, не ссорилась с Ирккой. Еще ничего не зная об этом Паше, мы с Ирккой стали догадываться о его существовании, предчувствовать его появление, потому что у Ирки из шкафа стали исчезать ее платья и белье, а у меня пропала, и притом навсегда, книжка о боевых приемах самбо, книжка, которой я очень дорожил. Ирке не было жаль своего белья, она сочувствовала Нинке и говорила мне:

— Ты напрасно так ее не любишь. Нинка с детства обделена вниманием. Она просто заискивает перед теми, кто хоть как-то хорошо к ней относится.

Домой Нинка стала приходиться поздно ночью, утром не могла подняться на работу.

— У нас сегодня санитарный день,— говорила она Мане.— У нас сегодня переучет.

Маня вздыхала, ходила с горестно поджатыми губами, отказывалась есть, когда Муля или Ирка приглашали ее обедать,— скрывала, что Нинка перестала приносить домой деньги и продукты. Все раскрылось в тот день, когда Маня остановила почтальона и спросила, почему пенсия в этом месяце так задерживается.

— Как задерживается?— удивилась почтальон.— Ваша Нина написалась, можете проверить по ведомости.

Маня собралась и поехала в Нинкин «гастроном». Там ей сказали, что Нинка уволена. Когда Маня вернулась домой, у Нинки началась истерика.

— Чтоб вы сдохли,— кричала она Мане, Муле и Ирке.— Жить вы мне не даете!

Маню, оскорбленную, оглушенную, увели к Муле. Муля спросила:

— Мама, что вы думаете делать?

— Ой, Аня, мне жить не хочется, а ты меня спрашиваешь, что я думаю делать. Ничего мне не хочется, ничего я не хочу делать. Я хочу, чтобы мне дали возможность дожить спокойно.

Попробовали на следующий день разыскать Пашу, говорили с ним, пытались пристыдить, но ничего из этого не вышло. Паша сказал, что он ни к чему Нинку не принуждал, она сама за ним бегаёт, не даёт проходу, а он кончает техникум и уезжает из города навсегда.

Он и правда уехал. Ирка, которая не вмешивалась во всю эту историю, сказала Нинке:

— Разве это мужик? Принимал у тебя вино, подарки? И это мужик? Ну, хорошо — принимал, а спрашивал, откуда у тебя деньги? За таким я убиваться просто бы не могла.

— Разве я убиваюсь, Ира,— сказала ей Нинка,— у меня все перегорело! Дура я, дура! Ничего у меня к нему не осталось.

А через месяц Нинка села на поезд и укатила в город, в который Паша получил направление. Вернулась она месяцев через десять, когда Пашу призвали в армию. Победила-таки его. Приехала успокоившаяся, рассказывала:

— Ехала к нему, послала телеграмму: «Встречай!» А он встречать не вышел. Я с вокзала к нему в общежитие, а комната его заперта, и ключа нет — не оставил. Соседи говорят: на работе. А у него уже женщина была, с которой он встречался, ей и сказали, что я приехала и сижу на чемодане у него под дверью. Она ко мне: «Девушка, вы к Павлику приехали? Учтите, мы с ним уже месяц встречаемся». А я ей сразу: «Вы с ним месяц встречаетесь, а я с ним два года сплю». Она и пошла от меня по коридору. А Пашка с работы вернулся: «Ниночка, Ниночка!» Куда там... В армию уходил, все беспокоился, чтобы я ему тут не изменила...

На работу в автобусный парк Нинка устраивалась так. Дала отцу денег, тот пошёл к каким-то своим знакомым, пил с ними, ещё с кем-то пил, и наконец Нинку зачислили. Я удивился:

— Зачем тебе это было нужно? Без выпивки тебя б кондуктором не приняли?

— А как же, Витя! — удивилась Нинка.— А приняли, так, думаешь, давать не надо? Диспетчеру не дашь — загонит на плохую линию. С шофером не поделишься — плана никогда не выполнишь. А плана не дашь — с автобуса снимут, в мойщицы переведут. Тут напсихуешься, пока десятку заработаешь, а потом и раздашь.

Нинка меня всегда потрясала тем, что была насквозь своя в мире, с которым я по своей профессии обязан был воевать. Если бы я сказал: «Во всех магазинах воруют» — это было бы трагическим признанием того, что все усилия учителей, газетчиков вроде меня, писателей, самой высокой государственной власти — всех тех, кто учит тому, что такое хорошо и что такое плохо, ничего не стоят. Нинка утверждала: «Во всех магазинах воруют» — не испытывая ни горечи, ни разочарования. Она жила в этом мире. Не лучше и не хуже других. И все. Напсихуйся, а десятку зарабатывай.

Работать Нинке тяжело. Особенно трудно приходится ей в ночных сменах, когда она возит пассажиров в наш окраинный район. Каждый

день какое-нибудь приключение. Пьяный приставал, хулиганы хотели кого-то ограбить или обидеть.

— Вчера везу двоих — парень и девушка. Смотрю, они уже вторую туру не вылазят, а около них трое парней. Фиксатые, в пиджачках — ну я их сразу вижу. Ждут, пока эти двое встанут. Я смотрела, смотрела, говорю этим троим: «А ну вылазьте! На карусели будете кататься, а тут автобус». Один ко мне подходит: «Молчи, сука!» А я прикидываю — до цементного завода ни одной остановки с милиционером. Я ему говорю: «Какая я сука? Ты сам похуже суки. Ты, говорю, не на ту напал. Я таких, как ты, видела-перевидела. Скажу шоферу, чтобы двери запер и к милиции ехал, так сразу вашу шивую компанию и сдам». Кричу шоферу: «Петя, тут приבלатыканные пристають!» Петя взял монтировку — а на автобусах мужики подобрались здоровенные, — остановил машину: «А ну, говорит, выметайтесь!» Те упираться. Грозятся: «Мы тебя встретим!» А потом вылезли. А через две остановки и эти двое встали. «Спасибо», говорят.

Глава пятая

Так мы и живем семеро в одном доме. Шесть женщин: баба Маня, Муля, Мулина мать, Ирка, Нинка, Нинкина дочь Наташка — и я. Утро у нас начинается в пять часов. Первой начинает хозяйничать Муля. Последний месяц Муля почти не спит — караулит доски, бревна, мешки с цементом, которые лежат у нас во дворе. Дело идет к осени, а мы пристраиваем к нашей половине дома тамбур. Вернее, комнатку-тамбур. Дом, поставленный бабой Маней и ее мужем, перестроенный Мулей и сыном бабы Мани, мы переделываем еще раз. На нашей половине мы ломаем перегородки — увеличиваем комнаты за счет коридора. Когда мы закончим перестройку, у нас будут две комнаты по двенадцати метров да еще комнатка-тамбур, в которой мы поставим печь и которую сделаем тепловым барьером против осенних ветров и зимней пурги.

Вся эта спешная работа начата под давлением Ирки. Когда-то она мне сказала: «Надо, чтобы маленький у нас появился летом. Дом старый, сырой, сплошные сквозняки, если он у нас появится зимой, мы его насмерть простудим». Но оказалось, что он у нас все-таки появится зимой. Когда Ирка это поняла, она стала смотреть на меня отчужденно и оценивающе, как в тот день, когда мы с ней пошли в загс и она бесстрастным голосом сообщила, что оставляет за собой свою фамилию. Она стала с запозданием отвечать на мои вопросы, а в день моего рождения забыла меня поздравить. Она ждала, что я что-то решу. Она даже знала, что я должен решить, она могла подсказать мне это решение, но почему-то хотела, чтобы я сам его нашел. А я упирался, я не понимал. Я просто не чувствовал важности и значительности того, что чувствовала она. Трагические Иркины предчувствия меня раздражали.

Из последних пятнадцати лет половину я провел в бараках и думал, что заслужил право пренебрежительно относиться ко всяким бытовым удобствам. К тому же квартиры мне все равно никто бы не дал. Работал я тренером в спортклубе большого завода, вечерами писал, мои заметки стали изредка появляться в печати, и я считал, что делаю все, что могу. И вообще ни о каких квартирах я еще думать не мог.

— Понимаешь, — убеждал я Ирку, — не в этом главное. Мы с тобой не какие-нибудь одноклеточные. Надо что-то делать. Надо же для чего-то жить!

Раньше Ирка даже с некоторым энтузиазмом слушала меня, теперь она молчала.

— Ну, хорошо,— говорил я,— ты же знаешь, что я не столяр, не плотник. Я никогда не жил на окраине, я не умею того, что должен уметь человек, живущий в таком доме. Я же честно ношу воду, таскаю уголь, рублю дрова, копаю землю в саду наконец. Но если я возьмусь исправлять нашу дверь — я загублю ее. Ничего не могу тебе обещать, но, кажется, меня могут взять на работу в газету. Тогда что-нибудь у нас изменится к лучшему. Во всяком случае — это шанс...

Шанс этот был вот каким. Однажды я зашел в редакцию журнала, в котором уже напечатали мой очерк и где мне начали давать маленькие задания.

— Хотите,— сказал мне мой редактор,— я вас устрою в газету? Открывается новая городская газета, а главным в ней будет мой хороший знакомый. Решайтесь быстрее, он сейчас сюда придет.

Потом в кабинет вошел человек, которого я должен был бы узнать с первого взгляда, потому что от него зависело, работать ли мне в новой городской газете.

— Александр Яковлевич,— сказал ему редактор,— тебе нужны люди? Могу тебе порекомендовать вот этого парня. Он тебе и рецензию и очерк напишет. Он у нас уже несколько раз печатался, и всегда удачно.

Александр Яковлевич присел к столу и спросил меня:

— На что вы рассчитываете?

На что я рассчитываю? Я даже не понял вопроса. Меня ни разу в жизни об этом не спрашивали.

— Места заведующего отделом у меня нет. Мне нужны люди, которые умеют бегать. Столоначальники мне не нужны. Шесть столоначальников,— (пренебрежительный жест),— у меня уже есть. Мне нужны пишущие люди. Я хочу, чтобы мои журналисты писали. Читатель должен знать людей, которые работают в газете. У вас какое образование?

— Литературное.

— Мне нужен очеркист при секретариате. По штату нам в городской газете такая должность не положена, но я хочу по-новому построить работу. Вы областную газету читаете?

— Читаю... иногда.

— Нравится?

— Не нравится,— честно сказал я.

— Я и хочу, чтобы не нравилась. Я хочу, чтобы читатели сразу уловили разницу между нашей газетой и областной. По-другому, по-другому надо строить работу. У меня будут работать только молодые. Средний возраст — ниже тридцати лет. Пожилые только я и мой заместитель.

— А кто зам? — спросил редактор.

— А,— ревниво отмахнулся Александр Яковлевич и не ответил.

— Запишите мой домашний телефон,— сказал он мне.— Пока у нас нет постоянного места, звоните мне домой.

— Я работаю на заводе физруком,— замялся я.— Мне увольняться?

— Сколько вы там получаете?

Я сказал.

Александр Яковлевич что-то прикинул и кивнул:

— Много я обещать не могу, но рублей на триста больше вы будете иметь. Через месяц увольняйтесь.

Он пожал мне руку, закрыл блокнот, в который записал мой адрес, имя и фамилию, и ушел, оставив меня в растерянности. Я был обязан рассказать ему о своей биографии. Но у меня не хватило духа это сделать. Когда человек так по-человечески с тобой разговаривает, жмет тебе руку, задает вопросы — всегда трудно остановить его и сказать: «Понимаете, все это хорошо, но я хотел бы, чтобы вы раньше ознакомились с моей анкетой». Это все равно, что сказать грубость. Поставить в не-

удобное положение доброжелателя. Тут всегда надо быть начеку и разговор о собственной анкете заводить раньше, чем человек превратится в твоего доброжелателя.

Я виновато посмотрел на своего редактора.

— Вот видите,— сказал он мне,— все получилось очень просто.

— Да,— сказал я,— но он не знает...

— Что-то насчет этой нелепой студенческой истории? Какое это сейчас имеет значение? Ах, бросьте вы, право! — И редактор занялся работой.

История действительно нелепая. Но патрон лукавил. Еще три-четыре года тому назад мало кто осмелился бы назвать ее нелепой. «...Ах, бросьте вы, право!» — сказал мой редактор, но по тому, как он был старательно небрежен, чувствовалось, что три-четыре года слишком маленький срок, чтобы человеку свободно давалась эта небрежность.

Его оптимизм меня тоже не убеждал. Уже два раза меня пытались взять на работу в журнал, но оба раза на какой-то ступени все замораживалось. Чтобы избежать себя от лишних унижений, я дал себе слово не звонить Александру Яковлевичу, однако не выдержал и недели и позвонил ему. Он велел мне прийти через несколько дней с документами в горком партии — секретарь горкома по пропаганде знакомился с будущими журналистами новой газеты.

Я шел в горком и надеялся только на то, что третьим секретарем сейчас не тот человек, к которому я приходил несколько лет назад. Фамилию того я забыл, фамилию этого Александр Яковлевич мне назвал — Селиванов. Однако когда секретарша позвала меня, я уже не надеялся, что Селиванов — это другой человек: слишком все и в приемной и в кабинете, видимом мне через полураскрытые двери, было тем же самым.

Я вошел, но никто не обратил на меня внимания. Селиванов и Александр Яковлевич только что проводили журналиста, с которым я познакомился в приемной, и говорили о нем. Они сидели за маленьким столиком, поставленным на полпути к большому столу. Александр Яковлевич сказал мне: «Садись», — и тогда секретарь горкома повернулся наконец ко мне всем корпусом. Он не изменился, не постарел. Сидел он неподвижно, вопросительно нацелившись на меня, но по его маленьким темным глазам сразу было видно, что он очень подвижный, резкий и решительный человек.

— Ну что ж,— сказал он,— давайте поговорим. Александр Яковлевич, где бумаги товарища?

Он не узнал меня, и я стал надеяться, что он и не узнает, что он не станет смотреть мои бумаги, а если посмотрит, то небрежно — уже было принято небрежно смотреть бумаги, если ты их сам принес: «Дело не в бумагах — дело в живом человеке». Но Селиванов сразу взялся за бумаги, и надежда моя мгновенно исчезла. Он тотчас же нашел именно тот пункт, который подводил меня:

— В пятьдесят втором году ушли из института... Почему?

Он еще не останавливался специально на этом вопросе. Он спрашивал, готовясь услышать быстрый удовлетворительный ответ и читать анкету дальше.

— Работал на строительстве. В Сибири.

Селиванов откинулся на стуле:

— Да, но зачем было оставлять институт на последнем курсе?

Я замаялся, и он сразу же отодвинул бумагу, приготовился к разговору.

— Давайте-давайте,— поторопил он меня.— Давайте говорите

правду. Бояться здесь нечего. И некого. Здесь все свои. Правда, Александр Яковлевич?

Он улыбался. Это была поощрительная, поторапливающая улыбка.

— В пятьдесят втором году я приходил к вам.

Я ожидал, что после этого он вспомнит меня.

— Я слушаю вас,— сказал Селиванов, он все еще улыбался поторапливающей улыбкой.

— У Василия Дмитриевича много людей бывает,— сказал Александр Яковлевич. Он насторожился.

Я чувствовал себя виноватым перед ним. Я обязан был рассказать ему об этой дурацкой институтской истории. О том, как нас разоблачали, клеймили, называли людьми с двойным дном за то, что мы рисовали друг на друга карикатуры, писали стихи.

— Помните эту пединститутскую историю? — сказал я Селиванову.

И тут он вдруг все сразу вспомнил.

— Где вы работаете?

Я сказал.

— Это какой завод? Где он расположен, в каком районе?

— Это Северный поселок.

— Район? Какой район?

Я молчал.

— Вы не знаете? А в каком районе вы живете? Не знаете? А в каком районе мы сейчас находимся? А сколько в городе районов?

Я не то чтобы не знал, я был ошеломлен.

Александр Яковлевич сказал Селиванову:

— Я буду вытравлять в газете эти названия: «Северный поселок», «Западный поселок»! Это же не названия для районов города.

Селиванов кивнул ему.

— Теперь я вижу, что вы действительно аполитичный человек. А почему вы решили поступить в газету? Почему вы решили, что там ваше место?

Я посмотрел на Александра Яковлевича. Теперь я боялся подвести редактора, который рекомендовал меня.

— Вы когда-нибудь работали в газете?

— Печатался немного.

— А почему вы не идете работать по специальности? Вы же учитель?

— Нет вакансий.

— Так, может, порекомендовать в горно, чтобы вам подыскали место? — Он позвонил секретарше: — Соедините меня с горно. Не отвечают? — Он положил трубку.

Я сидел, не смея повернуться к редактору. Он был красен.

— Все,— сказал Селиванов и оглянулся на редактора.— Я думаю, Александр Яковлевич, все? Идите. Мы порекомендуем заведующему горно, чтобы он заинтересовался вами.

Чтобы не возвращаться к этому опять, скажу сразу — меня приняли в газету. Почему? Не знаю. Судя по тому, как закончился разговор с Селивановым, меня не должны были принять. Но я не стал допытываться у Александра Яковлевича, как ему удалось отстоять меня, с кем еще консультировался, созванивался Селиванов. Может быть, главное было в том, что в пятьдесят седьмом году работу в газете надо было строить по-другому. Может быть. Но когда я уходил из кабинета Селиванова, я всего этого еще не знал.

Дома мне открыла Ирка. У нее были красные глаза.

— Что случилось? — спросил я.

— Ставня,— отчужденно сказала Ирка.— Ставня второй месяц не открывается. В комнате темно, а никто не подумает приделать к ставне крючок. Петли там все перержавели. Их отец еще, наверно, ставил.

Я вышел на улицу. Половинка ставни первого от угла окна была закрыта. Я открыл ее — ставня косо повисла на нижней петле. Верхняя петля перержавела. Перержавело и дерево под петлями и рядом с ними. Судя по количеству пробоин, петли несколько раз переносили с места на место, и теперь дерево окончательно стало рыхлым. Надо было менять не только петли, но и всю ставню и даже оконную лудку с наличником. Я закрыл ставню и прошел вдоль забора. Под ветром забор выгибался, парусил. Колья, на которых держалась легкая дощатая решетка, почти полностью сгнили в земле. Их как будто подпилили у самого основания. И теперь не решетка на них опиралась, а сами колья висели на решетке. На весь забор уцелело не больше двух-трех кольев. Я вернулся в дом, спросил у Ирки:

— Что ты предлагаешь?

Иркин план подавил меня. Переносить перегородки на нашей половине дома, увеличивать за счет коридора наши две комнаты, пристраивать комнатку-тамбур, где-то доставать кирпич, доски, кровельное железо — для меня было все равно что построить гидростанцию, шлюз или возвести высотное здание. Я чувствовал, что Ирка права, что я обречен — нам просто негде будет жить, некуда деть маленького, не говоря уже о том, что Женьке, когда он вернется из армии, надо где-то поставить кровать,— и все же я закричал что-то злобное, нелепое. Я кричал, что не желаю становиться домовладельцем, что ненавижу и этот дом, и эту улицу, и всю эту окраину. Здесь все давно пора пустить на слом. Не ремонтировать, не строить, а ломать. И я не желаю ради этой хаты на несколько месяцев отключаться от настоящей жизни.

— Я не хочу строить эту конуру,— кричал я.— Не хочу!

И еще кричал что-то о праве на призвание, о том, что не поступлюсь и минутой не только ради этой конуры, но и самого очевидного распроблагополучия. Я так и сказал: «Распроблагополучия». И не знаю, как ко мне явилось это слово и как я его выговорил.

Глаза у Ирки стали Мулиными — непрощающими, ожесточенными. Они у нее последнее время всегда становились такими, когда я кричал о своем призвании, о том, что каждый человек обязан жить для людей, что семью можно построить, только если мы оба это понимаем, что у нас не должно быть культа унижающих душу мелочей.

Пришла с работы Муля. Сняла платок, посмотрела на пол — чисто ли, на печку — горит ли, заглянула в шкаф — все ли на месте, сказала:

— Устал человек.— Посмотрела на Ирку, на меня, мгновенно оценила ситуацию, сообщила:— Видела Петьку Ясько.— (Петька Ясько — старый Иркин ухажер. О всех ребятах, которые когда-либо ухаживали за Ирккой, Муля мне очень подробно рассказала.)— Скажи ты, какой здоровый стал! Говорит мне: «Тетя Аня, здравствуйте!» А я не узнаю. Смотрю на него — плечи вот такие, ручища, как у самосудчика! Ну, палач,— восторженно сказала Муля,— чистый палач! Говорит: «Тетя Аня, проходил мимо вашего дома, забор у вас там валится. Что ж, некому починить? Прийти в воскресенье починить?» А я ему говорю: «Ты ж знаешь — нет мужчины в доме». — «А ваш зять? Вы знаете, тетя Аня, как я к Ирке отношусь, мне интересно, какой зять». Я говорю: «Зять — человек неплохой, но способностей у него к такой работе нет. Кто что умеет». — «А что он делает?» — «Пишет». — «Писатель?» — «Писатель». Попрощались мы с ним. Он пошел, а я смотрю — здоровенный! Ну просто самосудчик! А дом какой у них, видела, Ирка? Вот скажи ты —

необразованный, а какой талантливый парень! И дом сам поставил, и ворота такие выкрасил, и машина у него. Все в руках горит.

— Что-то вы, Муля, слишком уж восторженно о мужиках говорите,— оскорбился я.

Когда-то, еще до того, как мы с Ирккой поженились, когда мы с ней еще только напряженно присматривались друг к другу, часто ссорились, Муля пришла ко мне домой. Я еще не знал тогда, что это Муля. В квартире моих родителей, где я тогда жил, позвонила маленькая, плотная, седая женщина с черными пристальными глазами и спросила меня. Мы прошли в комнату.

— Я на минутку,— сказала она.

— Пожалуйста, пожалуйста,— подал я ей стул. «Почтальон не почтальон, чего ей надо?»

— Я Ирина мать,— сказала она.— Я вас очень прошу, чтобы Ира никогда не узнала, что я была у вас.

— Да,— растерянно кивнул я. Мы уже целую неделю были с Ирккой в ссоре.

— Я так волнуюсь,— сказала она.— Мне так неудобно. Я ушла с работы, отпросилась у мастера. Женщины на работе мне говорят: «Аня, что с тобой, на тебе лица нет». А у меня, верите, работа валится из рук. Я вас не знаю, ничего о вас не слышала, Ирка со мной ничем таким не делится, а только я вижу, что она сама не своя. Вы не знаете, какой у нее характер. Лучше не иметь никакого характера, чем такой, как у нее. Я вас один раз видела с ней и потом, простите, на письме, которое вы ей написали, прочитала ваш адрес. И вот пришла к вам. Я даже не знаю, что вам сказать, чтобы вы не подумали ничего плохого. Но вы поймете меня, я мать, мне не хочется, чтобы мои дети мучились.

Я развел руками. Мне было неудобно, я не знал, что сказать. Мы с Ирккой, конечно же, никогда не принимали в расчет ни моих, ни ее родителей.

Потом я провожал Мулю к дверям и говорил невпопад:

— Да, да, нет, нет. Что вы! Конечно же!

Кажется, тогда я и подумал: «У нас с Ирккой все будет серьезно». Впрочем, с Ирккой у нас с самого начала все получалось очень серьезно и очень напряженно.

А когда мы с Ирккой поженились и переехали к ней жить, я понял, что с самого начала не понравился Муле. Я не умел починить крышу, поставить забор, не умел навесить ставню. Я плохо зарабатывал и не пытался взять в свои руки управление домом. Я был совершенно равнодушен к дому. И как-то раз, когда Муля пригласила соседа-плотника поправить нам дверь, я впервые услышал: «Нет мужчины в доме».

— Вы ж знаете,— говорила Муля,— нет мужчины в доме. Женька же в армии. Скотина он, конечно, но дверь сам бы починил. Вот скажи ты, не ценишь, когда рядом. Не могла дожидаться, когда его уже в армию заберут, а теперь жалею, что дома нет.

Глава шестая

Однако Муля лицемерила — ни с каким мужчиной она не стала бы делиться ни властью, ни заботами в нашем доме. День у нас в хате начинается так. В пять часов утра в Мулиной комнате хлопает выходная дверь и раздается беглый, по-собачьему частый топот ног. Потом Муля хриплым, надрывно громким шепотом затевает с глухой бабкой примерную такую беседу:

— Спички?

— А-ха-ха... А?

— Спички?! — еще громче шипит Муля. Она экономит звуки, слова, спрашивает: «Спички?», а не полностью: «Где спички?» — чтобы не будить нас, но глухая бабка ничего не понимает спросонок, и Муля переходит на крик: — Где спички? Где спички?! Понимаешь?!

— А-а... у халати. В карманчике.

— А, черт тебе уши законопатил.

И опять беглые, по-собачьи частые шаги от шкафа к печке, от печки к столу. Грохот выходной двери, сквозняк, наполняющий холодом темные комнаты. И вдруг алюминиевый звон грохнувшейся об пол кастрюли. И сразу же приглушенные, но явные проклятья на голову тех, кто «никогда не ставит вещи на свое место».

Ирка лежит рядом со мной с закрытыми глазами, но, как и я, не спит. Ирка преподает в вечерней школе. Рабочий день у нее начинается в шесть-семь часов вечера. В полдвенадцатого я иду встречать ее к кожгалантерейной фабрике, рядом с которой стоит школа. Днем это дневная школа, вечером в нескольких классах занимаются вечерники. Днем это довольно бойкое место. Ночью здесь глухо, а временами опасно. Один раз хулиганы продержали в осаде учительскую, где заперлось несколько учителей. Часам к двенадцати мы с Ирккой возвращаемся домой, в час ложимся спать. Муля ложится еще позже: что-то шьет, клеит на бумагу талоны, подсчитывает свой фабричный заработок — «правит талмуды», как она говорит. Наконец тушит свет, а в пять часов утра опять на ногах. Мы с Ирккой не высыпаемся. Беременной Ирке особенно хочется спать, я чувствую, как она напрягается, прислушиваясь к Мулиным частым шагам, как ждет, когда Муля уgomонится или просто уйдет на работу. Я вздыхаю, ворочаюсь — больше мне не заснуть, а Ирка лежит неподвижно, никак не показывает своего раздражения. Она знает, что одергивать или просить Мулю бесполезно. Муля скажет: «Хорошо, хорошо», а через минуту прибежит к бабке: «Масло? Где масло?..»

Наконец Муля что-то приготовила, прибрала, поднимает с кровати бабуку, накидывает ей на плечи платок или одеяло, вытаскивает в коридор или на улицу и там, уже отделенная от нас дверью, кричит что есть силы:

— Мама, кашу я вам поставила в короб! В короб, говорю! В короб! А чтоб тебе!.. Кашу в ко-роб!

Потом следуют остальные объяснения. Где стоит молоко, где сахар.

— Сахар в банке весь! Весь, говорю! Денег до получки нет. Говорю: весь!

И вдруг бабкин возмущенный лепет, похожий и на бульканье и на клекот:

— Да не штурляй ты меня. Дочь называется! Восплачешь и возм-даешь...

— С тобой и в грех не войти! — кричит Муля. — Иди спать!

Мулин крик уже похож на рыдание.

Хлопает дверь, бабка с кряхтением укладывается на кровать, а Муля через комнаты пробегает к нам. Она уже в пальто, уже опаздывает к себе на фабрику. Она набегалась и кажется мне марафонцем, достигшим середины дистанции. Она и дышит, как марафонец на середине дистанции, когда наклоняется в темноте над нашей кроватью.

— Ирка! — нетерпеливым шепотом зовет она. — Ирка!

Она говорит шепотом, как будто собирается разбудить только Ирку, а мне дает еще поспать. Ирка отзывается не сразу.

— Да,— говорит она,— все слышала. Каша в коробе.

Муля наклоняется над ней:

— Огурцы в большой кастрюле. Поднимешь крышку, снимешь осторожноенько тряпку, а там гнет. Огурцы в капусте. Возьмешь — и все на место. И гнет, и тряпку, и крышку.

Ирка не отзывается, глаза ее закрыты.

— Ты слышишь? Крышку поставь на место. Из хлеба гренки сделай. Хлеб черствый, а ты его молочком размочи и гренки сделай. Масла нет, а ты на маленьком огне. Масла там немного. Ты не бери. Я приду с работы, оладьев напеку. Виктор любит оладьи?

— Ой, Муля, иди ради бога на работу.

— Бутылки сдай. Там три бутылки и пять банок. Кефиру купишь. Слышишь?

— Слышу.

— Ты в город сегодня не пойдешь?

— Не знаю.

— Если пойдешь, передай Альке пирожков, что я вчера пекла. Спроси, есть ли у него деньги. Пусть грязное белье принесет, я ему постираю.

Алька — Мулин племянник. Он учится в университете. Родители его живут в районном городке, а Муля тут за Алькой присматривает. Раньше Алька жил у Мули, но с тех пор, как мы с Ирккой поженились, в двух комнатках совсем не осталось места, и Алька переехал на частную квартиру.

Муля выбегает из комнаты, возвращается опять — что-то забыла, чертыхается и наконец захлопывает за собой двери. Но это еще не все. Мы с Ирккой ждем — и сразу же слышим стук в соседнюю дверь, к бабе Мане. Баба Маня любит поспать, она отзывается не скоро. Муля стучит все раздраженнее:

— Мама! Мама! Откройте, это я, — зовет она сдавленным голосом. Дверь открывается.

— Чего тебе? — с сонным стоном спрашивает Маня.

— Чего вы запираетесь на ночь? — раздраженно частит Муля. — Черти вас утащат? Что у вас тут красть? Крышку от ночного горшка? Ирка не выдерживает.

— Прикрикни на нее, — говорит она мне. — Тебя она послушает.

Я не отвечаю. А за дверью раздраженная перебранка переходит в торопливый гул голосов, в котором трудно разобрать отдельные слова:

— Кашу я оставила в коробе... Скажите Ирке, чтобы масло не трогала, там на две банки... Если Алька придет, покажите ему, где его чистые рубашки...

Хлопает выходная дверь, в хате спадает напряжение, становится тихо. Однако мы с Ирккой еще ждем стука в ставню. Может постучать какая-нибудь Мулина товарка, возвращающаяся с ночной смены домой. Муля часто просит кого-нибудь из своих знакомых, идущих ей навстречу с фабрики, постучать нам в окно и сообщить, что каша стоит в коробе, а в магазин привезли капусту и синенькие и надо, чтобы Ирка встала и пошла занять очередь. На стук в ставню Ирка быстро поднимается, вежливо отвечает: «Да, да; спасибо, хорошо, что вы зашли», — и ложится опять.

Возвращается с работы Муля часов в пять-шесть. Первая смена на фабрике заканчивается в три часа дня, но после работы Муля еще бежит на рынок, в магазины, постоит в очереди за концентратами, крупой. Или за мороженой рыбой. Придет, бросит в коридорчике кошелку, сядет на табуретку:

— Устал человек. — И сразу же вскинется: — Алька не приходил?

— Нет.

— Сегодня дождь накрапывал, а мальчишка без плаща. Ирка, ты не поедешь в город?

— Нет. Мне на работу.
 — Поеду отвезу плащ.
 — Муля, ты бы хоть поела. Парень здоровый, надо будет — сам за плащом придет.

— Поеду, душа болит.
 Сложит аккуратно чистые Алькины рубашки, плащ, завернет пирожки и побежит. Вернется часа через два. Ирка уже на работе, в доме я и бабка. Спросит меня:

— Ирка поела?

— Да.

— А ты? Давно обедал? Сейчас картошечки нажарю.

И начнет хлопотать. Чистит картошку, разжигает керогаз, выбежит во двор, где на огороде созревают бурые осенние помидоры, принесет несколько буро-зеленых, пахнущих огудиной, порежет, покрошит лук, посыплет все это перцем, поставит передо мной.

— Да вы сами ешьте, Муля!

— Успею, успею, Витя. Я так на фабрике намоталась, что есть не хочется. Физическая работа! Что ты, шутишь!

И начнет рассказывать, что она видела, приехав к Альке. Единственное, чего Муля не может, это молчать:

— Не застала паршивца дома. Хозяйка его мне говорит: «Вы знаете, Анна Стефановна, голодает ваш Алька». — «Как голодает? Ему же отец каждый месяц высылает триста пятьдесят рублей. Да стипендия двести! Я столько на фабрике не зарабатываю». — «Так ему этих денег на три дня не хватает. У кого-то день рождения — Алька тащит подарок, у кого-то денег нет — Алька дает свои. А то просто конфет дорогих накупит, в ресторане пообедает, а потом месяц ходит голодный. И товарищи у него такие. Смотреть я на них голодных не могу. Я уж решила — пусть лучше съезжают с квартиры. Возьму девчонок. Те хоть аккуратные». Ну что ты скажешь! Напишу сестре, пусть ему хвост накрутит.

Накормит Муля меня, накормит бабку, пристроится стирать или шить. А потом до поздней ночи правит свои талмуды.

Глава седьмая

А сейчас у нас строительство. Ирка ходит вялая, сонная, отяжелевшая. Проводя ее в трамвае сквозь толпу, я спиной придерживаю напирающих, выставляю локти; раза два чуть не подрался с какими-то настырными мужиками. Жить нам сейчас по сути дела негде. В доме на полу толстым слоем лежит глина, штукатурка. Плюнув на все, я рьяно выполняю свою часть работы — ломаю перегородки, пробиваю в стене проем для новой входной двери. Прочно строили баба Маня и ее муж. Дом планкованный, то есть стены и перегородки сбиты из планок, дранок, которые переплетаются подобно арматуре железобетона. В пространстве между планками набита глина. Я бью по перегородке киркой, бью изо всех сил, а результаты ничтожны. Клов кирки вязнет в глине, крошит стену, но именно крошит. Отвалить крупный кусок мне не удается. Двери на улицу у нас нет — вместо двери пролом. Печка тоже сломана, от печных кирпичей в доме стоит кислый дух. Для пристройки Муля достала камня-песчаника — договорилась со знакомым шофером, и тот за полсотни забросил нам две машины «левого» камня. У себя на фабрике Муля добыла три мешка цемента — добилась, чтобы выписали ей. Муля вообще ведет все строительство. Договаривается с плотником, который поставит нам перегородки, со столяром, который сделает лудки для дверей и окон, с каменщиками, которые кладут соседям дом. Спит

она теперь во дворе — поставила свою кровать рядом с досками, уложенными маленьким штабелем, и караулит их.

— Муля,— говорит ей Ирка,— соседи дом строят. Не нам чета. Так у них доски и бревна на улице. А у нас и воровать-то нечего. Чего ты мерзнешь на дворе? В доме все-таки теплее.

Муля смотрит на нее своими пристальными глазами:

— Не твое дело. Ты спи знай.

— Да неудобно нам в доме, когда вы на улице,— говорю я.— Зачем себя напрасно изводить?

— Муля любит страшное и страшненькое,— говорит Ирка.— Обожают изводить себя и других. Себя — чтобы изводить других.

— Страшно! — вспыхивает Муля.— Ишь, как язык тебе в университете подвесили! Тебя жареный петух еще в одно место не клевал — Муля заслоняла. Страшно! — И поворачивается ко мне: — Витя, пойдём, поможешь мне извести принести.

Мы идем на соседнюю улицу к Мулиной знакомой. У нее после строительства осталась гашеная известь.

— Хорошая известь и дешево,— говорит мне Муля.— Я еще в двух местах смотрела — там дороже. А тут мы на каждом ведре рубль экономим.

Муля с двумя пустыми ведрами быстро идет вперед, я едва поспеваю за ней. Она оборачивается на ходу и рассказывает, где и что она еще задешево присмотрела.

Яма с известью, выкопанная прямо на проезжей части дороги, присыпана слоем песка. Муля сбегала во двор, отогнала собаку, вынесла лопату, отгребла песок:

— Накладывай поплотнее.

Я снял верхний слой, перемешанный с землей и песком,— известь оказалась жирной, хорошо гашенной. Лопата легко ее резала; на срезах известь отливала синевой.

— Как масло,— обрадовалась Муля. Она наклонилась и размяла в руках белый комок.— Встряхни ведра, пусть плотнее ляжет.

Известь была тяжелой. Когда я поднял ведра, дужки врезались мне в ладони.

— Вот,— сказала Муля,— ребенок еще не родился, а уже сколько трудов потребовал. Ты вот сладкое любишь. Сын родится — сразу разлюбишь.

— Почему?

— А как же! Сладкое дитю будешь оставлять.

Потом Муля сказала:

— Давай теперь я понесу — сердце надорвешь, а тебе еще жить надо, ребенка воспитывать. Я считаю, те дураки, которые рано умирают.

Дужки ведер режут мне руки, плечи обвисают. Мне и правда хочется поставить ведра, передохнуть. И потому Мулины слова меня раздражают. Кроме того, сегодня утром Муля вспоминала свое любимое: «Нет мужчины в доме». Я бухаю:

— А ваш муж тоже дурак?

— Конечно,— говорит Муля.— Другие вместе с ним были и выжили, а он погиб. Хвастался — ничего не боюсь! — и погиб. И двоих детей бросил.

О том, как погиб Николай, Муля знает от его сослуживцев. Есть несколько человек, которые были с ним за несколько минут до его гибели, жив тот, который похоронил его. Однако в рассказах сослуживцев Николая есть что-то неясное, тяжело тревожащее Мулю. Она почему-то уверена, что Николай сгорел. Он был железнодорожником. В сорок четвертом году во время бомбежки не вышел из паровоза — хотя мог выйти:

поезд стоял под разгрузкой на каком-то прифронтовом полустанке. Все остальные разбежались и уцелели, а он погиб.

— Понимаешь, Витя, они все путают. Тут у нас на улице женщина есть, она и до сих пор ждет своего сына. Кто-то ей сказал, что его видели в плену, она его и ждет. А все знают, что сын ее погиб. Товарищ этого парня рассказывал, что ее сына насмерть забили немцы. Он бежал из лагеря, его поймали и перед всеми для острастки насмерть запороли. А она его ждет. Никто ей не говорит, и она ждет. И мне не говорят, а я догадываюсь. Там был пожар. Все они говорят, что вагоны и паровоз горели. А Николай был в паровозе. Витя, ты не знаешь, какой он здоровый был! Он никогда ничем не болел. Вот такие плечи! Борьбой занимался. Он не мог легко умереть. Они и путают. Кто говорит, ему ногу оторвало, кто говорит — руку. Будто его вынесли из огня, и тут он умер. А кто говорит, что он умер в паровозе, что его мертвым вынесли. А я знаю — он сгорел. Ему руку и ногу оторвало, он не смог выбраться и живым сгорел. Он был такой здоровый, что не мог сразу умереть. Он был еще в сознании...

— Муля, зачем вы себя так изводите?

— А, Витя! Мне с детских лет судьба улыбается — зубы скалит. А с Николаем, думаешь, мне легко было? Любили мы друг друга, пусть баба Маня скажет, это правда, а ссорились часто. Он же какой был? Все для товарищей. Как будто и нет семьи у него. Когда мы поженились, хлебные карточки еще были. Он придет с работы, принесет хлебные карточки на Ирку, на меня, а его хлебной карточки нет. Я пересчитаю: «Где хлебная карточка?» — «Да, говорит, товарищ один на работе потерял все свои хлебные карточки, я ему одну свою и отдал». — «Да у тебя ж семья, ребенок!» Молчит. Баринов того товарища фамилия. Я и сейчас помню. Улицы через две живет. Когда Коля погиб, ни разу не поинтересовался, как мы живем, надо ли помочь. Ой, а как мы тогда бедовали! Страшно и смешно сказать. Лестница в подвал обрушилась, мы не можем в подвал спуститься. Забор валится... Да что! Я ж при Николае не работала, он не хотел. И деньги у него все были, я и не знала, сколько он получает, стеснялась спросить. Это я теперь ничего не стесняюсь, а тогда стеснялась. Отец мой спрашивал: «Сколько твой муж получает?» А я не знала. Неудобно мне. «Какая ж ты жена?!» А отец у меня был такой же, как мать. Видишь же ее. Я их не любила. Они меня от школы оторвали, чтобы я им помогала дом строить. Учиться я хотела, способности у меня были, я все сразу запоминала, а у меня ни книжек, ни тетрадей никогда не было — не покупали. «Спроси, — говорит отец, — узнай, может, он деньги от тебя утаивает». А я не спрашивала. До одного случая. Ирка у меня тогда уже в животе шевелилась, а я все еще в баскет бегала. Я хорошо играла, по корзине мяч точно бросала. Когда игра идет, девчонки кричат: «Аньке, Аньке!» — чтобы мне мяч дали. И Николай такой же. Придет с работы — и на стадион. Были мы с ним один раз на стадионе, а я, уж не помню зачем, сбегала домой. Прибежала, а на стуле его брюки висят. А у нас с ним перед этим разговор такой был. Деньги хозяйственные, которые он мне дал, у меня все вышли, а до полочки еще три дня. Я ему об этом и сказала. Он говорит: «Хозяйствовать лучше надо, лучше соображать». Я ему привожу: «Вот то-то я купила и то-то, ничего лишнего не покупала. Купила матери дитю на приданое. А как эти три дня без денег прожить?» Он пожимает плечами: «Займи у матери».

А мне у матери занимать — в кабалу лезть. Но я ему ничего не сказала, стыдно мне стало, думаю, и правда, надо лучше хозяйствовать, ему небось деньги не даром достаются. А тут прибежала я домой, а его брюки передо мной висят и бумажник из кармана выглядывает. Страшно

мне стало — сейчас даже смешно об этом вспоминать, а тогда страшно было. Заглянула в бумажник, а там четыре тридцатки да еще по мелочи. «Ах ты ж, думаю, гад!» Так мне тяжело стало. «У матери, говорит, займи», а сам деньги прячет. И все я вспомнила. И как он поздно домой приходит и как вином от него пахнет. До-обренький такой придет: «Кошечка, кошечка...» Я его пинаю, а он улыбается, завалится на кровать и спит до утра. Только носсм свистит, как паровоз. «Ах ты, думаю, гад!» Взяла я этот бумажник: «Я страдаю — так и ты пострадай!» — и спрятала его под буфет. Вернулась на стадион, бегаю, а сама на него посматриваю. Потом мы пришли домой, он переодеваться. «Ты, говорю, куда?» — «Да пойду пройдусь». Так буркает: «Пойду пройдусь», — чтобы я не привязалась. «Иди, иди». Он хватъ за брюки, за карман и аж посерел. Лапает, лапает штанину, пиджак, полез под кровать.

«Ты чего?» — «Да надо». Сорвался и побежал на стадион. Бегал, бегал. Прибегает бледный: «Ты бумажник не видела?» — «Какой бумажник?» — «Мой». — «А что там?» — «Документы».

Ну, стала я с ним искать, жалко мне уже, дуре, его, а сама все еще думаю: «Помучься, помучься еще немного». А потом не выдержала. Он ушел в другую комнату, а я бумажник достала, кричу: «Вот он. Под подстилку подлез, а мы его ищем». Он прибежал, схватил бумажник, а сам, вижу, уже догадывается: «Ты в бумажник смотрела?» — «Нет». Он облегченно вздохнул, сунул бумажник в карман и ушел. Я сказала «нет» — думала, он сам мне во всем повинится. А он ушел гулять. Пришел, я ему и сказала: «Завтра обед готовь себе сам. Я устраиваюсь на работу». — «В чем дело?» — «Сам знаешь в чем. Если нет друг к другу доверия, если ты деньги от меня прячешь — никакие мы не муж и не жена. И как у тебя язык повернулся сказать, чтобы я у матери занимала, когда у тебя денег полный бумажник! Ложись-ка, говорю, на пол, а ко мне больше не лезь».

А у него манера была — как поссоримся, так он сразу одеяло бросит на пол, на одеяло подушку и лежит рядом с кроватью. Сама я ему бросила на пол одеяло, подушку и легла на кровать. Он сопел-сопел, а потом, смотрю, лезет ко мне: «Не хочу, чтоб ты шла на работу. Я тебе всегда буду расчетную книжку показывать». И правда, показывал и деньги утаивал только по мелочи. На папиросы или на кружку пива.

А из дому его все равно тянуло. На свободу! Ирка еще грудная была. Прибежит с работы: «Кошечка, там ребята складчину устраивают. Пойдем?» — «На кого ж я дитя брошу?» — «Мать посмотрит». — «Ты ж знаешь, я ни на кого Ирку не брошу». — «Ну, тогда я сам пойду». И убежит. Или зовет: «Пойдем в кино», — я отказываюсь. Боялась я ребенка оставлять. А он хоть бы что. Я не иду — он сам пойдет. И до того привык сам всюду ходить, что я ему уже вроде не нужна. Рядом со мной по улице не идет — вперед бежит, а я за ним поспеваю. Или в трамвай всегда первый лезет. Залезет и идет себе вперед, не оглядывается. Выберет место, а потом смотрит, где я. Выговаривала я ему, выговаривала, а один раз повернулась и пошла в другую сторону. Он в трамвай залез — в кино мы собирались, — а я повернулась и пошла в другую сторону. Пришла к подруге, позвала ее, взяли мы билеты на последний сеанс. Вернулась я домой около часу ночи. Он ко мне: «Ты где была?» А я ему отвечаю: «Я тебе скажу, как ты мне говоришь: «Где была, там меня уже нет».

Оказывается, он залез в трамвай, оглянулся — меня нет. Он на следующей остановке вылез, побежал назад, опять сел в трамвай, приехал в кинотеатр, думал, я к началу сеанса подъеду, ждал у входа, не дождался и вернулся домой. Бегал, бегал. В милицию звонил, в больницу:

Потом ему кто-то сказал: «Видел, как твоя жена с Клавкой по улице шли». Он и психанул. Я вошла, а он на меня: «Ты где была?!» А я ему отвечаю: «Где была, там меня теперь нет». Он бросил на пол одеяло и подушку, не хочет со мной разговаривать. Не разговариваешь — и не надо. Сама я — виновата не виновата — первая с ним, Витя, никогда не заговаривала. А он не выдерживал. Посопит-посопит внизу и лезет ко мне: «Ну хватит, ну довольно».

И еще раз я его проучила. Позвал он меня в кино, я вышла бабе Мане Ирку отвести, вернулась, а его и след простыл. А на улице ребята стоят, курят. Я к ним: «Не видели Николая?» — «Видели. Стоял тут, потом к нему товарищ подошел, они и ушли». Я ждала-ждала, опять к ребятам подошла. А среди них был Саша Перехов, он когда-то за мной ухаживал, жениться на мне собирался. И теперь он мне все предлагал: «Аня, когда мы с тобой поговорим?» Я подошла к ребятам, а Саша мне и предлагает: «У меня два билета в кино. Пойдешь со мной?» Я говорю: «Пойду!» Пошла с ним, храбрюсь, а у самой душа в пятках. Сели мы, свет потух, он меня за руку: «Как ты живешь, Аня? Я слышал, ты несчастлива. Николай все один да один ходит. Люди же видят, говорят». Он мне руку жмет, что-то спрашивает, в лицо заглядывает, а я сижу сама не своя, что там на экране — не вижу. Он меня спрашивает, а я думаю: «Какое мне до тебя дело! Мне бы узнать, где теперь Николай». Вернулась домой, а Николай схватил меня за кофточку. «Кончено, кричит, нечего нам с тобой делать». Схватил вещи в охапку и побежал. Я хочу крикнуть: «Николай!» — а сама молчу, понимаю — крикни, он всегда будет невнимательным, грубым, все ему тогда прощать надо. Смотрю в окно — он подбежал к калитке и ждет, чтобы я позвала его. А я не зову. Смотрю, он поворачивает назад... А один раз с работы не вернулся, всю ночь его не было. Пришел под утро пьяненький. Я ему ничего не сказала, а собралась и ушла на всю ночь к подруге...

— Муля, вы мне об этом уже рассказывали.

— Ага. Пришла в подруге, переночевала у нее. Возвращаюсь, а он лютым зверем на меня. Я ему говорю: «Как ты, так и я. Понял? Ничего я тебе не спущу». И еще мы с ним ссорились, когда умирали его брат и сестра. Я детей увезла за город, к матери, чтобы не заразились, а он раз приезжает и говорит: «Собери детей. Петя умирает, хочет попроситься. Поедем домой». Я вышла во двор, будто за Ирккой, а сама перевела ее через улицу к соседям, прошу их: «Не выпускайте никуда». Испугалась я — там же весь дом заразный. Вернулась к нему, он спрашивает: «Где дети?» Я говорю: «Детей не дам. Там же зараза. Сама поеду, горшки за твоим братом и сестрой выносить буду, а детей не дам». — «Тогда мы больше не муж и жена». — «Твое дело, говорю, а за детей отвечаю я». Так я ему детей и не дала. Он уехал — не попрощался. А потом все равно вернулся. И все у нас вроде начало налаживаться: дети подросли, я выздоровела после туберкулеза, Николай поспокойнее стал, в семье бывал больше, ругались мы с ним реже, а тут война.

...Мы уже принесли известь, Муля, рассказывая, бегала по дому, и тут вмешалась Ирка:

— Не ври, Муля, что редко с отцом ругалась. Я ж помню — пойдем в город, а ты отца всю дорогу пилишь. По-моему, все воскресенья для отца в пытку превращались. Любил он тебя сильно, прощал тебе все, а ты его пилила и пилила. И все из-за денег.

Муля яростно глянула на Ирку:

— Пилила! Конечно. Пойдем в город, Ирка скажет: «Папа, купи с неба звезду». Он сразу в карман полезет.

— Да брось ты, Муля! И за то, что много на папиросах прокуривает, и чуть ли не из-за спичек пилила.

— Да что ты помнишь! Что ты можешь помнить! Пилила! Пешком под стол ходила! А помнишь, как отец тебя стыдил, что ты никому в доме не помогаешь? «Здоровая девчонка, а мясорубку покрутить не можешь». Ты и сейчас такая.

Ирка высокомерно улыбается. Я знаю, что Муля не выносит этой Иркиной молчаливой снисходительности: «Как ты, Муля, ни кричи — отец любил меня больше всех». Муля и сама часто говорит, что Николай Ирку любил больше, чем Женьку, и даже объясняет: Ирка рано начала читать, много помнила наизусть, хорошо училась. Дед Василь Васильевич, отец Николая, говорил о ней: «Гениальный ребенок». Женьку он не любил. А Ирку любил и мог на целый день разбраниться с Мулей, если она тронет Ирку: «Вам не детей, а чертей воспитывать... Достался умный ребенок глупым родителям».

Все это Муля рассказывает не только потому, что так было на самом деле — она не боится рассказывать и такое, что может быть использовано против нее. Она ничего не боится. «Вы считаете, что Ирка лучше Женьки, что я Женьку больше люблю? И прекрасно. Я вам расскажу, что об этом думали и другие», — так и светится в ее черных глазах. Заканчивает Муля такие разговоры обычно одной и той же репликой:

— А выросли — что Женька скотина, что Ирка. Оба недостойны любви.

— Брось, брось, Муля! — говорит Ирка. — Так ли уж оба?

Муля не отвечает. Она чувствует себя уязвленной. Она ведь хвастается не только своим физическим бесстрашием, но и бесстрашием рассудка. Она бы призналась, что действительно Женьку гораздо больше любит. Но ведь ничем нельзя объяснить то, что она Женьку больше любит.

Глава восьмая

Я делаю всю черную работу: ломаю перегородки, пробиваю в стене окно, рою канаву под фундамент, таскаю воду в ведрах от колонки, — а намекает, где пробить стену, кладет фундамент, поднимает новые перегородки дядя Вася, наш сосед. Дядя Вася сам недавно построился. После войны он работал шофером на Севере, копил деньги на дом. Четыре года назад вернулся, купил завалиющую времянку и сразу же пришел к бабе Мане и Муле договариваться: он просил, чтобы баба Маня и Муля разрешили ему поставить одну стену будущего дома на их участке. Дяде Васе не хватало пятнадцати сантиметров земли. Почти все в своем доме дядя Вася делал сам — клал фундамент, настилал полы, поднимал кровлю. Специалисты нанимал только на самую тонкую работу. Построился и заболел. Врачи нашли у него язву желудка. Глаза у дяди Васи утомленные, с желтизной. Он еще не привык к своей болезни, еще очень охотно слушает, что ему о ней говорят, и сам охотно о ней рассказывает.

Муле дядя Вася давно нравится. Она возмущается его женой: «Недотепа, не может за таким мужиком ухаживать!» О дяде Васе Муля говорит с восхищением. И какой у него в руках талант, и какой он сильный и спокойный. Один раз к нему пристал пьяный вздорный мужик: «Давай бороться, давай бороться!» Дядя Васе надоело его слушать. Он взял настырного мужика за шиворот и за штаны и перебросил через забор. Мне дядя Вася тоже нравится, хотя сейчас он меня подавляет своими знаниями и умением. Один раз дядя Вася попросил меня показать, что я пишу. Я дал ему журнал, в котором был напечатан мой рассказ. Дядя Вася вышел во двор, сел на приступки, и вдруг я услышал

странное гудение — он читал вслух. Читал так, как требуют в начальной школе, «с выражением». Минут пять, сгорая от стыда, я слушал его серьезное чтение. Потом дядю Васю куда-то позвали, он снял очки, закрыл журнал и ушел. О рассказе он больше не вспоминал.

Дядя Вася говорит о своей болезни:

— Работаю, качаюсь — ничего не чувствую. Даже, думаю, выздоровел. А ночью прилягу — и схвачусь. Я ночью как сторож. Я вам взялся помогать, чтобы не сидеть без работы. Честное слово. Если б ночью можно было работать, я бы работал.

— Вася, — говорит Муля, — вот не поверила бы, что ты можешь заболеть. Такой мужик!

— Я к врачу пришел в первый раз, — говорит дядя Вася, — а он меня спрашивает: «Ты чего пришел? Хочешь на бюллетене погулять? Так и скажи. А то — большой!» Я ему говорю: «Ты соображаешь? У меня семья, мне ее кормить надо, а я гулять буду? У меня времени для отдыха вот так! Работа у меня сменная».

Дядя Вася протягивает Муле курортную карту с диагнозом. Потом передает ее мне и Ирке. Когда мы вежливо возвращаем ему путевку, он медленно складывает ее, прячет в бумажник:

— На работе говорят: «Повезло, на курорт поедешь». Лучше бы не повезло. — Потом он поясняет: — Это у меня пошло на нервной почве. После того, как девчонка под машину забежала.

Несколько месяцев назад дядя Вася впервые в жизни в околосветовой толчее сбил крылом тринадцатилетнюю девочку. Он был не виноват — это после недельного разбирательства установила автоинспекция, — но дядя Вася неделю не брался за руль, как-то крадучись пробирался по улице, словно боялся, что сейчас на него укажут пальцем — «убийца». Он перестал выходить на улицу к доминошникам и вообще стушеввался. Он не чувствовал себя виноватым, но несчастье его придавило. Он никогда не говорил об этой девочке (я так и не узнал, сильно ли он ее покалечил), однако желтые подпалины в его глазах появились с того времени. А вообще-то это было удивительно, потому что дядя Вася был уравновешенным, спокойным, много видевшим человеком. Он казался медлительным и в чувствах и в мыслях, не сразу отвечал на самый простой вопрос.

— Дядя Вася, на работу?

Обязательно остановится, даже если очень спешит:

— На работу.

И тебе станет неудобно, потому что спросил ты мимоходом, не требуя ответа. Так просто вместо «здравствуй» бросил: «На работу?» А сосед остановился, серьезно смотрит на тебя, ждет новых вопросов, а говорить-то вам не о чем. Дома у него четверо детей, а крику никогда не слышно, хотя четыре года они жили скудно, все гнали на строительство. И с женой дядя Вася не ругается, хотя всей улице известно, что они не пара. Бабы жестоко издеваются над ней, удивляются, как дядя Вася до сих пор о ее кости не разбил.

— Поди ж ты, — говорит Муля, — такой мужик, износу тебе, казалось, не будет, а заболел. А жинка твоя — куда уж хуже быть, а скрипит себе, и ничего.

— У нее грудь больная, — говорит дядя Вася после некоторого раздумья. — Мы с Севера вернулись, потому что ей там нельзя было оставаться. И дети стали болеть.

— Я ж и говорю: худая. А ты против своей болезни не пробовал алое с медом? Рашпиль с такими мясистыми листьями? У нас на фабрике одна тетка совсем уж кровью на двор ходила. В рот ничего не брала. На курортах была — ничего не помогает. Врачи от нее отказа-

лись. В общем, хоть гроб заказывай. А потом один человек ей рецепт дал. Алоэ с медом и водкой. Хочешь, я достану тебе рецепт? И рашпиль у меня трехлентный есть. Скажи, чтобы жена ко мне пришла. Я ей дам, пусть сварит.

Дядя Вася смотрит своими усталыми с желтизной глазами и машет безнадежно рукой:

— Сварит!

И Муля, воинственно забрызганная мелом и известкой, с воинственно выбившимися из-под косынки седыми волосами вдруг срывается:

— Ты извини, Вася, что я не в свое дело лезу, но я зайду к вам, аж с души воротит. Ну можно в комнате прибрать, побелить, почистить, чтобы приятно было войти? Я ничего не хочу сказать — твоя жена умная, начитанная. поговорить с ней интересно, но надо же и руки приложить! И подгорелым у вас всегда тянет. Что она, за кастрюлей уследить не может? Можно больному человеку давать подгорелое?

Страдальческой желтизны в глазах у дяди Васи сразу прибавляется. Он долго молчит, а потом отчаивается:

— А как никакого нет? — говорит он после долгого молчания. — Ни пригорелого, ни другого?

Ирка давно пытается остановить Мулю.

— Муля! — говорит она.

Мне тоже не по себе, но, странно, я замечаю, что дяде Васе этот разговор приятен. Ему приятно, что Муля так близко к сердцу принимает его болезнь, что она так ценит его, он не возмущен тем, что она осуждает его жену. Дядя Вася подробно рассказывает Муле, как плохо готовит его жена. Принес он недавно с базара мяса хорошего, птицу — сам ходил, не стал ее дожидаться, готовь только. Так она приготовила — в рот нельзя взять.

— Врач говорит: «Не пей!» А я пошел, взял двести грамм и колбасы — вот и вся диета.

— А ей ты сказать не можешь! — возмущается Муля.

Дядя Вася надолго замолкает и вдруг решает:

— Дети взрослые, в люди я их вывел, а если так будет продолжаться... — И дядя Вася умолкает.

Потом они опять долго говорят с Мулей о дяди Васиной язве, о способах ее лечения. Недавно дядя Вася вез в такси — он таксист, хотя по внешности кажется шофером тяжелого грузовика, — врача-хирурга.

— «Я, говорит, — хирург, и моя жена — хирург. Мы оба хорошие хирурги. Так что, говорит, вы послушайте моего совета. Никакому врачу не давайте делать операцию, пока вашей язве не будет трех лет».

— Это что же, правило такое, ждать трех лет? — спрашивает Муля.

— А кто его знает. Наверное, правило... «А если, говорит, вам совсем плохо будет, вы позвоните мне. Консультацию или совет мы вам всегда дадим. Вы, говорит, не думайте. Денег мы с вас не возьмем».

Дядя Вася боится операции, которую ему недавно рекомендовали сделать, и поэтому совет подождать три года ему явно по душе.

Работает дядя Вася так же медленно, как и говорит. Руки у него действительно очень сильные. Такими руками можно перебросить через забор пьяного соседа. А сердце слабоватое. Я это заметил, когда дядя Вася помогал нам сгружать камень-песчаник. Мы горопились — шофер подгонял нас, и дядя Вася быстро запыхался. Сейчас он работает, принаравливаясь к своей одышке. Медленно прилаживает доску, неторопливо делает разметку, закуривает — табачный дым вдыхает с прихрипом, после каждой затяжки к лицу его приливает желтоватый никотиновый оттенок, — и точно по разметке отпиливает кусок. В нашей старой хате дядя Вася все знает, как в своей. По недоступным моему понима-

нию признакам он угадывает под полом и на потолке гнилые балки, знает, где их можно заменить, а где нельзя. Показывает Муле, где потолок угрожает рухнуть, и предлагает способ укрепить его. Муля платит дяде Васе голько за то, чтобы он уложил нам фундамент пристройки и поставил новые перегородки. Но дядя Вася многое делает сам. И делает это даже не из соседской доброжелательности, а по более сложным причинам. Из-за привычки все делать основательно, из-за того, что ему приятно показать Муле свои знания, свою строительную эрудицию, по мужицкой рабочей добросовестности, потому что между ним и домом, который мы перестраиваем, возникают какие-то живые связи. Нечто такое, будто дом этот — живое существо, перед которым дядя Вася чем-то обязан. Во всяком случае дядя Вася по собственному желанию лезет на чердак, укрепляет старую кровлю. Когда у нас не хватает доски, плин-туса, он молча идет домой и приносит свою доску:

— Пстом рассчитаемя.

Они часами говорят с Мулей об этом доме, о его стенах, о том, что давно уже надо менять позеленевшую от лишайника старую итернитовую крышу. И когда они говорят о доме, о людях, строивших его, оба оживляются, у Мули начинают восторженно светиться ее черные, неприемлемые глаза.

Глава девятая

Дядя Вася в срок закончил свою работу. Каменщики, нанятые Мулей, за три дня возвели стены пристройки, наступила пора класть печку. С этой печкой мы хлебнули горя прошлой зимой. Несколько раз Муля ее прочищала, лазила на чердак, выбивала кирпичи над заслонкой и под заслонкой вычищала из дымохода по ведру сажки, а печка все равно кисло и удушливо дымилась. За зиму я так наглотался ее дыму, что, как только печку разобрали, сложили в комнате прокопченные кирпичи, старый короб, чугунную плиту и вьюшки, — я, едва вошел в дом, тотчас узнал их по удушливо-кислому запаху. Печника Муля искала с пристрастием. Нашла здорового, небритого дядьку. Утром, когда он начал работать, выставила на стол водку.

— Печника сразу надо расположить, — сказала она мне, — а то подстроит такое — рад не будешь. Сделает вроде бы все правильно, а уйдет — печка без него не горит.

Когда я вечером пришел с работы, печка уже стояла. Муля, перепачканная глиной и известкой, хлопотала возле нее.

— Ага, Витя, — сказала она мне, не обращая внимания на иронические подмигивания Ирки, — а я с печником целовалась. — Глаза у Мули возбужденно блестели. — Скажи ты, на улице тишина, ни ветерка, а он поджег бумагу, положил ее на короб, а ее аж ветром потянуло, загудела вся. «Тащи, говорит, тетка, дрова и уголь; как доменная печь гореть будет». А я его чмок в щеку! Он только глазами вот так. — И Муля захохотала, показывая, как изумленно тарашился небритый печник, когда она его поцеловала в щеку.

Потом Муля привела штукатура. Какого-то набычившегося, остолбенелого паренька лет шестнадцати — семнадцати. Он долго стоял посреди комнаты и молчал. Предполагалось, что он осматривает стены, прикидывает, сколько материалу для них потребуется. Но скоро я заметил, что он просто смотрит в одну точку и чего-то ждет. Причем даже не делает вида, что осматривает стены, — смотрит куда-то вниз.

— Сколько тебе алебастру потребуется? — спросила Муля. — Два мешка хватит?

Паренек никак не отреагировал. Даже не показал, что услышал.

— У Филоновых ты сколько истратил?
Филоновы — это наши соседи, живущие домов через пять по улице, у которых паренек штукатурил стены.

Паренек немного оживился:

— Да у них много всего было.

С тех пор как он вошел, он не сменил позы, и выражение сбыченности не сошло с его лица. Как будто бы его обижали еще до того, как он вошел сюда.

— А ты давно штукатуром работаешь? — спросила Муля.

Паренек еще упорнее уставился в какую-то точку на полу.

— Тебя как зовут?

— Толя.

— А отец и мать у тебя есть?

Толя не ответил.

— А чего ты все время молчишь? Ты деревенский?

Толя странно качнул головой или просто сглотнул, но не ответил.

— А сколько ты возьмешь за две комнаты с нас?

Толя назвал цену, не сводя глаз со своей точки на полу.

— А материал твой?

— Ваш.

Это была очень высокая цена, и я думал, что Муля тотчас прекратит всякий торг. Но Муля сказала:

— А сколько дней ты будешь работать?

— Три дня.

— За три дня ты один не справишься. Вон у дяди Васи, соседа нашего, двое старых штукатуров штукатурили да еще двое им приходили помогать. Только-только за три дня справились. Так они ж опытные. А ты, наверно, недавно строительное училище окончил. У тебя сколько классов образование?

Паренек опять качнулся и сглотнул. И вдруг ответил. Вдруг — потому что мы уже привыкли к его непонятному молчанию.

— Четыре класса.

— А сколько тебе лет?

Толя опять не ответил. Муля пыталась с ним поторговаться, но он смотрел в свою точку на полу и молчал. Муля назвала свою цену и спросила:

— Договорились?

Толя отрицательно покачал головой.

— Зачем тебе столько денег?

— Костюм хочу купить.

— Но у нас нет столько денег.

Толя не ответил.

Разговор этот меня уже раздражал. У нас действительно не было столько денег, не было столько материалу, чтобы доверить этому мальчишке, не было столько времени, чтобы дожидаться, пока он сделает свою работу. У нас все было на пределе — и деньги, и нервы, и время, а тут этот набычившийся, остолбенелый чужак, который даже на вопросы не отвечает то ли от крайней глупости, то ли от крайней деревенской застенчивости и нерасторопности. Но глупость ли это, нерасторопность ли — нам все равно. Работать он не сможет. И вдруг Муля сказала:

— Ладно. А когда ты придешь работать?

— Могу завтра после смены.

— Приходи.

Я хотел вмешаться, но отошел в сторону. Муля тут главная. Я ждал, когда наконец этот парень сдвинется со своего места и уйдет. Но он стоял такой же остолбенелый и чего-то ждал.

— Может, поешь? — спросила Муля. — Особенного у нас ничего нет, но суп и помидоры есть.

Она посадила Толю за стол. Он снял шапку, положил ее на колено, молча ждал, пока она нальет, молча ел. Потом Муля пошла его провожать к трамвайной остановке. Вернулась она минут через пятнадцать.

— Удалось вам разговорить его? — спросил я.

— Ага. Детдомовский он. Ни отца, ни матери.

— Жаль, конечно, — сказал я. — Да штукатур он, видно, плохой. Зачем он нам?

— Пусть работает, — сказала Муля.

— Пусть работает, — согласилась Ирка.

— Живет в строительном общежитии, — сказала Муля. — Говорит, хорошее общежитие. Только ребят-обидчиков много.

Как я и думал, Толя оказался плохим штукатуром. Замес у него получался слишком густым, штукатурку он клал таким толстым слоем, что наших скудных запасов едва хватило на одну комнату. Делал он все медленно, и к концу пятого дня у него еще было полно работы. Да и поворачивался он как-то так неуверенно, что, казалось, сам не знает, тот ли это замес, столько ли нужно алебастру. Если Муля говорила: «Толя, ты же мало насыпал песку», — Толя сбывчивался и остолбенело глядел в свой погнутый алюминиевый таз. После каждого такого вопроса ему нужно было время, чтобы прийти в себя и продолжать работу. Однако это не значило, что он соглашался с Мулей и досыпал в свой таз песку. Он просто ожидал, пока его оставят в покое. Потом он опять брал из таза замес, ляпал его на стену, и все шло по-старому. Медленно продвигалась работа у Толи еще и потому, что, плотный и коренастый, он был невысокого роста. Чтобы дотянуться в нашей хате до потолка, ему приходилось ставить на стол табуретку и все это сооружение двигать каждый раз, когда надо было перейти на метр в сторону. Но Толя как будто бы и не спешил. Вечером, закончив работу, подолгу не уходил от нас: медленно умывался, медленно ел. Муля как-то у него спросила:

— У наших соседей тебя лучше кормили?

Толя сказал:

— Лучше. Там жирно едят.

Поев, он долго сидел, сложив руки на коленях. По-прежнему много молчал, долго раскачивался, прежде чем ответить на простейший вопрос, но все же оттаял, улыбался, а иногда сам задавал неожиданнейшие вопросы.

— Маленького ждешь? — спросил он у Ирки.

— Толя, а как ты догадался? — изумилась Ирка.

— А живот большой.

Вначале меня томили поздние Толины сидения — он засиживался до полуночи, — но потом я перестал обращать на него внимание, ложился спать и, засыпая, слышал, как Муля о чем-то разговаривала с Толей. Вообще-то я слышал только Мулин голос, но, наверно, Толя тоже что-то говорил, потому что Муля каждый раз сообщала о нем все новые и новые подробности. Отец Толи погиб на фронте, а мать убило во время бомбежки. Она бежала с Толей на руках в бомбоубежище, и осколок убил ее. У Толи есть две сестры, они тоже воспитывались в каких-то детских домах, сейчас старшая вышла замуж, зажила своим домом и разыскала Толю и вторую сестру. Приглашает приехать погостить...

На следующий день Толя опять двигал по комнате стол с табуретом, зажмурившись ляпал раствор на потолок и растирал его дощечкой. А Муля ему говорила:

— Толя, а вон там ты пропустил! Вон-вон там! Да ты обернись!

Толя медленно поворачивался:

— А-а...

— Толя, а куда ты денешь деньги? Костюм купишь? А какой же ты хочешь костюм? Ты подожди, мы хату отремонтируем, я с тобой пойду в магазин, а ты деньги пока положи на сберкнижку. Ты сразу положи на сберкнижку, а то ребята увидят и заберут.

— Не-е...

— Скажут, пойдем выпьем. Ты не пьешь? Ты не пей... А столовая у вас в общежитии есть? Там дешево? А кто тебе стирает? А сколько стоит в вашей прачечной постирать рубашку?..

— Толя,— вмешивалась Ирка,— скажи Муле: «Муля, не учите меня жить».

Толя медленно раздвигал губы — улыбался.

— Дочка у тебя хорошая,— говорил он Муле.

— Красивая?

— Не-ет.

— А чем же хорошая?

— Простая.

— Толя, а тумбочка у тебя есть? Я к тебе приду в общежитие, посмотрю, как ты живешь. Может, тебе постирать надо чего-нибудь? Ты не стесняйся.

Никогда Муле не удавалось так подробно поговорить с нами о наволочках, простынях, одеялах...

Через неделю Толя все-таки закончил работу. Муля собрала ему узелок и проводила до трамвая. Я думал, что на этом наше знакомство с Толей-штукатуром закончилось, но в следующую субботу он постучал к нам в окно. Я вышел. На Толе был новый черный дешевый костюм. Ворсинки из этого костюма торчали, как из третьесортной оберточной бумаги. Сидел он на Толе нелепо, был он новый-новый, ни одна ворсинка не успела на нем обмяться, и от этого Толя выглядел необычайно торжественно.

— Вот,— сказал Толя,— к вам пришел.

— Входи,— сказал я, стараясь припомнить, не забыл ли Толя у нас какой-нибудь свой инструмент, расплатилась ли Муля с ним окончательно — чего ради молодой парень в субботний вечер из центра города забрался на нашу окраину?

Толя вошел, сел на стул и сложил руки на коленях. Так он просидел долго, изредка отвечая на Иркины и мои вопросы, а потом сам спросил:

— А где мать? Ну, Муля?

— Она сегодня во второй смене,— сказала Ирка,— ты к ней пришел?

— Да нет,— сказал Толя,— я вообще пришел. В гости.

Тогда Ирка захлопотала. Накрыла стол, посадила Толю, сама села. Я ушел в другую комнату, а они долго разговаривали.

Толя приходил еще несколько раз. Придет под вечер, сложит руки на коленях и сидит часа два. А потом исчез — уехал к старшей сестре.

Глава десятая

Иногда к нам приходят Женькины товарищи посмотреть, как идет наше строительство, узнать, что пишет Женька,— демобилизовавшийся из армии Валька Длинный и Вася Томилин, отец которого когда-то так растревожил Женькин класс.

Валька Длинный приходит занимать деньги и поменять книги в Иркиной библиотеке. Деньги ему нужны на выпивку. Он об этом прямо и говорит:

— Теть Аня, займите пятнадцать рублей. Честное слово, я уже оформляюсь на «шарики». С первой же получки отдам. Выпить хочется. «Шарики» — расположенный в нашем районе шарикоподшипниковый завод.

— Да откуда ж у меня деньги! Ты ж видишь — строительство! Сами в долги залезли. Не известно, как расплачиваться.

— У соседей займите.

— Я уже у всех соседей занимала.

— А вы у других.

Длинный нагл неотступно. Он знает, что я жду не дождусь, когда он уйдет, что я против того, чтобы Муля занимала ему деньги. Но меня он не замечает. «Я сюда ходил, когда тебя туг и в помине не было».

— Теть Аня, а у бабки нет? Пенсию она получила?

— У какой бабки?

— У Мани.

— Глаза твои бесстыжие! — возмущается Муля. — Из бабкиной пенсии тебе на выпивку!

— А у Нинки?

И вдруг он улыбается. Лицо у него умное, и улыбка вначале кажется приятной. Но потом она будто застывает:

— Ирка, займи денег.

Это он обращается к Ирке, игнорируя меня.

— У нас денег нет, — говорит Ирка, — мать же тебе сказала. Да и были бы — я бы тебе на выпивку не заняла.

— Нельзя?

— Нельзя.

Валька опять поворачивается к Муле:

— Теть Аня, сходите к соседям.

И Муля, чертыхаясь, проклиная всех пьяниц на свете, все-таки идет к соседям занимать Вальке деньги.

— Я бы не пошла, — говорит Ирка.

Длинный поднимается и переходит в нашу комнату. Теперь не заметить меня нельзя, и он снисходительно кивает мне.

— Дай еще что-нибудь почитать, — говорит он Ирке.

Читает Валька много. Берет по пять-шесть книжек. Возвращает их в невыносимом состоянии — засаленными, захватанными грязными пальцами, с сажистыми следами от кастрюли или сковородки на обложках. Ничуть не смущаясь, объясняет:

— Мать у меня книг не читает, неграмотная. А как-то использовать книги надо? Она и использует.

Живет Валька даже не на окраине, а за окраиной. Родители его построились так далеко, что у них в доме несколько лет электричества не было. Столбы электросети туда подвели недавно, когда к Валькиному дому подошла улица.

— Свет у вас в доме уже есть? — спрашивает Ирка.

Длинный кивает. Он сидит в раздражающей меня позе, широко расставив ноги, загородив ими узкий проход между столом и шкафом. Захочешь выйти из комнаты — проси его подвинуться. Сам Длинный не пошевелится, хоть два часа стой молча перед ним.

— Говорят, — спрашивает Ирка, — ты плохо относишься к своей сестре? Притесняешь ее?

Валька презрительно шурится. Его сестра работает кондуктором на трамвае. Я ее часто вижу. Ирка говорит, что она очень хорошая девочка. Умная, работающая. В школе хорошо училась. И дома она того же Вальку обстирывает, обшивает, а он кричит на нее, а иногда и колотит. Вот и сейчас шурится: «Сестра!»

Ирка закипает.

— Муля,— кричит она в соседнюю комнату,— ты Вальке денег не давай.

Длинный усмехается. Он непробиваемо самоуверен.

— Интересно,— спрашивает Ирка,— что такие типы, как ты, вычитывают из книжек? Ты же много читаешь? Или ты так просто книжки с собой таскаешь? Поносишь, поносишь и вернешь?

Книжки Валька читает серьезные, детективами не интересуется, а спросишь, понравилось ли — презрительно усмехнется и промолчит. Разговаривать с нами о книжках Длинный считает бесполезным. Я — газетчик, Ирка — преподаватель. Людей наших профессией Длинный презирает. Заранее известно, что мы похвалим, что обругаем.

Правда, с полгода тому назад, когда Валька демобилизовался и собирался поступить на филологический, он приходил к Ирке советовать. Тогда он внимательно слушал ее, был мягким и податливым. Даже со мной здоровался и разговаривал и с некоторым интересом слушал, что я говорю.

В университет он не поступил. Желание это в нем почему-то быстро перегорело. Теперь он приходил к нам только для того, чтобы занять у Мули денег. И еще он приходил для того, чтобы вот так посидеть, перегордив длинными ногами выход, чтобы, не замечая меня, поговорить с Мулей и Ирккой, чтобы накурить в хате. Валька Длинный на чем-то удерживался, откуда-то соскальзывал, и этому «чему-то» он бросал одному ему понятный вызов...

Вася Томилин иногда приходил вместе с Валькой Длинным. Лицо у Томилина сонно-серьезное, и голос тоже сонно-серьезный. Я ни разу не видел, чтобы Томилин улыбнулся. Если Длинный сострит, Томилин вздохнет и терпеливо переждет, пока все вернется к серьезности. В армию Томилина не взяли по болезни — аппендицит он, что ли, вырезал. Выписался из больницы и поступил в мастерские «Мореходки», три месяца поработал слесарем и стал курсантом. Томилин женат. Женился он, едва окончив десять классов.

— Он ее заговорил,— усмехается Длинный.— Он любого может до смерти заговорить.

Вася вздыхает и ждет, пока мы перестанем улыбаться. Потом, обращаясь в основном к Муле, продолжает своим сонно-серьезным голосом:

— Ага... Питание трехразовое. Утром каша пшенная или перловая. Или из сечки. На растительном масле. Компот из сухофруктов или чай. Хлеба сколько хочешь. Дежурный по столу возьмет в хлеборезке и принесет. И сливочного масла двадцать пять грамм к чаю. Хочешь — на хлеб намажь, хочешь — в кашу положи. Я больше люблю на хлеб. А есть — бросают в кашу...

— А домой вас отпускают? — перебивает Длинный.

— Мы на казарменном положении,— объясняет Томилин.— У нас иногородних много. Им на воскресенье отпуск в город дают. А я договорился, чтобы меня с субботы на воскресенье отпускали домой ночевать.

— К молодой жене?

Вася вздыхает, лицо его становится еще более сонным.

— Значит, она ждет тебя от субботы до субботы? — продолжает Длинный.

— Ничего, подождет четыре года,— вступает за Томилина Муля.— Другие дольше ждут, и ничего. Правда, Вася?

Томилин кивает.

— Еще молодая,— серьезно соглашается он.— Может ждать.

Тут не выдерживает даже Муля. Однако Томилин ничего не замечает. Тем же монотонным, усыпляющим голосом он продолжает рассказывать:

— Спальни чистые на восемь человек. Простыни, пододеяльники и наволочки меняют каждую субботу. Форма парадная и рабочая роба. Парадная на мне, а рабочая из фланельки...

Удивительно для своих девятнадцати лет видит Томилин мир. Если костюм, то обязательно из какого материала, сколько стоит метр. Если дом, то какая кухня, коридор, сколько метров в комнате. Дома вообще, костюмы вообще для него не существуют. И «Мореходку» свою он тоже делит на квадратные метры, учитывает высоту потолков, подсчитывает стипендию, прикидывает, во что бы ему могло обойтись такое вот трехразовое питание, простыни, которые меняют каждую неделю, положенные по форме шинель и бушлат, если бы он все это покупал на свои деньги. Он уже знает, сколько ему придется плавать, прежде чем он сможет попроситься на берег, какая у него будет пенсия и в каком возрасте он на нее сможет рассчитывать. Далекие страны, чужие моря, трудные походы — все это его не волнует. Вернее, не волнует романтика дальних походов, чужих стран и южных морей. Он даже не понимает меня, когда я спрашиваю его об этом. Он говорит:

— Я уже прикидывал. Если пойти на путейское отделение — тоже никогда дома не будешь. А механики везде нужны: и на флоте и на берегу. Поплаваю три года и перейду на берег.

— А зачем тогда было идти в «Мореходку»?

И Вася опять терпеливо объясняет своим монотонным голосом: стипендия, питание, специальность хорошая, в армию из училища не берут.

— А кто тебе посоветовал пойти в «Мореходку»? — спрашивает Муля. — Ты же не собирался становиться моряком.

— Знакомый отца в мастерских «Мореходки» работает. Предложил отцу: «Давай твоего сына в мастерские устрой. Работать он умеет. А присмотрится, дисциплина ему в училище понравится, специальность — добьемся, чтобы его зачислили курсантом».

— Ну, и понравилась дисциплина? — спрашивает Муля.

— Понравилась.

— Экзамены ты сдавал?

— Сдавал, — кивает Томилин. — Подготовился и сдавал. Не строго спрашивали. Меня уже знали, я три месяца хорошо в мастерских работал.

И Томилин перечисляет, что ему приходилось делать в мастерских «Мореходки», какие приборы ремонтировать. Он действительно многое умеет. Он слесарь-самоучка, радиотехник-самоучка, электрик. Нам он взялся починить старый радиоприемник, половину воскресенья копался, разложив внутренности приемника на столе. И починил.

Уходят они вдвоем — Валька Длинный и Вася Томилин. Вася долго прощается:

— Тетя Аня, будете писать Женьке, передавайте от меня привет. Я и сам ему напишу, а пока передайте от меня привет.

Валька Длинный, презрительно шурясь, ждет, пока он выговорится, и уходит не прощаясь.

Глава одиннадцатая

Я родился в центре города, детство мое прошло на асфальте. Даже лужа, в которой мы пускали корабли, была на асфальте. С детства я привык презирать немощеную одноэтажную окраину и немного опа-

саться ее. И сейчас я ее по-прежнему не люблю. Я с удовольствием уезжаю по утрам на работу и с тяжелым сердцем возвращаюсь вечерами домой. Ехать мне из центра далеко. Пять остановок трамвай делает еще в самом городе, переезжает по путепроводу через железную дорогу и попадает на окраину. А окраина тянется, тянется — и конца ей не видно. Если сесть не на трамвай, а на пригородную электричку, то такой вот зеленой одноэтажной окраиной можно проехать километров шестьдесят. Вначале это будет окраина нашего города, потом начнутся пригороды. Пригороды нашего города перейдут в пригороды соседнего, районного города, а там потянется окраина этого соседнего города...

Трамваем я доезжаю до остановки, которая называется «Школа», выхожу у водопроводной колонки, прохожу мимо длинного кирпичного дома трех братьев-уголовников по кличке Слоны, мимо дома Федя-милиционера, потом — мимо шлаконабивного домика, который за три года поставил одноногий силач и красавец Генка Никольский. Свой дом он строил сам. Помогала ему только его жена. Генка внизу, на тротуаре, готовил смесь из цемента, шлака и песка и подавал ведра жене, а потом лез на леса и вручную трамбовал медленно выраставшую стену. О том, как медленно она росла, видно по границам ясно отпечатавшихся слоев. Уж очень тонки эти слои. Три года я ходил от трамвайной остановки мимо Генкиного строительства, и мне казалось, что строительству этому не будет конца. А вот дом уже стоит, и крыша на нем есть, и свет электрический в окнах горит.

В большом многоквартирном доме, в котором я жил до войны, соседи мало знали друг о друге. Даже те, которые жили в одной лестничной клетке. А тут, на одноэтажной улице, я невольно все узнаю о своих соседях. Я знаю их профессии, их жизненные истории. Я не могу точно сказать, каким путем я все это узнаю, я ведь даже не стараюсь ничего узнать — просто вся эта улица какая-то открытая. Люди по несколько раз на день приходят к водопроводной колонке, сталкиваются на трамвайной остановке. Если где-нибудь начинается строительство, то так или иначе о нем узнает вся улица. Здесь есть свои специалисты — электрики, печники, каменщики, кровельщики. Они и побывали у нас, пока мы перестраивали нашу хату. И вся улица, конечно, знает, что делается у нас в хате. И то, что Ирка беременна, и то, что перестройку мы затеяли в ожидании ребенка, и то, что «нет мужчины в доме», и что через год из армии вернется Женька, и как у нас тогда все пойдет — еще не известно, потому что и с пристройкой нам в одной хате будет тесно. «Женька придет из армии, Нинкин Пашка вернется, — говорят наши соседи, — кому-то придется строиться во дворе. Ставить новую хату. В старой теперь уже не поместиться». И Муля тоже — еще не конечно это строительство — уже думает о том, как вернувшийся из армии Женька построит себе хату, мы с Иркой выберемся на новую квартиру, и она, Муля, наконец заживет одна.

— Поверишь, Витя, — говорит она мне, — так уже хочется пожить для себя. Я надеялась, отправлю Женьку в армию, Ирка уедет на работу, я и начну жить сама, а ничего пока не получается.

Правда, Муля уже делала попытку зажить отдельно от нас. Оставить нам хату, строительство, которое ей «вот как осточертело», и выйти замуж.

Вообще-то разговоры о замужестве в нашем доме ведутся давно. У Мули есть подруга, которую Муля хочет пристроить. Время от времени Мулина подруга приходит к нам, приносит бутылку портвейна или вермута, Муля отрывается от своих вечных стирок, приборок, штопок, кричит ей:

— Садись, Зина, я сейчас закончу. Или хочешь, сходи к бабе Мане, проведай, а я тут быстренько.

Зина здороваются с нами, говорит о себе насмешливо:

— Невеста пришла,— подмигивает Ирке:— Мать все крутится? — И отправляется к бабе Мане проведать.

Муля снимает фартук, старое платье, в котором она стирала, вытаскивает из шкафа свой праздничный, переделанный из Иркиного костюм, наскоро причесывается перед маленьким зеркалом, накрывает поверх старой, липкой клеенки — Муля чистоплотна, да вода за квартал! — свежую скатерть. Жестко накрахмаленная, долго пролежавшая в шкафу скатерть топорщится на сгибах, Муля придавливает сгибы тарелками, достает из своих похоронок бутылку водки, банку шпрот, зеленого горошка, баклажанной икры, — когда бы Женя из армии ни вернулся, у Мули все готово! — извлекает откуда-то кусок копченой колбасы, которую не так просто купить в наших магазинах, голландского сыру, ставит соленья: квашеную капусту и огурцы, маринованные яблоки и помидоры — и стол получается красивым. Мулина мать, глухая бабка, чистит картошку, а Муля бежит к Мане приглашать Маню, Нинку, Зину к столу. И женщины собираются вместе. У Мули блестят черные глаза, и во всем ее облике, в движениях, в горячечной быстроте речи есть что-то хмельное, хотя Муля еще не выпила ни капли и пить будет немного. Она любит своим столом, тем, что может его так накрыть. Говорит:

— Жаль, нет селедочки. Знала бы, купила б сегодня. Шла мимо магазина, думала: «Надо купить селедки. Ирка селедку любит». А потом прикинула — капуста есть, огурцы, помидоры. Думаю, обойдемся и не купила. А надо было бы купить...

Баба Маня тяжело приподнимается со стула:

— Схожу, у меня, кажется, селедочный хвост с головой остался.

На Маню машут руками:

— Сидите! Куда еще селедку! Прекрасный стол! И помидоры, и огурцы, и синенькие! Королевская еда.

Муля еще раз радостно и гордо оглядывает свой стол — сама добыла, сама делала, — но на вопросительный взгляд бабы Мани никак не отвечает. И баба Маня все-таки поднимается и идет на свою половину за селедкой.

— Завивку тебе надо сделать,— говорит Зина Муле,— и зубы вставить. Золотые.

— Куда мне! — возбужденно смеется Муля. — Тут только со стройкой справились, столько долгов! За зубы деньги надо платить! — И вдруг вспоминает: — У нас на фабрике механик есть, да ты его знаешь, Дмитрий Васильевич, черный такой. Вчера иду с работы, он догоняет меня, берет за локоть: «Аня, — он меня по старой памяти Аней зовет, — вставишь зубы, еще такой красивой женщиной будешь. И завивку сделай. Что это ты на себя махнула рукой? Ты, говорит, еще совсем молодая и интересная женщина». А я смеюсь: «Что вы, говорю, Дмитрий Васильевич. Я через два месяца бабушкой буду».

— Бабушка! Такую бабушку да на праздничек! — И Зина удивляется: — Жив еще Дмитрий Васильевич?

— Жив, — говорит Муля и смотрит на женщин: — Водочки или сладкого?

— Давай водки, — говорит Зина и ухарски машет рукой, — что нам, молодым, вино! Только в горле пощекотать. Давай водочки.

— Я не пью, — прикрывает ладонью стопку баба Маня, — ты же знаешь. Ты лучше матери своей налей. Она любит водочку. А я так, поси- деть за компанию.

— Да что вы, мама,— говорит ей Муля,— вот и посидите за компанию!

— Выпейте, Мария Трофимовна,— просит Зина,— хоть поедите с аппетитом.

И баба Маня отнимает ладонь от своей стопки. Присутствие невесты и на бабу Маню действует возбуждающе.

Женщины выпивают водку, и у них начинается разговор, за которым я не успеваю следить, потому что в разговоре этом встречается много имен, которых я не знаю. Какие-то Вани, Пети, Маши — старые знакомые Мули, Зины, бабы Мани, участники каких-то физкультурных кружков, ученики школ, в которых учились Муля и Зина, мальчишки, которые ухаживали за ними, парни, к которым они бегали на свидание. Оказывается, Зинин муж был приятелем Мулиного Николая, только погиб он не в сорок четвертом году, как Николай, а в самом начале войны. Сгорел на истребителе, защищая Киев. И любовь у Зины была еще короче, чем у Мули. В сороковом году свадьба, в сорок первом похоронная. И детей у нее нет и не было. И ничего нет в память о погибшем муже, даже фотографии. Даже с фотографией как-то не успелось. И родственников у нее после войны не осталось. Так одна и живет. Зарабатывает неплохо — работает в каком-то вредном цехе,— все у нее есть, а живет одна. И замуж ей хочется выйти не просто так, а за вдовца с детьми. Чтобы обязательно дети у него были. Своих у нее уже, наверно, не будет, старая, а за детьми поухаживать очень хочется. Вот Муля и решила ее сватать своему одорукому брату Мите, когда у того умерла жена.

Сватовство это ни к чему не привело, хотя Муля была энергична, и молодые вначале понравились друг другу. Митя с сыном приезжал в город, Зина побывала у него в поселке, а потом переписывалась с ним, посылала ему свои фотографии, ждала, пока Митя отремонтирует хату и скажет свое последнее слово. Но однажды Митя написал Муле, что Зина ему по душе, однако нашел он себе молодую и хочет последние годы пожить с молодой. Свадьба расстроилась, Муля хотела спешно ехать к Мите, усюветить его. Написала ему сердитое письмо, но не отослала. Зина ее отговорила.

— В невестах побыла, и то хорошо,— сказала она.— Пусть человек живет, как хочет. Давай лучше выпьем, подружка.

И они еще несколько раз собирались, чтобы выпить вина и водочки. Дурачились, кричали свадебное: «Горько!» Вспоминали военные годы, годы своей страшной, неудавшейся молодости, но вспоминали не страшное, а смешное, или, вернее, вспоминали страшное так, чтобы оно казалось смешным, а Муля, как всегда, хвасталась, хвалила себя и требовала подтверждения и у бабы Мани, и у Зины.

— Скажите, мама,— говорила она бабе Мане,— другой такой работницы нет. Помните, во время менки за шесть верст мешки таскала? Ночью иду, сама себя пугаю, трава шелестит, кукуруза совхозная в темноте под ветром трещит, а я бегу, волочу и каждый день опять навстречу страху.

— Правда, правда,— кивала баба Маня.— Работница ты — другой такой поискать. Себя ты не жалеешь. Это я всегда говорила. И сейчас скажу. Не ужились мы с тобой, характер у тебя тяжелый. И Николаю с тобой было тяжело, ела ты его, зудила, а работница ты хорошая.

— Скажете, мама! Жизни не было! Может, скажете, не любил он меня?

— Зачем же? Любил. Это в книжках только такая любовь бывает, как он тебя любил.

Баба Маня правдива правдивостью старости, которой нечего скрывать, нечего бояться, и Муля удовлетворенно кивает. Тяжелый харак-

тер она не считает недостатком. Она опять рассказывает, как ей приходилось, как она добывала продукты детям, как работала на восстановлении школы, которую разрушили немцы. Я слушаю и не могу назвать ее рассказы хвастовством, и никто, я вижу, не считает Мулю хвастуньей. Ни одна женщина, сидящая за столом. Все они слушают ее с сочувствием: и баба Маня, и Зина, и Нинка, и Ира. Лишь глухая бабка, Мулина мать, вопросительно смотрит на всех замаслившимся от водки глазами, старается понять, о чем разговор, и бессмысленно дробненько смеется, когда смеются все.

— Кушайте, кушайте,— говорит она тогда.

Глухая бабка любит гостей. Когда приходят гости — появляется водочка или вино, а глухая бабка любит выпить. Муля опять рассказывает что-то воинственное о себе, и я вдруг понимаю, почему ее так тянет к этим рассказам и почему с таким сочувствием ее слушают и баба Маня, и Нинка, и Зина. Ведь так тяжело и ей и им было и так много сил потребовалось, чтобы это тяжелое победить, так неужели же об этом не узнают люди?

А Муля рассказывает, как после немцев она расчищала сад. Немцы ушли, оставив половину деревьев поломанными, въезжали бронетранспортерами с улицы прямо в сад, ломая забор, ломая деревья. Маскировались от наших самолетов. Десятка полтора пней после них осталось, и все пни Муля выкорчевала сама:

— Рублю его топором, подсекаю корни, аж зайдусь от злости. Целый день на работе, а вечером в саду. Дергаю, дергаю проклятого, а он не поддается, я его опять рубить. Упаду на него без сил, а все-таки выкорчую...

В Мулиных рассказах вообще много такого: «...Похватала я мешки, покидала в машину со злости, а домой приехала, хочу поднять мешок и не могу. Сил не хватает. Как, думаю, я его могла поднять? Скажи ты, злость какая».

И очень она любит рассказывать ужасные истории, свидетелем которых была. Раз пять она уже рассказывала мне, как в самый первый день, когда в город вошли немцы, сгорела женщина, мать троих детей. В школьном дворе стояли брошенные нашими бочки с бензином. Бабы растаскивали бензин, и на одной из женщин почему-то загорелось платье — искра, что ли, на него с соседнего пожара попала. А другая баба, стоявшая рядом, растерялась и, желая потушить огонь, плеснула на женщину из своего ведра. А в ведре-то был бензин... Муж у той женщины был дома, в армию его из-за болезни сердца не взяли. Остался он один с тремя малолетними детьми. Голодали они, а сердечнику этому труднее всего было воду за три километра из реки носить. Ташит он, задыхается одно ведро, а на дороге его немец остановит, отберет воду да еще канистру даст — тащи еще. Потом этот человек уехал с бабами на менку и так и не возвратился. Пропал где-то. За детьми его соседи смотрели, подкармливали, а когда пришли наши, отдали их в детский дом. Младший умер, а два старших брата выжили.

— Да ты их часто видишь,— говорит мне Муля.— Сироты. Они на той стороне улицы живут. Один невысокий в очках, а второй повыше. Дом сейчас себе строят. У них после отца флигель небольшой остался, бабка в нем жила. Они вышли из детского дома, на работу поступили, а теперь решили строиться...

И я вдруг вспоминаю — в самом деле, я часто вижу этих сирот. и даже знаю, что их на улице зовут Сиротами, и потрясаюсь тому, что вся эта ужасная история произошла с людьми, которых я знаю в лицо, с которыми ездю в трамвае.

А Муля вспоминает, как они с Зиной — Зина тогда тоже на нашей

улице жила — проучили участкового милиционера. Участкового этого женщины не любили, он не воевал, от фронта его освободили по какой-то болезни. Но медицинская комиссия, которая давала ему освобождение, не видела то, что видели бабы — как участковый управлялся с лопатой у себя на огороде, какие мешки таскал.

— Он же, Витя, жил на соседней улице. Его сына весь район знал. Хулиган, разбойник. Из тюрьмы не вылезал. И папаша такой же, придет, раскричится: на улице не прибрано, трава на дороге не выполота. А когда убирать, если на работе не просыхаешь? А ему все равно.

И Муля рассказывает, как они с Зиной выкрали у участкового сумку, порвали протоколы, хранившиеся в ней, и набили в сумку мусора.

Муля с Зиной хохочут, и баба Маня, глядя на них, начинает смеяться. А глухая бабка вопросительно смотрит на всех и умильно предлагает:

— Кушайте, кушайте.

— Вы ж уполномоченной квартала были,— говорю я Муле.

— Вот потому и выкрали у него сумку. А иначе как бы мы ее у него украли? Он и подозревал нас, все принохивался, присматривался, а доказать ничего не мог.

И еще Муля рассказывает, как немцы расстреляли двенадцать красноармейцев, прятавшихся в кукурузе, которая начиналась тогда сразу за домом бабы Мани. Это сейчас еще несколько кварталов пристроилось, так что Манин дом оказался в центре района, а тогда прямо за ним начиналась кукуруза. Когда наши отступили, красноармейцы спрятались в кукурузе, а какая-то сволочь навела на них немцев. Немцы и расстреляли всех. Мулина соседка — на улице ее считали гулящей и немного чокнутой — видела, как их убивали. Прибежала к Муле, плакала, билась, проклинала немцев, звала Мулю пойти посмотреть, есть ли там живые, похоронить мертвых.

И опять Муля говорит мне:

— Да ты ее знаешь, Витя.— И Муля называет дом, в котором живет эта женщина.— Армянка. Одна живет с сыном. Все меня спрашивает: «Ну как у тебя Ирка? Хорошо живет? Толстая? А Нинка? Толстая? Хорошо живет? А Женька худой? У меня сын худой». Вчера в трамвае пристала, кричит: «Ирка толстая? Женька худой?»

И я опять поражаюсь тому, что знаю эту женщину, знаю дом, в котором она живет.

Глава двенадцатая

Так встречались Муля и ее подруга Зина, пока не настала Мулина очередь ходить в невестах. Мулин жених появился у нас однажды в воскресенье. Часов в двенадцать дня постучал с улицы в окошко какого-то человек, спросил, здесь ли живет Анна Стефановна, узнал, что ее нет дома, сказал: «Я зайду позже», — и поспешно ушел. Часа через полтора прибежала с базара Муля. Как всегда в воскресенье, она встала на рассвете, возилась во дворе, жгла осенний мусор, успела кое-что постирать для глухой бабки и Ирки и убежала на базар. Базар для Мули — каждый раз событие. Возвращается она взбудораженная, восхищенная собственной изворотливостью и победами над торговками. Купила необыкновенно дешевые почки и печень, простояла в очереди лишних двадцать минут, но зато взяла гречневой сечки по государственной цене, и теперь дома еды на целую неделю, и деньги есть на хлеб и молоко. Возвратившаяся с базара Муля становится временно опасной для домашних. Не то чтобы она требовала признания, но так ей ярко представляется, как она и вчера, и сегодня утром волновалась, что денег до получки

не хватит, как потом увидела эти почки и печень, обильно покрытые жиром, как прикинула, что дома есть картошка и соленья к соусу из почек и мука для пирожков с печенкой, что все это ей надо кому-то рассказать. А тут глухая бабка, которую не заставишь есть почки и печень — бабка младенчески любит сладкое, и Ирка, которой все равно. Ехала в трамвае Муля торжествующая, от трамвайной остановки спешила домой, а пришла и почувствовала, что спешить было некуда. Так было уже не раз, но привыкнуть к этому Муля никак не может. И когда Ирка, заглянув в кошелку, равнодушно спросила: «Печень? Пирожки будешь жарить?» Муля, раздраженно рывкнув на бабку: «Ходишь тут», — сказала Ирке:

— Ехала в трамвае с Галиной Петровной, той, что на Олимпиадовке живет. Спрашиваю: «На базар?» — «Нет, говорит, гулять». Пальто на ней коричневое, новое. Скажи ты, пенсию получает за мужа, кладет себе на книжку, а кормит ее сын. Невестку держит так, что та не пикнет. Внука не нянчит. В детсад определила. В воскресенье оденется и шасть из дому — воскресенье мой день! Вот как люди умеют!

— Муля, — говорит Ирка, — шла бы и ты гулять.

Ирка, почти не наклоняясь — наклониться мешает живот, — медленно подметает в коридорчике. Муля вспыхивает, и чтобы предотвратить скандал, я спрашиваю:

— Муля, что это у вас в кошелке? Ого!

И Муля тотчас забывает про Ирку. Она раскрывает кошелку и торжествующе спрашивает:

— Пирожки с печенкой любишь? На нутряном жиру? С луком?

Муля мгновенно добреет, и я выслушиваю рассказ о том, что она думала, когда шла на базар, что она подумала, когда увидела эту печенку, как прикинула, что дома есть еще картошка, и соленья, и банка внутреннего жиру.

— Муля, — говорю я, — а к вам тут приходили.

— Кто? — спрашивает Муля.

— Мужчина. Сказал, что позже зайдет.

— Кто бы это мог быть? — заволновалась Муля. — Митю ты знаешь?

— Вашего однорукого брата? Еще бы!

— Да? — Муля посмотрела на меня с сомнением. Все неизвестное вызывало у нее тревогу. Она стала прикидывать: — Не Митя? Может, Вася из Риги? Ирка, ты видела?

— Не Вася, не беспокойся, — сказала Ирка, — и не Петя из Риги, и не дядя Григорий из Борисоглебска.

— Ты видела?

— Видела.

— Какой он?

— Не знаю.

— Витя, какой он?

— Не знаю, Муля. Лет пятидесяти. В фуражке...

С полчаса еще Муля волновалась, а потом завозились у печки, забегались и забыла.

Мужчина пришел под вечер. Я пригласил его: «Анна Стефановна дома», — но он опять странно смутился и попросил:

— Пусть выйдет.

При этом он как-то очень быстро отошел от калитки к середине улицы. Так отходили в сторонку, дожидаясь Нинки, ее наиболее скромные ухажеры.

— Выйдите, Муля, — сказал я, возвращаясь в хату, — опять этот к вам.

— Так пусть бы зашел.

— Не хочет.

Муля вытерла тряпкой руки и выскочила за дверь. Прошло минут пятнадцать, и я забыл о Мулином госте, как вдруг оба вошли в комнату. Было в этом «вдруг» что-то неожиданное для обоих — такие у них были лица. Муля, хохотнув, сказала:

— Вот здесь я живу. Комнаты наши. Печку эту я сама мазала.

А гость, едва переступив порог, слепо сказал в пространство:

— Здравствуйте.

— Посидите,— сказала Муля,— я стираю. Хозяйство!

Мне и Ирке она сказала:

— Гость к нам,— и опять хохотнула.

Гостью указала на нас:

— Дочка. Зять. Еще у меня сын в армии — и все семейство!

— Женя-балбес,— серьезно подтвердила Ирка.

Муля еще раз смущенно хохотнула и ушла в нашу новую кухню-тамбур. А гость сел на табурет. Сел он, неудобно подобрав ноги. Он был невысок, но все равно сидеть, поставив ноги на нижнюю перекладину табурета, ему было неудобно. Своим смущением он заразил и меня — Муля все не появлялась, а говорить нам с ним было не о чем.

Наконец Муля явилась. Сняла с вешалки пальто, накинула платок, кивнула гостю:

— Пошли.

Он быстренько поднялся, сказал нам вежливо:

— До свиданья.

Муля пропустила его вперед, вышла вслед за ним, но потом вернулась, приоткрыла дверь, объявила: «Жених!» — и убежала.

Вернулась она скоро — видно, недалеко провожала своего поклонника.

— Жених! — ошеломленно сказала она. — Полковник-отставник. Или майор. Не знаю. Вы, говорит, одна, и я один. Вы, говорит, меня помните? Я Харченко,— Муля засмеялась. — А черт его знает, что за Харченко! Говорит, жил до войны на соседней улице. Правилась я ему еще тогда. Я, говорит, все про вас узнал, люди мне рассказали. Живете вы трудно, и в семье у вас не очень хорошо. А у меня дом, виноградник, приходите, будете хозяйкой. Договорились: в ту субботу зайдет за мной, поведет меня к себе в гости, познакомит с сыном... Брошу я вас, ну вас совсем! Говорит, я непьющий, спокойный. Пить здоровье не позволяет. Курить два года тому назад бросил. Есть венные ранения, но здоровье еще ничего. Сын через год институт кончает и уезжает из города. «Не стану, говорит, скрывать. Сын не то чтобы против, а не очень рад. Но понимает. Вмешиваться не будет».

Муля стояла у двери не раздеваясь, будто собиралась еще куда-то бежать.

— Так он полковник или майор? — спросила Ирка. — Как же ты не узнала?

— Муля,— сказал я,— теперь вам надо обязательно шестимесячную завивку.

— И зубы,— сказала Ирка. — Золотые. Муля, помнишь блатную песенку, которую пел Женька: «Одна нога у ней была короче, другая деревянная была...»?

Муля засмеялась:

— Невеста!

— Вот ты ему покажешь,— сказала Ирка. — Не возрадуется!

— Ага! — сквозь смех согласилась Муля.

— Он же маленький, чуть выше вас,— неизвестно почему стал хохотать и я.

— Коротышка!
 — Майор-полковник!
 — Лучше бы лейтенант!
 — Сержант!
 — Как Нинкин Паша.
 — А в каком звании Нинкин Паша?
 — А черт его знает! Алкоголик.
 — Вот, Муля, у нас тут без тебя тихо будет!
 — Еще поплачешь без матери.
 — «Восплачешь и возрыдаешь» говорит, Муля, твоя мать, а она каждый день читает эту книгу.— Ирка показала на библию в коричневой обложке.

Так и не раздевшись, Муля убежала к бабке Мане, и через несколько минут из-за стены донесся приглушенный Нинкин хохот, радостные всхлипывания.

Потом женщины ввалились на нашу половину, смеялись, дразнили Мулю. Муля тоже смеялась, отвечала на шутки, но иногда всерьез прикидывала:

— Дом, говорит, у него большой, четырехкомнатный. Большая веранда. Застекленная.

— Летом чай будете пить,— вставляла Ирка.

— Ага,— уже не замечая шутки, кивала Муля.— Дом кирпичный. Я хоть от этих подмазок избавлюсь. Шутка — каждый год вот эту хату мажу. Да белю. А кирпичные стены ни подмазывать, ни белить.

— Ты же не удержишься, все равно себе работу найдешь. Начнешь все заново штукатурить.

Муля улыбается:

— Ага, не удержусь.

— Жаль мне, Муля,— говорит Ирка,— этого старичка полковника. Не дашь ты ему умереть собственной смертью. Не знает старик, на что идет. Меня так и подмывает раскрыть ему глаза.

Но Мулю уже не сбить.

— Говорит, виноградник большой. Сорт хороший. Всегда до нового года свежий виноград, свое вино, маринованный виноград. Каждый год продает на базаре на несколько тысяч рублей.

— Будешь торговать на базаре? — спрашивает Ирка.

— А что ж? Буду. Торговала же в войну.

— Пусть торгует,— вступается Нинка,— что тут такого!

— А живет знаешь где? На Дачном, на полковничьем участке, где все отставники построились. Улица чистая, зеленая и от нас близко. Я утром собралась, десять минут — и дома. У вас тут прибрала, за ребенком присмотрела. Женька вернется, тоже женится, дети пойдут, я и помогу... Он мне говорит: «Договоримся сразу, ни мои, ни ваши дети к нам не касаются. Они взрослые, пусть строят жизнь, как хотят. В праздник всем собраться — хорошо. А так пусть живут сами по себе, а мы будем сами по себе. Нам еще тоже счастья хочется». А я ему сразу сказала: «Вы как хотите, а я своих детей не брошу». Правильно? — Муля обернулась к Нинке и бабе Мане, хотя должна была бы обратиться к Ирке.

— Женю ты не бросишь,— сказала Ирка,— а меня, пожалуйста, бросай. Можешь не беспокоиться.

— Это ты только пыжишься,— сказала Муля, и черные глаза ее вспыхнули.— Родишь — не так запоешь. И всю жизнь с ними так,— сказала Муля Мане,— что ни делай, благодарности не дождешься. Хату этой красавице перестраивай, пеленки шей. Я уж и приданое заготовила, ванночку купила, тазик...

— Носовые платки, дегскую присыпку,— сказала Ирка.

— Да, и детскую присыпку, а она только носом крутит: «Можешь меня, Муля, бросать. Я в тебе не нуждаюсь».

Потом все вместе вспоминали, кто же он такой этот жених, если он до войны жил на соседней улице и хорошо знает Мулю. Вспоминали, вспоминали, так и не вспомнили.

— Чего ж ты нам его не показала? — сказала баба Маня Муле.— Может, вместе и разобрались, кто он такой.

— Побоялась, чтобы я не увела ее старичка,— сказала Нинка.

Муля охотно улыбнулась.

Но завтра Муля как бы отстранилась от нас. Она шушукалась лишь с Нинкой и еще с нашей соседкой по улице, вдовой Верой. Вера работает медсестрой в районном роддоме. Она очень чистоплотна: дома у нее, говорит Муля, все подлизано, начищено. И дети у нее не по-уличному степенно аккуратны. Года два тому назад — тогда еще жив был Верин муж — Муля попросила ее сделать пенициллиновый укол заболевшей Ирке. Вера пришла к нам с большой железной коробкой, в которой она уже у себя прокипятила шприц и иглу, сняла у порога туфли, поискала глазами какие-нибудь шлепанцы и, так как шлепанцев у нас не оказалось, пошла в носках через комнату.

— Да ты что,— закричала на нее Муля.— У меня не прибрано. Носки испачкаешь.

— Грязь на дворе,— сказала Вера.— Не буду же я вам грязь носить.

Поверх чулок у нее были надеты толстые домотканые носки из неочищенной серой шерсти. И в том, как Вера сняла у порога свои туфли, и в этих домотканых носках, которые не купишь ни в одном магазине, было столько домовитости и чистоплотности, что пристыженными почувствовали себя не только я и Ирка, но и Муля, которая хвастается своим умением поддерживать в доме чистоту. И коробка, в которой Вера кипятила свой шприц и иголки, хоть и потемнела от многочисленных кипячений, а тоже была опрятной и добротной. Раскрывая коробку, Вера сказала:

— Я уже кипятила. Ничего? У меня печка горит; думаю, может у них сейчас огня нету. Но я могу перекипятить. Как хочешь.

И она на минуту приостановилась, вопросительно глядя на Ирку.

— Что ты! — сказала Ирка.

Потом они немного поговорили:

— А детям своим ты сама делаешь уколы? — спросила Ирка.

— Девочка у меня не болеет, ее незачем колоть. А сын в отца, хворый, его приходилось.

— Жалко?

— Жалко, что болеет, а колоть чего ж жалеть?

Уходя, Вера упаковала свою коробку, собрала, несмотря на Мулины протесты, кусочки ваты с осколками ампул: «Все равно на улицу иду, чего им тут лежать?»

Такой мне запомнилась Вера еще до того, как умер ее муж. После того, как он умер, Веру на улице стали жалеть, а потом осуждать. Но скоро перестали и жалеть и осуждать — привыкли, что Вера никак не подберет себе мужа, что у нее каждый месяц новый муж, что она с ними пьет, а иногда и дерется.

— Я ей говорила,— возбужденно тарашась, рассказывала Нинка.— «Ты их не допускай сразу к себе. Что это, только познакомилась — и сразу ведешь». А она мне: «А чего я буду кривляться? Что он — маленький, не понимает? Просто мужики теперь такие. Сорвал и ушел. Ни одного порядочного мужика».

С тех пор, как Нинка проводила своего Пашу в армию, она частенько забегала к Вере. Одно время они вместе ходили в кино, на танцы, но потом Нинка все-таки остепенилась, взяла себя в руки. И вот теперь, когда у Мули появился жених, она тоже часто стала бывать у Веры. Куда-то они ходили вместе, о чем-то тайно совещались. Должно быть, Муля тоже верила в ее опытность.

К субботе Муля говорила, то и дело неестественно приподнимая верхнюю губу, слова у нее получались с лихим металлическим присвистом, и Муля наслаждалась этим металлическим присвистом — она наконец-то вставила зубы. Шестимесячную завивку Муля тоже сделала. Седые завитые кудри, металлическое сияние во рту, разговор с залихватским присвистом отдалил Мулю от нас с Ирккой; в черных Мулиных глазах появилось что-то агрессивное. Она меньше стала возиться дома, вечерами подолгу засиживалась у бабы Мани — у бабы Мани была швейная машина, Муля шила себе новое платье.

Над Мулей подшучивали, называли ее «красоткой», спрашивали, каким браком она собирается сочетаться — церковным или гражданским, готов ли ее свадебный наряд. Баба Маня сдерживала Нинку и Ирку.

— Шутка дело, — говорила она о Муле, — в тридцать четыре года вдова. Ну-ка! Видишь, как сейчас Верка бесится.

Маня не ревновала. И жизнь и смерть с тех пор, как умер Николай, унесли так много, что ревновать не имело смысла.

В субботу Мулин отставник зашел за ней. Он опять робко постучал с улицы в окно, опять не захотел входить в комнаты, ждал Мулю где-то на середине улицы. Впрочем, Муля и не приглашала его в дом. Ушли они засветло, вернулась Муля поздно.

— Ну как? — спросила Ирка.

— Ничего, — с вызовом ответила Муля.

— Дом кирпичный?

— Кирпичный.

— Стеклянная веранда есть?

— Есть.

— Не обманул, значит, тебя.

— Не обманул.

И Муля принялась рассказывать сама. Дом прекрасный, кирпичный, новый, сухой. Полы крашенные, но такие гладкие, что лучше паркетных. Мыть их, наверно, легко. Двор большой, широкий, винограда целая плантация. И дома рядом большие, улица приятная, весной и летом зелени будет полно. Сын у отставника серьезный, в очках, без пяти минут инженер, не то что Женька-балбес, поздоровался вежливо и ушел: «Папа, мне нужно в город».

— Я как вошла, — сказала Муля, — посмотрела, говорю: «Шкаф я поставлю сюда, этажерка будет стоять здесь, трафарет надо менять...»

— Показала себя?

— Ага.

— А что вы с ним делали, когда остались вдвоем? — спросила Ирка.

— Чай пили, — целомудренно не замечая подвоха, ответила Муля. —

А потом в театр пошли.

— Муля! Ты была в театре! За сколько лет?

— И не помню за сколько. Нет, помню. Три года назад в клубе у нас что-то такое представляли.

— Так то самодеятельность.

— Ага. Самодеятельность. Да мне все равно — что самодеятельность, что не самодеятельность.

— А в театре понравилось?

— Народу много.
— А когда ж у вас свадьба?
— Он торопит, — сказала Муля, и от металлических зубов ее пошло сияние. — А я за то, чтобы подождать. Я ему говорю: «Дочке скоро рожать; надо кому-то маленького нянчить».
— Брось, брось, Муля. Нечего на меня сваливать. Я тут ни при чем. Муля не ответила.
— А когда ж новое свидание?
— В субботу. Он хотел пораньше, а я говорю: «Некогда. Я работаю».

Всю неделю Муля агрессивно присвистывала своими стальными зубами. Рот ее излучал металлическое сияние. Металлическое сияние шло и от седых шестимесячных кудрей. Но в остальном Муля вела себя как обычно. Вставала на рассвете, готовила завтрак, будила бабу, будила Маню, чертыхалась оттого, что кто-то не поставил кастрюлю на место, что куда-то запропастилось постное масло, убегала на работу, разбудив Ирку и меня. Возвратившись с работы, подметала, мыла полы, стирала, готовила, а поздно вечером подсчитывала свой фабричный заработок — наклеивала талоны на большие листы бумаги. И в субботу у Мули все шло, как всегда. Вернувшись с работы, она разогналась на большую стирку — наносила воды, поставила на огонь выварку, вытащила узел грязного белья, а когда Ирка спросила: «А как же твой генерал?» — Мулиного отставника Ирка называла то полковником, то маршалом, то сержантом, — Муля неожиданно махнула рукой:

— Да ну его!

Все-таки, когда отставник постучал в окно, Муля, минуту посомневавшись, отерла с рук мыльную пену и вышла открывать дверь. Потом она переодевалась, причесывалась, а отставник ждал ее на улице. И тут мне почему-то показалось, что ничего у Мули с отставником не будет. Просто невозможно, чтобы у Мули с ним что-то было.

— Знаешь, — сказал я Ирке, — по-моему, ничего у них не будет.

— Я тоже так думаю, — сказала Ирка. — Ей и раньше предлагали выйти замуж, а она не выходила.

Но все-таки некоторое время я еще сомневался. Еще субботы три Муля ходила на свидание к отставнику, а потом будто разом сняла с себя шестимесячную завивку и погасила металлический блеск во рту. С Верой дружба у нее быстро разладилась. Нам Муля ничего не объясняла. Ма-не она сказала неопределенно:

— Если бы раньше человек нашелся, а сейчас как была у меня семья, так пусть и остается.

Глава тринадцатая

Во вторник предпоследней недели декабря я шел в редакцию на вечернее дежурство. Открыл калитку и увидел на углу у нашего дома трех парней. Голоса их я слышал еще в доме — парни ссорились, — и я собирался сказать им, чтобы они шли ссориться в другое место. Двоих из парней я знал в лицо, они жили на нашей улице. С одним из них, высоким, грузноватым, одетым в пижамные штаны и в стеганку, накинутую поверх пижамной куртки, я даже иногда здоровался — он был приятелем Женьки, звали его Валерка. Когда я вышел, двое парней напировали на Валерку — должно быть, все они только что были у него дома, выпили и теперь вышли на улицу выяснять отношения. Однако, когда я поравнялся с парнями, они уже называли друг друга «Витек», «Валера» и, дружески соединившись, двинулись по улице вверх к ближайшему наше-

му магазину: у этого магазина всегда начинались и заканчивались такие ссоры. Немного проследив за парнями и решив, что теперь уже все в порядке, что они не вернуться и не испугают беременную Ирку, я повернул от дома к трамваю, но на полдороге встретил дядю Васю, шофера такси, и он опять показал мне на парней:

— Смотри, что делают!

Я обернулся. Теперь против Валерки было четверо. Наверно, те двое встретили еще друзей, и ссора разгорелась с новой силой. Валерка стоял ко мне левым боком, он грузно нагнулся навстречу тем четверым, правая рука его, заканчивавшаяся чем-то блестящим, была выставлена перед животом, а те четверо шарахались от его руки, бежали по какому-то четко очерченному кругу, стараясь забежать Валерке за спину. Они пока не рисковали ступить внутрь этого круга, но так долго продолжаться не могло, я вспомнил, какими слепыми и глухими были лица парней и когда они ссорились, и даже когда они, дружески соединившись, шли в магазин и называли друг друга «Витек», «Валера».

— Порежуются, проклятые,— сказал дядя Вася и, поискав что-то глазами вокруг себя, качнул палку в нашем заборе.

Но в это время Валерка попятился, повернулся спиной к своим противникам и грузно побежал. Он был в галошах на босу ногу, и, чтобы галоши не спадали, он бежал как будто на лыжах, не поднимая высоко ног, шоргая галошами по земле.

— Правильно,— сказал дядя Вася с облегчением,— уйди лучше от беды домой.

Четверо Валеркиных противников с облегченным и торжествующим ревом погнались за ним. А добежав до кучи строительного мусора у нашего дома, стали кидать вслед Валерке обломки кирпича. Мы с дядей Васей направились к ним, но вдруг дядя Вася прижал меня к забору. Все так же, словно на лыжах, Валерка выбежал из дому с охотничьим ружьем в руках. Еще не веря, что он может выстрелить, четверо задержались на мгновение, а потом трое бросились бежать — меня поразили их лица: смесь страха, смущения и какого-то отчаянного, пьяного веселья,— и лишь четвертый остался у кучи строительного мусора с обломками кирпича в руках. Он кинул свои бесполезные кирпичи навстречу Валерке, а тот выстрелил в него. Парень поднес руку к жалкой своей, белой модной кепке, крикнул удивленно: «Попал!» — и осел на землю. Мы с дядей Васей кинулись к нему; парень лежал, уткнувшись лицом в битые кирпичи. Когда мы перевернули его на спину, внутри у него что-то перелилось с места на место.

Я побежал в школу звонить в «скорую помощь» и милицию, сообщить в редакцию, что не смогу прийти, а в это время кто-то остановил орудовский мотоцикл, и орудовец забрал Валерку вместе с его ружьем. Валерка, переодевшись, ждал, пока его заберут. Минут через десять после этого явилась милицмейская машина с врачом. На улице уже было темно, и пока врач со своим помощником осматривал убитого, мотор машины работал — шофер прожектором освещал кучу строительного мусора, на которой лежал убитый. Если кто-то из толпы пытался что-нибудь посоветовать милицмейскому врачу, откуда-то из темноты, из машины, скрытой за светом прожектора, кричали на советовавшего:

— А ну, отойди! Отойди! Без тебя знают! И-ышь, умный какой!

Приехала «скорая помощь», в круг, освещенный прожектором, вошел врач. Санитар нес за ним металлический чемоданчик. В клубящемся свете милицмейского прожектора лица врача и санитара стали алюминиево-бледными. Забрав убитого, машины уехали, и на улице опять стало безлюдно и темно.

Я вернулся в дом. Ирка молча сидела на кровати, Муля возилась у печки.

— Свслочь! — зыругался я, думая не только о Валерке, убившем парня в белой кепке, но обо всем, что произошло.

— А почему он, Витя, сволочь? — вдруг повернулась ко мне Муля. — А что, если бы ему камнем по голове? Их же четверо было! А он один. Правильно он сделал. Мне Валеркина жена говорит: «Вот, тетя Аня, все теперь будут жалеть убитого, а Валерку осуждать. А если бы они ему камнем в голову попали? Если бы ваш Женька был дома, он бы заступился за Валерку...»

Меня раздражало то, что говорила Муля. Мне не хотелось выяснять, кто тут прав, кто виноват, — все происшедшее, казалось мне, выходило за те пределы, где ищут правого и виноватого. Мне хотелось осуждать. Осуждать все — нравы, улицу, район. Не жаль ни того, кто убит, ни того, кто арестован. Жаль милиционеров, следователей, врачей, Ирку, себя, дядю Васю — всех, кого это дикое убийство затронуло и потрясло. Дичь какая-то! Я давно присматривался к пьяным ссорам на нашей улице, и вот темное прорвалось... Все это я выложил Муле. Она не поняла меня. Она и не должна была понять меня. Я исходил из того, что всего этого не должно быть, а она из того, что это было и есть. Она всю жизнь прожила на этой улице, знала Валерку, его мать и жену.

— Клавку жалко, — сказала Муля о Валеркиной жене. — Валерку посадят, а она с дитем останется. А Валерка всегда был спокойным. Женька выпьет — шальной делается, а Валерка сколько бы ни выпил — всегда спокойный.

Это уже была уступка мне. Муля переводила разговор с Валерки на Валеркину жену. Но мне не было жалко и Валеркину жену. Я видел, как она подходила к убитому, когда кучу строительного мусора освещал прожектор милициской машины, — посмотрела и поспешила домой рассказывать, что видела. Ни жалости, ни раскаяния не было на ее лице. Она тоже готова была отстаивать своего Валерку во что бы то ни стало.

Опять у нашего дома остановилась машина. В дверь постучали — это был следователь из уголовного розыска. Опять началась суета: загудел мотор, включили прожектор. Следователь и его помощник щелкали фотоаппаратом, считали шаги от того места, где стоял Валерка с ружьем, до кучи строительного мусора, на которую упал убитый. Помощник следователя нашел пыж, сделанный из газеты. Пыж лежал около нашего забора. Все это казалось мне уже лишенным смысла. Я сказал следователю:

— Убийца-то уже арестован. Его милиционер сразу же забрал.

Я был еще слишком не искушен и не знал, как потом, на суде, будут важны эти подсчеты, фотографии, пыж, как много о них будут говорить и обвинитель и адвокаты...

Следователь посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «И-ышь, умный какой!» — но не сказал, а только махнул рукой — не мешайся ты тут. А через несколько минут спросил:

— Вы живете в этом доме? Я должен снять с вас опрос.

Мы вошли в комнату. За нами протиснулся милиционер, сопровождавший следователя, и парень-понятой, которого следователь привез с собой. Следователь закричал на парня:

— Чего дверь раскрыл? Холоду людям напускаешь! Мы пришли — уши, а людям тут спать! А ну закрой дверь!

Парень попятился и исчез. Милиционер покраснел. Он сказал:

— Там какие-то пьяные ходят. Пристают: «А ты имеешь право здесь фотографировать?» Может, задержать?

Я спросил:

— Низенький, в кожаной куртке?
 — Кажется, в кожаной,— сказал милиционер.
 — Среди тех был один в кожаной куртке,— сказал я следователю, и он опять посмотрел на меня: «И-ышь какой!» — но тотчас же погасил глаза.

— Филимонов,— сказал он милиционеру,— если еще будут приставать, приведите их сюда.

— Может, я пойду с милиционером? — сказал я.— Я узнаю их.

Следователь не ответил. Он спросил:

— Милиционер убийцу забрал? И ружье унес? А кто убитого забрал — милиция или «скорая помощь»?

— По-моему, милиция. Я слышал, как врач «скорой помощи» сказал: «Нам тут делать нечего».

Следователь покачал головой:

— Я покажу этому милиционеру! Сколько раз уже говорилось: пока не приедет следователь, все должно оставаться нетронутым!

Он еще долго сокрушался, грозил показать милиционеру, который забрал Валерку, и тем милиционерам или врачам «скорой помощи», которые увезли убитого, и наконец приготовился вести протокол. Тут я произнес фразу, которую заготовил давно:

— Я работник городской газеты и буду рад помочь следствию.

Произнес и почувствовал, как кисло, претенциозно и глуповато она прозвучала.

Следователь не сделался ни вежливее, ни доверчивее. То есть он был вежлив, но это была отпугивающая меня вежливость. Для кого-то эта вежливость обязательно оборачивалась грубостью.

— Закрой дверь,— кричал следователь на паренька-понятого,— людям тут спать!

Теперь он выговаривал милиционеру:

— Осторожней двигай стул, Филимонов. Можешь поломать людям стул. У них и так сегодня беспокойный день.

Я стал рассказывать, он записывал, иногда задавал вопросы и все поглядывал: «И-ышь какой!» — если я отклонялся в сторону от заданного вопроса и что-то говорил от себя. Когда я сказал ему, что Валерка стоял, вытянув руку с ножом, а те четверо старались зайти ему со спины, вмешалась Муля. Она сказала:

— Витя, ты же плохо видишь. Ты же близорукий. От тебя до Валерки был почти квартал, ты же почти к трамвайной остановке подошел. Как же ты мог видеть, нож у Валерки в руках или не нож?

Я ошеломленно посмотрел на нее. В самом деле, я стоял далеко и своими глазами не видел ножа. Но Валеркина поза, но позы тех четверых, боявшихся вытянутой Валеркиной руки,— все это было слишком определенно, ошибиться тут было нельзя.

Следователь, заметив, что я замялся, спросил:

— Своими глазами видели нож?

— Своими глазами? Но... своими глазами, пожалуй, не видел.

— Говорить надо только о том, что видели своими глазами.

Потом следователь дал мне прочитать листы протокола, на которых огромными буквами было написано «вопрос», «ответ».

— Вы на ошибки не обращайте внимания,— сказал он,— я в спешке писал.

Я расписался на каждом листе по два раза — с этой и с другой стороны, и следователь со своими помощниками уехал.

Едва он уехал, Муля, провожавшая его до двери, накинулась на меня:

— Зачем ты, Витя, сказал про нож? Тебе это надо? Пусть сами разбираются!

Я не ответил ей. Год тому назад умер мой отец. Он воевал в первую империалистическую, воевал в Великой Отечественной, был контужен, ранен. После войны тяжело болел. Он несколько раз бывал при смерти и все-таки каждый раз выкарабкивался. Я помню все больницы, в которых он лежал, врачей, которые ему делали операции, лечили его. И смерть его многих задела — и родственников и друзей. А тут что? Бессмысленная пьяная ссора, пустяковое самолюбие пустяковых людей — и такое важное, человеческое, трагичное низведено до черт знает чего. И ведь станет эта пакостная история легендой для некоторых мальчишек с нашей улицы. И как те трое испугались и побежали, и как этот один не испугался и кинул в Валерку кирпичи, и как Валерка не побоялся тюрьмы и выстрелил в этого.

У Ирки в вечерней школе есть такой паренек-недомерок лет семнадцати. Он уже два года отсидел, на всех смотрит волком. Волчонком, вернее. Ирку презирает, соучеников своих — а некоторым работягам, которые сидят с ним в классе, по тридцать—сорок лет — тоже. Не прогнать его ни Пушкиным, ни Лермонтовым: и Пушкин и Лермонтов для него тоже что-то вроде ненавистных воспитателей. Однажды один из старших в классе сказал ему: «Что ж это ты людей-то не уважаешь?» Паренек ответил: «Это вы люди? С вами что хочешь сделай — вы не люди. Кто из вас на смерть пойдет? А я видел людей, которые на смерть шли!»... Эти люди — воры.

И еще я подумал, что Мулин сын Женька провалился на экзаменах в летное училище не только потому, что был ленив, как бывают ленивы маменькины сынки. Тут все гораздо сложнее — Женька был ленив, потому что уличный неписанный кодекс был для него самым главным среди всех других моральных кодексов.

Глава четырнадцатая

Чтобы не мешать Ирке, чтобы не толкнуть ее случайно во сне, я лег спать на раскладушке. Ночью меня разбудила Муля.

— Витя, — сказала она, — вставай, у Ирки началось. Вставай, надо идти за «скорой помощью».

Я вскочил. Свет в комнате уже был зажжен. Ирка молча сидела на кровати. Сквозь сонную одурь мне показалось, что ничего еще не произошло, что Муля, как всегда, поторопилась, и я опять сел на свою раскладушку.

Ирка сказала, извиняясь:

— Не хотела вас будить, думала, что еще не началось. Думала, что просто переволновалась из-за вчерашнего.

Она смотрела на меня, и я сказал:

— Сейчас, сейчас!

Она кивнула с запозданием, и я увидел, что смотрит она не на меня. Тогда мне стало не по себе, сонная одурь мгновенно прошла.

— Вот ты, дура, — сказал я, — еще деликатничаешь. Надо было давно разбудить. Чего ты деликатничала?

Ирка опять кивнула с запозданием и ничего не ответила. Я понял: она ждет. Прислушивается к себе и ждет. И что бы я ей ни сказал сейчас, она вот так же молча кивнет и будет ждать. Она, наверно, очень смелый человек; случись со мной что-нибудь столь же опасное, я бы давно взвыл, а она деликатничает. Потом я взглянул на Иркино спокойное, припухшее лицо, увидел, как она неподвижно сидит, натянув на колени

одеяло, как нехорошо она выглядит в этом ночном непривычном электрическом свете, и понял, что она очень боится, что она тоже чувствует, как нехорош этот непривычный ночной электрический свет, и сдерживается изо всех сил. А я так мало могу сделать для нее — всего лишь сбегать за «скорой помощью».

— Я побежал,— сказал я ей.

Она молча кивнула, и я выскочил на улицу. Вначале я побежал к школе, где был телефон, но через несколько шагов решил, что будет вернее, если я сам сбегаю в роддом и приведу «скорую помощь». Шофер может заблудиться или промедлить, а я покажу ему дорогу и, если надо, потороплю. Я бежал по темным улицам — до роддома было кварталов пять — и совсем не думал о ребенке, который должен у меня родиться, хотя последние полгода мы только и делали, что готовились его встретить: перестраивали для него дом, покупали ему приданое, приобретали специальную литературу, — я думал об Ирке, о том, что она тяжело и опасно больна и что ей надо немедленно помочь. В роддоме женщине в белом халате, вышедшей на мой звонок, я сказал:

— Нужна «скорая помощь».

— Далеко ваша роженица? — спросила женщина. — Прийти сама не может?

— Далеко. Пять кварталов,— сказал я задыхаясь.

— А «скорая помощь» не здесь,— сказала женщина. — За «скорой помощью» вам надо идти в районную больницу.

Я уже и сам с испугом заметил, что во дворе роддома нет гаража, нет на грязи и на снегу автомобильных следов. До районной больницы было еще кварталов пять, и снова я бежал по темным улицам.

Подъезд районной больницы сравнительно ярко освещали фонари, и я еще издали заметил две машины. Мне казалось, что я слишком медленно бегу, что я не успею и машины уйдут по другим вызовам. К больнице я прибежал совсем запыхавшимся, остановил первую, уже было тронувшуюся с места «скорую помощь», назвал улицу, номер нашего дома, хотел сесть рядом с шофером, чтобы показывать дорогу, но меня посадили назад, в кузов, туда, где сидел санитар, где рядом со скамеечками были укреплены длинные полотняные носилки, — шофер сам прекрасно знал дорогу. «Скорую помощь» трясло на ухабах наших немощеных улиц, в животе у меня подрагивало, я держался за отполированную ручку и думал, что так же будет трясти и Ирку.

Дома нас уже ждали. На улице дежурила Муля. Увидев машину, она тотчас вошла в дом и вывела оттуда уже одетую и приготовленную Ирку. Ирка с трудом влезла по лесенке в кузов.

— Пожалуйста, везите тише,— попросил я шофера.

— Счастливо! — крикнула Муля. — Пальто застегни. Горло, горло закрой. Витя, пусть она закроет горло. Смотри, чтобы ехали тише.

Машина уже тронулась, а Муля еще что-то кричала, размахивала руками. Я сидел напротив Ирки и говорил:

— Потерпи, потерпи немного. Сейчас приедем, тут недалеко. Здесь лучший в городе роддом. Врачи прекрасные.

Ирка молча кивала. Она не вникала в то, что я говорил, слушать меня ей было трудно — я это видел, но не мог остановиться и все уговаривал ее потерпеть. И она молча кивала мне.

В приемной роддома я сидел, пока Ирку принимали и переодевали. В маленькой приемной висели какие-то медицинские плакаты и диаграммы и пахло здесь странно и непривычно — я не знал еще, что это запах детских пеленок, детской молочной рвоты, молока, киселиков, кашек — сложный сладковатый запах, который появляется всюду, где есть грудные дети.

Глава пятнадцатая

На следующий день в приемной роддома я прочитал на доске объявлений написанную мелом свою фамилию. Доска была старой, черная краска на ней истерлась, мел, которым писали вчера, еще остался — в общем, это была некрасивая, старая, грязная доска, и все же, взглянув на нее, я вздрогнул. Чьей-то торопливой рукой на доске была написана моя фамилия. Я осторожно посмотрел правее — против фамилии стояло коротенькое слово «сын». Еще дальше, в графе «вес», было написано: «3400». Я посмотрел выше и ниже — в один день с моим сыном родилось четыре девочки и три мальчика. Самая тяжелая новорожденная весила 4100, самый легкий — 2900. Я не то чтобы обрадовался — мне стало легче: со случайностями было покончено — у меня сын. Я дождался, пока в приемную вышла сестра, спросил ее, как здоровье Ирки. Ирка чувствовала себя хорошо, и мне стало еще легче.

— Мальчик у вас хороший, — сказала сестра. — На отца похож.

Сестра была Мулиной знакомой. Она дежурила, когда Ирка родила.

— Тяжело все это было? — спросил я.

— Да что там, — сказала сестра, как будто снимая с меня какую-то вину, — что уж легко — тяжело! Как у всех.

— А все-таки?

— Идите-идите, да не напейтесь больно на радостях, — махнула на меня рукой сестра. И она улыбнулась, извиняя мне и то, что Ирке было тяжело, и то, что я напьюсь, пока Ирка лежит в больнице, и то, что, по ее мнению, мне не терпится куда-то побыстрее бежать и напиться.

— Когда Ирке можно будет что-нибудь передать?

Я все время спрашивал только об Ирке и думал только об Ирке. К тому, что у меня сын и что надо справиться о его здоровье, я еще не привык. И вообще я еще никак не думал о сыне. Просто на старой, грязной доске роддомовских объявлений мелом было записано, что судьба моя отныне изменилась.

— Идите-идите, — еще раз сказала сестра, — Анна Стефановна сегодня обязательно зайдет, я ей все и скажу. Идите-идите. — И она еще раз улыбнулась, извиняя мне и мою наивность, и мою радость, и мое желание во что бы то ни стало поскорее напиться, и то, что ради меня ей придется нарушить кое-какие больничные правила. — Я понимаю, — сказала она, — папе не терпится увидеть сына. Сегодня еще нельзя. Завтра я не дежурю, а послезавтра, если все будет благополучно, поднесу его к окошку. Может, и Ира к тому времени сумеет подойти к окну, обоих сразу и увидите. А мальчишка хороший. Как его назовете, уже решили?

— Да нет еще, — сказал я.

— А чего ж так? — сказала сестра. — По деду и назовите.

— По дедам, — сказал я. — Ирка — Николаевна, и я Николаевич.

— Правда! — вспомнила сестра. — Вы ж Виктор Николаевич, а я и не подумала. Вот и назовите по дедам.

— Да нет, — сказал я и объяснил, увидев удивление в ее глазах: — Деды не очень-то счастливые. Оба до своих лет не дожили.

— Да? — сказала сестра и заторопилась; она явно осуждала меня: — Ваше дело, вы молодые. Вы сами решите.

Она ушла, оставив мне Иркину записку. Сестра была подругой Мули; она, конечно же, знала все, что делалось у нас в доме, и осуждала меня за то, что я не хочу дать сыну имя Николай. Муля уже давно договаривалась со мной и Ирккой, что если родится мальчик, назвать его по деду. Она даже мистифицировала меня, устраивала маленькие спектакли, рассказывала, будто встретила ее где-то цыганка и пообеща-

ла, что у Ирки родится мальчик, которого обязательно надо назвать Николаем. Если мальчику дадут другое имя, он будет много болеть.

Поддержи Мулю Ирка, и я бы, конечно, не устоял, но Ирка только молча прислушивалась к нашим спорам. «Знаешь,— говорила она мне,— я не все об отце помню. Но вот такое помню: во время первых бомбежек, если отец дома, так как будто и страху поменьше. Или еще — пес у нас был Мишка. Здоровый, умный. Его раз летом остригли, так он из будки неделю не вылезал — стеснялся того, что лысый. Так вот, помню, как Мишка прыгал на отца, когда отец вернулся после того, как выбили немцев. К отцу подойти было нельзя — Мишка вокруг него вился».

Ирка давно собиралась поднакопить денег и съездить на ту станцию, где был убит отец, и ей, конечно, тоже хотелось, чтобы сына назвали Николаем. Но чем больше у нее рос живот, тем внимательнее она слушала меня. А я говорил:

— Чепуха это, понятно, имя ничего не определяет. Но у меня все равно останется ощущение, что мы обрекли пацана на повторение чьей-то судьбы. Что твоему отцу, что моему не очень-то в жизни повезло. Понимаешь, не хотелось бы, чтобы тень висела над пацаном... Пусть будет сам собою. Авось, будет счастливее.

И Ирка слушала. Муле она говорила:

— Ты вечно торопишься. Еще не известно, кто будет — мальчик или девочка.

Я вышел из роддома и на улице еще раз перечитал Иркину записку. Ирка писала, что пробудет в больнице дней десять. «Обязательно,— просила она,— обей за это время дверь войлоком, занеси кошку и отдай кому-нибудь Кутю-Ошметку». Мой сын, весящий три килограмма четырехста граммов, еще не имеющий имени, требовал, чтобы я унес из дому кошку, которая живет у Мули пять лет, и выгнал бы на улицу шестимесячного щенка Кутю-Ошметку, которого сама Ирка неумеренной любовью и заботами превратила в инвалида. Это мне не понравилось. Недели две тому назад Кутя-Ошметка куда-то пропал, и мы с Иркой до полуночи ходили по темным улицам и кричали: «Кутя! Кутя!» Ирке с ее животом было тяжело, она мерзла и все-таки искала щенка, так ей было его жалко. А тут, пожалуйста,— отдай! Кто его возьмет, замученного нашими заботами, страдающего хроническим расстройством желудка,— Ирка обкормила его детским витамином Д, настоенным на масле?

Я решил, что Кутя и кошка останутся дома; Ирка пока порет горячку, а пройдет несколько дней — поуспокоится, но все же не мог отделаться от смутной тревоги. С Иркой что-то произошло, если она так решительно расставалась со старой, сжившейся с домом кошкой и с белым шестимесячным щенком.

Дома я осмотрел входные двери. Их нужно было не только обить войлоком, но еще и укрепить. Стены нашей пристройки были сложены из мягкого камня-песчаника, гвозди легко входили в него, но и легко расшатывались в своих гнездах. Я разыскал в сарае несколько длинных гвоздей и вогнал их в дверной косяк.

Двери, ведущие из тамбура в комнату, тоже надо было обивать войлоком. За много лет дерево сохлось, и теперь стоило лишь провести ладонью вдоль дверных зазоров, чтобы почувствовать вкрадчивый напор холодного воздуха. В детстве я часто болел бронхитом, и сейчас мне вдруг тревожно захотелось покашлять. Я покашлял и подумал: действительно, неудачно это получилось, что мальчишка родился зимой. Я прошел в нашу с Иркой комнату и стал прикидывать, куда мы поставим детскую кровать. Сама кроватка, разобранная — отдельно сетка, отдельно спинки, — свежевыкрашенная, стояла тут же. Наверно, Муля се-

годня внесла ее из пристройки в комнату. На этой кровати спали еще Ирка и Женька, и теперь Муля подновила ее белой краской.

Наша комната самая теплая в доме, но и в нашей комнате не было настоящего места для детской кровати. Мы с Ирккой уже десять раз прикидывали, и я теперь прикидывал в одиннадцатый раз: стена с окнами исключается, наружная стена без окон тоже не годится — слишком холодная и сырая. Поставить кровать ближе к печке — пацан будет задыхаться от жары, ближе к улице — простудится...

Я примерял, куда поставить кровать, и думал о том, какое имя дать сыну. Я чувствовал себя виноватым перед Николаем, своим отцом, и перед Николаем, Мулиным мужем, мне казалось, что я их в чем-то предаю, но страх за жизнь сына — с этого, наверно, и начинается родительская любовь — был во мне уже слишком силен, и я не хотел давать сыну имя Николай. А между тем никакие другие имена мне не нравились. Слава, Сережа, Геннадий, Виталий — все они не вызывали во мне никакого отклика, все они были для меня безличны. Имя Николай я любил, это имя было составной частью моего имени, моим прошлым, но в этом прошлом было слишком много тяжелого. Слишком много. И я решил, что предпочту любое безличное имя имени, которое я люблю. Я даже почувствовал какую-то гордость. Ради сына, ради моей любви к нему, которая только начинается, я брал этот грех на душу...

Вечером ко мне пришли Валеркина жена Клава и мать. Клава, как только вошла, сразу стала плакать, а Валеркина мать, такая же большая и грузная, как Валерка, цыкнула на нее.

— Тише ты, — сказала она невестке точно так же, как недавно говорил следователь понятому. — Ноги вытри, наследись тут людям.

Валеркина жена еще раз всхлипнула, вытерла глаза платком, и обе женщины испуганно и выжидающе уставились на меня.

— Витя, — сказала мне Валеркина мать, — мы пришли к тебе.

Кажется, я испугался еще больше, чем они. Я понял, что сейчас они будут требовать от меня чего-то такого, на что я никак не могу согласиться.

— Витя, — сказала Валеркина мать, — ты сам стал отцом, я тебя поздравляю, мы рады за тебя. Ты представь, а если бы твоему сыну так пришлось?

— Но почему вы пришли ко мне? Что я могу сделать? — сказал я.

— Витя, кому больше на суде поверят — тебе или этим хулиганам, этой шпане? Ты же в газете работаешь! И вообще это и так видно — то ты, а то они.

Валеркина мать торопилась. Она как будто догоняла меня, боялась не догнать. Но она не только боялась не догнать меня, она и не любила меня сейчас, даже ненавидела и боялась показать, как она ненавидит меня. И Валеркина жена меня ненавидела.

— Витя, — сказала она, — зачем ты следователю сказал про нож? Ведь не было же ножа!

— Ну как же не было!

— Ты же сам потом взял свои слова обратно.

— Не было, Витя, ножа. Не было, — сказала Валеркина мать. — Не было, ты ошибся.

Своей скороговоркой она пыталась успокоить и меня, и свою невестку, так некстати вызвавшую мое раздражение.

— Не было, Витя, ножа, ты ошибся.

Она как будто подсказывала Клаве тон, в котором надо со мной разговаривать. Но Клава не хотела прислушиваться к тому, что ей подсказывала свекровь:

— Так зачем же он, мама, сказал!

— Замолчи!

Клава отвернулась и опять достала платок. Мать несколько мгновений с ненавистью смотрела на всхлипывающую невестку и опять повернулась ко мне.

— Витя, или я не знаю свое дитя? Валерий никогда не ходил с ножом. Он никогда бы не позволил. Вот и Анна Стефановна тебе скажет. Они же с твоим деверем, с Ириным братом, были друзьями.

У меня и раньше не было никаких сомнений в том, что в руках у Валерки был нож, а теперь я и вовсе уверился, что ошибиться не мог.

— Все-таки,— сказал я,— не понимаю, что я могу для Валерия сделать. Я же сказал следователю, что своими глазами ножа не видел. На суде я повторю то же самое.

— Витя,— сказала мать,— ты не должен про Валерия плохо думать.— Она замолчала и смотрела на меня все с тем же страхом и ненавистью. И наконец высказала то, что ее мучило: — Следователь сказал, что ты будешь на суде и следствии Валеркиным врагом.

А я-то гадал, откуда Валеркина мать знает о моем разговоре со следователем! Я думал, что все это Муля, а оказывается — следователь!

— Из-за чего они хоть поспорили? — спросил я.

— Витя, я разве знаю. Разве вы говорите нам, матерям, о своих мужских делах? Разве ты говоришь своей матери? Выпили, поспорили сгоряча. Мужики же.

Что-то она знала, это было видно по ее глазам.

— Я же не допрашиваю. Не хотите — не говорите. Я просто хотел бы понять, из-за чего погиб человек.

— Витя, а если бы они Валерку убили? Попали бы кирпичом по голове? Четверо ведь кидали! Четыре кирпича по голове. А ну-ка!

И опять она торопилась, словно спешила передать мне свое убеждение, свою любовь и ненависть. Любовь к Валерке и ненависть к убитому, и к тем, оставшимся живыми, и ко всем, кто сейчас угрожает Валерке.

И на секунду я подумал: а может, и правда я несправедлив к Валерке? Может, это во мне говорит страх, оставшийся после пережитой опасности,— Валерка стрелял так, что мог попасть и в меня, и в дядю Васю, с которым мы прижались к забору. Может быть, тогда и вспыхнула у меня неприязнь к Валерке? Я считаю, что меня возмущает само безобразное, бестолковое убийство, а на самом деле это во мне говорит страх за собственную жизнь? Недаром же бесстрашная, ничего не боящаяся Муля сразу стала на Валеркину сторону.

— Я расскажу только то, что видел,— сказал я.— Только то, что видел.

— Вот и правильно,— сказала Валеркина мать, глядя на меня с неприязнью и подозрением. То есть она глядела даже как будто умильно, но я видел и неприязнь и подозрение — слишком все спешило в ней, все торопилось, и она никак не могла скрыть свои чувства.— Вот и правильно. Ты же видел, не было ножа. Валерка никогда бы себе не позволил.

— Я расскажу только то, что видел.

Они ушли — Клава всхлипывая, Валеркина мать повторяя:

— Вот, Витя, и спасибо. Ты же сам все видел. Их четверо было против него одного. Ты сам видел.

Они ушли, а я подумал, что мог бы оправдать Валеркин выстрел, если бы причина ссоры не была так ничтожно мелка. Вчера днем — об этом уже знала вся улица — Валерка и тот в кожаной куртке поспорили в пивной. Оба они работали шоферами-сменщиками на четырехтонном грузовике в автоколонне, располагавшейся на окраине нашего района,

оба калымили и выручку делили пополам. А на этот раз не поделили. И ведь мелочь какая-то была — десятка или двадцатка. Кожаный полез на Валерку, Валерка ударил его, и кожаный, собрав к вечеру дружков, пришел к Валерке выяснять отношения. И все. И ничего больше, что хоть как-то бы поднималось у уровень с трагическим результатом, как-то объясняло его. И я опять подумал о том, как умирал мой отец, прошедший две войны, учившийся между войнами в институте, как он не хотел умирать, как терпеливо сносил все операции, исследования, безропотно глотал лекарства, сколько раз к нему приезжала «скорая помощь», как много у него в доме бывало друзей, когда он уже не мог подниматься с постели, и как много на праздники он получал открыток-поздравлений. И я решил, что это готовая тема для выступления в газете. Смерть человека, и такая вот idiotская смерть.

Когда пришла с работы Муля, я у нее спросил:

— Не понимаю, Муля, чего вы так защищаете Валерку. Тут мать его была, меня умолачивала. Вы ж как-то мне говорили, что у Валерки куркульская семья.

— А, Витя,— сказала мне Муля,— никого я не защищаю. Я просто наш райотдел не люблю. Пусть сами разбираются. А я на них насмотрелась, пока уполномоченной работала.

Вот так мне сказала Муля.

— Ну, не все ж такие в милиции,— сказал я.

— Я о нашем райотделе говорю,— сказала Муля.— Я их там всех знаю. И Женька там бывал, и меня туда вызывали из-за Женьки. Я их знаю.

— Попадало вам там?

— Не в этом дело...

Так мы с Мулей и не договорились.

Через десять дней я на такси вез Ирку из роддома домой. Ирка похудела, кожа на лице и руках у нее стала такой, как будто Ирка все эти десять дней стирала в густом пару — сыростно-чистая и истончившаяся. Казалось, пар проник под кожу и непрочно, водянисто натянул ее. В глазах у Ирки появилось что-то тихое и будто слепое. На чем-то она внутри себя сосредоточилась, к чему-то прислушивалась, как в ту ночь, когда меня разбудила Муля: «У Ирки началось». Я хотел взять у нее из рук сверток, она не дала.

— Сломаешь,— сказала она.— Ты еще не умеешь.— И улыбнулась. Улыбка у нее получилась рассеянная.

— Давай я подержу,— сказала Муля. Мы с Мулей ожидали в приемнике, пока Ирка переоденется.

Ирка сняла халат, матерчатые больничные тапочки, взяла одежду, которую ей приготовила Муля. Двигалась она медленно, говорила тихо. И когда она переоделась, застегнула пальто, повязалась теплым платком, было видно, что она из больницы, что она недавно тяжело болела. Муля отдала ей сверток, и мы вышли на улицу. Муля сразу же повеселела, заторопилась к такси: «Давайте, давайте, шофер же ждет»,— шумно стала рассказывать о себе:

— А я когда Ирку рожала — никакой «скорой помощи» мне не вызывали. Я сама добежала до роддома. Николай был на работе, а меня прихватило. Я и побежала. Прибежала в роддом, а мне говорят: «Чего ж вы «скорую помощь» не вызвали?» А я только рукой машу: «Скорей-скорей, а то рассыплюсь».— И Муля засмеялась.

Ирка слабо, отраженно улыбнулась. Неизвестно было даже, услышала ли она.

Когда мы сели в машину, я сказал:

— Ирка, а Кутю-Ошметку я не занес. И кошку тоже.

— Да? — сказала Ирка, как будто бы это уже не имело никакого значения.

В такси Ирка отвернула краешек конверта, я со страхом заглянул. Муля закричала:

— Витька! Он же вылитый ты! Весь в отца. И лобик и брови!

Ирка закрыла конверт, и я с облегчением откинулся на спинку сиденья. «Кажется,— со страхом подумал я,— это что-то не то».

— Печку я натопила,— сказала Муля.— Жара! Полы вымыла еще утром -- сырости уже нет, все просохло. Ванночку приготовила, воды согрела. Все твоё белье перестирала. Войлоком все двери обила, никаких сквозняков. Бабку заставила искупаться, занавески поменяла, чисто в доме, тепло.

Ирка кивнула. Она была занята своим конвертом. Иногда рассеянно улыбалась мне, рассеянно слушала Мулю.

— Печка горит? — спросила Ирка, когда Муля замолчала.

— Да я ж тебе только что сказала! — изумилась Муля.— Ничего не слышит! — восхитилась она.— Ничего не слышит!

— Хорошо,— сказал я,— что хату закончили перестраивать. Как раз вовремя.

Ирка кивнула.

— В пристройке еще холодно,— сказала Муля.— Печка там не горит. А то бы мы с бабушкой переселились туда, а вам бы две комнаты было.

— Ты у редактора квартиру просил? — спросила Ирка.

— Пока не обещает.

Ирка рассеянно кивнула.

Дома нас встречали баба Маня и глухая бабушка.

— Принимайте, Маня, правнука,— сказал я Мане.

И Маня сказала:

— Дай бог ему счастья.

Глава шестнадцатая

Прошло несколько лет.

Утром в воскресенье Ирка, наряжая Юрку в праздничную матроску, в желтые, негнувшиеся от новизны сандалии, сказала мне:

— Ты что забыл — мы к Муле на саман.

Я вздохнул:

— Женя по-прежнему пьет, а Муля по-прежнему разбивается в доску?

— Иначе она не может.

— Да уж!

Ехать мне не хотелось. С тех пор как мы перебрались на новую квартиру, я редко бывал у Мули. На новой квартире — мы получили комнату в центре — стало легче жить. И не только потому, что отпала необходимость запастись углем и дровами и было ближе на работу, — спало какое-то избыточное давление. Вернувшись из армии, Женя умиротворенно и основательно готовился к новой жизни, возился во дворе, обрезал засохшие ветки на деревьях, ставил забор, чинил сарай. Он и запомнился мне в эти дни покуривающим, обсыпанным стружками, которые он не стращивал. Муля купила Жене серый костюм и белую кепку. В этой белой модной кепке Женя и пошел в первый раз на работу. В гараже, куда Женя устроился, ему дали старый самосвал с гремющим, расшатанным кузовом, с гремющей, расшатанной кабиной. Орудовцы штрафовали Женю на каждом углу, белая кепка промаслилась и закоптилась.

С этой белой фуражки, кажется, все и началось. «Я тебе говорила, — сказала Муля, когда ей в первый раз пришлось стирать Женькину кепку, — все будет в мазуте. Кто на работу в белой ходит?» Дома Женю начали раздражать теснота, шум, раскладушка, на которой ему приходилось спать. Однажды ночью она сломалась под ним. Тогда Женя решил строить свой дом. Привез глины, немного кирпичей, досок, сбросил их возле дома, и там они пролежали несколько лет, потому что Женя ушел из гаража и возить стало нечего и не на чем. Около года Женя работал токарем на номерном заводе, а потом перешел в добровольное пожарное общество печником. Там уже работали его старые друзья: Валька Длинный, Толька Гудков, Валерка, уже вернувшийся из тюрьмы — он получил сравнительно небольшой срок «за превышение необходимой обороны». В ДПО можно было больше заработать. Женя женился. Год назад у него появился ребенок. И теперь Женя приглашал родственников и знакомых на саман; наконец-то собрался строить себе дом.

— Поедем, поедем, — сказала Ирка. — Муля обидится. Два года Юрку нянчила, теперь с Женькиной дочкой возится, а мы ей не можем помочь.

На улице Юрка пристал: «Купи мороженое» — и Ирка не устояла, купила. В трамвае Юрка залился мороженым, испачкал костюмчик, испачкал Ирку — она держала ладонь горсткой у его подбородка, а потом вытирала матроску носовым платком. Однако настроение у Ирки не испортилось. Последние два года Юрка меньше болел, не так часто кашлял, и мороженое ему иногда можно было покупать.

От путепровода вдоль трамвайной линии построили десятка полтора пятиэтажных домов. Половина из них уже была заселена, кое-где работали новые магазины. На площади, где во время войны и долго после войны собиралась толкучка, строили широкоэкранный кинотеатр с мощным железобетонным козырьком над входом. Асфальт, который раньше кончался у толкучки, теперь протянули далеко за город, к микрорайону, который в городской и областной газете называли «наши Черемушки». Над асфальтом стоял плотный городской шум: шли самосвалы, автобусы, грузовики, у которых вместо кузова — арматурная кассета для панелей сборных домов. Однако когда на своей осгановке мы вышли из трамвая и прошли от асфальта шагов пятьдесят, то попали в деревенскую тишину. Здесь и пахло деревней: садами, земляной пылью, солнцем. И звуки здесь были деревенскими, редкими, не сливающимися в городской гул. Ирка поторапливала Юрку — было уже девять часов утра, а приглашали нас на шесть, поработать по холодку, пока солнце не поднимется. Муля и Женька, наверно, не ложились спать. Ночью месили глину с соломой, делали саманный замес. Днем его здесь никак не сделать — одна водонапорная колонка на весь квартал, да и вода днем плохо идет: летом слабый напор.

Работающих мы увидели, когда повернули за угол. Их было много — мужиков и баб.

Рядом с ними остановился очкастый парень в майке, младший из братьев Сирот, Жора.

— Бог на помощь, — насмешливо крикнул он саманщикам. — Работайте, работайте, а мы на пляж.

— Иди к нам, — ответили ему.

— Так раньше не приглашали! — сказал Сирота.

— Сюда не приглашают, — ответили ему, — сюда сами идут!

— Так у вас, наверно, и водки нет, — не сдавался Жора.

— Пей, хоть залейся!

— А чего ж тогда вот эти ждут? — показал Жора на мужиков в праздничных рубахах, которые, покуривая, стояли рядом с замесом.

- Это советчики!
- Руководители!
- У них язва желудка!

Сирота подмигнул Ирке — молодец я? — и потянул майку из-за спины.

— Уговорили!

Мы прошли во двор к бабам, которые возились в сарайчике, превращенном в летнюю кухню, — стучали ножами по столу, резали лук, крошили капусту, готовили угощение добрым людям, пришедшим делать саман для дома, в котором будут жить Женя и его жена.

Ноги у женщин были по самые колени в глине, подола платьев в глине, волосы перевязаны косынками.

Бабы успели загореть, лица у них лоснились, опаленные солнцем и печным жаром...

В своих измазанных платьях с подоткнутыми подолами, крепконогие, туго перевязанные косынками, они были именно бабами. Ирка так и поздоровалась с ними:

— Здравствуйте, бабоньки.

Ей ответили.

Муля, ничуть не подавленная обилием забот, свалившихся ей на голову, крикнула ей на бегу:

— А мы на вас уже не надеялись.

Вернулась и стала в сотый раз рассказывать, где в саду будет стоять Женин дом, куда окнами, сколько деревьев для него придется вырубить.

— Я наконец от всех вас избавлюсь, — сказала она Ирке. — Сама живу. Увидишь, какой у меня в доме будет порядок. А то живешь, как в кузне. Грязь, пеленки нестираные. Я ничего плохого про свою невестку не скажу, а неаккуратная.

— Разжигашь, Муля, потихоньку пожарчик, — засмеялась Ирка. — Ни с кем не хочешь Женю делить?

Подошла, будто двумя рубанками строгая пол в кухне — шорг-шорг, — бессмертная Мулина мать, всмотрелась в Ирку, словно из освещенной комнаты в темную:

— Это кто?

Муля отмахнулась от нее, и бабка, недовольно ворча: «Ничего не говорят!» — пошла из кухни. Во дворе она подобрала хворостину и замахнулась на мальчишек, осаждавших глиняную гору:

— Кши, окаянные! Вот искушение.

Бабка кричала и замахивалась так, чтобы все видели ее старание.

— Десять лет у нее работы не было, — сказала Муля, — а тут появилась.

Муля вдруг сорвалась, подбежала к бабке:

— Мама, не гоняйте пацанов! А то я вас к Мите отправлю!

Ирка переглянулась с женщинами:

— Все такая же?

Ей понимающе ответили:

— С утра пораньше всем разгон дает!

— Уж и как саман надо делать, мужиков учила. Цыган лошадей пригнал, лошадьми глину месили, так и его учила. Сама не спит и других на работе загоняет.

Баба Маня сказала:

— Муля не может, чтобы кого-нибудь не долбануть до крови. Женька сегодня ночью умаялся, заснул, а она бежит по двору и то, мол, не сделано и это, а он спит. «Да чего вам? Они строятся, пусть делают, как хотят». — «Они мне мешают». Она уже не дожидается, когда останется

одна. Это у нее мысль такая: «Когда я вас, чертей, поразгоняю! И то у меня будет так и это...» Энергии в ней молодой много. Я это понимаю, в тридцать четыре года вдова.

Мне дали рабочие залатанные Женькины брюки, Ирка отыскала старое, пахнувшее старым, давно не стиранным платьем, она переделалась, разулась, подоткнула подол и босыми ногами ступила на горячую землю. Земля была твердой, колючей, обильно усыпанной комочками просохшей, затвердевшей глины, острой крошкой жужелицы и кирпича, и Ирка пошла, неуверенно покачиваясь, словно пританцовывая. Ее встретили подбадривающими выкриками:

— Давай-давай!

— Смелей ходи!

Молодые парни, Женькины друзья, набрасывавшие вилами саман на носилки, разделались до трусов. Мужики постарше ограничились тем, что сняли рубашки и выше колен подкатали брюки — приличия на улице блюлись по-деревенски.

Многие мужики работали всю ночь — рассыпали глину в толщину штыка, перелопачивали ее, забрасывали соломой, поливали из шланга, протянутого от колонки, смотрели, как цыган, весь синий от наколок, хвастаясь, гонял по глине двух ломовых лошадей. У лошадей — гнедой кобылы и ее двухлетнего сына — развязались длинные хвосты, в хвосты набилась глина, и глиняные колтуны тяжело свисали к самой земле. Лошади уже сделали свою работу, их привязали к забору в тени акации. Они стояли, устало подрагивая кожей. Морды у них тоже были усталыми. Над глазом коника сохла огромная глиняная клякса, глиняными у него были редкие короткие ресницы, волоски на нижней губе.

— Загонял ты коника, — сказала Ирка цыгану, — не жалко?

— Его? — крикнул цыган (он и потом все время кричал, а не говорил). — Он и не работал! Она работала. Мать! Она за него всю ночь работала.

Цыган был пьян. Он был законно пьян. Он сделал свое дело, и теперь его должны были поить водкой. Он всем показывал, что пьян. Сидел на корточках в тени акации рядом со своими лошадьми, забрызганный глиной еще больше, чем его лошади, смуглокожий, худющий, с толстыми мослами коленок, с толстыми мослами локтей и запястий и кричал на работающих, советовал им что-то, укорял их в том, что они все делают не так.

— А ты носилки не бери, — крикнул он Ирке, — живот надорвешь. Ты бери станок набивать. Станок набивать — бабье дело.

Мужики вообще-то неодобрительно посматривали на цыгана. Им не нравилось его хвастовство, то, что выпил он еще перед работой вчера вечером и потом, во время работы, тоже пил, куражился над лошадьми и притомил их больше, чем нужно. Но им и приятно было смотреть на пьяного цыгана. Цыган сделал свою работу, и то, что теперь он пьян, как раз об этом и свидетельствовало.

Ирка позвала Нинку, и они вдвоем взялись за носилки. Носилки были грубыми, тяжелыми, с толстыми грубыми рукоятками. Мужики набросали саману «с верхом», и Ирка, подняв носилки, «села на ноги». Она сделала несколько торопливых шагов — медленные и не получились бы, — носилки, как маятник, пошли из стороны в сторону, раскачали их с Нинкой. Но Ирка справилась и с носилками, и с болью в ладонях, и с болью в босых ногах, которым камешки и жужелица казались теперь особенно острыми.

Они благополучно донесли саман, вывалили его на землю и под одобрительные шуточки мужиков пошли назад.

Во второй раз им под носилки заботливо подложили кирпичи, чтобы сподручнее было братья за ручки («Малая механизация!» — сострил Жора Сирота).

Они отнесли с десяток носилок, и Ирка почувствовала, что втянулась. Она это почувствовала и потому, что смело и даже с удовольствием ступала в самый замес, в мокрую, скользкую глину, и потому, что боль в ладонях не то чтобы притупилась, а сделалась привычной, и потому, что солнце, под палящие лучи которого полчаса назад, казалось, и ступить немисливо, — теперь жгло терпимо и даже приятно, мгновенно высушивало пот, стоило лишь на минуту приостановиться.

Но самое главное (она мне потом об этом говорила), Ирка вдруг почувствовала прилив бабьей умиленности перед мужичьей силой, перед мужичьим умением все сделать: и саман замесить, и хату поставить, и лошадыми управлять, и где-то там, у себя на заводе, работать. Это была уличная, окраинная бабья умиленность, которую Ирка всегда вытравила в себе, презирала в Нинке, в своих уличных подругах и которой было много даже у непримиримой и воинственной Мули.

С досаафовского аэродрома каждые десять минут поднимались вертолеты. Оглушая, треща пропеллерами, они проходили низко над головами саманщиков.

— Летаега,— сказал Жора Сирота,— вы саман попробуйте! — И подмигнул Ирке.

Я прислушивался к разговору мужиков, грузивших саман на носилки. Это был обыкновенный обмен шуточками, но все же так шутить могли только вот эти мужики, которые и у себя дома, и на производстве все делали своими руками.

— Дядя Федя,— приставал Жора Сирота, подхватывая вилами соломенную притруску с замеса,— какое это сено?

У дяди Феда потревоженное оспой лицо, малоподвижные косящие глаза. Чтобы взглянуть на собеседника, он поворачивается к нему чуть боком.

— А кто его знает!

Дядя Федя явно осторожничает, не хочет ввязываться в разговор, в котором молодой парень собирается побить его своими знаниями.

— Как «кто знает»? — картинно поражается Жора.

— Пшеница теперь переродилась,— неохотно объясняет дядя Федя.— Раньше я легко разбирался. Так раньше можно было разобраться. Была белоколосная, черноколосная. Жито было, пшеница. Гарновка. А теперь? Теперь каждый — агроном. И каждый мудрует. Хотят хлеб переродить. Чтобы и скотину отходами кормить и чтоб человек ел.

— Так всегда ж так было,— смеется Жора.

— Так, да не так,— угрюмо отвечает дядя Федя.

Тяжелый человек дядя Федя, неприветливый. Иной раз с ним поздороваяешься, а он не ответит. Не ответит, и все тут. Хату давно еще, сразу после войны, себе строил, не звал соседей на саман. Придет с работы — жил он в землянке, — выкопает яму для замеса, наносит ведрами воды и сделает десятка два глиняных кирпичей. Роста он небольшого, но жилистый, мускулистый. Руки у него утолщаются книзу, к предплечьям, и заканчиваются настоящими лапами-совками — черными, посеченными морщинами и шрамами, не боящимися ни заноз, ни ударов. Все мужики набирают саман вилами — и вилами его брать тяжело! — а дядя Федя широкой лопатой, грабаркой. Когда на лопату налипаает глина, он счищает ее ребром ладони.

Ни Мулю, ни Женьку дядя Федя не любит. Мулю за ее непримиримый, неуживчивый нрав, Женьку считает пустым человеком. И все-таки работает у них на самане почти всю ночь и все утро.

Подошел Женька, он подсчитывал готовые кирпичи.

— Восемьсот пятьдесят,— сообщил он и сказал с облегчением: — Половину уже, кажется, сделали.

— Женя,— показала Ирка на вертолет, который медленно — грохот его винта мешал разговаривать — проходил над головой,— не завидно?

— Не-а,— смущенно сказал Женя.

— А ведь ты на самолете летал?

— Летал, Ира.

— И с парашютом прыгал?

— Прыгал.

— А теперь себе дом строишь?

— Хату.

Лицо у Жени усталое. Влез он в это строительство, а работа такая тяжелая. Вот он и отвлекается: то кирпичи пересчитает, то поднесет саманщикам воды, папиросами угостит. Вроде так и должно быть — хозяин! Но все видят, что он просто устал.

— Половину уже сделали,— говорит Жора Сирота.— Тебе полторы тысячи кирпичей нужно. Дядя Федя, на твой дом сколько саману пошло?

— С пристройкой — полторы тысячи.

— Вот,— говорит Жора.— И тебе пристройка нужна.— И спрашивает Женьку: — Знаешь, какой замес должен быть, чтобы саман получился качественным? Стал ногой на глину — и провалился до самой земли. А у тебя замес густоват. Воды маловато.

— А кто его контролировал? — спрашивает дядя Федя.— Лошадьми месили. Понадеялись на лошадей.

— Лошадь, конечно, умней человека,— серьезно соглашается Жора.

Женя смущенно посмеивается, но не возражает. С ним разговаривают — значит, можно еще постоять, покурить. Его окликает всевидящая Муля, но он раздраженно машет на нее рукой.

— Знаешь,— говорит он Ирке,— Томилин в Италии побывал, в Африке. Механиком плавает.

— Что-нибудь интересное рассказывает?

Женька засмеялся:

— Да как он рассказывает. Пять минут послушаешь — и в сон. Вначале еще слушать можно, потом напрягаешься, а через пять минут — напрягайся не напрягайся — только бу-бу да бу-бу.

Женя ушел, а Ирка мне сказала, что вот Женя и пьет часто, и хамит, и многие люди его только таким и знают, а она не может забыть, каким он в детстве был слабым и мамсиком. Как однажды они пошли на толкучку продавать отцовы туфли — Муля уехала менять одежду на продукты, а им эти туфли оставила на крайний случай,— продали, а на вырученные деньги купили у перекупщика билеты на «Багдадского вора» — так Женька канючил, хотел пойти в кино. И про Нинку Ирка вдруг вспомнила, как Нинке в войну сшили из козьей шкуры пальто, жесткие рукава в этом пальто не сгибались, руки у Нинки торчали в стороны, она ходила, как распятая, а Маня все жалела ее и отдавала ей свою еду.

— И знаешь, что я сейчас подумала? — сказала Ирка.— Глупо и высокомерно, что мы Юрку не назвали именем деда. Глупо и высокомерно.

Часам к четырем по обеим сторонам улицы вытянулись длинные ряды сыро лоснящихся глиняных кирпичей.

— Вот тебе и стены готовы,— сказал Жора Сирота Женьке.

Женщины, готовившие угощение, уже успели умыться. Бабы, набивавшие станки саманом, пошли мыться во двор, куда Муля и Женька на-

носили воды. А мужики отправились отмываться прямо под колонку. Туда же цыган повел своих лошадей. Из короткого шланга, натянутого на кран, вода била в лошадиные морды, груди. Вода стекала по лошадиным ногам, по крупу, причесывая, приглаживая короткую блестящую шерсть. В мокрых трусах и майках тут же крутились пацаны, их никто не прогонял.

Глава семнадцатая

За столы сели часам к шести. Столы вытащили из Мулиных и Маниных комнат, раздвинули их. К обеденным столам придвинули кухонные, накрыли их клеенками, а где клеенок не хватило — газетами. Стулья и табуретки принесли от соседей. На столы Муля поставила большие миски с нарезанными помидорами. Помидоры были обильно посыпаны перцем, перемешаны с луком. Помидоров и луку вообще было много. На столе стояли тарелки с целыми помидорами. Яичницу Муля тоже делала с помидорами. Лук и помидоры входили в блюдо из баклажанов — сотэ и в только что приготовленную, еще горячую кабачковую икру.

Из погреба выносили миски со свиным холодным, водочные бутылки с разбавленным спиртом, самогонкой, подкрашенной бражкой, четверти с пивом. Четвертями этими Муля гордилась — в такую жару за пивом в городе очереди. Муля бегала от кухни к столам, извинялась:

— Жара такая, погреб прогрелся, на землю ставила бутылки, а они все равно не холодные, — жаловалась Мане: — Сделала на новой Женькиной сковородке сырники, а они не держатся, рассыпаются.

Маня сказала:

— На новой сковородке всегда так. Надо, чтобы сковородка обжарилась.

Рассаживались компаниями. С Женькой сели Толька Гудков, Валька Длинный, Валерка, Жора Сирота. Женька крикнул:

— Муля, нам твои сырники ни к чему. Нам этого самого побольше.

— Теть Аня, — сказал Гудков, — знаете, как обо мне на работе говорят? Гудков все может, только дайте ему сначала выпить. Пьяный Гудков трех трезвых Гудковых стоит.

— Да уж по этому делу ты профессор, — сказала Муля.

Баба Маня в чистом сером платье сидела за крайним, ближним к хате столом. Рядом с ней в новом платье и красных новых чувяках сидела глухая бабка, Мулина мать. И платье и чувяки были подарком ее старшего сына, Мулиного брата. Мулин брат много лет живет в Ленинграде, занимает какой-то важный пост, имеет хорошую квартиру. И к важному посту, и к хорошей квартире, и ко всему, что с этим связано, у него давняя привычка; о том, как живет Муля, как живет его мать, глухая бабка, он забыл, и хотя и он, и его жена, с которой он едет на юг, стараются показать, что они ничего не забыли, что здесь они свои, — все видят, что они забыли, что здесь им и слишком шумно, и слишком неопрятно и что они даже немного этим хвастаются. Вежливо скрывают, что они здесь не свои, но так, чтобы все все-таки видели, что они уже не свои, что в своей жизни они добились большего. Мулин брат и рюмку с водкой поднимает первым и произносит первый тост. Тост он произносит молодцом, как будто всю жизнь участвовал в строительстве таких вот саманных домов.

— Чтоб стены у тебя век стояли, — сказал он Жене. — Чтобы плохо паху в доме не заводилось.

— Откуда быть дурному запаху? — дурашливо подхватил Жора Си-

рота.— Саман делали по всем правилам. Замес был густоват, но мы его сейчас водочкой польем — тысячу лет никакого запаха.

А Женя ответил вежливостью на вежливость, поинтересовался, как там двоюродный брат.

— Дядя Петя,— спросил он,— как там ваш Генка?

И дядя Петя ответил:

— Институт закончил. Женился в этом году. Мы ему не советовали, но он женился. Работает на хорошем заводе, специальность хорошая. Квартиру им в будущем году дадут.

— Инженер, значит?

— Да, молодой инженер.

— Привет ему передавайте.

— Спасибо,— сказала дяди Петина жена.

И это «спасибо», и «молодой инженер», и «мы не советовали» — все эти сдержанные слова, которые и произносить надо сдержанным тоном, были как бы маленькой нотацией для Жени. И все это почувствовали.

— Вот,— сказала Ирка,— бывают же у людей дети! А Муля страстно, потаенно любит своего Женю.

Муля устала на Ирку:

— Она всегда думала, что я Женьку больше люблю. А они оба недостойны любви.— И тут же обернулась к брату: — Петя, на кого Женька похож? Скажи ты — вылитый Николай! Только глаза мои вставлены. И рука! Как делает своей лапой вот так — Николай!

Муля почти не пила, но, как всегда, когда рядом пили другие, она тоже словно хмелела. В движениях ее появилось что-то лихорадочное, говорила она быстро.

Ирка спросила у Жени:

— Женя, а у тебя уже есть план твоего дворца? Стеклянную веранду, где вы по утрам будете кофе пить, ты себе запланировал?

— Да! — сказал Женя.— Будет стеклянная веранда.

— А что говорит Муля?

— Муля против. Она хочет, чтобы был один глухой простенок. Она собирается туда поставить свой кухонный стол. «Я не устану тебе повторять об этом каждый день»,— говорит она мне. И я ей верю.

— Над чем вы смеетесь? — говорит Муля. И обращается к брату.— Покойный Василь Васильевич,— сказала Муля брату,— говорил о Женьке: «Этот будет клоун или палач». А они оба и клоуны и палачи. Ирка еще похлеще. В университете училась. Василь Васильевич говорил: «Гениальный ребенок». Я ее пальцем трону, а он разойдется на целый день: «Вам не детей, а чертей воспитывать». Правда, что воспитала чертей. Мне теперь внуки дороже, чем дети. И Юрка, и Женькина дочка. Только сейчас у меня настоящие материнские чувства появились...

— Прорезались,— сказала Ирка.— Вот правда, в первый раз материнские чувства прорезались.

— Ирка! — сказал я.

Ирка вздохнула и повернулась к Жоре Сироте. Жора по-мальчишески захмелел. Ирке он сказал:

— Беседку сделаю во дворе. Яблони посажу.

— Лучше сливы или вишни,— сказала Ирка.— Ночью в саду ни слив, ни вишен не видно, а яблоки будут обносить.

— Н-нет,— сказал Жора.— Не будут. Сознательность теперь увеличилась. Ч-честно. Не лазают по садам. И поножовщины меньше. Больше сознательности стало.

Дядя Петя хмелел медленнее других — он почти не работал, не устал: из вежливости ему, гостю, не дали работать, — да и пил он осторожно, но все же он захмелел. По щекам его пошли пятна, глаза — очень похожие на Мулины, но только без Мулиной сумасшедшинки и непримиримости — заблестели. Он охотно смеялся, расстегнул две пуговицы на рубашке, вытирал шею носовым платком. Ему уже нравились и эта грубоватая выпивка после самана, и грубоватая, пахнущая клеенкой закуска, и пиво в четвертях, закутанных в мокрые тряпки, и запах земли во дворе, и запах керосина от керогаза, горевшего в летней кухне.

Ирка сказала:

— Пока не началась беспорядочная пьянка, предлагаю выпить за бабу Маню. Она самая старшая среди нас. Она пережила сто войн и сто правительств. Маня, вы же еще Александра Освободителя застали?

Маня улыбнулась:

— Застала.

— А Николая видели?

— Николая видела. Паршивенький. Мать-государыню видела. И мальчишек его. А девчонок не видела, не стану врать.

Но Александр Освободитель, и Александр III, и Николай вместе с матерью-государыней и детьми заинтересовали лишь на минуту. Кто-то спросил Маню, как выглядел Николай, но ответа слушать не стал.

Да и не в Александрях и Николае было дело. Важно было, что Маня их пережила. Это было понятно всем. И дядя Петя это почувствовал. И я это почувствовал, я осматривал двор, дом, припоминал его таким, каким он был тогда, и все больше и больше чувствовал себя здесь своим. Мне нравилось это чувство — быть здесь, в этой хате, на этой улице, своим.

Муля рассказывала дяде Пете что-то о знакомых, родственниках, называла их по именам или прозвищам, как будто дяде Пете достаточно было имени или прозвища, чтобы вспомнить какого-нибудь Ваську Рыжего или Верку Курносую. Он честно старался вспомнить, и если вспоминал, то он перебивал Мулю, припоминая о Рыжем или Курносой подробности, которых Муля не знала.

Рядом с дядей Петей сидела его мать, глухая бабка. Она гордилась своим сыном, гордилась платьем, которое он ей привез, гордилась красными чувяками. Рядом с ним она старалась казаться хозяйкой за этим столом, и дядя Петя жалел ее.

— А чего ж у тебя гости не пьют? — спрашивала глухая бабка Мулю. — А соль у тебя на столе есть?

Муля досадливо всплескивала руками, призывая всех в свидетели того, что она выносит от своей матери. Кричала:

— Вы уж лучше ешьте и пейте, мама! Вы же любите водочку. Гости не ваша забота.

— Я сыта, сыта, — говорила бабка. — Я мало ем, — объяснила она сыну заискивающе. — Крошку возьму — и сыта.

Дядя Петя старался не слушать того, что говорила мать. И то, что она говорила, и ее заискивающий тон коробили его.

— Вот, — всплескивала руками Муля, — за столом она ничего не ест. Она показывает, что она мне не в тягость. А потом пойдет по шкафчикам шарить, будто у родной дочери ворует. Я ей кричу: «Мама, да разве я вам что-нибудь запрещаю?!»

Бабка тревожно приглядывалась к губам дочери. Когда-то глухая бабка по очереди жила у всех своих детей. Год в Мули, год у однорукого Мити, год у Пети, а потом эта очередь поломалась, и бабка стала жить у

Мули постоянно. И Петя, и Митя, и Муля, и сама бабка давно к этому привыкли, и вот теперь Муля боялась, чтобы Петя не увидел, что матери тут живет не очень хорошо. Чтобы не получилось так, будто ему намекают — пора наконец забрать мать к себе в Ленинград.

Но Муля волновалась напрасно. Дядя Петя ни о чем таком не думал. Он сказал:

— Пусть ворует бабка, если ей так удобнее. Воруй, бабка! Не дай бог кому прожить такую жизнь, какую она прожила! Пусть хоть теперь живет как хочет. Что ж ее теперь перевоспитывать? Перевоспитывать ее может прийти в голову только такой сумасшедшей, как моя сестра. Она любит перевоспитывать. А мать с двенадцати лет глухая. Она и не знает, была ли на свете революция. Дал ей когда-то по уху один воспитатель — сиротой она у богатого родственника жила — она и оглохла. А потом другой родственник, наш родитель, взял в жены. Тоже крепкий мужик. Потому и взял, что сирота и глухая. Мол, всю жизнь будет работать и благодарить за то, что благодетельствовал. Вот она и работала. Семейных ему родила.

— Семерых родила, да я шестерых воспитывала, — сказала Муля. — С вами со всеми нянчилась, а теперь на старости лет с ней нянчусь. Поэтому, так я ее жалеть должна. А она меня учиться не пускала. Нянька ей была нужна. А я не хуже тебя училась. Не хуже тебя инженером бы стала.

Дядя Петя немного смутился.

— Да, — сказал он, — училась ты хорошо.

Муля сказала:

— Учебников и тетрадок у меня никогда не было, не покупали мне, а я все так запоминала.

— А почему не покупали? — спросил я.

— Жадные, Витя, были. Считали, что ученье мне не нужно. И дом отец строил тогда, отрывал меня на строительство.

«Воруй, бабка!» — повторял я про себя удивительные, чем-то задевшие меня слова. Что-то в этих словах меня потрясло.

А Муля вдруг всполошилась — забыла дать поздравительную телеграмму в Борисоглебск: племянник, сын сестры, сегодня именинник.

— Закрутилась с этим саманом.

Дядя Петя покраснел:

— Разве сегодня день рождения Аркадия?

— Сегодня.

— А мне казалось — в следующем месяце.

Муля побежала в хату и вернулась с маленьким потертым ученическим портфелем в руках.

— У меня здесь все талмуды. — Она выложила на стол какие-то пожелтевшие бумажки, справки, фотографии. Показала дяде Пете Женкин аэроклубовский диплом: — Одни «пятерки», — с гордостью сказала она. — По полетам «пятерка», по теории «пятерка».

Ирка крикнула Жене:

— Женя, не делай вид, что ты не слышишь. Держу пари, там твои локоны и молочные зубы, завернутые в газету.

— У меня никогда не было молочных зубов, — отозвался Женя.

— Женя, хоть покрасней.

— Я краснею только тогда, когда меня обливают красной краской. Суриком.

Муля достала из портфеля ученическую тетрадь в клеточку, раскрыла ее на первой странице. Там был длинный список родственников и зна-

комых, их адреса и дни рождения. Аркадий отыскался на второй странице тетради.

— Сегодня,— сказала Муля.— Сегодня день его рождения. Я точно помню, что сегодня. Я в июле все дни помню хорошо. В июле Николая убило.

— Муля,— сказала Ирка,— ты хотя бы на сегодня оставила свои ужасные истории.

Муля странно посмотрела на Ирку.

— Мне тогда вещий сон приснился,— сказала она.— Помнишь, Петя, в саду у нас шель была выкопана? Когда начались бомбежки, Николай сам ее вырыл. Вон там, где сейчас жердела. Приснилась мне бомбежка. Огонь, бомбы падают. И будто Николай бежит и хочет через шель перепрыгнуть. Прыгнул, а в это время его взрыв подбросил. Высоко подбросил. Смотрю, а Николай загорелся в воздухе. А на мне синяя жакетка была. Я бегу к нему, на ходу жакетку снимаю — жалко же его, муж! — бегу на него, готовлюсь накрыть жакеткой. А он, как снаряд, летит на меня. Я прыгаю на него, жакеткой охватываю, прижимаю к себе, а раскрыла жакетку — ничего! — И Муля то ли разрыдалась, то ли засмеялась. Секунду нельзя было понять, плачет она или смеется. Потом она закрыла глаза руками и стало понятно, что она плачет. Но она тут же отняла руки, лицо ее расправилось, стало обычным.— Скажи ты, меня с кровати сбросило! Мама, помните? — обратилась она за подтверждением к бабе Мане.

И баба Маня важно кивнула, как будто сказала: «Врать не буду, сбросило тебя тогда с кровати».

— Мне вчера передали,— сказала Муля,— что приехала женщина, которая в том поезде проводницей была. Она была с теми, кто вытаскивал Николая, видела, как его похоронили. Назначила мне свидание, а я не хочу идти. Боюсь. Я знаю, он сгорел в паровозе. Они его бросили, и он сгорел. Я к этой женщине приходила еще в сорок четвертом. Постучалась к ней. Она открыла дверь, я говорю, я такая-то. А она — раз, и упала. Упала! Соседи сбежались, воды принесли, а мне говорят: «Зайдите потом, сейчас ей нельзя разговаривать. Она контуженная». Я и ушла. Через несколько дней опять пришла, а она уже уехала. С тех пор я ее не видела. А он сгорел, я это чувствую. Сколько мне тогда писем пришло и во всех по-разному описывается, как он умер. Пишут, не плачьте, мы отомстим. Мстят, аж до сегодня... Они мне просто боятся сказать, как он погиб.

— Он не сгорел,— сказал дядя Петя, опустив глаза в тарелку.— Мне бы врать не стали.

Муля посмотрела на него:

— Но он же оставался в паровозе?

— Нет, он вышел.

— Его вынесли?

— Нет, сам выбрался.

— Ему руку и ногу оторвало, да?

Дядя Петя долго молчал, не поднимал глаз от тарелки, потом кивнул:

— Да. Не сразу. В паровозе руку, а когда выбрался — ногу.

За столами притихли, следили за Мулей. Муля вздохнула:

— Мне тоже так рассказывали.

Она не поверила. Я осторожно посмотрел на Ирку и Женю — они поверили.

— Нет,— сказала Муля,— я к ней не пойду. Боюсь.— И она заговорила о страшных снах, которые ей снились перед войной и которые, как она потом поняла, предвещали войну.

Глава восемнадцатая

Днем на строительстве дома Жене помогает Толька Гудков. У Гудкова отпуск, а Женья после обеда вырывается с работы домой. Гудков подрядился поставить окна и накрыть хату крышей. Толька — ровесник Жени, но сейчас он главный на стройке и потому кажется старше. Он небрит, шея потная. Ругает своего предшественника, плотника, которому Женья заказывал коробки для окон. Разве так коробки делают? Доски прекрасные, а он сбил лудки гвоздями. Надо было делать на шипах! На прямых шипах, поясняет он Жене. Правда, усмехается Толька, тогда перекосенную коробку в стене нельзя было бы выправить. Нужна высокая квалификация, чтобы сделать лудки на шипах. А гвоздями Женька мог бы и сам сбить. Каждый мог бы сбить. И взял он, наверно, за каждую коробку по четыре рубля.

— Сколько ты ему заплатил? — спрашивает он Женьку.

— Четырнадцать рублей.

— За сколько коробок?

Женька смущен и потому отмахивается:

— А я не считал.

— Не считал, — потрясается Толька. — Строитель!

— За девять, что ли...

Толька начинает считать сам. Четыре окна на фасад, два во двор, двери, итальянка на веранду...

— Да, девять. — Он на минуту обескуражен, но тут же улыбается. — Дешево он с тебя взял. Но и сделал дешево.

Подходит Дуся, Женькина жена, приносит кружку воды. На руках у нее дочка. Дочка острижена наголо. Дуся подает кружку Тольке и, покачивая девочку, приговаривает:

— Ах ты, стриженный-бритый. Чешется у нас от жары головка, чешется.

Толька выпивает воду, на лбу у него выступает обильный пот, на небритой щетине — черные капли, ворсинки стружек. Кричит на Женьку:

— Давай-давай! Давай быстрее! Да не забивай ты гвозди в дерево, они же ржавеют.

Пот он вытирает рукавом. Рукав порван на локте. Брюки тоже порваны, сквозь дырки видны колени, виден карман. И все в глине.

Идет с ведрами к водопроводной колонке худая жена шофера такси дяди Васи Валя:

— Бог на помощь!

— Сами справимся, — говорит Толька.

— Храбрые! Дом большой. Ты что, Женья, на пятерых еще считаешь?

— На каких пятерых?

— На наследников.

— Обойдусь.

— А дом большой.

— Злые люди завидовать стали.

— Я не завидую. Слава богу, построились уже. Я вот смотрю, жене твоей большие полы мыть придется.

— Было бы что мыть.

Подходит одноногий Генка Никольский, еще подходят соседи. Идут мимо за водой или на трамвайную остановку и обязательно по дороге перекинутся несколькими словами. И все замечают, что лудки сделаны с перекосом — на этой улице все в строительном деле понимают, все недавно сами строились.

— Это Митя, что ли, тебе делал? — спрашивает Женьку Генка Никольский, называя имя плотника.

— Митя.

— А чего ж ты Тольке не дал? Толя, ты же столяр?

Толька Гудков наконец дождался своего. Он давно добивался, чтобы кто-нибудь задал ему этот вопрос.

— Я и столяр, и плотник, и дом, будь здоров, сложу. Я вот таких учеников, — показывает он на Женю, — человек десять выучил. — Теперь он еще энергичнее покрикивает на Женю: — Давай-давай! Целый день с тобой тут провозился, а у самого дома дел вот так, — проводит он ребром ладони по горлу. — Да поднимай ты, поднимай! Тяжело, что ли?

Еще подходит сосед, Федя-милиционер. Он тоже недавно построился.

— Женя, а сколько у тебя сантиметров от пола до подоконника? Восемьдесят пять?

— А кто ж его знает.

— Нет, Женя, ты сейчас должен решить. Восемьдесят пять или девяносто. Если под печное отопление, высоты стола довольно. Восемьдесят пять и хватит, а если паровое — до подоконника девяносто.

Меряют. Получается восемьдесят три. Женя машет рукой:

— Мне бы стены до зимы сложить.

— Нет, не говори.

Одноногий Генка догадывается:

— Ниже пол опустишь. Пробьешь в фундаменте углубления и балки спустишь. У тебя какие балки? Сороковка? На складе брал? Значит, тридцать пять — не больше.

— Ладно, — говорит Толька, — опустим ему балки. — Толька напрягается, выпрямляет лудку прямо в стене. Примеривается и вгоняет гвоздь: — Она! — довольно говорит он.

К четырем часам дня на работу во вторую смену уходит Женькина жена Дуся, а минут через двадцать прибегает с работы Муля.

— Муля, — говорит Женька. — Сегодня ребята придут, пожрать бы им чего-нибудь.

— Сейчас, — говорит Муля и убегает на кухню.

Муля недовольна. Раньше строительством руководил Женькин тесть, опытный плотник, но с тех пор, как Женька с ним поругался, не уважил его в чем-то, тесть на строительство ни шагу: «Сами тут без меня справляйтесь». Вся работа ведут ребята, Женькины друзья. Тесть уложил фундамент, а они стены подняли до половины оконных рам. Сегодня Толька Гудков устанавливал лудки, Муля обежала вокруг дома, лудки ей показались установленными косо. Она хотела промолчать, но все-таки сказала, не удержалась:

— А чего ж это лудки стоят косо? Вот здесь надо было вот так. — Она показала рукой. — А здесь потянуть влево.

Она бы еще что-нибудь сказала, но Женька окрысился:

— Вот ждали тебя, Муля! Ты придешь и все нам расскажешь. Без тебя тут дела не было.

Толька Гудков обиделся, стал объяснять:

— Тетя Аня, скажите спасибо, что хоть выправил я вам лудки. Вы ж Мите заказывали, за дешевизной погнались, он вам и сделал на соплях. Такие оконные коробки весь фасад могут искривить, а я вам его исправил.

Муля возилась в кухне и думала: подумаешь, обиделся! Столько денег, труда может пропасть даром, а им замечания нельзя сделать. Хоть бы кто-нибудь постарше пришел, углы завел. Пусть бы ребята кла-

ли стены, а углы заводил бы мастер. А то получится, как дядя Вася говорит: «Распить на четверых пол-литра, собраться в кружок, а потом толкнуть стены, и они завалются».

Конечно, ребята уже по нескольку лет работают, чему-то научились, но лучше, если бы ими руководил опытный мужик. Муля не доверяла Женькиным друзьям — все они пьяницы и шалопуты.

Однако, когда приехали на мотоцикле Валька Длинный и Валерка, Муля им сразу же предложила пообедать.

— Да нет,— сказал Длинный усмехаясь.— Не будем обедать.— Длинный лучше других видел Мулино беспокойство и неприязнь. Он сидел на своем «ковровце», как на детском стульчике, ожидал, пока Валерка слезет с заднего седла.

— Вы же только что с работы,— сказала Муля.

— Злее будем,— сказал Длинный и, медленно выпрямившись, перешагнул через мотоцикл.

— А то мы так пообедаем,— сказал Валерка,— что сразу поужинаем и спать ляжем.

Я тоже отказался от обеда. Муля спросила:

— Ну как, вам квартиру дают?

— Обещают.

— Сколько лет обещают!

— Надо, как Женька,— сказал Длинный наставительно,— своей мозолистой рукой. Женька вон на будущий год вселится. Женька, ты когда думаешь вселяться?

— Он об этом и не думает,— сказал Гудков.

— Тут еще работы! — сказал Женька.— Я вот думаю до дождей крышей коробку накрыть, а то размокнет саман.

— Размокнет,— охотно согласился Длинный. И предложил: — А ты накрой коробку крышей и продай все это. А деньги на кооперативное строительство.

— Да я уже думал об этом,— сказал Женька.

— Вот зятю своему продай,— сказал Длинный и презрительно усмехнулся.

— Женья,— сказал я,— я тебе тут записку приготовил. На аэродроме есть место, о котором мы с тобой говорили. Пойдешь в понедельник по этому адресу, если захочешь. До понедельника тебя подождают. Не знаю точно, что делать, но, в общем, около самолетов.

— Ладно,— сказал Женья.

— Пойдешь?

— Вот, Витя, с хатой закончу...

— В общем, твое дело.

Мы с Ирккой уже несколько раз пытались устроить Женю в техникум, институт, в училище летчиков гражданской авиации. Но все что-то не получалось. То Женя заваливал экзамены после первого же семестра, то оказывалось, что возраст ему уже не позволяет учиться на летчика.

Длинный позвал меня делать замес. Мы принесли воды, насыпали прямо на пешеходную асфальтовую дорожку глины, песку, сделали воронку и стали лить воду, перемешивая глину и песок лопатами. Раствор постепенно становился тяжелым, вязко хлюпал, мокрая глина налипала на лопату. Когда мы оба вспотели, тяжело задышали, Длинный, что-то прикинув, сказал:

— Знаешь, сколько мы заработали? Тридцать копеек на двоих. По твердым расценкам.

— Даром денег не платят?

— Трудно свой хлеб добывал человек,— сказал Длинный.

Он любил цитаты. Они все — и Длинный, и Женька, и Толька Гудков, и Валерка — охотно острили цитатами. Только со временем цитаты у них постарели — сколько лет я знаю этих ребят, а цитаты у них почти не меняются.

Взобравшись на риштовки, Валька срубил несколько длинных веток вишни, мешавших работать.

— Плакала Саша, как лес вырубали, — сказал он.

Ребята работали наверху, на риштовках, клали стены, а я подавал им саман и глиняный раствор. Я был подсобником при мастерах.

Вначале мне даже интересно было кидать вверх тяжелые кирпичи. Брошу точно кирпич — и доволен. Но часа через два у меня гудело все тело. Ребята подбадривают меня.

— А ты, Виктор, за двоих пашешь, — говорит Валерка.

Длинный задумчиво спрашивает:

— Что это саман два часа назад вроде полегче был?

Стены растут, но уже видно, что сегодня работы не закончить. Женька отлучается все чаще и чаще — он первый сдался. Ребята это сразу отмечают, но шутят над Женькой беззлобно. То, что Женька устает раньше других, давно известно. Потом сдается Длинный, спрыгивает с риштовок, садится на саман и закуривает.

— Кончайте, — говорит он. — Темно уже. Запорем стены.

Толька Гудков и Валерка еще минут десять работают и тоже спрыгивают на землю.

— Все, — говорит Валерка. — Мне больше всех не нужно.

— И мне, — говорит Гудков. — А надо было бы сегодня кончить. Все равно нам кончать придется. Может, подналяжем?

— Все, — говорит Длинный. — Я — все. — И поднимается, чтобы уж совсем закончить этот разговор. — Иду отмываться.

За ним поднимается Валерка. Гудков еще лезет на риштовки, что-то подправляет, собирает инструмент. Потом и он спускается на землю, отряхивается и идет к хате.

— Толя, — кричит из кухни Муля, — полотенце и мыло в дѹше.

— Ладно, — говорит Толька и присаживается на приступки рядом со мной, Длинным и Женькой.

Мы долго сидим покуривая, изредка перебрасываемся словами. Глина сохнет у нас на руках, солома покалывает спину, шею, грудь, но нам не хочется подниматься.

— Иди ты первым, — предлагает Длинный Тольке, и Гудков, крикнув, поднимается.

Толька самый энергичный и выносливый. Моется он долго и шумно. Кричит из душа:

— Вода мировая. За день солнце нагрело.

— Всю воду не сливай, — отзывается Длинный.

— Бак полный, — успокаивает Длинного Муля. — Я с утра наносила.

Гудков возвращается из душа повеселевшим.

— Не горюй, — говорит он Женьке, — в субботу закончим. Тетя Аня, — обращается он к Муле, — в субботу стены закончим.

Муля не отзывается. Она недовольна. Ей кажется, что мы плохо работали. Весь вечер перекуривали, болтали, а дело стояло. Сентябрь кончается, скоро могут пойти дожди, да и денег на угощение нет. Уж у всех соседей занимали-перезанимали, не известно, как отдавать. Хорошо еще, что люди верят в долг, не отказывают. Понимают — строительство. Пока Длинный, Валерка и Женька мылись, Муля накрыла на стол. Валерка сбегал домой, переоделся. Женька тоже надел чистые брюки и рубашку. Переоделись в чистое Гудков и Длинный. Разомлевшие, сонными глаза-

ми они посматривали, как Муля ставила на стол селедку, колбасу, помидоры, и лишь когда на столе появились бутылки, они оживились, задвигались, по очереди прикладывали к бутылкам тыльные части кистей — пробовали, холодные ли.

— Холодненькая! — сказал Гудков.

— Прозрачная! — сказал Длинный.

Все захихикали, задвигались.

— Ну, что, алкоголики, — спросил Гудков, — приступим?

— Мне только пиво, — сказал я. Я хотел совсем отказаться от выпивки, но устыдился.

Ребята не стали спорить. Муля налила мне пива, я выпил два стакана подряд и вдруг от усталости ословел, потянулся к водке. Мне налили, и я выпил, сказал уже с пьяной лихостью:

— Даем сердцу нагрузочку. Работаем на сверхсмертность.

— На какую сверхсмертность? — спросил Длинный.

— Вы что, газет не читаете?

— Ты их пишешь, — сказал Длинный, — ты их и читаешь.

Я объяснил:

— Сегодня в «Известиях» статья какого-то польского профессора. О долголетию. Любопытная статья. Цифры там интересные. Оказываются, во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин смертность, а у нас сверхсмертность. Алкоголь, никотин, война.

— Так это мы сейчас на сверхсмертность работаем? — спросил Длинный.

— Гоняем же сердце под перенагрузкой.

— А-а! — сказал Толька. — Он придет с войны, а у него пять ран. Когда-то они дадут себя знать.

— Пей не пей, а если пять ран... — сказал Длинный.

Алкоголь и никотин в качестве причин, сокращающих жизнь, они сразу же отвергли.

— А вообще, — сказал Гудков, — женщины живучие. Мы ходим по квартирам, видим. Бабки в каждом доме есть, а дедов мало.

— Ну, дедов вы просто можете не видеть, — сказал я. — Днем многие деды на работе.

И вот тут Толька сказал:

— Да что там далеко ходить. Поднимите руки, у кого есть отцы.

Он посмотрел на Валерку, на Женьку, на меня, на Вальку Длинного.

Длинный сказал:

— Ты же знаешь, у меня есть.

— Все равно что нет, — ответил Толька. — Он же не с вами живет.

Потом Толька рассказывал мне, как он, Толька, в четырнадцать лет сбежал из дому, изъездил весь Советский Союз. И в Крыму побывал, и на Дальнем Востоке, и на Севере. Работал в тайге, воровал, ездил на поездах зайцем, прыгал на всем ходу с поезда, спасаясь от милиции, контролеров, сидел в лагере.

— Я совсем недавно остепенился. Когда я остепенился? — спросил он у Длинного. — Скажи ему, Валька.

— Да года четыре назад.

— Четыре года назад, — сказал Толька. — Женился, и все. Понял? Завязал.

— А чего из дому бегал?

— Жрать нечего было. Шестеро нас у матери. Мал мала. Я средний. Куда ей вытянуть такую ораву!

Потом я рассказывал об Эстонии, о Таллине, в котором мы летом побывали с Иркой, о том, как строили когда-то эстонские мастера-камен-

щики, так что все до сих пор стоит, как новое. Крепостные стены, башни, дома, поставленные много столетий назад.

— Работать люди умеют,— сказал Толька.— Работали не тяп-ляп. Вот и стоит.

В это время меня из-за стола вызвала Муля.

— Витя,— горячо и раздраженно заговорила она,— ты им чего-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А человеку завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили, глаза залили. Пусть расходятся. Скажи им, ты все-таки постарше.

— Всем завтра на работу, Муля,— сказал я.

— Тебе к девяти, а мне к шести,— сказала Муля.— Пусть расходятся. Посидели — и хватит. Человеку завтра на работу.

— Да-да,— сказал я.— Хорошо.

Он вернулся к столу, рассеянно слушал Длинного и Тольку и все думал о том, как Толька попросил, чтобы те, у кого живы отцы, подняли руки, и о том еще, как Муля сказала о себе — человеку завтра на работу...

Ростов-на-Дону.



ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

★

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

С немецкого

Ганс Магнус Энциенсбергер (родился в 1929 году) — известный западногерманский поэт, автор сборников стихов и философской публицистики — «Защита волков» (1957), «Язык страны» (1960), «Подробности» (1962), «Стихи» (1963) и других.

Он входит в литературную «группу 47», объединяющую видных писателей ФРГ (Г. Бёль, Г. Рихтер, В. Кёппен, Г. Грасс и другие).

* * *

Нам не на что обижаться.
Мы достаточно сыты:
жуем!

Растет трава.
Растут социальные блага.
Растут ногти.
И прошлое — тоже.

Улицы пустынно.
Дверные задвижки надежны.
Сирены молчат:
это прошло.
Мы жуем.

Мертвые изъявили свою последнюю волю.
Дождь перестал.
Война еще не объявлена —
чего с нею торопиться?
Жуем!

Мы жуем траву.
Мы жуем социальные блага.
Мы жуем свое прошлое,
и мы ничего не таим.

А что же? Ведь все в порядке.
Опаздывать нам некуда.
И нам не о чем говорить.
Мы о б л а д а е м.

Заведены часы.
Сполоснуты тарелки.

Мимо нас проехал последний автобус.
 Пустой.
 Нам не на что обижаться.
 Так чего же мы ждем?..

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ УБИЙЦЫ

Посмотрите на эти твердые глаза рыси,
 ощупывающие брандмауэры и затылки,
 посмотрите на череп —
 этот стриженный футбольный мяч!
 Вы, кто выносит смертные приговоры
 между двумя глотками аперитива,
 взгляните на его руку —
 этот железный крюк,
 что пустой бутылкой кроит черепа!

Судьи, будьте к нему милосердны,
 пожалейте слабого!
 Слишком возвышенны цели
 и слишком слабы его силы —
 поэтому он рухнул...
 Лучше взгляните на гримасы тех,
 кто сидит над вами.
 В их глазах — сердечная озабоченность,
 они улыбаются сквозь окуляры.
 Посмотрите на их Сократовы лбы,
 под которыми гнездится мысль
 об уничтожении ваших городов!
 Посмотрите на их водянистые руки,
 которые золотым пером приказывают:
 Мир на дыбу!

Оправдайте его, молодого убийцу!
 Посадите его в кресло правленья.
 Он будет милостив к нам.

СОМНЕНИЯ

Чем она все-таки кончится,
 бесконечная эта игра
 в черные кости, в белые кости?
 Будет ли проигран выигрыш
 или выигран проигрыш?
 «Да», — отвечают мои враги...

Я говорю: почти все, что я вижу,
 можно исправить. Но какую ценой?
 Слишком кровавы шаги прогресса.
 Какой же это прогресс?
 Неужели мои желания до того просты,
 что они просто несбыточны?
 «Да», — отвечают мои враги.
 А секретарши живут.

А мусорщики ни о чем не знают.
 Исследователи следуют за своими исследованиями.
 Едят едоки.
 Все хорошо...
 Между тем я спрашиваю:
 завтра наступит ли завтра?
 Это кровать или гроб?
 Кто-нибудь прав или нет?
 Позволено ли сомневаться в собственных сомнениях?

...Я внимательно прислушиваюсь
 к тому, что говорят мне враги.
 Но кто они, эти враги?
 Для черных я — белый,
 для белых я — черный.
 Признаться, мне это нравится.
 Это значит, что я на верном пути.
 Но разве верный путь существует?

Мои враги — странные люди.
 Они мне желают добра,
 они все готовы простить,
 если я примирюсь
 с ними и с самим собой.
 Немного забывчивости —
 и меня любят.
 Немного терпимости
 (безразлично к чему) —
 и я буду принят в их обществе,
 и уютно устроюсь,
 и смогу, не терзаясь сомнениями,
 спокойно повеситься,
 примиренный и утешенный,
 в ладу со всем миром.

УТОПИЯ

Могуче рождается день —
 прошиб кулачищами тучу...
 И вот уже забарабанил
 молочник по звонким бидонам,
 свою выбивая сонату.
 И женихи, сияя от счастья,
 на эскалаторах
 устремляются в небо.
 Взлетают шляпы:
 это какой-то вихрь,
 какая-то дикая пляска
 белых и черных шляп,
 с ликованием бросаемых в воздух.
 Пчелы бастуют.
 В облаках кувыркаются
 прокуристы.
 На крышах щебечут папы.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Рассказ

Весной в Подмоскowie, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготавливали к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмоскowie я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные, красивые ягоды расклеивают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко, и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, — а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоя, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятшек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь, и кем они станут?..

По утрам я слышу, как скрипят колодезные журавли на моей широкой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо. Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом! Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежееиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребяташки теперь охотнее играют не в лощадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И, может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души. Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преобразованиях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчий и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствую мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые, кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевают горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он. — Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива. Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он. — У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лезят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича, живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас «ЗИМ»!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится,— с удовлетворением подумал я.— Мои не такие и, может, потому, что у меня их много, и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре? Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь — и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валяются, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоячку, настоячку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, психоросели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботить-

ся — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал,— ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочей.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее готовить? Обломал гроздь с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздь на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими. но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво-дивное, чудо-чудное! И как пахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она.— Разъединять такую прелесть, такое творение природы. Как можно! — Но гроздь рябиновые приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобрішном угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток,— вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает и ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любят себя сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее ничто уже не может обольстить, что ей «все — равно, и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик, Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сарай, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобрішный угор, в мою охотничью избу приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа!

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом

шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точнее сказать: тончаем, тонеем, утончаемся?— (Начались муки слова!) — Нет, утончаемся сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов.— Жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! — для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житейское вспомню. Раньше у нас девки рябиной много привораживали. Помогаало. Я уж отвержила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, и только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе гоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-молнии.

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!» Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь. — Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей! Только ведь осенью опять в школу надо...



УИЛЬЯМ БЛЕЙК

В ПЕРЕВОДАХ С. МАРШАКА

Имя замечательного английского поэта и художника Уильяма Блейка (1757—1827) было почти неизвестно его английским современникам. Уроженец Лондона, сын мелкого продавца галантерейных товаров («чулочника»), по профессии гравер, он зарабатывал свой хлеб выполнением очередных заказов, которые доставляли ему от времени до времени его немногочисленные друзья и покровители. Так, он иллюстрировал в разное время сочинения поэтов XVIII века — «Ночные думы» Юнга и «Могилу» Блейра, иллюстрировал «Книгу Иова», «Божественную комедию» Данте и другое, создав художественные произведения необычайной выразительности и силы, получившие признание лишь в новейшее время. При жизни картины Блейка почти не выставлялись, а когда выставлялись — не имели успеха. К официальному академическому искусству своего времени с его классической пышностью и внешней красотостью он относился резко отрицательно, и оно в свою очередь игнорировало существование художника — одиночки и новатора.

За невозможностью найти издателя для своих поэтических книг Блейк сам гравировал на меди их текст и иллюстрации с помощью особой, изобретенной им для этого техники («выпуклый офорт»); немногочисленные экземпляры, раскрашенные им от руки, он продавал своим друзьям и почитателям: теперь они стали музейной редкостью и ценятся на вес золота.

Как поэт Блейк фактически стоял вне литературы своего времени, хотя воспитался на ее классических образцах, на Мильтоне, Спенсере и Шекспире, не чужд был влияниям «готики» XVIII века, английской народной баллады и Оссиана; стихотворения его не были известны и английским романтикам, с которыми его творчество нередко соприкасалось по своим тенденциям, в особенности со значительно более поздней по времени поэзией Шелли. Когда он умер, его похоронили на общественных средства в безымянной общей могиле. Теперь его бюст поставлен в Вестминстерском аббатстве рядом с памятниками крупнейшим поэтам Англии.

«Открытие» Блейка произошло во второй половине XIX века, а в XX веке его творчество, получившее всеобщее признание, заняло по праву одно из первых мест в пантеоне английской поэзии. Первыми собирателями, издателями и интерпретаторами наследия Блейка явились глава «прерафаэлитов» Данте Габриэль Россетти, также поэт и художник, его ученик А. Ч. Суинбёрн, критик Артур Саймонс, англо-ирландский поэт Йетс, то есть литературные деятели, близкие английскому символизму в широком смысле. Соответственно этому и сам Блейк был объявлен «предшественником символизма». С этой точки зрения подошли к Блейку и его первые русские почитатели: Зинаида Венгерова («Литературные характеристики», 1897) и К. Бальмонт («Горные вершины», 1904), рассматривавшие Блейка как «родоначальника английского символизма». Бальмонту принадлежат и первые переводы стихотворений Блейка (в его книге «Из чужеземных поэтов», 1908), растворяющие, как обычно, строгое искусство английского оригинала в бесформенной лирической эмоциональности переводчика.

Между тем на самом деле, как убедительно показала современная передовая критика, зарубежная и отечественная (работы Бронзовского, Эрдмана, Мортонна, Аннеты Рубинштейн и других, а у нас книги А. Елистратовой и Е. Некрасовой), мистик и «духовидец» Блейк, почитатель Сведенборга, Якова Бема и неоплатоников, был в то же время по своему общественному мировоззрению гуманистом и человеколюбом, пламенным обличителем зла и несправедливости. В начале 1790-х годов он был связан с кружком английских радикалов-демократов, друзей французской революции, собиравшихся в доме книготорговца и издателя Джозефа Джонсона: с химиком Пристли, атеистом и материалистом, с Уильямом Годвином, проповедником утопического коммунизма, и его будущей женой Мэри Уолстонкрафт, поборницей прав женщин, произведения которой он иллюстрировал, с американским революционером Томасом Пейном, которому он помог бежать в Париж накануне грозившего ему ареста. В своих незакон-

ченных поэмах «Французская революция» (1791) и «Америка» (1793) Блейк прославлял американскую и французскую революцию как зарю освобождения всего человечества. В своеобразной форме его «пророческих книг» сквозь мифологические образы и сюжеты библейского эпоса, по-новому продолжающего эпическую традицию Мильтона, просвечивает современное, глубоко актуальное общественное содержание: промышленный переворот в Англии конца XVIII — начала XIX века, жестокие законы об «огораживании», бедственное положение народных масс. Этим современным содержанием автору пророческих книг подсказаны были грандиозные апокалиптические видения чудовищных, вечно вертящихся «сатанинских колес», пылающих плавильных горнов, железных веретен прядильных машин, к которым прикованы порабощенные машинами люди — мужчины и женщины.

Шотландия изливает поток своих сыновей на работу у плавильных печей,
Уэльс отдает своих дочерей ткацким станкам, Англия — кормящих матерей...

(Из поэмы «Иерусалим»)

Образ Альбиона (Англии) становится мифологической аллегорией человечества, подавленного общественным гнетом, насилием и властью над человеком материальной действительности и воскресающего после тысячелетних мук к новой, счастливой и свободной жизни. На зеленых лугах Альбиона согласно пророчеству Блейка будет воздвигнут «новый Иерусалим» — социальная утопия будущего царства равенства и справедливости.

Мой дух в борьбе несокрушим,
Незримый меч всегда со мной.
Мы возведем Иерусалим
В зеленой Англии родной.

(Перевод С. Маршака)

В отличие от «Пророческих книг» Блейка, представляющих причудливое смешение трудно понятных, темных аллегорий с отдельными гениальными поэтическими прозрениями, его лирические стихотворения отличаются кристальной ясностью и прозрачностью мысли, образов и слов, сочетая эмоциональную непосредственность и простоту песни с глубиной этического и общественного содержания. Таковы прежде всего «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта» (1794), в дальнейшем объединенные автором в одном сборнике и представляющие лучшую и наиболее популярную часть его поэтического наследия.

«Песни Невинности» изображают светлый мир детства как бы сквозь призму младенческого сознания, еще не искушенного жизненным опытом, — своего рода утопию безгрешного и счастливого детства человечества. Счастье — это смеющийся ребенок, и вместе с радостно резвящимися детьми смеется и радуется вся природа — цветы, мотыльки и птицы, ягнята на зеленом лугу. Даже образы нищеты и горя (маленький трубочист, приютские дети, заблудившийся ребенок) не нарушают этой идиллии: они как будто «снимаются» общей атмосферой доброты и жалости, любви и человечности.

«Песни Опыта» раскрывают моральное и социальное зло, полностью разрушающее эту наивную идиллию. Те же образы невинных маленьких детей, «цветов столицы», возвращаются теперь в новом освещении. Их «голодный плач», их горе и страдания выступают как самое грозное обличение несправедливости современного общества и лицемерной жестокости его морали:

Где сияет солнца свет,
Где роса поит цветы,
Там детей голодных нет,
Нет угрюмой нищеты.

(Перевод С. Маршака)

К этим двум сборникам присоединено большое число различных по своей теме и по времени написания «Стихотворений 1793—1811 гг.», которые были извлечены издателями Блейка из его рукописного наследия. К числу таких посмертных публикаций относятся и «Прорицания Невинности». Как и другие циклы афоризмов Блейка, прозаических («Пословицы ада», 1793) и стихотворных («Вечно сущее евангелие», около 1818), они содержат в эпиграмматической форме, заостренной и в ряде случаев намеренно парадоксальной, выражение основных его идей по вопросам религии, морали и общественной жизни, полемически противопоставленных ортодоксальному церковному вероучению и господствующим принципам буржуазного государства и общества.

Работа над Блейком сопровождала покойного С. Я. Маршака на всем протяжении его творческой жизни. Он начал переводить своего любимого поэта еще юношей, в 1910-х годах. Два цикла его первых переводов были опубликованы в журнале «Северные записки» (1915—1916). Это были четырнадцать стихотворений, преимущественно из «Песен Невинности» и «Песен Опыта». Первые публикации начинающего поэта, поражающие своей художественной зрелостью, сразу создали ему литературное имя. Опубликованное в печати составляло лишь небольшую часть переведенного — книги избранных стихотворений Блейка, над которой С. Я. Маршак уже тогда работал.

С тех пор в течение пятидесяти лет С. Я. Маршак неоднократно возвращался к этой книге, пополняя ее новыми переводами и совершенствуя старые. При жизни он так и не успел осуществить свой давний замысел.

В 1957 году Международный Совет Мира постановил отметить двухсотлетие со дня рождения Блейка. В этом году и в последующие годы в журналах «Иностранная литература», «Новый мир», «Огонек» появился ряд переводов С. Я. Маршака из Блейка. С некоторыми переводами, ранее не опубликованными, читатель познакомится в этом номере журнала.

В. Жирмунский.

Из «Песен Невинности»

СМЕЮЩЕЕСЯ ЭХО

Солнце взошло,
И в мире светло.
Чист небосвод.
Звон с вышины
Славит приход
Новой весны.
В чаще лесной
Радостный гам
Вторит весной
Колоколам.
А мы, детвора,
Чуть свет на ногах,
Играем с утра
На вешних лугах.
И вторит нам эхо
Раскатами смеха.

Вот дедушка Джон.
Смеется и он.
Сидит он под дубом
Со старым народом,
Таким же беззубым
И седобородым.

Натешившись нашей
Веселой игрой,
Седые папаши
Бормочут порой:
«Кажись, не вчера ли
На этом лугу
Мы тоже играли,
Смеясь на бегу,
И взрывами смеха
Нам вторило эхо!»

А после заката
Пора по домам.
Теснятся ребята
Вокруг своих мам.
Так в сумерках вешних
Скворчата в скворечнях,

Готовясь ко сну,
Хранят тишину.

Ни крика, ни смеха ·
Впотьмах на лугу.
Устало и эхо.
Молчит, ни гу-гу.

О СКОРБИ БЛИЖНЕГО

Разве ближних вам не жаль,
Если их гнетет печаль?
Зная ближнего мученья,
Кто не ищет облегченья?

Можно ль, видя слез ручьи,
Не прибавить к ним свои?
И кого из вас не тронет,
Если сын ваш тяжело стонет?

И какая может мать
Вместе с крошкой не страдать?
Нет, нет, никогда,
Ни за что и никогда!

Как же тот, кто всем отец,
Видит скорбь твою, птенец?
Как всевидящий и чуткий
Может слышать стон малютки

И не быть вблизи гнезда,
Где тревога и нужда,
И не быть у той кровати,
Где ребенок в лихорадке?

Не сидеть с ним день и ночь,
Не давая изнеможь?
Нет, нет, никогда,
Ни за что и никогда!

ВЕСНА

Чу, свирель!
Смолкла трель...
Соловей —
Меж ветвей.
Жаворонок в небе.
Всюду птичий щебет.
Весело, весело
Встречаем мы весну!

Рады все на свете.
Радуются дети.
Петух — на насесте.
С ним поем мы вместе.
Весело, весело
Встречаем мы весну!

Милый мой ягненок,
 Голосок твой тонок.
 Ты ко мне, дружок, прильни,
 Язычком меня лизни.
 Дай погладить, потрепать
 Шерстки шелковую прядь.
 Дай-ка поцелую
 Мордочку смешную.
 Весело, весело
 Встречаем мы весну!

Из «Песен Опыта»

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ МАЛЬЧИК

«Нельзя любить и уважать
 Других, как собственное я,
 Или чужую мысль признать
 Гораздо большей, чем своя.

Я не могу любить сильнее
 Ни мать, ни братьев, ни отца.
 Я их люблю, как воробей,
 Что ловит крошки у крыльца».

Услышав это, духовник
 Дитя за волосы схватил
 И поволок за воротник.
 А все хвалили этот пыл.

Потом, взобравшись на амвон,
 Сказал священник: «Вот злодей!
 Умом понять пытался он
 То, что сокрыто от людей!»

И не был слышен детский плач,
 Напрасно умоляла мать,
 Когда дитя раздел палач
 И начал цепь на нем ковать.

Был на костре — другим на страх —
 Преступник маленький сожжен...
 Не на твоих ли берегах
 Все это было, Альбион?

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ

Была бы жалость на земле едва ли,
 Не доводи мы ближних до сумы.
 И милосердья люди бы не знали,
 Будь и другие счастливы, как мы.

Покой и мир хранит взаимный страх.
И себялюбье властвует на свете.
И вот жестокость, скрытая впотьмах,
На перекрестках расставляет сети.

Святого страха якобы полна,
Слезами грудь земли поит она.
И скоро под ее зловещей сенью
Ростки пускает кроткое смиренье.

Его покров зеленый распростер
Над всей землей мистический шатер.
И тайный червь, мертвящий все живое,
Питается таинственной листвою.

Оно приносит людям каждый год
Обмана сочный и румяный плод.
И в гуще листьев, темной и тлетворной,
Невидимо гнездится ворон черный.

Все наши боги неба и земли
Искали это дерево от века.
Но отыскать доньше не могли:
Оно растет в мозгу у человека.

Стихотворения 1793—1811 гг.

* *
*

(Отрывок)

Есть улыбка любви
И улыбка обмана и лести.
А есть улыбка улыбок,
Где обе встречаются вместе.

Есть взгляд, проникнутый злобой,
И взгляд, таящий презренье.
А если встречаются оба,
От этого нет исцеленья.

* *
*

Я слышу зов, неслышный вам,
Гласящий: «В путь иди!»
Я вижу перст, невидный вам,
Горящий впереди.

* *
*

Разружьте своды церкви мрачной
И катафалк постели брачной
И смойте кровь убитых братьев —
И будет снято с вас проклятье.

* *
*

К восставшей Франции мошенники Европы,
Как звери, отнесли, а после — как холопы.

БОГАТСТВО

Веселых умов золотые крупинки,
Рубины и жемчуг сердец
Бездельник не сбудет с прилавка на рынке,
Не спрячет в подвалы скупец.

ЭПИТАФИЯ

Я погребен у городской канавы водосточной,
Чтоб слезы лить могли друзья и днем и еженочно.

МЭРИ

Прекрасная Мэри впервые пришла
На праздник меж первых красавиц села.
Нашла она много друзей и подруг,
И вот что о ней говорили вокруг:

«Неужели к нам ангел спустился с небес,
Или век золотой в наше время воскрес?
Свет небесных лучей затмевает она.
Приоткроет уста — наступает весна!»

Мэри движется тихо в сияньи своей
Красоты, от которой и всем веселей.
И, стыдливо краснея, сама сознает,
Что прекрасное стоит любви и забот.

Утром люди проснулись и вспомнили ночь,
И веселье продлить они были не прочь.
Мэри так же беспечно на праздник пришла,
Но друзей она больше в толпе не нашла.

Кто сказал, что прекрасная Мэри горда,
Кто добавил, что Мэри не знает стыда.
Будто ветер сырой налетел и унес
Лепестки распустившихся лилий и роз.

«О, зачем я красивой на свет рождена?
Почему не похожа на всех я одна?
Почему, одарив меня щедрой рукой,
Небеса меня предали злобе людской?»

«Будь смиренна как агнец, как голубь чиста —
Таково, мне твердили, ученье Христа.—
Если ж зависть рождаешь ты в душах у всех
Красотою своей — на тебе этот грех!»

Я не буду красивой, сменю свой наряд,
 Мой румянец поблекнет, померкнет мой взгляд.
 Если ж кто предпочтет меня милой своей,
 Я отвергну любовь и пошлю его к ней».

Мэри скромно оделась и вышла чуть свет.
 «Сумасшедшая!» — крикнул мальчишка вослед.
 Мэри скромный, но чистый надела наряд,
 А вернулась — забрызгана грязью до пят.

Вся дрожа, опустилась она на кровать,
 И всю ночь не могла она слезы унять,
 Позабыла про ночь, не заметила дня,
 В чуткой памяти злобные взгляды храня.

Лица, полные ярости, злобы слепой,
 Перед ней проносились, как дьяволов рой.
 Ты не видела, Мэри, луча доброты.
 Темной злобы не знала одна только ты.

Ты же — образ любви, изнемогшей в слезах,
 Нежный образ ребенка, узнавшего страх,
 Образ тихой печали, тоски роковой,
 Что проводят тебя до доски гробовой.

ДЛИННЫЙ ДЖОН БРАУН И МАЛЮТКА МЭРИ БЭЛЛ

Была в орехе фея у крошки Мэри Бэлл,
 А у верзилы Джона в печёнках чёрт сидел.
 Любил малютку Мэри верзила больше всех,
 И заманила фея дьявола в орех.

Вот выпрыгнула фея и спряталась в орех.
 Смеясь, она сказала: «Любовь — великий грех!»
 Обиделся на фею в нее влюбленный бес,
 И вот к верзиле Джону в похлебку он залез.

Попал к нему в печёнки и начал портить кровь.
 Верзила ест за семерых, чтобы прогнать любовь,
 Но тает он, как свечка, худеет с каждым днем
 С тех пор, как поселился голодный дьявол в нем.

«Должно быть, — люди говорят, — в него забрался волк!»
 Другие дьявола винят, и в этом есть свой толк.
 А фея пляшет и поет — так дьявол ей смешон.
 И доплясалась до того, что умер длинный Джон.

Тогда плясунья-фея покинула орех.
 С тех пор малютка Мэри не ведает утех.
 Ее пустым орехом сам дьявол завладел.
 И вот с протухшей скорлупой осталась Мэри Бэлл.

Из «Прорицаний Невинности»

Дело рук — топор и плуг,
Но рукам не сделать рук.

Совет к возмездью плач детей
Из-под безжалостных плетей.

Тряпки нищего в отрепья
Рвут небес великолепье.

Гад, шипя из-под пяты,
Брызжет ядом клеветы.

Принца шелк, тряпье бродяги —
Плесень на мешках у скряги.

Львиный гнев и волчья злоба
Вызывают тень из гроба.

Заяц, пулей изувечен,
Мучит душу челоювечю.

Отвечая на сомненье,
Сам теряешь разуменье.

Сильнейший яд — в венке лавровом,
Которым Цезарь коронован.

Литая сталь вооруженья —
Людского рода униженье.

Где золотом чистейшей пробы
Украсят плуг, не станет злобы.

Там, где в почете честный труд,
Искусства мирные цветут.

Сомненьям хитрого советчика
Ответьте стрекотом кузнечика.

Философия хромая
Ухмыляется, не зная,

Как ей с мерой муравьиной
Сочетать полет орлиный.

Не ждите, что поверит вам
Не верящий своим глазам.

Путь летучей мыши серой —
Путь души, лишенной веры.

Солдат с ружьем наперевес
Пугает мирный свод небес.

Медь бедняка дороже злата,
Которым Африка богата.

Грош, вырванный у земледельца,
Дороже всех земель владельца.

А где грабеж — закон и право,
Распродается вся держава.

Смеющимся над детской верой
Сполна воздастся той же мерой.

Кто в детях пробудил сомненья,
Да будет сам добычей тленья.

Кто веру детскую щадит,
Дыханье смерти победит.

Игрушкам детства — свой черед,
А зрелый опыт — поздний плод.

Лукавый спрашивать горазд,
А сам ответа вам не даст.

Кто глаз вола наполнил кровью,
Вовек не встретится с любовью.

Не грех, коль вас волнуют страсти,
Но худо быть у них во власти.

Для всей страны равно тлетворны
Публичный дом и дом игорный.

Крик проститутки в час ночной
Висит проклятьем над страной.

Каждый день на белом свете
Где-нибудь рождаются дети.

Кто для радости рожден,
Кто на горе осужден.

Посредством глаза, а не глазом
Смотреть на мир умеет разум,

Потому что смертный глаз
В заблужденье вводит нас.

Бог приходит ярким светом
В души к людям, тьмой одетым.

Кто же к свету дня привык,
Человечий видит лик.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

БОРЬБА ЗА ВТОРОЙ ФРОНТ

Из записок посла

1

Хотя проблема второго фронта встала с первого же дня нападения гитлеровской Германии на СССР и хотя эта проблема была предметом серьезных переговоров между Москвой и Лондоном уже в 1941 году, однако в 1942 году она приняла особую остроту. Главных причин тому было две.

Во-первых, в 1941 году на Западе воевала против Германии только одна Англия. При таких обстоятельствах заверения Черчилля, что для британского правительства непосильно открыть немедленно второй фронт во Франции, вызывали на советской стороне смешанную реакцию: мы и верили этому, и не верили. Однако, когда в декабре 1941 года Япония напала на Пирл-Харбор и в войну оказались вовлеченными США, положение резко изменилось. Теперь на Западе против Германии воевали две великие державы, и стало совершенно ясно, что у них-то, вместе взятых, вполне достанет сил и средств для создания второго фронта во Франции. Всякие отговорки о физической невозможности такой операции отпадали.

Во-вторых, 1941 год был занят большими и сложными переговорами между СССР и англо-американцами по вопросам военного снабжения и политики — на них, естественно, концентрировалось главное внимание Советского правительства в первые полгода после падения Германии.

Только когда США сами вступили в войну, создались условия для открытия второго фронта. Подчеркиваю: прежде чем он был открыт, потребовалось еще очень много времени. В сущности, под знаком борьбы за второй фронт прошли следующие полтора года — 1942 и первая половина 1943 года, — в течение которых я еще продолжал работать в Англии в качестве посла СССР. Конечно, на протяжении 1942—1943 годов в англо-советских и американско-советских отношениях происходило немало иных событий, велось немало переговоров на иные темы, но все-таки в качестве основного, доминирующего момента над всем дипломатическим разнообразием тех дней господствовала проблема второго фронта.

2

С крейсером «Кент», на котором Иден возвратился из СССР¹, прибыла в Англию также делегация ВЦСПС во главе с его председателем Н. М. Шверником. Чтобы последующее было ясно, я должен несколько вернуться назад.

В феврале 1941 года генеральный секретарь британского конгресса тред-

¹ См. «Новый мир», № 12, 1964. стр. 193.

юнионов Уолтер Ситрин ездил в Канаду и США. Его задачей было в обстановке войны установить более тесное сотрудничество с профсоюзами по ту сторону Атлантики и в особенности побудить своих американских коллег усилить и ускорить производство вооружения, столь необходимого для Англии в ее борьбе против гитлеровской Германии. Наибольшее значение имело выступление Ситрина на съезде Американской федерации труда, происходившем 18—22 февраля 1941 года в Нью-Орлеане, где Ситрин призывал всех рабочих США не жалеть усилий для изготовления оружия, ибо, как он выразился, «первая линия защиты демократии теперь должна быть в ваших цехах».

Когда 22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР, конгресс британских тред-юнионов решил послать в Москву специальную делегацию для установления более тесных связей с советскими профсоюзами, в первую очередь опять-таки в целях максимального развертывания военного производства. 21 сентября такая делегация была сформирована в составе Вулстонкрафта (председателя Генсовета), Ситрина (генерального секретаря Генсовета), Аллена, Конли и Харриссона. Решающей фигурой являлся, конечно, Ситрин — человек, никогда не питавший симпатий к СССР. Однако в атмосфере, создавшейся в Англии после гитлеровского нападения на Советскую страну и после заключения 12 июля 1941 года пакта военной взаимопомощи между СССР и Великобританией, он вынужден был хотя бы временно несколько перекраситься и фактически возглавить делегацию тред-юнионов для укрепления сотрудничества между английскими и советскими рабочими.

Делегация прибыла в Москву в исключительно трудный момент — накануне эвакуации столицы в середине октября 1941 года. 13—15 октября она встретилась здесь с представителями советских профсоюзов — Н. М. Шверником, Клавдией Николаевой, М. П. Тарасовым, П. Г. Москатовым и Е. М. Савковым. Результатом этого совещания явилось решение о создании Англо-советского профсоюзного комитета и разработка задач профсоюзов обеих стран «для организации взаимной помощи в войне против гитлеровской Германии», «всемерной поддержки правительств СССР и Великобритании» в целях разгрома общего врага и «укрепления промышленных усилий обеих стран с целью максимального повышения производства танков, самолетов, пушек, снарядов и другого вооружения». Обе стороны обязывались использовать все средства агитации и пропаганды для борьбы против гитлеризма, оказывать всемерную поддержку народам оккупированных немцами стран и крепить возможно более тесные личные связи между руководителями профдвижения Англии и СССР. Кроме того, обе стороны должны были содействовать делу «максимальной помощи вооружением Советскому Союзу со стороны Великобритании»¹.

Вскоре после того делегация британских тред-юнионов вернулась домой, пригласив ВЦСПС направить в Англию ответную делегацию советских профсоюзов. Такой ответной делегацией и была делегация ВЦСПС, прибывшая вместе с Иденом на Британские острова 29 декабря 1941 года. Она состояла из девяти человек, а именно: Н. Шверника (руководитель делегации), Клавдии Николаевой, М. Тарасова, А. Мальковой, Е. Савкова, Л. Соловьева, Н. Масалова, П. Казакова, А. Якубова. При них имелись секретари и переводчики. Всего было тринадцать человек. Как ни странно, данная цифра сыграла некоторую роль.

Это началось еще на советской земле. Мне поручено было договориться с Иденом об отправке делегации на «Кенте». Иден не возражал, но зато командир «Кента» заявил, что не может взять на борт делегацию. Почему? По двум основаниям: во-первых, она состоит из тринадцати человек и, во-вторых, среди них имеются две женщины. И то и другое предвещает несчастье.

Я возразил, что, кроме тринадцати членов делегации, на крейсере поеду также я — стало быть, на борту корабля будет не тринадцать, а четырнадцать советских граждан. Командир судна подумал и сказал, что его первое возражение,

¹ «Правда», 26 октября 1941 года.

пожалуй, отпадает, но остается второе: команда судна будет очень встревожена, если узнает, что на военном корабле находятся женщины. Я долго пытался переубедить командира, Иден осторожно меня поддерживал, но все было тщетно. Тогда я бросил на стол «козырную карту»:

— Помилуйте, — воскликнул я, — Николаева и Малькова — женщины-бойцы! Все население Советского Союза, особенно же все члены наших профсоюзов, мобилизовано на войну, — неужели вы откажетесь перевозить советских бойцов?

Командир «Кента» не знал, что ответить, и в конце концов уступил.

Двадцать второго декабря 1941 года делегация выехала из Москвы в поезде, увозившем Идена в Мурманск. 25 декабря она погрузилась на крейсер «Кент». 29 декабря корабль без всяких приключений прибыл в Гринок (Шотландия), и все мы сели в специальный поезд, который доставил нас в Лондон. Прощаясь с командиром крейсера, я сказал:

— Вот видите, все обошлось благополучно.

Бравый моряк ничего не ответил, но с сомнением покачал головой.

Была полночь, когда наш поезд прибыл в столицу. Несмотря на поздний час, делегацию встречала, помимо руководителей Генсовета во главе с Ситрином, еще большая толпа рабочих: рядовые английские пролетарии не скрывали своего энтузиазма.

В посольстве собралось много членов советской колонии, моя жена организовала дружеский ужин из русских блюд. Все были в каком-то радостно-приподнятом настроении, обменивались мнениями и новостями. Только около четырех часов утра мы доставили делегацию в ее резиденцию «Hyde Park Hotel».

На следующий день, 30 декабря, Ситрин показывал делегации достопримечательности Лондона, а также огромные разрушения, произведенные в столице налетами германской авиации. Особенно сильное впечатление производили руины палаты общины, многих кварталов Сити и окрестностей лондонского порта. Мэр района Бермондси сообщил гостям, что только в одном этом районе было уничтожено пять тысяч и сильно повреждено тринадцать тысяч домов. Во время поездки делегаты посетили огромное пожарное депо на берегу Темзы. Их встретили здесь очень радушно и показали документальный фильм о лондонских пожарах, вызванных воздушными бомбардировками. Потом оркестр исполнил романс «Очи черные» и песню «Последний нынешний денечек». Выбор вокальных номеров был несколько неожидан, но в добрых намерениях исполнителей не приходилось сомневаться.

Первого января 1942 года была установлена программа пребывания делегации в Англии. Решили разбиться на три группы, которые посетят ряд важнейших городов и промышленных предприятий в провинции. Каждый четверг все три группы будут возвращаться в Лондон для обмена опытом, подведения итогов и определения новых задач. Генсовет, со своей стороны, организует в различных районах «объединенные конференции тред-юнионов», где смогут выступать члены советской делегации. Общая тенденция Ситрина явно сводилась к тому, чтобы предотвратить слишком близкий контакт делегатов с рабочей массой и ввести встречи по возможности в рамки тред-юнионистской официальнойщины. Однако жизнь быстро опрокинула эти расчеты руководителей Генсовета. Обычно дело происходило так.

Советские делегаты приезжают в город. На вокзале их встречает огромная толпа рабочих с флагами и плакатами. Раздаются дружеские возгласы по адресу Советской страны, поются английские социалистические песни, особенно часто «Red Flag» («Красное знамя»). После выступления на тред-юнионистской конференции делегатов приглашают посетить одно или несколько местных промышленных предприятий. Здесь частью организовано, а частью стихийно происходят митинги. Тут же, на митинге, делают сборы в пользу Красного Креста. Митинг кончается, советские делегаты беседуют с отдельными группами рабочих и даже с отдельными рабочими. Всякие официальные рамки оказываются сломанными. Иной раз советских делегатов подхватывают на руки и восторженно качают —

обычай, почти неизвестный в Англии. Создается настоящая, дружеская связь между рабочими двух стран, которая крепит их общее дело и не очень нравится тред-юнионистским бюрократам...

За пять недель пребывания делегации ВЦСПС в Великобритании членам ее пришлось говорить на сорока митингах, посетить свыше полусотни крупнейших предприятий. Делегации показали также береговую оборону Англии в районе Фокстона (Ла-Манш).

Правительство уделило делегации ВЦСПС немало внимания. 9 января я представил делегацию Эрнесту Бевину, занимавшему тогда пост министра труда. 16 января делегацию принял лидер лейбористов Клемент Эттли, бывший в то время заместителем премьера (Черчилль находился в отъезде). 29 января она была приглашена к только что вернувшемуся в Англию Черчиллю, который выразил большое удовлетворение по поводу ее приезда и выступлений ее членов пред британскими рабочими. Официальные представители Бивербрука, министра снабжения, не раз встречали Шверника и других наших товарищей на посещаемых ими промышленных предприятиях.

В честь делегации ВЦСПС были устроены приемы Англо-русским парламентским комитетом и Обществом культурной связи Великобритании с СССР.

Кульминационным пунктом пребывания делегации на Британских островах явился массовый митинг в Лондоне 25 января, на котором Н. М. Шверник выступил с большой заключительной речью.

Рассказав о героизме Красной Армии и всего советского народа, Шверник твердо заявил, что, несмотря на успехи советских войск под Москвой, народ и правительство СССР прекрасно понимают, что предстоит очень тяжелая и длительная борьба с гитлеровской Германией. Но эту борьбу советский народ во что бы то ни стало доведет до конца. Та же задача стоит и пред британским рабочим классом.

Упомянув, что делегация имела возможность ознакомиться с работой английской промышленности на войну, председатель ВЦСПС заявил, что «организация производства, техническое оснащение предприятий произвели на делегацию самое лучшее впечатление». Тем не менее, по мнению делегации, «в промышленности Великобритании имеется еще немало неиспользованных резервов», которые «должны быть мобилизованы, и чем скорее это будет сделано, тем лучше для нашего общего дела».

«Будем изо дня в день, — воскликнул оратор, — поднимать производительность труда и давать армии Великобритании и Красной Армии Советского Союза все больше и больше танков, самолетов, пушек, минометов и другого вооружения!» Слова эти были покрыты бурными аплодисментами.

В посольстве СССР был устроен в честь делегации большой прием, на котором присутствовали члены британского правительства, лидеры лейбористской партии и тред-юнионов, парламентарии различных толков, общественные деятели и представители культуры, а также большое количество журналистов.

Четвертого февраля после пресс-конференции делегация ВЦСПС тронулась в обратный путь. Разумеется, в условиях военного времени ее возвращение домой было обставлено необходимой секретностью. Но отъезд наших товарищей из Шотландии не обошелся без некоторых трений, связанных с теми же суевериями, с которыми я познакомился в спорах с командиром крейсера «Кент».

Пятого февраля 1942 года делегация ВЦСПС погрузилась на английский крейсер «Адвенчур», направлявшийся из Гринока в Мурманск. Был сильный туман. В полночь на крейсер наскочил английский танкер. В правом борту крейсера образовалась большая пробоина; к счастью, он остался на плаву и даже сохранил способность двигаться, правда тихим ходом. Пришлось возвращаться в Гриннок. Легко понять, какое впечатление эта история произвела на английских моряков не только в Гриноке, но и в Лондоне! Неудачу «Адвенчура» объясняли в морских кругах тремя причинами: 1) он отплыл в пягницу (несчастливый день),

2) советская делегация состояла из тринадцати человек, 3) среди членов делегации были женщины. Моряки стали задавать друг другу вопрос: что же теперь делать?

Я узнал об этом и вместе с руководством нашей военной миссии в Англии крепко нажал на некоторые кнопки. В результате делегация ВЦСПС 8 февраля была посажена на другой крейсер «Каир», который 15 февраля и доставил ее вполне благополучно в Мурманск. Но характерная деталь: англичане посадили на борт «Каира» еще одного человека — журналиста, — чтобы число «штатских», едущих на крейсере, было не тринадцать, а четырнадцать.

Дня через три после отъезда делегации я встретился с министром информации Брендон-Бракенем. Он был консерватор, правая рука Черчилля, но умел трезво смотреть на вещи.

— Могу вас поздравить, — сказал мне Брендон-Бракен, — ваша профсоюзная делегация произвела прекрасное впечатление на наших рабочих... Ей верили и в результате стали лучше работать на заводах. Это очень ценит и правительство.

Действительно, Шверник и его товарищи сделали полезное дело, и не только в смысле повышения производительности британских оружейных заводов (в чем были заинтересованы и мы, как союзники Англии). Вся деятельность делегации ВЦСПС в сильнейшей степени способствовала укреплению веры англичан в то, что СССР сумеет выстоять под ударами гитлеровского нашествия и затем разгромить германскую военную машину. А в начале 1942 года это было очень важно.

3

Декабрьское контрнаступление советских войск под Москвой сыграло важнейшую роль в развитии второй мировой войны.

Военная ситуация в первой половине 1942 года выглядела для союзников достаточно мрачно. Только на советском фронте как будто бы начинался рассвет, но люди, за минувшие три года привыкшие к непрерывным победам фашистов, боялись верить в приближение дня, пока он не наступил.

В моем дневнике под датой 15 февраля 1942 года имеется запись, характеризующая политическое отражение военной ситуации в Англии:

«Какова реакция Англии на военные успехи СССР в течение последних десяти недель?

Вообще все довольны, особенно на фоне неудач в Ливии, Малайе и других местах. Так приятно иметь хорошие вести хоть с одного фронта — фронта фронтов! Здесь все больше начинают понимать, что на нашем фронте решается судьба войны, отсюда придет спасение. Колоссально возрос престиж Красной Армии. Все говорят о ней с восторгом. Полушутя-полусерьезно кое-кто из моих здешних знакомых задает вопрос: «Нельзя ли нам получить в долг парочку ваших генералов?» Криппс¹ очень поднял престиж «молодых» советских командиров. Все очень благодарны нам за то, что в последние девять месяцев нет германских налетов на Англию, что угроза вторжения гитлеровцев на Британские острова отпала. Да, СССР сейчас здесь очень популярен...

Такова картина. Ну, а ее анализ?

Широкие массы очень рады нашим успехам без всяких оговорок. Иначе с господствующим классом. В груди его сейчас две души, которые для краткости можно назвать как «черчиллевская» и «чемберленовская» (хотя сам Чемберлен уже мертв).

«Черчиллевская» душа рассуждает примерно так: «Германия посягнула на Британскую империю и на мировые позиции Англии — стало быть, надо ее разгромить. Русские бьют и, возможно, разобьют Германию. Очень хорошо. Русские сделают за англичан «грязную работу». Англичане же придут к шапочному разбору и, без больших потерь, церемониальным маршем вступят в Берлин. На буду-

¹ Тогдашний посол Англии в СССР.

щей мирной конференции Англия вместе с США составят «здоровый противовес» большевикам. Все складывается очень удачно: мы одержим победу дешевой ценой. Пусть русские делают свое дело».

«Чемберленовская» душа уже сейчас дрожит от страха: а что, если русские придут в Берлин одни? Что, если они станут слишком сильны? Что, если Красная Армия сделается хозяином континента? Что, если под влиянием советских успехов Европа большевизируется? Что, если Москва навяжет нам «советский мир»? Кто сможет ей помешать?

Группа Черчилля (Иден, Бивербрук, Брендон-Бракен, Крэнборн и другие) ради разгрома Германии готова идти с большевиками. Группа «чемберленовцев» (Маргесон, Кингсли, Вуд, Андерсон и другие) слишком ненавидит «коммунизм» и ради избежания «большевизации Европы» готова на компромисс с Германией генералов и помещиков.

Лейбористы занимают неопределенную позицию: сказывается их бесхребетность во внутренней политике и вражда к коммунистам.

После наших первых крупных успехов «чемберленовцы» молчат, а «черчиллевцы» нас даже хвалят. Но что случится, если Красная Армия станет приближаться к Берлину, да еще одна?.. Допускаю, что может наступить момент, когда сами англичане, без всяких понуканий с нашей стороны, побегут открывать второй фронт, чтобы предупредить оккупацию Берлина одной Красной Армией».

Как видно из приведенного, уже в тот ранний период Великой Отечественной войны у меня не было никаких иллюзий на счет истинных настроений и расчетов британского правительства. Последующее лишь подтвердило правильность этих опасений. Второй фронт во Франции был открыт только тогда, когда пред англичанами и американцами реально встала «угроза», что советские Вооруженные Силы и без этого добьют вермахт.

4

Четырнадцатого марта 1942 года я получил послание Сталина Черчиллю, которое совершенно неожиданно имело очень важные последствия. Само послание было кратко и не содержало ничего особенно замечательного: Сталин благодарил британского премьера за меры, принятые по обеспечению военных поставок СССР и по усилению воздушных бомбардировок Германии, предупредил о необходимости обмена мнений по формулировке о границах СССР в подготовлявшемся англо-советском договоре о послевоенном устройстве мира (обсуждение которого не было закончено во время визита Идена в Москву в декабре 1941 года) и писал:

«Выражаю твердую уверенность в том, что совместные усилия наших войск, несмотря на отдельные неудачи, в конечном счете сломят силы нашего общего врага и что 1942 год будет решающим в повороте событий на фронте борьбы с гитлеризмом»¹.

Это было еще одно — слегка завуалированное — напоминание о необходимости создания второго фронта во Франции.

Получив послание Сталина, я сразу позвонил Черчиллю. Он оказался не совсем здоров и находился в загородной резиденции премьеров Чекерсе. Секретарь снесся с Черчиллем и спустя полчаса передал мне приглашение последнего позавтракать с ним 16 марта.

Когда в назначенный час я приехал в Чекерс, меня встретил Иден и проводил к премьеру. Черчилль был в своем обычном «siren suit»² и сразу посадил меня за

¹ «Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», М. 1957, т. I, стр. 39. (В дальнейшем «Переписка».)

² «Костюм сирены» не имел ничего общего с античной мифологией. Это был темносиний комбинезон на «молнии», который можно было быстро надеть для того, чтобы бежать в бомбоубежище, если сирены оповестят о приближении вражеских самолетов. Тогда многие имели такие костюмы. Черчилль любил появляться в «костюме сирены» и даже принимал в нем министров и иностранных дипломатов.

стол справа от себя. Иден сел слева. Я тут же, за завтраком, передал премьеру телеграмму Сталина. Он быстро пробежал ее и, пожимая плечами, с легким раздражением бросил:

— Не вижу, как 1942 год может стать решающим годом.

Затем последовала длинная лекция о неспособности Англии в текущем году выполнить наше требование. Аргументы премьера я слышал уже не раз, от частого повторения они превратились в трафарет, звучали нудно и неубедительно. Я стал возражать, даже с горячностью. Черчилль явно чувствовал себя неловко, но все-таки твердо отстаивал свою старую позицию. Тогда я подумал: «Эти споры ни к чему не приводят, — не лучше ли попробовать сейчас, пользуясь некоторым смущением премьера, добиться от него какого-либо реального шага — пусть гораздо меньшего, чем второй фронт, однако практически облегчающего наше положение? Но какого шага?» Мгновение я был в нерешительности, но затем меня точно осенило...

Отправляясь в Чекерс, я бегло просмотрел только что полученную сводку с советского фронта, в которой, между прочим, было сказано, будто немцы где-то в районе Борисова пустили в ход газы... Я сказал:

— Вы говорите, мистер Черчилль, что создание второго фронта во Франции вам не под силу, несмотря даже на вступление в войну американцев.. Не станем сейчас спорить по этому поводу. Но окажите нам немедленную и практическую помощь другим способом...

— Каким? — с некоторой подозрительностью спросил Черчилль.

— А вот каким, — продолжал я. — Только что получены известия, что немцы применили газы на одном участке нашего фронта. Есть основания полагать, что в своем весеннем наступлении, которое они сейчас готовят, немцы могут широко развернуть газовую войну. Помогите нам предотвратить хотя бы это новое бедствие!

Черчилль точно взорвался и воскликнул:

— Как? Газовая война? Этого еще не хватало!

— Да, — подтвердил я, — газовая война неизбежна, если вы, англичане, вовремя не примете надлежащих мер.

— А что мы можем сделать?

— Вы можете сделать много и очень легко, — ответил я. — Пусть британское правительство заявит публично сейчас, именно сейчас, что в случае применения немцами газов на советском фронте английская авиация забросает немцев газовыми бомбами. Этого будет достаточно, чтобы удержать Гитлера от зверского шага.

Моя мысль, видимо, понравилась Черчиллю. Глаза у него вдруг заблестели, и он стал говорить о том, что Англия располагает мощными средствами химической войны и что если дело дойдет до драки, то немцам от британских газовых репрессий не поздоровится. Потом премьер обратился к Идену и спросил:

— Что вы думаете по этому поводу?

Иден ответил, что, по его мнению, заявление, о котором я говорил, можно сделать.

Это еще больше разогрело Черчилля, и он начал рисовать картины ужасов, которые обрушатся на немцев, если Гитлер вовремя не остановится.

Ловя его на слове, я задал Черчиллю вопрос:

— Когда британское правительство сделает свое заявление?

По лицу премьера вдруг пробежала какая-то тень, и он уже несколько иным, более деловым и обычным, тоном ответил:

— О, я постараюсь не задержать! Мне надо только посоветоваться о всех практических мерах с моими экспертами.

Мы распрощались, и я стал ждать исполнения Черчиллем своего обещания.

В послании Сталину от 21 марта Черчилль писал:

«Посол Майский был у меня на завтраке на прошлой неделе и упоминал о некоторых признаках того, что немцы при попытке своего весеннего наступления

могут использовать газы против Вашей страны. Посоветовавшись с моими коллегами и начальниками штабов, я хочу заверить Вас в том, что Правительство Его Величества будет рассматривать всякое использование ядовитых газов как оружия против России точно так же, как если бы это оружие было направлено против нас самих. Я создал колоссальные запасы газовых бомб для сбрасывания с самолетов, и мы не преминем использовать эти бомбы для сбрасывания на все подходящие объекты в Западной Германии, начиная с того момента, когда Ваши армии и народ подвергнутся нападению подобными средствами... Подобное предупреждение могло бы удержать немцев от добавления нового ужаса к тем многим, в которые они уже ввергли мир. Прошу Вас сообщить мне, что Вы думаете по этому поводу...»¹.

В ответе от 29 марта Сталин писал:

«Выражаю Вам признательность Советского Правительства за заверение, что Правительство Великобритании будет рассматривать всякое использование немцами ядовитых газов против СССР так же, как если бы это оружие было направлено против Великобритании, и что британские военно-воздушные силы не преминут немедленно использовать имеющиеся в Англии большие запасы газовых бомб для сбрасывания на подходящие объекты в Германии».

Далее Сталин просил распространить британское предупреждение также на Финляндию, поскольку имеются признаки, что ядовитые газы могут быть использованы также финнами, и прибавлял, что СССР, со своей стороны, готов сделать аналогичное предупреждение на случай газового нападения немцев на Англию. Сталин высказывал пожелание, чтобы британское предупреждение было сделано не позже конца апреля или начала мая².

Со второй половины апреля я начал справляться, когда же именно будет опубликовано предупреждение. Несколько раз я задавал этот вопрос Идену, раза два при случайных встречах в парламенте я спрашивал о том же Черчилля. Оба успокаивали меня, что вопрос принципиально решен, что предупреждение обязательно будет сделано, надо только еще кого-то известить, еще с кем-то посоветоваться... И вот наконец 10 мая премьер выступил по радио с очередным обзором хода военных действий. В нем, между прочим, имелся следующий абзац:

«Советское правительство сообщило нам, что немцы, отчаявшись в успехе своей агрессии, могут применить газы против русских армий и русского народа. Мы, со своей стороны, твердо решили не употреблять этого гнусного оружия, если оно не будет употреблено против нас. Хорошо зная, однако, наших «гуннов», мы не пренебрегали самой серьезной подготовкой к такой возможности. Я хочу сейчас заявить, что мы будем реагировать на неспровоцированное применение ядовитых газов против нашего русского союзника, как если бы это было сделано против нас самих. Если мы убедимся, что Гитлер совершил это новое злодеяние, мы используем наше большое и все растущее превосходство в воздухе на западе для возможно более широкого разрывания газовой войны против военных объектов в Германии. Таким образом, самому Гитлеру надлежит выбирать, желает ли он прибавить еще этот ужас к ужасу воздушной войны».

Около месяца спустя, 5 июня, Рузвельт сделал такое заявление:

«К нашему правительству поступают достоверные сведения о том, что японские военные силы в различных местностях Китая применяют ядовитые газы. Я хочу сделать совершенно ясным, что если Япония станет упорствовать в применении этой бесчеловечной формы войны против Китая или любой другой из объединенных наций, то ее акция будет рассматриваться нашим правительством, как направленная против Соединенных Штатов, и вызовет с нашей стороны полное возмездие той же монетой. Ответственность за это ляжет на Японию».

Оба приведенные предупреждения, сделанные вовремя и открыто, явились холодным душем для агрессоров: газы в сколько-нибудь широком масштабе не были пущены в ход во время второй мировой войны.

¹ «Переписка», т. I, стр. 39.

² Там же, стр. 40—41.

5

Московские переговоры о двух договорах (взаимопомощи между СССР и Англией и о послевоенном устройстве мира), происходившие во время визита Идена в СССР в декабре 1941 года, не были закончены ввиду вскрывшихся между сторонами разногласий по второму договору. Продолжение переговоров должно было состояться в Лондоне. В результате в январе — марте 1942 года между Иденом и мной произошел ряд встреч, на которых мы пытались прийти к какому-либо соглашению. Однако темп переговоров оказался довольно медленным, что объяснялось двумя главными причинами: правительственным кризисом в Англии и трудностью преодоления расхождений по содержанию самого договора.

Правительственный кризис возник в связи с теми военными неудачами, которые Англия имела в начале 1942 года. Особенно сильное волнение в стране вызвал прорыв линкоров «Шарнгорста» и «Гнейзенау» через Ла-Манш и Па-де-Кале (12 февраля) и падение Сингапура (15 февраля). В моем дневнике под датой 18 февраля 1942 года имеется такая запись:

«17-го я был в парламенте. Черчилль выступал по поводу падения Сингапура. Он выглядел плохо, был раздражителен, обидчив, упрям. Депутаты были критичны, взвинчены. Встречали и провожали Черчилля плохо. Никогда еще я не видел ничего подобного... После выступления премьера стало ясно: генеральные дебаты в парламенте неизбежны. Спорили: когда? Черчилль опять упирался. Решено: на будущей неделе. Мое общее впечатление: кризис быстро назревает...

Черчилль делает все труднее поддержку своего правительства даже для друзей. Он на каждом шагу заявляет: «Я отвечаю за все». Это значит: нельзя критиковать министров, генералов и пр., хотя под его защитным зонтиком собралось немало дураков, посредственностей и потенциальных представителей «пятой колонны»... В результате критика растет — в парламенте, в прессе, в массах. Большую роль играют военные поражения. Вчерашнее заседание показало, что волна недовольства высока. Если Черчилль будет дальше упорствовать, она может перелестнуть через него. Думаю, Черчилль уступит и пойдет на компромисс.

Кто возможные наследники Черчилля в случае его отставки? Широко котируются два имени: Иден и Криппс. Иден давно уже котируется. Звезда Криппса феерически взлетела сейчас (после возвращения из Москвы, где он был британским послом). Причины: широкий обыватель верит в Криппса, потому он прогрессивен, умен, оратор, а главное, поставил ставку на выигрышную карту — СССР. Кроме того, он вне партий, а партийные махинации всем осточертели...¹ Прочна ли, однако, популярность Криппса? Сомневаюсь. Но не сомневаюсь в том, что, если бы сейчас произошла реконструкция правительства, он мог бы стать премьером или хотя бы членом военного кабинета.

Лично я за Черчилля как премьера. Он надежен, как враг Германии; он волевой человек. Ни Криппс, ни Иден недостаточно сильны для того, чтобы править страной в столь бурные времена».

Спустя несколько дней после того, как были написаны приведенные строки, действительно произошла реконструкция правительства: несколько министров «чемберленовцев» было выведено, несколько новых министров «черчиллевцев» было назначено. Черчилль остался премьером, Криппс стал членом военного кабинета и лидером палаты общин (важный пост в английской парламентской иерархии). В итоге правительственный кризис был преодолен и положение Черчилля вновь укрепилось. Но не совсем.

Да, положение Черчилля даже и после февральской реконструкции правительства еще не могло считаться окончательно упрочившимся. Если он пережил кризис и остался премьером, то это объяснялось главным образом тем, что дру-

¹ Криппс был членом лейбористской партии, но подвергся исключению из нее за проповедь единого фронта в рабочем движении. В период работы в Москве в качестве британского посла и затем в Лондоне в качестве члена военного кабинета Криппс официально считался беспартийным.

гого, лучшего лидера на горизонте в то время не было. Это понимали все, без различия партий.

Как бы то ни было, но к началу марта 1942 года первая причина медлительности переговоров о договоре — правительственный кризис — была устранена.

Восьмого апреля Иден предложил, чтобы для завершения переговоров и подписания договора в Лондон приехал советский нарком иностранных дел В. М. Молотов. Нарком, однако, ответил, что в настоящее время он не может покинуть Москву и что мне поручается довести вопрос о договоре до конца. Иден воспринял отказ Молотова довольно болезненно, но переговоры продолжал, хотя и без большого энтузиазма. В конце апреля Молотов вдруг совершенно неожиданно телеграфировал, что он принимает приглашение британского правительства и будет в Лондоне в течение мая месяца. Я не знал причины этой перемены планов, и только во время пребывания Молотова в Англии выяснилось, что решающую роль в этом сыграл Рузвельт.

Дело было в том, что в связи с разногласиями по вопросу о договоре американский президент вступил в непосредственный контакт со Сталиным. Президента интересовали и многие другие проблемы, связанные с войной. Его идея состояла в том, чтобы лично встретиться со Сталиным и в порядке дружеского обсуждения урегулировать все спорное, что стояло между обеими сторонами. Впоследствии М. М. Литвинов, бывший тогда советским послом в Вашингтоне, мне рассказывал, что, по его впечатлению, Рузвельту хотелось беседовать со Сталиным с глазу на глаз, без Черчилля.

Это впечатление М. М. Литвинова подтверждается и моим собственным опытом. 2 февраля 1942 года один из близких советников Рузвельта Аверелл Гарриман прилетел в Лондон и пригласил меня на завтрак, который состоялся 5 февраля. Мы были вдвоем, и Гарриман прямо поставил мне вопрос: нельзя ли было бы устроить свидание Рузвельта со Сталиным? Гарриману известно, что Рузвельт хочет такого свидания, — хочет ли его Сталин? В качестве места возможной встречи Гарриман предлагал либо Исландию, либо район Берингова пролива.

Я прежде всего поинтересовался, были ли по этому поводу какие-либо разговоры с М. М. Литвиновым в Вашингтоне, ибо данный вопрос целиком относится к его компетенции. Гарриман отозвался незнанием, но допускал, что таких разговоров с М. М. Литвиновым не было. В виде пояснения он заметил, что данный вопрос находится еще в слишком «сыром виде», чтобы американское правительство считало возможным производить на такую тему даже неофициальный зондаж у советского посла, аккредитованного при президенте. Удобнее это сделать через Лондон.

Я сообщил о разговоре с Гарриманом в Москву и получил оттуда ответ, что Сталин считает свидание с Рузвельтом желательным, однако ввиду напряженного состояния на фронте он не может покинуть СССР и предлагает встретиться в Архангельске или Астрахани. Я передал ответ Москвы Гарриману. К тому моменту «Шарнгорст» и «Гнейзенау» уже прорвались в Северное море, и Гарриман заявил, что при таких обстоятельствах Исландия и Архангельск как место встречи отпадают, до Астрахани для Рузвельта слишком далеко, остается только одна возможность — район Берингова пролива. Но из Москвы пришел ответ, что до Берингова пролива слишком далеко для Сталина. В итоге встреча не состоялась¹.

От всего рассказанного эпизода у меня осталось впечатление, что Рузвельт действительно хотел повидаться со Сталиным один на один, без Черчилля, но что Сталин по каким-то причинам этого совсем не хотел. Несколько позднее, в январе 1943 года, Сталин также отказался от приезда в Касабланку, куда он был приглашен на совещание с Рузвельтом и Черчиллем. Столкнувшись с нежеланием Ста-

¹ Обо всей этой истории я информировал М. М. Литвинова письмом от 27 февраля 1942 года.

лина весной 1942 года покидать Москву, Рузвельт в послании от 12 апреля говорил:

«Возможно, если дела пойдут так хорошо, как мы надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально приближающееся к обмену мнениями. Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с использованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение. Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова и доверенного генерала»¹.

Такова была предыстория визита Молотова в США. Ну, а раз он отправлялся в Вашингтон, естественно было по дороге заехать в Лондон. Отсюда последовало и неожиданное изменение планов.

Тем временем в порядке подготовки предстоящих переговоров Молотова с Иденом около 1 мая я вручил Форейн-оффису наши контрпредложения по договору, из которых вытекало, что советская сторона вопрос о советско-польской границе считает подлежащим компетенции только СССР и Польши. Имелось в них и одно новое предложение: британское правительство в секретном протоколе должно было санкционировать заключение Советским Союзом пактов взаимопомощи с Финляндией и Румынией. Прочитав наш контрпроект, я подумал: «Этот вариант не имеет никаких шансов на одобрение англичанами». Откровенно говоря, я никак не мог понять, зачем нужно было выдвигать в столь трудный для нас момент столь неприемлемые для другой стороны требования.

Итак, я стал ждать прибытия Молотова в Лондон. В условиях войны это была далеко не простая операция. Мы были предупреждены, что полет намечен прямым путем из Москвы в Шотландию, где самолет должен приземлиться на аэродроме в Данди. Встречать советского наркома туда выехало в специальном поезде довольно многочисленное общество: с советской стороны, кроме меня, еще торгпред Борисенко, посол при эмигрантских правительствах (польском, югославском, норвежском и других) А. Е. Богомолов и глава нашей военной миссии в Англии Н. М. Харламов; британскую сторону возглавлял постоянный товарищ министра иностранных дел А. К. Кадоган в сопровождении нескольких других гражданских и военных представителей. Всего было человек двадцать.

В Данди наш поезд был поставлен на запасном пути. Мы полагали, что советский самолет прибудет на следующее утро, но к вечеру пришло сообщение из Москвы, что ввиду нелетной погоды на том конце трассы вылет откладывается на завтра. На другой день к вечеру опять пришло сообщение: в Москве погода нелетная. На третий день погода в Москве прояснилась, но зато, как назло, погода на английском конце оказалась нелетной. То же самое случилось и на четвертый день. Такая игра погоды в прятки продолжалась около недели. Общество встречающих скучало, томилось, чертыхалось, развлекалось прогулками по окрестностям, но не покидало Данди.

Между тем специальный поезд из Лондона, стоявший на запасном пути и населенный какими-то необычными персонажами, не мог не привлечь внимания железнодорожного персонала. Город Данди не очень большой, все там друг друга знают и всякие «новости» среди жителей распространяются с необыкновенной быстротой. Не удивительно поэтому, что на пятый или шестой день после нашего прибытия в Данди перед вагонами специального поезда появился мэр города в официальном костюме и с цепью на шее, чтобы приветствовать от имени населения «его превосходительство посла союзной державы», то есть меня. Мэра сопровождало несколько муниципальных советников. Я пригласил депутацию города в вагон и, поблагодарив за внимание, угостил чаем с печеньями. Но, когда депута-

¹ «Геральдика», т. II, стр. 20—21.

ция удалась, мы устроили «военный совет» и решили, что дальше так продолжаться не может. Очевидно, цель прибытия поезда стала секретом Полишинеля, и это могло поставить под угрозу безопасность полета Молотова из СССР в Англию. На следующее утро весь поезд с его обитателями вернулся в Лондон; перед отъездом был распушен слух, что визит советского наркома отменен. А для встречи Молотова на месте были оставлены только два человека: В. Н. Павлов, переводчик Молотова, который прибыл в Англию заранее, и один чиновник Форейн-оффиса, еще не ходивший в особенно высоких чинах.

Молотов прилетел в Англию 20 мая. Я выехал встретить его по дороге от Данди до Лондона. Где-то на середине пути я пересел из поезда, шедшего на север, в поезд, шедший на юг, где находились советский нарком и сопровождающие его лица, среди которых находился также «доверенный генерал», о котором Сталина просил Рузвельт. По дороге, в вагоне, я вкратце информировал Молотова о положении дел в Англии и, между прочим, предупредил его, что наш проект договора имеет мало шансов на одобрение британской стороны. Молотов, явно недовольный моим сообщением, бросил:

— Посмотрим!

Перед самым Лондоном советских гостей встретили Иден и Кадоган и отвезли их в Чекерс, где была отведена официальная резиденция. Это было символом почета: в загородной резиденции премьера останавливались только наиболее высокие посетители из других стран.

В тот же вечер Черчилль устроил в Чекерсе в честь советской делегации большой обед с участием многих членов правительства, а после обеда увел Молотова, Идена и меня в свой кабинет и приступил к разговорам. Мы были только четвером. Роль переводчика выполнял я. В кабинете премьера мы просидели часа два. Хорошо помню, как Черчилль, стоя у большого глобуса, с увлечением и горячностью подробно рассказывал, как Англия до сих пор вела войну и каковы ее расчеты на будущее. Он особенно подчеркивал мужество и решимость Англии — этих маленьких островов, составляющих почти микроскопический кусочек суши среди огромных континентов и безграничных океанов, — сопротивляться союзу трех великих держав, ставших на путь мировой агрессии.

— И вот, — восклицал Черчилль, — прошло два года, мы уцелели, и не только уцелели, но и набираем силы, крепнем, рассчитываем на победу! Это похоже на настоящее чудо!

О том, что маленькие Британские острова поддерживала гигантская империя, премьер предпочитал умалчивать. Мало говорил он и о помощи со стороны США.

Касаясь предстоящих переговоров, Черчилль несколько таинственно заметил, что, если не удастся достичь соглашения по имеющимся текстам (английскому и советскому), он, возможно, сделает какие-то альтернативные предложения.

На следующий день начались формальные переговоры с Иденом в Форейн-оффисе. С Молотовым, кроме меня, были еще Соболев и переводчик Павлов. Идена сопровождала целая фаланга работников министерства во главе с Кадоганом.

Как и следовало ожидать, между сторонами оказались крупные разногласия: мы настаивали на немедленном признании советско-польской границы, как она была на 22 июня 1941 года, а англичане непременно хотели оставить решение этого вопроса до мирной конференции после окончания войны. Они возражали также против англо-советского секретного протокола, санкционирующего заключение Советским Союзом пактов взаимопомощи с Финляндией и Румынией. Имелись и другие пункты расхождения.

Еще два заседания прошли в бесплодных спорах, не приведя ни к какому соглашению. Тогда на четвертом заседании Иден, констатировав, что по имеющимся проектам договора, видимо, трудно достигнуть единодушия, положил на стол совсем новый документ. Это и были те альтернативные предложения, о которых Черчилль упоминал во время нашего первого вечернего разговора.

Реакция советской стороны была резко отрицательная: альтернативные предложения совершенно обходили вопрос о границах СССР. Соответственная телеграмма с приложением текста этих предложений была послана в Москву.

И вдруг из Москвы пришел совершенно неожиданный ответ: советской делегации предписывалось снять все свои прежние предложения и вести дальнейшие переговоры на базе нового английского проекта.

Не знаю, что заставило Сталина так круто изменить свою позицию. Но, как бы то ни было, поворот был сделан. На основе альтернативных предложений уже нетрудно было договориться об окончательной редакции договора. 26 мая в торжественной обстановке в кабинете Идена в присутствии Черчилля, Эттли и Синклера (трех лидеров трех партий, составлявших правительственную коалицию), при огромном стечении фотографов и кинооператоров договор был подписан Молотовым и Иденом. Он носил официальное наименование «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».

Содержание договора сводилось к следующему.

В первой части, заменившей собой соглашение 12 июля 1941 года о военной взаимопомощи, говорилось о том, что обе стороны на протяжении войны оказывают друг другу военную и всяческую иную помощь в борьбе против гитлеровской Германии и ее европейских сообщников, а также обязываются не вести с ними переговоров иначе, как по общему согласию.

Во второй части, которая должна была оставаться в силе двадцать лет, устанавливались основные принципы послевоенного сотрудничества СССР и Англии. В статье 3 обе стороны заявляли о своем желании объединиться с другими единомышленными государствами в принятии общих мер в целях обеспечения мира и сопротивления агрессии. В статье 4 они гарантировали взаимную помощь в случае, если одна из сторон будет вновь вовлечена в войну с Германией или ее союзниками. В статьях 5—7 стороны обязывались не участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Как видим, этот договор совершенно не касался вопроса о границах. И все-таки он имел в тогдашней обстановке очень большую ценность — военную и политическую. Он был ратифицирован Советским Союзом 18 и Англией 24 июня и вошел в силу после обмена ратификационными грамотами 4 июля 1942 года.

История переговоров об англо-советском договоре наглядно показала, как ошибался Сталин в оценке ситуации, выдвигая явно не выполнимые в тот период требования.

6

В начале марта 1942 года я встретил на одном дипломатическом приеме американского посла Д. Вайнанта, который дружественно относился к СССР. Я уже упоминал о той полезной роли, которую он сыграл в поездке Гопкинса в Москву вскоре после нападения Германии на нашу страну¹. Вайнант отвел меня в уголок, где никого не было, и доверительно сказал:

— Могу сообщить вам приятную новость: президент Рузвельт и начальник нашего генштаба генерал Маршалл считают врагом № 1 Германию, а не Японию и полагают, что ближайшим шагом США и Англии должно быть вторжение в Северную Францию. Наши английские друзья не вполне с этим согласны, но я надеюсь, что в конце концов наша точка зрения восторжествует.

Я попробовал расспросить Вайнанта о подробностях американских планов, но он ответил, что пока сам с ними не знаком. Не знаю, так ли это было в действительности — может быть, Вайнант просто не считал пока удобным слишком

¹ См. «Новый мир», № 12, 1964.

углубляться в эту тему, — но было ясно, что лично он очень сочувствует намерениям Вашингтона.

Сообщение Вайнанта подало мне мысль выступить с открытым заявлением в пользу второго фронта. Это могло бы оказать известное влияние на британское общественное мнение и — косвенно — на правительство. Необходимо было, однако, соблюдать большую осторожность, чтобы не раздражить Черчилля и не создать какого-либо ненужного конфликта. Навстречу мне пошел благоприятный случай.

Еще в конце 1941 года английское правительство направило в Мурманск несколько эскадрилий своих воздушных сил, чтобы они совместно с советскими летчиками вели борьбу против германских вооруженных сил в районе Нордкапа, сильно затруднявших прохождение в Мурманск и Архангельск англо-американских караванов судов с военными грузами для Советской Армии. Англичане сражались хорошо, и некоторые из них были награждены советскими орденами. Четверо из британских летчиков вернулись домой еще до решения Советского правительства о присвоении им знаков отличия, и мне было поручено вручить им ордена в Лондоне. Самый акт вручения произошел 25 марта. Обставлен он был торжественно. Мы пригласили в посольство целый ряд общественных, политических и военных деятелей Великобритании, представителей прессы, радио и кино. Присутствовала также миссис Черчилль. Белый зал посольства был переполнен, и среди собравшихся царило то несколько тревожное напряжение, которое всегда отменяет какие-либо важные и берущие за сердце события.

При вручении орденов я произнес речь, в которой сначала сказал немало теплых слов по адресу четырех английских летчиков, которые они вполне заслужили, а затем перешел к вопросам более общего характера. Я выразил надежду, что «1942 году суждено стать поворотным пунктом» в развитии войны и что военное сотрудничество Англии и СССР в этом году будет столь же тесным и товарищеским, каким было сотрудничество британских и советских летчиков в Мурманске. И далее я развил мысль о том, что для успешности такого сотрудничества необходимо всегда помнить о четырех важнейших вещах.

Первая вещь состоит в том, что «мы ведем сейчас современную войну, не войну XIX века, даже не войну 1914—1918 годов, а войну 1939—1942 годов». Нынешняя же война является войной моторов, и потому «быстрота становится лозунгом дня».

Вторая состоит в том, что «простое арифметическое превосходство одной стороны над другой в населении, территории, естественных богатствах, промышленных возможностях само по себе еще не гарантирует победы... В борьбе прежде всего учитываются не потенциальные, а фактически мобилизованные ресурсы... Секрет победы состоит в том, чтобы в решающий момент на решающем участке иметь решающее превосходство над противником».

Третья вещь состоит в том, чтобы держать инициативу на фронте в своих руках. «На советском фронте инициатива вырвана из рук Гитлера... Однако на некоторых других фронтах инициатива все еще находится в руках врага... Союзники должны ликвидировать такое положение».

Наконец четвертая вещь состоит в том, что «положение, будто бы «время на нашей стороне», отнюдь не является аксиомой». Напротив, «между обоими лагерями происходит гонка за выигрыш времени... Враг ставит ставку на 1942 год. Именно весной и летом этого года он собирается сделать «сверхчеловеческое» усилие, чтобы победить. Задача союзников очевидна: они тоже должны поставить ставку на 1942 год и весной и летом именно этого года сделать свое «сверхчеловеческое» усилие для того, чтобы разбить врага».

Закончил я свое выступление следующими словами:

«Часто можно услышать: но союзники еще не закончили своей подготовки. Я не знаю, был ли в истории какой-либо главнокомандующий, который накануне боя сказал бы, что он к нему вполне подготовлен... Все союзники, взятые вместе, уже сейчас имеют все необходимое для победы: войска, танки, самолеты, оружие.

Нельзя ждать, пока последняя пуговица будет пришита к куртке последнего солдата. Времена слишком грозны. К тому же история — не тротуар Пикадилли... Сейчас решающий момент — 1942 год, решающий участок мирового фронта — СССР. Из этого надо исходить. Если союзники действительно хотят победы (а в этом я не сомневаюсь), то... вся работа штабов должна быть проникнута одной мыслью, одним лозунгом — 1942 год, а не 1943!»

Моя речь появилась в английской и советской печати. В Лондоне она не всем понравилась, в правительственных кругах ее встретили без всякого энтузиазма, но все-таки никаких дипломатических осложнений она не вызвала. Зато в широких кругах английской демократии эта речь произвела благоприятное впечатление. Помню, как один тред-юнионистский лидер («второго ранга») посетил меня в посольстве, долго жал мне руку и все повторял:

— Вы сказали то, что надо было сказать Черчиллю, да и лейбористским лидерам, сидящим в правительстве.

Широкий отклик моя речь нашла в Советском Союзе. Особенно посчастливилось фразе, что «нельзя ждать, пока последняя пуговица будет пришита к куртке последнего солдата». Мне не раз напоминали ее.

7

Говоря о втором фронте, я должен с особенным вниманием остановиться на позиции Черчилля, ибо не подлежит никакому сомнению, что, помимо причин более общего характера, он персонально сыграл громадную роль в судьбе всей этой проблемы.

Припоминая сейчас все, что я видел и слышал в годы войны, все, что я знал о Черчилле из многочисленных встреч и бесед с ним в предвоенные годы, все, что я читал о Черчилле и что мне рассказывали о нем, — я могу достаточно хорошо обрисовать его отношение к вопросу о втором фронте в Северной Франции.

Когда в 1934-году мы впервые познакомились с Черчиллем, он мне совершенно откровенно сказал, что его богом является Британская империя и что все его политические действия определяются интересами сохранения империи. Именно поэтому после захвата Гитлером власти в Германии Черчилль пришел к выводу, что в тот момент величайшей опасностью для империи является Гитлер и что для защиты империи Англии следует восстановить Антанту первой мировой войны, то-есть пойти на блок с Советской Россией, против которой в 1918—1920 годах он, как известно, организовал крестовый поход четырнадцати государств.

Теперь, после 22 июня 1941 года, интересы Британской империи по-прежнему определяли стремления Черчилля, однако он считал, что эти интересы прежде всего связаны с Атлантикой и Тихим океаном, с бассейном Средиземного моря и Ближним Востоком. Вопрос же о «России» (как Черчилль предпочитал называть СССР) стоит на втором месте и вдобавок еще проникнут внутренним противоречием: «Россия» нужна как союзница против Германии и в то же время «Россия» опасна, ибо если она выйдет из войны очень усилившейся, то может поставить в трудное положение Британскую империю — не как завоеватель ее территорий, а как мощный морально-политический фактор, способствующий ее внутреннему разложению. Черчилль не хотел поражения СССР, ибо в этом случае победоносная Германия с удвоенной силой обрушилась бы на Англию и, вероятно, в конце концов оккупировала бы Британские острова. Но Черчилль не хотел также полного разгрома Германии, ибо в этом случае СССР стал бы слишком могущественным и исходящее от него влияние грозило бы подорвать колониальные основы Британской империи, да и вообще вызвать в мире большие потрясения антикапиталистического характера. Идеальным, с точки зрения Черчилля, было бы, если бы и Германия и СССР вышли из войны сильно потрепанными, обескровленными и на протяжении по крайней мере целого поколения бродили бы на костылях, в то время как Англия пришла бы к финишу с минимумом потерь и в доброй форме евро-

пейского боксера. Отсюда естественно вытекало стремление проявить максимум экономии в затрате собственных усилий на выигрыш войны и, наоборот, переложить максимум усилий, страданий и потерь для достижения этой цели на Советский Союз.

Такое стремление оказывалось тем более упорным, что оно имело корни в вековых традициях британской политики. Известно, что в минувшие столетия Англия не раз участвовала в общеевропейских войнах, но при этом обычно — до войны 1914—1918 годов — участвовала деньгами, политическим влиянием и военно-морским флотом. Сухопутные операции возлагались всегда на плечи континентальных союзников Англии, в поддержку которым она присылала лишь «символический» отряд своей армии весьма скромного размера. Этот отряд имел целью не столько оказывать реальную помощь союзным войскам, сколько своим присутствием подымать их дух и повышать их готовность приносить жертвы ради защиты британских интересов.

Первая мировая война показала, что в обстановке XX века такая стратегия больше невозможна: Англия в ходе ее была вынуждена перебросить на континент массовую армию. Вторая мировая война еще резче обнаружила необходимость для Англии иметь армию, размеры которой исчислялись миллионами человек. Однако Черчилль старался спасти из старой стратегии все, что еще можно было спасти, и не без успеха. Доказательством тому может служить тот факт, что за шесть лет величайшей войны в истории Англия потеряла убитыми меньше четырехсот тысяч человек.

Конечно, забота о ведении войны «малой кровью» заслуживала бы всяческого одобрения, но при одном непрременном условии: если бы это не окупалось «большой кровью» союзника или союзников. В данном конкретном случае это основное условие было резко нарушено. Даже с учетом разницы в количестве населения, длине фронтов, численности армий и т. д. совершенно очевидно, что на плечи Советской страны легли непропорционально огромные тяготы. И это далеко не в последней степени объяснялось позицией, занятой Англией и США в вопросе о втором фронте.

На протяжении 1941—1943 годов я имел много разговоров с Черчиллем о военной стратегии вообще, о втором фронте в частности, и меня всегда поражало его одностороннее упорство в защите раз составленных взглядов.

Как представлял себе Черчилль картину, ход и исход войны?

Примерно так.

Враг № 1 — это Германия. Япония стоит на втором месте. Война против Германии должна носить характер не штурма (конечно, достаточно подготовленного штурма), а длительной осады. Германию нужно возможно строже блокировать экономически и продовольственно, а также изнурять и ослаблять второстепенными военными операциями на периферии ее европейской «империи». Постепенно эти операции должны продвигаться в глубь «империи», все больше сжимая кольцо вокруг Берлина. Давление союзников извне неизбежно будет дополняться растущим под его влиянием, а также под влиянием все усиливающихся воздушных налетов разложением изнутри. Рано или поздно должен наступить момент, когда комбинированное действие обоих факторов подорвет военное могущество гитлеровской Германии и она начнет разваливаться. Вот тогда и надо будет открыть второй фронт в Северной Франции. Он не потребует больших жертв и, вероятно, превратится в нечто, напоминающее триумфальное шествие англо-американских войск к Берлину. Черчилль при этом рассчитывал, что западные державы окажутся в германской столице раньше, чем СССР, и это очень усилит их позиции при решении всех послевоенных проблем.

Такова была общая концепция британского премьер-министра. Я не хочу сказать, что он откровенно излагал ее мне в столь законченном виде, — конечно, нет! Однако из многочисленных бесед с ним, из отдельных его замечаний, оценок, суждений, высказываний, которые мне приходилось слышать по различным пово-

дам, я все больше улавливал сущность его внутреннего «кредо». Это помогало мне лучше рассчитывать свои практические шаги.

Из всех бесед с Черчиллем на тему о втором фронте особенно запомнились мне две. Одна происходила в середине марта 1942 года, как раз в тот день, когда я добился от премьера обещания выступить с открытым заявлением о газовых репрессиях Англии в случае развертывания Германией газовой войны в СССР. В переданном тогда мной послании Сталина говорилось, что 1942 год должен стать решающим годом войны. Черчилль возражал против возможности этого и отодвигал открытие второго фронта в Северной Франции до 1943 года. Полемизируя с премьером, я сказал (цитирую по записи в моем дневнике от 16 февраля 1942 года):

«Не знаю, как смотрите вы, но я считаю, что мы сейчас стоим пред лицом грозной ситуации. В ходе войны действительно решающий момент. Или — или. Каково положение? Германия готовит в этом году огромное весеннее наступление. Она ставит ставку на этот год. Если мы сумеем разбить весеннее наступление Германии, война по существу выиграна. Становой хребет гитлеровской военной машины будет перебит в этом году. Останется лишь добить бешеного зверя. А с поражением Германии все остальное уже будет сравнительно легко. Но представим себе, что мы не сможем разбить германское наступление весной. Представим себе, что Красная Армия вынуждена будет опять перейти к отступлению, что мы опять начнем терять территории, что немцам удастся прорваться на Кавказ, — что тогда? Ведь в этом случае Гитлер не остановится на Кавказе. Он пойдет дальше — в Иран, Турцию, Египет, Индию. Он сомкнет руки с Японией где-либо в бассейне Индийского океана, он протянет свои руки к Африке. Нефтяная, сырьевая, продовольственная проблемы Германии будут разрешены. Британская империя рухнет, а СССР потеряет исключительной важности территории. Конечно, даже в этих условиях СССР стал бы продолжать войну. Допустим, что Англия и США тоже стали бы продолжать борьбу. Но каковы были бы наши шансы на победу? И когда?.. Вот каков выбор: сейчас или никогда!»

Черчилль, слушавший меня все время с нахмуренным лицом и склоненной набок головой, тут вдруг резко вздернулся и с сильным волнением воскликнул:

— Мы лучше умрем, чем примиримся с таким положением!

Иден, сидевший слева от премьера, прибавил:

— Я вполне согласен с послем. Вопрос стоит именно так: сейчас или никогда!

Я же продолжал:

— Конечно, Красная Армия с прошлого года стала сильнее, а германская армия слабее. Конечно, мы будем изо всех сил драться в этом году. Но кто может ручаться за будущее? Кто знает, нет ли у Гитлера каких-либо новых военных изобретений? И даже если оставить в стороне вопрос о «секретном оружии», ведь Гитлер имеет активную (хотя, может быть, не всегда добровольную) помощь своих союзников. Между тем СССР до сих пор выносит один весь гигантский напор гитлеровской военной машины. Англия же и США все еще размышляют, какой же год является решающим: 1942 или 1943?.. Англия и США должны тоже поставить ставку на 1942 год, должны в этом году бросить в бой все свои силы... Если этого не будет сделано, то создастся очень опасное положение: в то время как «ось» будет драться обеими руками, союзники будут драться только одной. Такой ситуации ни в коем случае нельзя допускать!

Иден опять целиком поддержал меня.

Черчилль сидел, погруженный в размышления. Наконец он поднял голову и сказал:

— Может быть, вы и правы. Вся имеющаяся у меня информация говорит о том, что немцы готовят удар на восток... Да, вам придется выдержать весной страшный удар. Мы должны вам помочь. Сделаем все, что сможем.

Эта каучуковая формула «сделаем все, что сможем» меня только сильно встревожила. И не без основания. Ниже я подробно расскажу, как всего лишь

через три недели после приведенного разговора британский премьер открыл упорную кампанию саботажа второго фронта во Франции не только в 1942, но и в 1943 году.

Другая беседа с Черчиллем о втором фронте, крепко засевшая у меня в памяти, происходила летом 1942 года, уже в то время, когда большое германское наступление, которого мы ожидали во время мартовского разговора, развернулось в полной мере. Я задал премьеру вопрос:

— Почему вы считаете, что Египет легче всего защищать от немцев в Египте? Вполне возможно защищать его под Парижем. Все зависит от стратегического расчета и количества силы, приложенной к пункту удара.

Черчилль вскипел и стал с горячностью доказывать, что я ошибаюсь. Чем больше он говорил, тем яснее становилось, что на всех его рассуждениях лежит яркий отпечаток горячей империалистической эмоции. Черчилль не просто считал Египет важным звеном в системе имперской обороны — он был явно влюблен в идею британского господства в Египте, в Аравии, на северном берегу Африки, везде, что составляло тогда средиземноморский и ближневосточный театр военных действий. Здесь были его сердце и его ум, и имена Тобрука или Эль-Аламейна говорили ему больше, чем имена Гавра или Орлеана.

Когда я напомнил Черчиллю, что Англия и США в коммюнике 12 июня 1942 года обещали открыть второй фронт в том же году (подробнее об этом ниже), он снова стал сильно волноваться.

— Немцы имеют во Франции сорок дивизий, — утверждал Черчилль, повторяя то, что он мне не раз говорил раньше, — французский берег Ла-Манша ими хорошо укреплен... С нашей стороны нужны огромные силы, чтобы преодолеть германское сопротивление в случае попытки англо-американского вторжения. Этих сил у нас сейчас нет. Попытка форсировать высадку на французском берегу в настоящий момент неизбежно кончилась бы только катастрофой. Воды Ла-Манша покраснели бы от нашей крови, а вам от этого не было бы никакой пользы.

Я возразил, что наши сведения о положении дел во Франции дают несколько иную картину. Немецких войск там гораздо меньше, чем считают англичане, и качественно они стоят на очень низком уровне: все лучшие части сконцентрированы на советско-германском фронте. Немецкие укрепления на ла-маншском берегу — на три четверти продукт фантазии Геббельса. То, что действительно есть, не представляет сколько-нибудь серьезных препятствий для вторжения. Шансы на успех у англо-американцев хорошие — надо только не ждать, не откладывать до бесконечности решительного шага.

Когда я кончил, Черчилль сказал:

— В лучшем случае трансламаншская операция содержит в себе большой риск... В ней много гадательного... Вероятность больших потерь очень велика... Мы маленькая страна — нас всего пятьдесят миллионов (об империи премьер еще раз как-то забыл), и мы не можем бросаться человеческими жизнями.

— А вы думаете, что мы, Советский Союз, можем бросаться человеческими жизнями?

Черчилль стал заверять меня, что он этого совсем не думает, но что Англии в данном случае приходится «по одежке протягивать ножки»...

Конкретно рассуждения Черчилля означали, что он по-прежнему против «стратегии штурма» и за «стратегию длительной осады». Правда, результатом его стратегии должно было быть сильное удлинение сроков войны и сильное увеличение людских жертв и материальных потерь Советского Союза, да и ряда других стран, оккупированных немцами, — но такие соображения не очень беспокоили британского премьера. Год спустя после нападения Гитлера на нашу страну для Черчилля было ясно, что СССР не рухнет под ударами германских армий, что он способен оказывать им серьезное сопротивление, и он успокоился: не было надобности в экстренном порядке идти на помощь России, чтобы предупредить развал восточного фронта (что было бы невыгодно для Англии). можно было вернуться к своим, имперским, делам и, в частности, позаботиться о том, чтобы у рус-

ских рога не росли выше лба... В международной политике капиталистические государства руководятся не какими-либо высокими идеями, а грубо эгоистическими интересами, нередко весьма жестокими расчетами. Сколько бы горячих слов ни говорили буржуазные министры, эти слова всегда скрывают лишь холодный камень собственной выгоды.

Надо отдать справедливость Черчиллю: он проявил совершенно исключительные твердость, последовательность и искусство в проведении своей линии при совместной с американцами разработке планов генеральной стратегии войны.

Тогда, весной и летом 1942 года, мне были известны не все детали англо-американских переговоров по столь важной для нас проблеме; из различных источников до меня тогда доходили несколько отрывочные сведения о спорах между Лондоном и Вашингтоном. Однако общая картина была ясна уже в те дни. Я знал, что Рузвельт склонен к скорейшему открытию второго фронта в Северной Франции, но Черчилль этому упорно сопротивляется. Я знал также, что между обеими сторонами по данному вопросу происходят длительные и сложные переговоры. В середине июля я наконец убедился, что в поединке Лондон — Вашингтон Черчилль одержал победу, и ниже я расскажу, каким образом я пришел к такому выводу. А сейчас, пользуясь опубликованными после войны материалами, я вкратце опишу, что тогда действительно происходило за кулисами официальной картины англо-американских отношений.

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ

(Заметки из Целинного края)

Районную сводку в совхозе «Рузаевский» прежде начинали читать снизу вверх, хотя малочетная роль замыкающего была для этого хозяйства особенно противоестественной. Судите сами: совхоз этот — один из старейших в Кокчетавской области. Сравнительно небольшой по целинным масштабам — двадцать пять тысяч гектаров пашни — и, стало быть, «удобоуправляемый». Его земли значатся хорошими: преобладает вторая категория. И даже расположение центральной усадьбы отличное: у воды, на высоком живописном левом берегу Ишима...

По всем, казалось бы, признакам быть этому хозяйству в авангарде. А вот пойдя ты: несмотря на более чем тридцатилетний «возраст», не видно было здесь ни раскидистых деревьев, ни обильно плодоносящего сада — этих добрых примет любого старого хозяйства. Не было даже того, чем давно уже обзавелись более молодые целинные совхозы — механической мастерской, клуба и даже типового здания школы... Все это начало возникать только в самые последние годы.

Прошлым летом после длительного перерыва заехал я в «Рузаевский» — и совершенно не узнал хозяйства. С тех пор побывал в нем еще несколько раз.

Правда, и Ишим тот же, и центральная усадьба — степное село Нежинка — на старом месте, и механизаторы в основном прежние, но от бывшего совхоза-развалюхи мало чего осталось. И, главное, весь «настрой» коллектива совершенно иной. Старейший совхоз уверенно лидирует теперь среди хозяйств Рузаевского района. В запущенное, руганное-переруганное в прошлом хозяйство начинают ездить экскурсники за опытом.

Да и итоги минувшего в общем-то благоприятного года по главному показателю — хлебу — хоть и не сенсационны, но знаменательны. Смежный крупнейший совхоз «Западный» отправил в государственные закрома в сравнении с «Рузаевским» почти вдвое больше зерна: «Западный» — два с половиной миллиона, «Рузаевский» — миллион 380 тысяч пудов.

Но по урожайности с гектара, себестоимости зерна и выполнению установленного для него плана сдачи хлеба совхоз «Рузаевский» даже обогнал своего законно прославленного соседа! Рузаевцы выполнили план на 136,4 процента и заняли первое место в районе, «Западный» на 134,2 процента — второе место. К тому же в отличие от других совхозов управления вся жатва была проведена в «Рузаевском» своими силами, без дорогостоящих «сезонников». Здесь не просили подмоги со стороны, а, наоборот, говорили: «Только, пожалуйста, никого к нам не посылайте». А это уже много значит!

— Почему так могло получиться? — интересуюсь в рузаевском производственном управлении.

Мне отвечают:

— В «дрожжах» дело! Попались хорошие — вот и забродило тесто...

Да, «биографию» хозяйства создают люди. И дело прежде всего в организаторах. Истина банальная, но куда от нее денешься.

Тогда, может, нынешние руководители применили еще не известные другим агротехнические новшества?

Этого утверждать не стану, хотя без улучшения агротехники дело, конечно, не обошлось. В минувшем году, например, гербициды применялись в Рузаевском районе на огромной площади в сто шестьдесят тысяч гектаров. Использовался главным образом бутиловый эфир. В условиях влажного года этот малолетучий препарат дал ошеломляющий эффект. Средняя прибавка урожая от химической прополки достигла тридцати пудов с гектара. Значит, из двадцати четырех миллионов, которые в прошлом году сдали государству совхозы управления, пять-шесть миллионов пудов зерна с полным правом можно назвать «химическим урожаем».

В некоторых совхозах Рузаевского района, в том числе и в «Западном», «пропалывалось» с самолетов до двадцати тысяч гектаров. А в «Рузаевском»? Там выжигание сорняков гербицидами почти не применялось. Химическая прополка проводилась только на одной тысячегектарной клетке. Большой части посевов ядохимикаты просто не потребовались: старые, десятилетиями паханные и перепаханные поля оказались среди всех хлебных массивов района наиболее чистыми от сорняков! Это благодаря правильной агротехнике. Чего же лучше!

ЧЕЛОВЕК С ПЛОХИМ ХАРАКТЕРОМ

И все же, если говорить об исходной причине наконец-то начавшегося подъема, то она в другом. Изменился сам стиль руководства хозяйством и людьми — здесь управляют, осмысливая.

Мы строим коммунизм, и нам далеко не безразлично, как и за счет чего одерживаются хозяйственные успехи, улучшаются результаты труда. Если они достигаются за счет повышения квалификации, общественной зрелости и духовного роста людей, то это самые прочные и, я бы сказал, наиболее перспективные успехи. В Программе КПСС недаром записано: «Руководство совхозами следует строить на все более демократических началах, повышая роль коллективов рабочих и служащих»... А в «Рузаевском», как я потом воочию убедился, приведено в движение все.

Знакомство со стилем руководства, естественно, начинается со знакомства с директором. От его умения, такта, от его поведения, от того, найдет ли он общий язык с подчиненными, многое проистекает.

Захожу в кабинет. За столом сидит скромно одетый сероглазый светловолосый человек средних лет с широким обветренным лицом. Явно расстроен. Хмурится. Нервно пожевывается, словно бы пытаюсь скинуть с себя какую-то тяжесть.

Справляюсь о делах и настроении, а он мрачно:

— Да вот, характер у меня поганый!..

Несколько неожиданная рекомендация для первого знакомства! Не скрывая улыбки, спрашиваю о причинах столь самокритичного к себе отношения. А директор — Иван Иванович Рогачев — в ответ опять с досадой:

— Переживаю. Как кого наказывать, так переживаю...

— А если за дело?

— Тоже переживаю...

Нет, тут другое, а не плохой характер!

Каждому, наверное, случалось видеть, как некоторые любящие мамы, применяя непедagogический прием воспитания своих детишек, сами же при этом ревут, да еще гораздо громче, чем наказуемый... Значит, Иван Иванович, наказывая, тоже

«переживает». После я не раз имел возможность убедиться, как любит он и уважает своих подчиненных. Он кровно связан с ними и всей своей судьбой, и всеми своими мыслями. У него репутация отца-директора. И если уж приходится кого-то наказывать, то это для него — мера крайняя, редкая, пренебрежительная «чепе».

Предшественником Рогачева был агроном высшей аттестации. В наследство от него осталась (кроме разваленного хозяйства, зарослей сорняков и дезорганизованного коллектива) целая «библиотека» объемистых конторских книг, заполненных выговорами и различными категорическими распоряжениями, которые обычно начинались так: «Срочно», «Безотлагательно» и даже — «Исполнить немедленно, бросив все остальные дела»...

Между тем Иван Иванович продолжает озадачивать меня. Договариваемся посмотреть поля. А с какого начнем?

— Да вот одно... Прошлипили. Поедем туда...

Странно. Обычно каждому хочется товар лицом показать. И в этом нет ничего плохого, если тут не кроется попытка изобразить положение дел в розовом свете. А этот директор, знакомя с хозяйством, везет меня (машиной он прекрасно управляет сам) на то поле, где, по его словам, «прошлипили», — на самое засоренное. Как раз на то единственное, которое пришлось подвергнуть химической обработке.

Вспомнился мне один очень бывалый руководитель, уличенный позднее в очко-втирательстве. Он признавался мне, что для него приезд журналиста неприятнее приезда прокурора. Расславят, говорил, окаянные, на весь Союз... В «Рузаевском» же увидел я наряду с недостатками очень много положительного, выигрышного, но узнавал об этом не от директора. Больше того — при первом же знакомстве Рогачев меня попросил:

— Вы нас, пожалуйста, не вздумайте расхваливать. Лучше по-деловому покрикуйте. Столько ведь еще несделанного!

В чем, в чем, а в этом он прав: еще очень много недоделок в «Рузаевском», особенно в его довольно-таки развитом животноводстве (одного только крупного рогатого скота пять тысяч голов), но еще не специализированном и малопродуктивном. Свежо прозвучало другое: руководитель сам идет навстречу критике, напрашивается на нее.

Показная скромность? Скромность — возможно. Показная — ни в коем случае! Рогачев весь на виду. Познакомившись поближе, я убедился, что передо мной просто-напросто человек с прямым и открытым характером, со здоровой неудовлетворенностью достигнутым.

О ПОКАЗУХЕ И ПАРАДНЫХ ВЪЕЗДАХ

Был среди рузаевских директоров (фамилию его не называю, кокчетавцы и так догадаются, а человек-то он, в общем, заслуженный, недавно ушедший на пенсию) один непревзойденный мастер принимать «представителей» и пускать им пыль в глаза. «Такие, — рассуждал он на основании горького опыта, — в существо дела не вникнут, не помогут, а без толку на шумят». Так этот руководитель в веселые минуты даже поучал своих директоров-соседей. «Ежели, — говорит, — везешь такого высокого начальника через хорошее поле — машину притормози. Пусть полюбуется. Пойдут поля похуже — газку подбавь. А если уж совсем они никудышные, то так газани на ухабах, чтобы ему со страху впору было только за скобу держаться да на шофера посматривать»... Шутки шутками, но вот так и в действительности показывал этот директор свои поля одному из руководящих работников (о чем впоследствии сам же и рассказывал в кругу друзей). Пока проезжали полями чистыми, «это, говорил, мои». Пошли поля засоренные — «это соседнего совхоза — «Привольного». А когда уже и близ центральной усадьбы хлеба запылали желтыми цветочками молочая и сурепки и, что называется, крыть было нечем, сказал с досадой: «Это от «Привольного» к нам нанесло»... :

Разумеется, бывают инспекционные выезды и совсем иные. Помню, приехал я как-то в совхоз «Бидаикский» (Кзылтуский район). А там до меня только что побывал заместитель министра сельского хозяйства Казахстана (теперь этот товарищ на другой работе). Дело было незадолго до посевной, когда все тракторы совхоза уже считались, как это говорится, «поставленными на линейку готовности». Заместитель министра в исправность техники не поверил. Переоделся в рабочую стеганку (он сам из трактористов) и принялся «шуровать» по важнейшим узлам агрегатов, и под тракторы заглянул — не побоялся перепачкаться машинным маслом.

— Ну и опозорились же мы! Носом так и тыкал нас, — признавался директор совхоза. — А ведь помог! За такие выезды — спасибо...

Да что там говорить — нельзя руководить сельским хозяйством из «прекрасного далека».

Парадные начальственные выезды (да еще по заранее объявленному маршруту), суматошные подготовки к ним, всяческие прихорашивания, отвлекающие людей от работы, да и сопутствующие им разносы, скороспелые оценки и решения, которые принимаются по первому впечатлению или односторонней информации, никому не нужны и вредны... Сколько обиды, сумятицы (да что уж скрывать — порой и горького смеха) они оставляют после себя. Как подрывают авторитет самих руководителей!

В 1958 году, например, проехавший с космической скоростью по Кокчетавской области бывший высокий руководитель из Алма-Аты потребовал в разгар жатвы снять со своих постов сразу четырех первых секретарей райкомов партии. Одного — за то, что руководителю «не понравились» поля в его районе. А когда секретарь, уже будучи снятым за это с работы, поинтересовался, какие же именно, оказалось, что это были поля смежного района.

Увлечение администрированием в руководстве сельским хозяйством наблюдалось и до самого последнего времени, что и отмечено мартовским Пленумом ЦК КПСС. Я мог бы пополнить рассказанное более свежими примерами, притом самыми разнообразными, но поскольку речь идет о «Рузаевском», опишу одну, может быть, на первый взгляд и совсем малозначительную, но характерную сценку, невольным свидетелем которой я оказался в минувшем году. Хозяйство только что закончило подборку валков (первым по управлению!). В районном центре этого приятного события, оказывается, давно уже дожидались. Совхозы «Парижская коммуна», «Шарыкский», «Привольный» и «Валихановский» — весь северо-восточный угол района — угрожающе затянули жатву. Нужно спешно выручать их.

Едва мы успели тогда с директором, возвращаясь с тока, зайти в кабинет, как услышали резкие телефонные звонки. Поздравляют. И тут же требуют.

— Немедленно. Да, сегодня же! — улавливаю и я отдельные слова и фразы. — Немедленно направьте жатки и комбайны в «Парижскую коммуноу».

Иван Иванович не возражает. Дело государственное. Спор возникает вокруг слова «немедленно».

— Пошлю. Но только завтра, — твердо заявляет Рогачев.

Из трубки доносятся громы и молнии:

— Как? Почему? Срыв! Безобразия!

Иван Иванович продолжает отвечать спокойно:

— Потому что поедем туда дело делать, а не на полосе стоять...

Трубка продолжает громыхать. Улавливаю даже явно демагогические выпады:

— Да вы в какой партии состоите?..

— Я солдат, — с достоинством парирует Рогачев, — но не робот. Я уже сказал, что распоряжение выполню. И даже сам поеду с колонной. Только поймите — комбайны и жатки проработали сезон. Прежде чем их посылать, надо проверить, кой-что подтянуть, может быть, и подремонтировать. Горячкой ведь не поможешь. Да вы скажите: хлеба-то там какие — полеглые?

Отвечают утвердительно.

— Вот то-то! Значит, нужно запастись и приспособлениями...

На следующий день к полудню большая колонна рузаевских машин во главе с машиной директора выехала в отстающий совхоз. Потом я узнал, что больше всего помогли совхозу «Парижская коммуна» именно дисциплинированные и сознательные комбайнеры совхоза «Рузаевский», прибывшие сюда с исправными машинами, с приспособлениями для жатвы полеглых хлебов. Зато машины некоторых «оперативных» исполнителей, выполнивших директиву точно («раз требуют немедленно, так и пошлю немедленно — только бы с нашей территории выехали»), использовались с переборами, некоторые из-за поломок даже не доехали до места.

Мне могут сказать, что никакой доблести за Рогачевым тут нет: как же можно посылать на помощь непроверенные машины? Согласен. Я только хочу подчеркнуть, что администрирование и механическая исполнительность — великолепные ширмы для бракодельства. У Рогачева же к каждому делу подлинно партийный подход.

ДЕРЖАТЬ ВСЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

«Заглавной должностью» назвал в одной из статей журналист Г. Радов должность председателя колхоза. Он высказал убеждение, что «среди низовых руководящих постов нет для нас сегодня важнее, главнее и притом труднее и ответственнее должности, чем председатель колхоза». Я с ним согласен, но с дополнением: и директора целинного совхоза, который работает к тому же в местах новых, все еще мало обжитых.

Подбирают на должность директоров-специалистов. И это совершенно правильно. Как же можно в наше время — интенсификации и специализации — руководить огромным хозяйством без знания дела! Однажды журналисты Кустанайской области провели очень интересное исследование. Они проверили причины все еще очень частой сменяемости директоров совхозов. Оказалось, что по крайней мере девяносто пять процентов из несправившихся было уволено не за то, что они не знали сельского хозяйства, а за то, что не знали людей, не умели работать с ними. Такая же картина и в Кокчетавской, и в других областях Целинного края. Вывод один: в наших условиях добывается прочного успеха только тот директор-специалист, который следует ленинским нормам поведения, сумел опереться на партийную организацию, создать, закрепить и сплотить коллектив.

Прежде всего поинтересовался я, нашли ли общий язык в работе директор и руководитель партийной организации «Рузаевского»? Секретарь совхозной парторганизации Баязит Ахметжанович Ахметжанов — человек местный, хорошо знакомый с экономикой района.

— По-моему, это лучший в районе секретарь совхозной парторганизации. Принципиальный. И всегда с людьми... — сказал Рогачев.

Вопросы научной организации труда и управления в совхозах еще совсем не разработаны. А дело начинается с того, умеет ли сам директор хотя бы элементарно правильно распределить тяжелую ношу руководства и ответственности, не берет ли все на себя, не пытается ли каждого водить на поводке.

В Иване Ивановиче Рогачеве мне понравилась такая его черта: своих главных специалистов и помощников он не обезличивает, не подменяет, роль управляющих отделениями не принижает. Например, очень уважаемый руководитель одного из соседних с «Рузаевским» совхозов обычно встает в пять часов утра и бежит в гараж, чтобы лично распределить на день автомашины. Везде все сам да сам, везде все «я» да «я». Возможно ли это у Рогачева? Ни в коем случае! О своих помощниках, о специалистах руководитель отзывается уважительно и чаще всего с похвалой. Скорее сам себя в сердцах выругает, но без серьезнейших оснований своего помощника в обиду не даст, его достоинство не унизит. А они в свою очередь заявляют: «Работать с Иваном Ивановичем и радостно и легко»...

Зашла речь о главном агрономе Михаиле Александровиче Паршине.

— У нас очень хороший агроном. Как бы мы без него танцевали... — говорит Рогачев. (Кстати, во время последних выборов вместо Ахметжанова, «секретарствовавшего

го» несколько лет подряд, секретарем парторганизации в «Рузаевском» избран именно агроном Паршин.)

Высокие оценки, которые дал Рогачев своим сотрудникам, я потом сопоставил не только с собственными впечатлениями, но и с отзывами райкома партии и производственного управления. Совпали.

А все ли руководители дают объективные характеристики своим помощникам и специалистам? Иной директор всех готов очернить: на одном, дескать, мне все держится.

Разумеется, и плохих работников у нас еще хватает. Но вот случай, о котором как-то обмолвился Рогачев. Когда в конце 1960 года он принимал дела, то его незадачливый предшественник счел нужным специально, «по-товарищески», предупредить насчет главного агронома (которым тогда был еще не Паршин). «Учтите,— сказал,— пьяница. Нужно выгонять»...

Новый директор пригласил агронома для разговора по душам.

— Смотрю,— вспоминает Иван Иванович,— а человек-то передо мной молодой, знающий, умный. Как же, говорю, так? А он мне напрямки: «Если вас сегодня подменят да завтра обезличат, если вам делать нечего, то чем вы будете заниматься? Я и начал выпивать»...

Пристрастие к выпивкам никто не оправдает. Ни при каких обстоятельствах. Но вот как обернулось дело в данном случае. Получивший сполна свои права хозяина полей, окрыленный доверием, агроном развернулся, оказался деятельным и даже талантливым специалистом. Он сам теперь директор крупного совхоза. И на хорошем счету.

Так получилось с одним и тем же работником, но при разных руководителях!

Чтобы быть универсальным знатоком совхозного дела на целине и все брать на себя, сегодняшний директор должен получить по крайней мере три высших образования: быть агрономом, зоотехником и инженером. Возможно ли и нужно ли такое? Разумеется, директор-агроном должен элементарно разбираться в технике, директор-инженер — в агрономии, но прежде всего пусть он будет хорошим организатором, увлеченным своей основной профессией, руководителем, вникающим в экономику.

По-моему, очень назрел вопрос о том, чтобы повысить ответственность и материальную заинтересованность главных специалистов за свои участки работы. А то что же получается: по каждому поводу к директору. И если директор добросовестный человек, то загружен он сверх всякой меры, а главный специалист, заместитель и другие «штатные единицы», которых предостаточно,— в стороне. Это, однако, не исключает, а предполагает усиление коллегиальности при решении и важнейших текущих вопросов, и в особенности перспективных...

— Вы поступили смело, дав такую самостоятельность своим помощникам. А в чем же тогда ваша основная забота? — спрашиваю Рогачева.

Он задумался немного и сказал:

— Все держать перед глазами! И при надобности подбавить огоньку...

Не слишком ли это просто? Наоборот — сложно. Но очень правильно. Пробудив творческую активность, за всем присматривать, тактично направлять, контролировать, все видеть и видеть в перспективе — в этом-то и заключается искусство руководителя.

Мне довелось бывать с Рогачевым в бригадах. Разносов он не делает. «Не зудит», как выражаются на целине о любителях брюзжать и читать нотации. Никакой у него начальственной нарочитости — все просто, естественно. Не прочь он и пошутить. Из многих порой противоречивых замечаний, которые делают бригадир и механизаторы, как будто невзначай подхватит одно-другое, но самое дельное. Оно и становится совместно выработанным решением, которое — закон. Бывает даже, что и его собственная задумка словно бы исходит от людей, снизу...

ШОФЕРЫ ГОЛОСУЮТ

Примеров изменившегося стиля руководства в совхозе множество. Возьму такой.

О водителях «Рузаевского» и заведующем гаражом Николае Константиновиче Грицае мне и раньше приходилось слышать много добрых отзывов. А недавно, когда я в

беседе с секретарем райкома партии В. Н. Загорским высказал предположение, что это, видимо, лучший совхозный гараж в районе, он меня поправил:

— Нет! Не только среди гаражей совхозов. Маленький коллектив этот работает лучше и больше любой крупной специализированной автобазы района...

Так оно и есть. Гараж одного хозяйства, насчитывающий сто пять автомашин, из которых четверть — различные «хозяйки» (ведовозки, бензовозки и прочее), по сути дела, превратился в межсовхозную автобазу района. И не только района. В неудачные для шоферской работы месяцы, когда местных заказов на перевозки не хватает, работают рузаевцы даже для «Павловского» и иных соседних совхозов Кустанайской области.

О профессиональной стороне дела можно много бы рассказывать. Но куда важнее поговорить о стороне общественной и моральной. Еще в 1961 году, как вспоминают об этом шоферы-старожилы А. Даутфест и П. Порыгин, «у нас были самые разбитые машины и самый разболтанный коллектив». Деморализовал водителей бывший завгар Шаповалов.

— С него, с головы, все и началось, — с горечью оглядываются на прошлое мои собеседники. — Ежедневно за воротник закладывал. Бывало, зайдешь в гараж путевой лист подписать — и то некому. Кто его поит, тот и запасные части получает. А прибывают новые грузовики, так он то одного, то другого из собутельников отводит в сторону: шепчутся. Потом, значит, когда сделка состоится, пир горой... Перелом начался при таких обстоятельствах. Пришел к нам побеседовать новый директор. С ним секретарь парторганизации Ахметжанов. Люди, смотрим, обходительные и разумные. Все докапываются до причин нашего кавардака. Может быть, говорят, вам начальник не подходит? И вдруг эдак неожиданно: «А вы, ребята, выберите себе сами! Мы вам доверяем. Кого пожелаете, того и назначу», — говорит директор. Мы и назвали своего же шофера — Грицаю Николая Константиновича. И проголосовали за него...

Выбрали, выходит, без всякой «оргподготовки», а лучше и не выдумаете. Ни водители, ни директор не ошиблись.

Коммунист Грицай оказался человеком спокойным, но твердого характера. Установил строгий и умный распорядок.

Вот он сейчас передо мною, наконец-то вернувшийся с поля. В коричневой кожаной курточке с «молнией». Невысокого роста, лицо умное, моложавое, почти без морщин; глаза живые; большие, сильные, привычные к физическому труду руки.

— С чего начали? — переспрашивает. — А вот с чего. С утра предупредил, а вечером до темноты я оставался в гараже. Лично проверил, кто свою машину привел в гараж и в каком виде, а кто увел ее к своему дому: была такая скверная привычка — это чтобы удобней было для «левых» рейсов...

С проштрафившимися поступил круто:

— Не подчинился? Машину сдай, а вот тебе метла в руки. Очищай территорию...

Это произвело огромное впечатление. Шутка ли сказать — заставить самолюбивого водителя орудовать метлой.

Некоторые опомнились. Иные обиделись, подали заявление об уходе. А их, к великому удивлению, и не удерживали.

— Пожалуйста, ищите себе, где повольготней, — сказал, накладывая резолюции, новый начальник. — А здесь, раз меня сами выбрали, так извольте слушаться. Беспорядка больше не будет. До свидания...

К этому времени как раз прибыло в совхоз молодое пополнение с курсов автомобилистов и из Советской Армии.

— Прекрасные ребята! — характеризует их завгар. — Стрельцов, например, Балабанов. Взяли себе разбитые машины и с помощью опытных товарищей скорехонько наладили. Теперь они механизаторы широкого профиля.

Конечно, не все и не всегда приходит сразу. «Коросту» с разболтанных нелегко было снимать. Помогла партгруппа, передовики. Чтобы покрепче опереться на коллектив, создали из лучших водителей совет гаража. Соберутся — комната полнешенька.

Допустил человек проступок — на суд коллектива! Кому дать новую машину, кто достойнейший? Опять на общее заключение...

По предложению партгруппы и совета и началась борьба за звание коллектива коммунистического труда, настойчивое повышение политического уровня и квалификации. Теперь уже восемьдесят процентов водителей — шоферы первого и второго классов. Всегда есть и необходимые запасные части, и работа — завгар заботливый.

Из-за проступков одиночек часто кладется тень на целые коллективы автомобилей: «лихачи», дескать, «леваки» и т. д. Были и здесь нарушители. А теперь где они? Вскоре каждый убедился, что порядок и строгая дисциплина — это же очень хорошо. И выгодно каждому!

— Вот посмотрите,— показывает Грицай целую пачку заявлений с просьбой о приеме на работу.— Отовсюду к нам стремятся...

Осенью с Баязитом Ахметжановичем объезжали мы фронт жатвы. Заехали в гараж. Обширный, местами бетонированный двор. Чистый и ничем не заставленный. Хоть в футбол играй. И ни одной машины. В мастерской, что посредине гаража, копошится один пожилой вулканизаторщик И. Н. Иващенко. Спрашиваю о людях и машинах.

— Все на хлебном фронте...

— И все машины на ходу?

— Все.

— Все сто пять? — переспрашиваю недоверчиво.

— Я же сказал...

В каком это гараже бывает, что все до одной машины в строю?!

Пока мы ездил — набежала дождевая тучка. Комбайны, естественно, стали. Так, может быть, «припухают» и шоферы. Растерявшись, ждут указаний, которые когда-то будут, если будут. Ничего похожего. Гляжу-погляжу, грузовики по-прежнему движутся по степным дорогам: только теперь уже с зеленым кукурузным силосом. На каждый такой случай водители имеют свой заранее предусмотренный маневр.

— Таких хвали, не хвали — все будет мало! — радуется и гордится совхозными шоферами и их начальником Рогачев.— Но, конечно,— повторяет,— и гараж всегда у меня перед глазами. Недавно помогли механизировать ремонт: для подъема грузовиков на канавке установили кранбалку с тельфером...

Само собой понятно, что главное здесь не в том, что шоферы голосовали, а за кого голосовали: очень хорошего человека помогли выдвинуть. Кто мог подозревать, что в скромном Грицае скрывается талант отличного организатора?

Однако задумаемся: не будет ли и вообще полезней в некоторых случаях сочетать единоначалие в совхозах с выборностью? Больше контроля снизу, еще выше ответственность. Будет проверяться отношение руководителя к людям, а доверие коллектива открылит.

О КАДРАХ, КОТОРЫЕ «НА ПОДХОДЕ»

Мы часто сетуем, что людей на целине все еще маловато, но нередко забываем о тех местных кадрах, которые уже, так сказать, на подходе, о людях, которым жить и в двадцать первом веке.

В совхозе «Рузаевский» — напряженная и разносторонняя общественная жизнь. В центре же внимания и добрых начинаний общественности — большая средняя школа. В ней одной ни мало, ни много четыреста тридцать учеников, из которых сорок три в интернате, созданном на общественных началах для отделения Желанды.

Новые кадры уже «на подходе». До сих пор так и звенит в моих ушах задорный голосок художавого, слабенького на вид Коли Колбаско, выступление которого на областном митинге в Кокчетаве, созванном осенью по поводу успешного окончания десятой целинной жатвы, так взволновало хлеборобов. Семнадцатилетний бригадир ученической производственной бригады чеканил:

— Мы, школьники-механизаторы «Рузаевского» совхоза, на площади четыреста пятнадцать гектаров вырастили по сто двадцать пудов зерна и сдали государству около пятидесяти тысяч пудов отборной пшеницы. Управившись у себя, пошли на

помощь в совхоз «Парижская коммуна». В соревновании у нас были такие условия: за каждую тысячу центнеров присуждалась звездочка. На моем комбайне — десять звездочек...

Когда же Коля добавил, что в соревновании совхозных рабочих на жатве он занял второе место, после Героя Социалистического Труда Григория Алексеевича Грицаца, ему устроили самую настоящую овацию. Его одноклассник и друг Боря Горбатов получил девять звездочек и занял третье место.

Старожил, отличный комбайнер, родоначальник знаменитой династии Грицаев в совхозе «Рузаевский», с одним из племянников которого — завгаром Грицаем — мы уже познакомились, Григорий Алексеевич с доброй улыбкой говорил о юных механизаторах:

— Эти нас за пояс заткнут. Ухватистые. Смекалистые. И с малых лет с техникой..

Но пока в сложных условиях работает Нежинская средняя школа. Добротное новое двухэтажное школьное здание пока еще не отапливается — нет труб и котлов. И заниматься приходится в четырех разбросанных по поселку помещениях, в том числе и в совхозной конторе. Но и в новом здании всего восемь, правда больших, классов, а уже сейчас существует девятнадцать классов. Малыши же подрастают и подрастают: в первый класс нынче принято пятьдесят ребятшек, на будущий год их ожидается пятьдесят семь. Вот и получается, что в новое здание еще и втиснуть не успели, а уже требуется второе, параллельное, которое нужно возводить безотлагательно. Строительство школ как в этом, так и во многих других совхозах Целинного края еще очень отстает.

Но нельзя не заметить и нового, радостного, перспективного, что рождается в последнее время. Сложную задачу воспитания детей в совхозе «Рузаевский» под руководством партийной организации решают теперь общими силами: школа, семья, комсомол, производство, вся общественность.

Центральная улица села Нежинка — большая, многоквартирная. Застроена она, как и везде на целине, двухквартирными домиками с шиферными крышами. Но прохожу по улице — и замечаю нечто необычное, еще не встречавшееся мне ни в одном другом целинном поселке. Полянки между кварталами, да и пустыри между домами огорожены окрашенным штакетником, или баяснымком, охаймлины молодыми тополяками, акацией, яблонями. Приятного цвета входные арки. На них яркие надписи. Раньше, говорят, было стандартно. На каждой: «Пост номер такой-то», и все. Недавно каждому посту дали свое имя: «Восход», «Юность», «Огонек», «Факел»... В центре каждого такого уголка небольшой павильончик с шиферной или красной железной кровлей — грибок, теремок. Столики, скамеечки, цветники, беседки. Поодаль гимнастическая площадка — турник, качели, бум, переносный бильярд и даже карусель. Еще подалее есть где и мяч побросать — площадка для волейбола и других спортивных игр. Можно тут и хороводы водить. Для самых маленьких — песочница.

Началось все это год назад с сельского схода. Выступил секретарь парторганизации. Дело всем близкое и наиболее: ребятам в свободное от уроков время нечем заняться. Озорничают, иногда даже хулиганят — бьют стекла. Договоримся так: за воспитание детей каждый отвечает так же, как за производство. Разобьемся на «пятнадцатидворки» и в каждой создадим пост коммунистического воспитания. Летом — на воздухе, зимой — в жилых домах (на первое время хотя бы по очереди). Командирами постов выберем взрослых, их заместителями — учеников старших классов.

Тут же был избран совет по коммунистическому воспитанию. В него вошли и лучшие механизаторы-общественники, например, те же Г. А. Грицац и И. И. Рогачев, директор школы И. Г. Бородавко, секретарь партийной организации Б. Ахметжанов, фельдшер Е. П. Шипулина и другие — всего семнадцать человек. Председатель совета — учительница русского языка Е. Г. Мушта, дочь Григория Алексеевича.

Любое, даже самое маленькое, строительство — дело трудоемкое и хлопотливое.

— Вы понимаете, — рассказывала мне заведующая детским садом Нина Даниловна Христофорова, член совета, человек преклонного возраста. — Я в жизни своей не видела такой активности населения. Все поднялись! И никаких там призывов или понуканий. Сами идут и работают на совесть, не глядят на часы..

Вот что значит, когда необходимость назрела и понята всем населением!

Немыслимо не то что описать, но даже перечислить все, что делали и делают ребята под руководством взрослых и школы. Тут нужно говорить и об успехах производственной бригады. И не только на жатве или уборке картофеля и моркови. Вырастили, например, десять тонн зелени гидропонным способом, посадили несколько десятков тысяч тополей и других деревьев, разбили по поселку цветники, начали закладку плодового сада, собрали шестьдесят семь тонн металлолома и т. д. А каким волнующим становится день, когда по итогам соревнования школьники на полевом стане вручают передовым механизаторам красные флажки, вымпелы или почетные пионерские галстуки!

Но самое главное у школьников, конечно, учебе, успеваемость. На многих постах в помощь отстающим в занятиях выделены шефы из старшеклассников. А помощь престарелым и больным! А поддержка малосостоятельным матерям: например, коллективная покупка формы или обуви для малыша! А краеведческие и туристические походы: «кругосветка» по области, поездка отличников в Ленинград, устройство детского лагеря «Пришимский костер»! А спорт, концерты, участие в духовом и струнном оркестрах, игры, танцы! Наконец и «родительские патрули» для тактичных бесед, для вразумления отцов и матерей, замеченных в неправильном поведении и отношении к детям. Нет, всего не перескажешь!..

Самое, пожалуй, важное, что у ребят появилось множество взрослых друзей. Вместе с ними отдыхая и играя, они и сами как бы молодеют.

Общая забота о воспитании детворы оказала благотворное влияние на жизнь некоторых семей и всего поселка. Баязит Ахметжанов мне рассказывал о большой и пока еще малосостоятельной семье Нуркана Нурушева. И муж и жена — разнорабочие. Прибыли в совхоз из отдаленного глухого аула. Появившись впервые на площадке, ребяташки Нурушевы (а их семь человек) вели себя, как маленькие дикари: рвали и мяли цветы, в небольшую люльку качелей забирались все сразу и т. д. Разумеется, в коллективе они быстро пообтесались. Но еще примечательней другое: вместе с ними частыми посетителями площадки сделались и родители — куда дети, туда и они. Нуркан стал активным помощником поста. Через некоторое время Нурушевы стали посещать производственные совещания и общие собрания поселка, чего за ними прежде никогда не водилось. Так и сами родители втянулись в общественную жизнь села.

С нынешнего года в дни революционных праздников в совхозе впервые стали проводить демонстрации. Ребята первые загорелись этой идеей. Вот Первомай. С утра на площадках праздничный завтрак. Командиры постов при помощи матерей приготовили различные подарочные пакетики. Затем шествие, которое открыли украшенные красными лентами и гирляндами первых полевых цветов мотоциклисты и велосипедисты. За ними духовой оркестр школы и построившиеся один за другим посты с транспарантами и портретами. У каждого школьника — распустившаяся веточка березы. На девушках венки из только что появившихся голубовато-желтеньких подснежников. Заканчивается шествие на маленькой площади у здания новой школы. Там детский концерт. А через репродуктор с пластинки голос Владимира Ильича...

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СТАРШИХ РОГАЧЕВЫХ

Перед праздниками заночевал я у Рогачевых. Ранним утром слышу разговор на кухне.

— Куда ты в такую рань? — Это низкий голос бабушки Марии Яковлевны.

— Нет, вы посмотрите только — бабушка ничего-то не понимает! — слышится возмущенный голосок шестиклассницы Тани. — У нас же подготовка к празднику! Ведь я заместитель командира поста...

Шестидесятилетняя бабушка Мария Яковлевна, которая, по словам Тани, «ничего-то не понимает», в прошлом доярка и заведующая фермой. Теперь она, по собственной горьковатой шутке, «самый свободный человек в семье... Им-то всем некогда:

Ваня — директор, сноха — учительница, четверо малых — школьники. А тут еще корова и поросенок на дворе». Мария Яковлевна оказалась словоохотливой собеседницей. Хотя Иван Иванович ее и просил: «Мама, не надо об этом», — рассказала, смахивая украдкой слезы, о том, что из памяти не вычеркнешь. Трудно найти советскую семью, которая бы не понесла в Отечественную войну тягчайших жертв. Но такой траурный список, который выпал на долю местной («мы сроду сибирские») династии хлеборобов Рогачевых, встретишь не так уж часто.

Здесь, в далекой Рузаевке, в сводках Информбюро о первых боях под Львовом три дня подряд слушали родные по радио, что подразделение во главе со старшим политруком Петром Тимофеевичем Рогачевым отбивает яростные атаки гитлеровцев. Это о родном дяде Ивана Ивановича — пограничнике, который жил там с семьей. Вскоре пришло и письмо от героя-коммуниста: «Мую семью фашисты повесили. Иду в бой против гадов».

Прошло два года, и опять зачастили по радио скупые строки о подвигах укрепившегося в одном из домов Сталинграда подразделения, которым командует теперь уже подполковник Петр Рогачев.

Но на фронте бился не один он, а все три брата Тимофеевичи: бывший работник милиции в Рузаевке Василий, бывший председатель местного колхоза имени Первого мая — отец Ивана Ивановича. Наконец, вспоминая об этом, бабушка уже не скрывает слез:

— Не встречали ли вы книжку? Говорят, о нашем Андрюше писал Илья Эренбург. Во фронтовых записках.

У меня не было возможности проверить. Но Иван Иванович подтверждает.

Погибли все три брата-коммуниста. Пал смертью храбрых в тяжелых боях в Смоленской области и Андрей, командир роты, старший лейтенант, старший брат Ивана Ивановича.

Надо себе представить трагедию семьи: одна за другой четыре похоронные; сообщения о посмертных правительственных наградах, теплые, горестные письма фронтовых друзей «уважаемым папаше (что он погиб, друзья еще не знали) и мамаше».

В конце 1944 года ушел на фронт и последний из старших Рогачевых — восемнадцатилетний Иван. Отличился в боях при ликвидации курляндской группировки, получил награды. Так прошли Рогачевы от первых пограничных боев до истребления одного из последних гнезд фашистских захватчиков. Низко надо поклониться этой семье коренных сибиряков-героев!

Вернулся с фронта молодой солдат. С чего начать? Пошел учителем в младшие классы сельской школы. Но как только партия позвала укреплять колхозы, попросился трактористом в сельхозартель, которую еще не так давно возглавлял отец. С тех пор, ни одной ступеньки не пропустив, прошел он всю «иерархию» колхозно-совхозных должностей. В Рузаевском районе помнят его и Ваней-трактористом, и Иваном Рогачевым — колхозным бригадиром, и студентом, каждое лето приезжавшим на практику, и Иваном Ивановичем — председателем колхоза, главным агрономом совхоза, его директором...

Иметь «три высших образования» вряд ли возможно, но пройти такую «лесенку» практической работы на земле, как Рогачев, — каждому бы так! Такой в нужду механизатора вникнет глубоко и чутко: сам все прошел! И вокруг пальца его не обведешь — все сам умеет, все может показать! Самая авторитетная и самая приспособленная к делу категория целинных директоров, которая не случайно с каждым годом численно растет. Время руководителей — болтунов и белоручек истекло!

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Десятый — юбилейный — сельскохозяйственный год на целине закончен, естественно теперь и поразмышлять. Вызываю Ивана Ивановича на разговор о злободневном и перспективном.

— Это значит, о чем у нас теперь голова болит? — по-своему формулирует он тему беседы. — Но голова не у одного меня. Давайте пригласим и остальных...

Принцип коллективности, можно сказать, в крови у Рогачева: попросил зайти и Ахметжанова (тогда еще секретаря парторганизации), и Паршина (который, кстати говоря, тоже прошел «лесенку» должностей, а теперь заочно заканчивает последний курс сельскохозяйственного института в Ташкенте), и главного инженера Г. П. Пичугина — специалиста по подготовке кадров (раньше заведовал учебной частью в школе механизации), и главного зоотехника Н. П. Нагуевского.

Разумеется, рассказать обо всем многообразии тем, затронутых собеседниками, здесь невозможно. Хотя совхоз уже достраивает близ Нежинки специальный городок для крупного рогатого скота (и об этом особенно «болит голова» у рузаевцев), не удастся подробно остановиться и на этом вопросе: животноводство — тема для особого и большого разговора. Коснусь только некоторых, главным образом «пшеничных», вопросов, характерных и для других целинных хозяйств.

Как уже говорилось, «Рузаевский» первым и, видимо, лучше всех в районе закончил жатву, а с каждого гектара сдал государству по восьмидесяти пяти пудов зерна — это лучшая товарность в районе.

— Но мы могли бы дать пшеницы на целых полмиллиона пудов больше, — признает Паршин и показывает расчеты. — Если бы...

Вот с этих-то «если бы» и начался разговор.

Бесспорно, по климатическим условиям прошедший год не был типичным для Целинного края. Осадков, особенно в двух северных областях — Северо-Казахстанской и Кокчетавской, оказалось столько, что местами, как шутили целинники, «хоть рис сей». А растения не любят крайностей. Многим сортам пшеницы обилие влаги пошло во вред — полегли, появилась ржавчина и корневая гниль. В этом — одна из причин того, что Целинный край хоть и дал много хлеба, но меньше, чем ожидалось...

— Если бы знать, что такой год, — продолжает агроном, — то попытались бы посеять больше «безенчукской» и даже «скалы»...

Один только фактор — сорт пшеницы, а какие контрасты! В то время, как с посевов сильной волжанки — «безенчукская-98» в совхозе собрали по 22,8 центнера, старый сибирский и обычно хорошо удающийся сорт «мильтурум-553» дал лишь по двенадцати центнеров с гектара. Скороспелая, влаголюбивая иркутянка «скала» в засушливые годы, как выражаются местные земледельцы, «дает пшик», а в прошлом году она буквально выручила многие хозяйства...

Общеизвестно, что засушливость типична для нашего глубококонтинентального земледелия. И все же понятие о типичных по климатическим условиям годах очень условно. Возьмем хотя бы три последних.

Был ли типичным 1962 год? Не был. Обычно засушливый здесь июнь оказался дождливым, зато наиболее «мокрый» июль — на редкость сухим. Засуха, стало быть, пришла не по расписанию. Про бедственный 1963 год и говорить нечего: свирепая засуха и в мае, и в июне, и даже в первой декаде июля. Наконец, и в минувшем 1964 году! Ездишь, бывало, весной по районам и глазам своим не веришь — море разливанное! Слились воедино даже многие степные озера, отстоящие одно от другого на километры. Дожди стали не союзником, а помехой земледельцу. Три года подряд, и все не типичные!

При поездке во Всесоюзный (Шортандинский) научно-исследовательский институт зернового хозяйства осенью прошлого года зашел у меня разговор на эту тему с заведующей отделом агропочвоведения института Александрой Алексеевной Зайцевой, одним из старейших научных работников в Казахстане. Вот что она сказала на сей счет:

— В 1945 году, когда я только начинала работать на Карагандинской опытной станции, годичный отчет мы начали с фразы: «Год был не типичным». С тех пор проработала в Центральном и Северном Казахстане девятнадцать лет. И, представьте себе, каждый отчет за год приходилось начинать с той же самой фразы...

При таком непостоянстве климата, поскольку речь идет о семенах, рузаевцы, как и другие местные земледельцы, мечтают вот о чем:

— Создать бы у нас специальные семеноводческие хозяйства (если хотите — фирмы) с переходящими запасами семян самых разных сортов. Тогда бы, установив почвенные запасы влаги и ориентируясь на долгосрочные агрометеорологические прогнозы (которые, кстати, нужно совершенствовать), мы бы и корректировали подбор сортов зерновых по годам. Вот так бы: заказал фирме — доставили нужные семена!..

Мысль дельная. Сразу ее не осуществишь. Но идти к этому нужно.

Если бы рузаевцы выступили с докладом о своем опыте на собрании местных агрономов, то первый вопрос, который им задали бы, — это о чистых парах. Именно вокруг него в последнее время больше всего ломались и ломаются копыя.

Надо еще заметить, что в прошлом году посевы по парам не отличились высокой прибавкой урожайности.

— Если вы гарантируете, что нынешний год будет не менее мокрым, чем предыдущий, пойдем на резкое сокращение чистых паров, — считают и Рогачев и Паршин.

— А вообще?

— Ни в коем случае! Под чистыми парами у нас шестнадцать процентов пашни. И меньше в наших условиях пока нельзя. Пары — заготовители влаги...

Разумеется, появление гербицидов вносит существенную поправку в обычные представления об агротехнике: химические препараты помогут выжечь многие виды сорняков. Но главная-то функция чистых паров в условиях засушливого степного земледелия — накопление влаги в почве и нитратов. В прошлом году между парами и зябью по урожайности почти не было разницы. Зато в засушливом 1962-м по зяби (в круглых цифрах) получили по четыре, а по парам по девяти центнеров с гектара. Еще разительней контрасты аварийного 1963 года: зябь — два-три центнера, а чистые пары в четвертой бригаде — четырнадцать центнеров с гектара (пшеница «лютеценс-758»).

В последнее время велись споры насчет того, не будет ли в сумме за два года сбор без паров больше, чем с парами? Смотря какие годы возьмешь. Да и можно ли их механически вырывать? Действие пара сказывается долгие годы, и уж если подсчитывать, то нужно брать многолетние данные для сравнений. Одно ясно, что, сидя в кабинете, не зная условий хозяйства и зоны, нельзя определять в порядке, так сказать, отвлеченного планирования, кому и сколько нужно паров в севообороте...

Себестоимость центнера зерна в «Рузаевском» на шестьдесят две копейки по прошлогодним ценам меньше плановой. А могла быть значительно ниже. Но возникают очередные «если бы». В том числе и самые парадоксальные. Вот одно из них.

С ростом квалификации кадров улучшилось использование и возросла производительность техники. Многие машины, которые еще вчера казались нужными и которых необдуманно «нахватали» сверх меры, сегодня — безработные. По словам Пичугина, в совхозе около пятидесяти (из ста восемнадцати) избыточных тракторов. Да еще каких! Очень ходовых марок: ДТ-54 и «МТЗ». Все они исправные и все... праздные. Но на бездействующую технику производятся амортизационные отчисления, резко удорожающие себестоимость зерна!

А как «забрасывалась» (именно «забрасывалась» и еще «забрасывается») техника? В 1962 году, никого не спросив, прислали в совхоз две клеверосушилки, стоимость списали через банк. Но ведь это не Латвия или Подмосковье — клевер здесь не сеяли и не сеют!

Еще пример. Два года назад заказал совхоз обычные бороны «зигзаг». Не приехали. На следующий год заказ повторили. Теперь неожиданно поступили сразу пятьсот борон. Зачем же столько? Повторение заказа приняли за новый, дополнительный и маханули двойное количество.

Как и другие работники целинных совхозов, рузаевцы считают, что технику надо покупать на свои, специально выделенные для этого средства.

ЗОНЫ, ЗОНЫ!

Пестры и разнообразны агропочвенные и климатические условия Целинного края. Нет здесь и в помине того общего фона, о котором толкуют некоторые. С запада на восток край вытянулся более чем на тысячу триста километров, с севера на юг — на девятьсот километров. И выглядит по меньшей мере странным, когда руководящий работник, побывавший, скажем, на Карыбалыкской опытной станции, что в Зауралье, близ Троицка и Челябинска, не считает нужным отличать ее условия от земель Шортандинского научно-исследовательского института (центр края) или от Павлодарского Занртышья, граничащего с Кулундинской степью и Алтаем...

Большую опасность для целинного земледелия представляют, например, пыльные бури. Но степень эрозии почв в различных зонах далеко не одинакова. Единая рецептура для борьбы с нею не подойдет. Большой ущерб приносит диффузия на легких песчаных почвах Павлодарской области (таких земель во всем крае примерно шестая часть). Раздаются тревожные звонки по поводу эрозийности и на карбонатных черноземах. Особенно на отвально вспаханных парах, которые, как показал опыт, нужно обрабатывать обязательно без оборота пласта, сохраняя стерню. Но в горносопочных и лесостепных районах немало хозяйств, где, по обоснованным заключениям специалистов, существенной эрозии не было и не будет.

Однако даже и там, где переметы почвы — явление пока редкостное, можем ли мы проходить мимо этой опасности? Не имеем права: любая эрозия обедняет почву.

Среди земледельцев Целинного края преобладают сторонники безотвальной системы обработки почвы, разработанной Т. С. Мальцевым и шортандинскими учеными. Она прогрессивна и при правильном, творческом применении с учетом местных условий лучше сберегает влагу, меньше распыляет почву и т. д.

Но быть сторонниками этой системы мало. Главное — в борьбе за нее, в новой материально-технической базе.

Как же прививаются новые орудия в «Рузаевском», расположенном в зоне обыкновенных карбонатных черноземов умеренно засушливой степи?

Мои собеседники, в общем, довольны постерневыми сеялками-луцильниками, построенными по принципу прежних буккеров, только не на плужной основе, как у буккеров, а на дисковой, хотя еще и эти сеялки требуют серьезных конструктивных улучшений. Неплохо прививаются плоскорезы-глубокорыхлители, а вот с культиваторами-плоскорезами пока в совхозе осечка.

— Для наших тяжелых почв они легковаты, — говорит Г. П. Пичугин, главный инженер. — Пробуем их весной на влажной почве — не заглубляются: сыро. Пробуем в летнее время — ломают землю огромными глыбами: сухо... Единственное, где поработали наши плоскорезы, — это, неловко даже сказать, на подкапывании свеклы во время уборки...

Вопрос отнюдь не местный. В прошлом году почти девяносто процентов всех культиваторов-плоскорезов, завезенных в Кокчетавскую область, бездействовало. Слов нет, тут сказались и необычная для этих мест влажность, и косность отдельных руководителей, и недостаток гидросистем для навесных орудий. И наконец — это, видимо, главное — сказались отсутствие должной материальной заинтересованности механизатора в работе на плоскорезах. В некоторых зонах, особенно на Павлодарщине, где судьба земледелия зависит от внедрения безотвальной обработки почвы, «плоскорезчик» по денежной и натуральной оплате труда оказался в менее выгодных условиях, чем «плугарь». Вот несообразность! Работать с привычным отвальным плугом и, стало быть, способствовать пыльной буре оказалось выгодней, нежели бороться с нею. В нынешнем году, надо надеяться, нормы и расценки для плоскорезной пахоты будут изменены.

Но при всем этом нельзя обойти и вопрос о конструктивных недоработках, о незавершенности поисков. Над созданием новых машин много и плодотворно поработали шортандинцы. Однако кое-кто уже считал, что для новой системы обработки земли если далеко не все сделано в смысле производства машин, то по крайней мере все найдено. А это не так.

Консультировался я по этому вопросу и с шортландскими учеными.

— Культиватор-плоскорез — прекрасное орудие для безотвальной обработки почвы, особенно паров, — говорил директор института Александр Иванович Бараев. — Но машины одной и той же конструкции не могут одинаково хорошо работать на всех видах и при всех состояниях почв. Нужны различные модификации с взаимозаменяемыми основными узлами и деталями.

Побывавший прошлым летом в научной командировке в Канаде его заместитель Сергей Сергеевич Сдобников к этому добавил, что в последние годы в канадском земледелии на тяжелых по механическому составу почвах плоскорезы почти полностью вытеснены тяжелыми лаповыми культиваторами, работающими безотвально.

— Многие нужные нам марки машин, — подчеркивает в свою очередь А. А. Зайцева, — у нас еще из пеленок не вышли. Надо, чтобы мысль агротехническая и конструкторская сомкнулись и шли рядом. Поиск, притом самостоятельный, нужно продолжать... С этим нельзя не согласиться.

Противоэрозийная техника иногда распределяется у нас бездумно. Директор Арык-Балыкского совхоза, расположенного в горносопочной зоне, В. И. Шевченко рассказывал мне, что имеющиеся в хозяйстве восемнадцать плоскорезов ни один год не использовались.

— А вообще-то, — спрашиваю, — они вам нужны?

— Для обработки паров полезны. Хотя дифляция почв для наших мест не характерна. Кругом сопки, и почвы тяжелые...

А вот во многих степных колхозах и совхозах с открытым рельефом и более легкими почвами, скажем, в Чкаловском или Красноармейском районах (даже и в самом, так сказать, эпицентре местной эрозийности — в зоне бывшей Летовочной МТС), противоэрозийной техники до нынешнего года почти не было.

НУЖЕН ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

Оценивая работу земледельцев, мы часто почти машинально произносим слова «в совершенно одинаковых условиях», зато очень редко, почти никогда не говорим «в различных условиях».

Конечно, главное — в чьих руках земля. Есть такие хозяева, которые худшие участки превращают в лучшие, но немало еще и таких, которые и с лучших земель получают избыток... бурьяна. Но знать, с кого и сколько требовать, хотя бы в силу естественного плодородия почв, мы обязаны. Если двум директорам совхозов, у одного из которых пашни первой категории и расположены в относительно влажной лесостепной зоне, а у другого — малопродуктивные солонцы в сухой степи, переходящей в полупустыню, говорят, что они работают «в одинаковых условиях», то этому не верят ни «мобилизуемые» директора, ни те, кто кривя душой об этом говорит. Зачем это лицемерие? Не оттого ли оно, что предъявлять единые ко всем требования проще, нежели их дифференцировать?

Теперь, после решений мартовского Пленума ЦК КПСС, положение радикально меняется. Стабильные планы закупок на шесть лет будут составляться с таким расчетом, чтобы колхозы и совхозы, имеющие различные возможности, были поставлены примерно в равные условия экономического развития. Не рассуждения о равных условиях, не единая рецептура в планировании, а объективный учет почвенно-климатических и экономических особенностей как раз и будут мобиливающим стимулом для подъема каждого хозяйства.

Но с планированием заказов конкретным хозяйствам лучше не торопиться, чтобы исключить возможность ошибок.

Перед моими глазами — огромное разнообразие условий целины. Границы административные здесь никак не совпадают с границами экологическими. Зоны, правда, условно очерчены. Но и внутри самих зон — очень существенные особенности. Конечно,

тут до последнего грамма все не взвесишь. Скорректирует работа. А такие тонкости внутри зон, о которых пойдет ниже речь, надо учитывать или нет?

В Рузаевском районе до прошлого, не обычного по метеорологическим условиям года чаще всего лучшие показатели по урожайности давал совхоз «Червонный». Зона одна. Как будто бы все то же, что и у соседей, а обычно получают с гектара на два-три центнера больше. Не раз я задавался вопросом: почему?

Пожилой человек и местный уроженец Баязит Ахметжанов хорошо знает историю района. На нашем импровизированном совещании решил я попытать его о причинах этой относительно лучшей урожайности в «Червонном».

Ответил, нисколько не задумываясь, как о деле совершенно ясном:

— Во-первых, конечно, хорошая работа. Во-вторых, разве вы этого не знаете, это же жайляу... Когда в засуху все травы по кочевьям уже выгорали, скот сгоняли именно сюда — к озерам Узункуль и Аралкуль: там они все лето сочные и зеленые...

Бывшая летовка кочевников, микрорайон высокой увлажненности — вот что такое территория сегодняшнего «Червонного» совхоза! Значит, и спрашивать, планировать нужно побольше.

Сразу за кокчетавскими горбатыми увалами (Кокчетав — в переводе Синегорск) начинаются поля совхозов — сначала «Кусепского», а затем «Раздольного». Опять же зона одна и та же. Хозяйства сравнительно «справные», с хорошими опытными механизаторскими кадрами. Ну, и подход к планированию заготовок продуктов одинаковый. Казалось бы, все правильно.

Но руководителей «Раздольного» ежегодно упрекают за то, что «в совершенно одинаковых условиях» по сдаче зерна государству они отстают от соседа. В чем опять-таки заковыка?

Толкую со старожилками.

— Сколько крестьянствую, — отвечает семидесятилетний Ф. М. Майер, обосновавшийся здесь еще в 1908 году, — всегда в Куропаткине (центр «Кусепского» совхоза. — Н. В.) урожай пудов на пятнадцать больше, чем у нас в Линеевке (совхоз «Раздольный»). — Н. В.)

Старик, конечно, не знал точную причину, но недавно агрономы наконец-то исследовали и сравнили химический состав почв: куропаткинские земли богаче фосфором. К тому же они ближе к большим озерам. Значит, если идти от жизни (а как же иначе!), то этим соседям нужно давать различные задания по заготовкам продуктов. Или, что не менее верно, выделить для «Раздольного» побольше фосфорных удобрений... Словом, со всеми этими различиями внутри зон нужно считаться.

При огульном подходе трудно разобраться, где действительно вложен самоотверженный труд и переловая наука и где руководитель, имея, так сказать, полное благоприятствие всех условий, работает с прохладцей, а ходит в героях. Это, помимо всего прочего, лишает соревнование объективной сравнимости, приводит к незаслуженному восхвалению (и награждениям) одних и не всегда справедливому обвинению других.

В пестрых условиях Целинного края особенно необходим научно обоснованный земельный кадастр. Пока же все оценки земель основываются лишь на беглых обследованиях 1954—1955 годов.

Знание естественного плодородия почв, дифференцированное планирование, агротехника и тому подобное особенно необходимы еще и потому, что мы задаемся целью связать оплату механизатора с конечными результатами труда — с урожайностью. Вопрос назревший. Но без знания поля, без учета того, с какого коллектива и сколько нужно и должно требовать, задачу правильно не разрешишь.

В «Рузаевском» земли изучены. Составлены почвенные карты. Задания бригадам в зависимости от плодородия и истории полей обязательно дифференцируются и ежегодно корректируются. Худшими землями обоснованно признаны те, что в пятой бригаде. Там много лиманов и солонцеватых пятен — «блюдечек». Но — показательная история! — по урожайности пшеницы с гектара работающая в наиболее сложных условиях пятая бригада в прошлом году обогнала первую, имеющую лучшие земли. Дело в том, что коллектив пятой бригады уже шесть лет подряд возглавляет первоцелинник, член областного комитета партии Иван Устимович Сметана. Он хорошо познал «секреты»

целины (культура земледелия здесь выше) и установил коллективную ответственность за качество работы. Механизаторы этой бригады получили наивысшую премиальную надбавку за сверхплановый урожай нашей главной культуры — пшеницы.

КТО И ЗАЧЕМ РАСПАХАЛ ТРАВЫ?

Еще первые поселенцы теперешнего Павлодарского Прииртышья с самого возникновения земледелия практиковали на своих супесях систему так называемых межников. По сути дела это то же, что мы называем теперь полосной системой земледелия и применяем в защитных целях на почвах, особо опасных по дифляции: полоса зерновых, полоса трав.

Однако под флагом борьбы с травопольем небольшие посева «задерживающих» почву житняка или донника в некоторых районах Павлодарщины были в последние годы распаханы. Новые орудия для безотвальной обработки почвы тогда еще только-только появлялись. Как правило, не было и лесных полос. В этих условиях лишённые травяной защиты массивы легких земель, особенно в Щербактинском и других районах, пострадали от черных бурь. Правда, большинство из них осталось в севооборотах и сейчас обрабатывается с применением комплекса противоэрозийных мер, детально разработанных Павлодарской опытной станцией; меньшая часть поставлена под временное залужение, то есть занята сплошными посевами трав.

В огромных масштабах края «павлодарский эпизод» незначителен. Но он красноречиво напоминает, что нельзя легкомысленно ломать то, что складывается и проверено веками.

Но кто же и зачем распахивал травы на землях ускоренной дифляции?

Начальник краевого управления сельского хозяйства и заготовок Федор Трофимович Моргун был директором-первозачинателем совхоза «Толбухинский» (Кокчетавская область). Некоторое время он работал и вторым секретарем Павлодарского обкома партии. Когда недавно при встрече в Целинограде я ему задал этот вопрос, он заявил:

— Мы таких директив не давали...

— А кто же распахал?

— Распахали газетчики!..

Доля истины в этом есть: некоторые (и местные и заезжие) журналисты немало поусердствовали над искоренением сеяных трав, не различая, где ненужное целине травополье, а где жизненно необходимое защитное травосеяние. Но руководители областных или краевых организаций, что же они — выступали, значит, в роли созерцателей?

Ну, а если говорить о травополье, то было ли вообще оно в Целинном крае? Не было! Взять опять-таки Кокчетавскую область, которая считалась одной из самых травосеющих. В 1959 году площади, занятые сеяными травами, составляли в общих распахках около шести процентов; в 1964 году они снизились до четырех процентов. Вот так травополье! Травопольной системы в крае не было, а с ней боролись, «в поход включились»!..

В севооборотах «Рузаевского», как и других целинных совхозов, ни однолетних, ни многолетних трав не было. Но вот случай, продиктованный хозяйственной необходимостью. В самый разгар борьбы с травопольем один небольшой участок был засеян желтым донником.

— Начала полпыливать гривка над Ишимом, — объясняет Паршин.

Да и еще расчет был: для развивающегося животноводства нужно и сено, особенно бобовых растений. Посеяв донник «на гривке», в которой четыреста гектаров, предупредили возможность эрозии, и хозяйство вместе с тем получило собственные семена для посева на солонцеватых выпасах огромного урочища Бердыбек, которые давно пора улучшать. Разумное решение!

Вообще мои повидавшие виды собеседники считают, что к умным советам обязательно нужно прислушиваться, но (это говорят и Рогачев и Паршин) пока не выработаешь собственного подхода к своим землям — все время будешь ошибаться...

ПЕРЕВЕЛИСЬ ЛИ В «РУЗАЕВСКОМ» ГЕРОИ?

Осталось рассказать о законной жалобе коллектива, которую высказал поддержанный остальными Ахметжанов:

— Вы понимаете, у нас в последние годы будто бы перевелись герои. Зато те соседние хозяйства, где много рекордистов,— не без язвительности добавляет секретарь,— нашим «негероям» приходится брать на буксир...

Как я уже рассказывал, «Рузаевский» первым и, видимо, лучше всех в районе завершил весь комплекс осенних работ.

— А для района и области,— продолжает партийный руководитель,— у нас вроде бы и передовиков нет... С тех пор, как работа в совхозе пошла лучше, не стало у нас официально признанных передовиков. Это несправедливо. Народ обижается...

Парадокс? Да. А дело вот в чем. Когда заканчивается сев ли, жатва ли, другая сельскохозяйственная кампания, то из района в совхозы обычно звонят: «Сообщите показатели ваших передовиков». Идет это сверху: область запрашивает районы, край— области и т. д. Так создаются списки рекордистов очередных кампаний, которые составляются по легко сравнимым операциям работы. Они — для премирования, занесения в «Золотую книгу почета», для самых разнообразных материальных, а чаще моральных поощрений (медали ВДНХ и прочее).

Вот и сейчас у Ахметжанова на руках список «лучших комбайнеров по итогам жатвы». Большой! В нем около сорока человек. Но у всех почти одинаковые и, вообще-то говоря, очень солидные показатели вроде таких: «Подобрал четыреста гектаров валков», «Четыреста двадцать» и т. п. Однако «над такими показателями,— разводит руками секретарь,— составители районного списка даже смеются: что вы нам подсовываете! У нас есть люди, которые скосили и обмолотили до двух тысяч гектаров»... Словом, из всех механизаторов «прогремел» в прошлом году из «Рузаевского» один только Коря Колбаско, да и то потому, что он школьник...

Хочу быть правильно понятым: ни рузаевцы, ни автор этих строк не собираются выступать против рекордов, при условии, конечно, если «большие гектары» и «большие центнеры» сочетаются с высоким качеством работы. Вот, скажем, по Целинному краю особенно прославился в прошлом году механизатор-коммунист Иван Григорьевич Выходцев. Первоцелинник-орденоносец, работая при надобности и дни и ночи, скосил тысячу сто гектаров и подобрал-обмолотил около шестисот... Никто не будет спорить: это человек, достойный лучших похвал и поощрений.

Но рекорд передовика — это одна сторона. Организация работы в хозяйстве в целом — другая. В данном случае косовица еще куда ни шла: теперь жатки широкозахватные. Четырехзначная цифра скошенных за сезон гектаров — явление закономерное. Но если узнаешь, что комбайнер в одном и том же совхозе обмолотил за сезон полторы тысячи гектаров валков, то, восхищаясь его подвигом, одновременно задаешь себе вопрос: что же это за бедственное, аварийное хозяйство, в котором он работает? Осенняя погода не идеальна, то и дело приходится «ловить солнышко». Пусть наш передовик в погожие дни выполняет даже по три нормы. Все равно! Практически он, значит, ведет подборку валков два, если не три, месяца. А это неизбежные потери. Как раз в такие хозяйства и посылаются буксиры!

После того, как в «Рузаевском» полностью провели механизаторский всеобщий (нынче работают только курсы повышения квалификации уже обученных), наладили техническое обслуживание, обеспечились собственными кадрами и, главное, подняли их сознательность, былые сезонные рекорды одиночек по отдельным операциям стали практически невозможными. Здесь теперь в основном достигнуто самое необходимое: наступление ведется всем фронтом. Не рекорды одиночек, а мерная поступь всего батальона труда...

В исправных хозяйствах за весну или осень механизатор участвует на многих неотложных работах. Но показатели различных операций не складываются. Вот и получается, что чем выше организованность в совхозе, тем меньше — по итогам сезона — попадает из него передовиков в такого рода списки района, области, края...

Две иллюстрации. Без тридцатилетнего первоцелинника, парторга и лучшего агитатора бригады Анатолия Иосифовича Чеховского трудно себе представить совхоз «Рузаевский». Это душа-человек. А по знанию техники равных ему и не найдешь: не только механизатор самого широкого профиля, но и новатор, конструктор. Ездил в Ленинград на Кировский завод для консультации и освоения экспериментальных гигантов К-700. В минувшем году поработал самоотверженно. Осенью обмолотил около пятисот гектаров валков и сразу же по окончании жатвы пересел на мощный «кировец». Сначала стаскивал солому, а затем на своем гиганте поднимал за смену до сорока гектаров зяби. Все успел, на всех работах отличился! Но если судить по официальным спискам, то он и не отличник...

Весной в «Рузаевском» шел ремонт комбайнов. Посмотрел я: каждый хлопочет у своего. И только. А знакомый уже нам Грицай-отец собрал вокруг себя самых усердных — смену отработают, а вечером вновь на машинном дворе. Решили, оказывается, на общественных началах поднять из мусора несколько добитых в прошлом комбайнов. Видишь их старания — тепло на душе становится... А ведь иному только рубль да рубль, а мы его прославляем!..

Значит, традиционные критерии оценок работы явно не достаточны: они слишком упрощены, если не сказать наивны. Нужно учитывать весь комплекс усилий человека, конечные результаты, вникая и в такие тонкости, как моральная сторона труда...

* * *

Нынче перед самым севом позвонил мне с аэродрома Иван Иванович:

— Вылетаю в Алма-Ату на курсы... Подковываться экономически...

Признаюсь, он меня несколько озадачил. Правда, как я узнал, на трехмесячных курсах, которые постепенно пройдут все директора целинных совхозов, будут изучаться главным образом вопросы экономики и научно обоснованного ведения сельского хозяйства в соответствии с решением мартовского Пленума ЦК КПСС.

— Но время-то какое — сев! — говорю ему.

— А вы думаете, без меня дело развалится? Все будет идти как надо. Остаются помощники, специалисты. Паршин остается. Его хоть сегодня ставь директором...

Посевная в совхозе прошла хорошо...



М. ГЕФТЕР, Я. ДРАБКИН, В. МАЛЬКОВ

★

МИР ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Об истории нередко забывают в буднях повседневной жизни. Естественно, что мысли о настоящем и будущем преобладают в сознании людей, особенно в наше время с его стремительным темпом, гигантскими переменами, происходящими на глазах одного поколения. Но как раз резкость и глубина этих перемен, забота о настоящем и будущем требуют, чтобы прошлое не забывалось, чтобы оно было правильно понято, а в своих лучших, прогрессивных чертах и традициях включено в сегодняшний день, продолжено и развито современностью. В дни, когда советский народ и все народы мира отмечают двадцатилетие победы над врагом, страшнее и опаснее которого человечество не знало, не менее важно и должно помнить о тяжелых уроках прошлого, о жертвах, которыми оплачен прогресс.

От Победы начинается новый счет истории. Тут уже почти невозможно отделить прошлое от настоящего. Это область современной истории. Не только задачи, но и методы ее изучения не могут в известной мере не отличаться от тех, которыми пользуется исследователь, имеющий дело с событиями, уже завершившимися и отстоявшимися. Перед глазами историка современности — бесконечный ряд фактов, больших и малых, реальное значение и внутренняя связь которых далеко не сразу становятся ясными, даже если понятно общее направление, в котором движется мир. Марксизм вооружил людей наукой предвидения их собственного будущего, но это предвидение не имеет ничего общего с прорицательством, верой в предуготованность общественного развития. Исторический процесс никогда не сводился к одной, единственной возможности, а всегда был «равнодействующей» (Ленин) столкновений классов и общественных сил, выражающих различные объективно существующие тенденции развития.

Если мы сегодня, несмотря на все тревоги и бедствия, которые принесли истекшие двадцать лет, оптимистически смотрим в будущее, то именно потому, что видим неуклонное нарастание сил, воплощающих в себе прогресс человечества. Эти силы — мировая социалистическая система, освободительная борьба народов, революционное движение пролетариата, на сторону которого переходят миллионы и миллионы труженников, людей, осознавших свой долг участия в борьбе за мир и демократию, за уничтожение социального, национального, расового гнета и неравноправия, за использование могущественных сил природы, раскрепощенных разумом человека, только в интересах и на благо человека. Рассказать о минувшем двадцатилетии так, чтобы второстепенное не заслонило главного, это и значит рассказать прежде всего о формировании и развитии сил, ведущих вперед человечество, — рассказать, не скрывая противоречий и трудностей, не забывая ни о нерешенности многих задач, ни о их сложности и грандиозности.

Мы заранее согласны принять упреки в том, что в данном обзоре рассмотрены не все факты, не все события, не все явления. Цель, которую преследовали авторы, — попытаться, хотя бы самым схематическим образом, нарисовать общую картину движения мира после окончания второй мировой войны.

* * *

1945 год проложил глубокую межу в судьбах человечества. Окончилась самая опустошительная, ожесточенная и кровопролитная из войн, которую когда-либо вели люди. Ее жертвы еще не были подсчитаны, следы ее виднелись повсюду. Радость победы над фашизмом омрачалась воспоминаниями о павших в борьбе. Но жизнь шла вперед, выдвигая новые проблемы, требуя новых усилий для их решения. Первый вопрос был обращен одновременно и к недавнему прошлому, и к ближайшему будущему: что нужно сделать, чтобы не допустить повторения пережитого, чтобы обеспечить послевоенным поколениям другие — лучшие, справедливые — условия существования и развития?

Разный ответ на этот вопрос, разный подход к его решению предопределила крайняя неоднородность сил, сражавшихся против гитлеровского блока. Вторая мировая война во всех отношениях была сложнее первой. Тогда друг другу противостояли две агрессивные коалиции капиталистических государств. Социальное размежевание проходило между буржуазией в целом и революционным пролетариатом, для которого единственно верный путь борьбы против войны, за демократический мир состоял в превращении данной империалистической войны в войну гражданскую. Иной была расстановка сил в великой битве с фашизмом. Классовое разграничение шло не только внутри отдельных стран, но и на международной арене. Основное противоречие эпохи — между родившимся в 1917 году социализмом и капитализмом, сохранявшим еще господствующие позиции в мире, — играло ведущую роль, хотя и предстало в непрямом, опосредствованном виде.

Мировая война возникла на этот раз не только в результате межимпериалистических конфликтов, но и как итог антисоветской политики, политики подавления растущих революционных сил, которой монополистические верхи буржуазии следовали на протяжении десятилетий. Эта политика меняла свои формы. От интервенции империализм переходил к блокаде, от нее — к подрывной деятельности против СССР в условиях «нормальных» дипломатических отношений. От репрессий против молодых коммунистических партий — к вынужденному признанию законности их существования и вновь к запретам и полицейскому террору, когда классовая борьба приобретала особую остроту. От «дипломатии пушек», направленной против национально-освободительных движений и революций, — к тактике лавирования, привлечения на свою сторону тех представителей имущих классов, которых пугала активность собственных трудящихся масс. От Локарно — к Мюнхену, от первого шага на пути «канализации» германской экспансии на Восток, к последнему шагу, сделанному в обстановке, когда в Европе стала вырисовываться перспектива широкого антифашистского, антиимпериалистического единого фронта народных масс, руководимого рабочим классом и тяготеющего к Советскому Союзу как к общему центру.

Мюнхенский курс был не только реакционным, но и слепым, не только контрреволюционным, но и антинациональным, в конечном счете самоубийственным даже для правящих классов наиболее могущественных буржуазных государств. Жестокий исторический опыт показал полную нереальность расчетов на то, что воинственно-шовинистические, милитаристские и расистские клики, пришедшие к власти при активном содействии международной реакции, останутся подконтрольными ей, не захотят воспользоваться благоприятными условиями для осуществления собственных империалистических планов, распространявшихся на весь земной шар и грозивших порабощением всем народам. Победы гитлеровского вермахта, капитуляция Франции и ряда других государств континентальной Европы, непосредственная угроза Англии, а в реально обозримом будущем и странам Америки обусловили резкий сдвиг в политике капиталистических держав — противников Германии: от борьбы за сохранение великодержавных, империалистических позиций в мире к защите своей государственной независимости и самостоятельного существования. Нельзя не воздать должное трезвости и решительности тех буржуазных политических деятелей, которые оказались способными отойти от традиций Мюнхена и вступить на путь, приведший их страны к участию в антигитлеровской коалиции. Но нельзя не видеть и другое: в основе перелома лежала необходимость, исключившая в последнем счете иное решение.

В. И. Ленин еще в 1916 году говорил о том, что при определенных исторических условиях (одно из них — победы вроде наполеоновских и порабощение ряда жизнеспособных национальных государств) возможно превращение империалистической войны в великую национальную войну в Европе. Такое превращение кажется невероятным в эпоху открытого антагонизма между пролетариатом и буржуазией. «Но это не невозможно, ибо представлять себе всемирную историю идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически неверно»¹. Поразительна пронизательность ленинских слов, хотя многое изменилось за четверть века.

Победы фашизма грозили человечеству неизмеримо большим, чем наполеоновские, — не только тиранией, но и истреблением целых народов, всемирным регрессом, одичанием и вырождением рода человеческого. Чтобы спасти мир, нужны были невероятные усилия, готовность сражаться с фашизмом не на жизнь, а на смерть. Мало этого. Спасение было в том, чтобы свирепой, безжалостной империалистической диктатуре противопоставить государственную организацию передового класса. История чужда формуле «если бы...». Однако действительные факты обязывают любого добросовестного исследователя (даже немарксиста) прийти к выводу: судьба всех многовековых завоеваний человечества, в том числе буржуазной демократии, зависела в критическую фазу войны от силы Советского Союза, иначе говоря — от существования и могущества диктатуры пролетариата. Потому и «возвращение» к национальной войне скрывало в себе перспективу нового революционного прогресса.

Советский народ сражался не один. Его союзниками и в трудные месяцы 1941 года, и в переломные дни Сталинграда были народы Англии и США, мужественные борцы Сопrotивления, в первых рядах которого повсеместно, в том числе в самой Германии, сражались коммунисты. Единство снизу вместе с гигантски выросшим в ходе вооруженной борьбы авторитетом и политическим влиянием Советского Союза обеспечили в решающей мере сохранение антигитлеровской коалиции вплоть до окончательного разгрома германских и японских вооруженных сил. Давление масс, с волей которых не могли не считаться буржуазные партии и правительства, заставило влиятельные реакционные круги Англии и США спрятать на время свои планы и идти к их осуществлению сложным, обходным путем. Никто не мог уклониться от требований миллионов, участвовавших в борьбе, — поставить фашизм вне закона. Этим требованиям отвечали Потсдамские решения держав-победительниц (август 1945 года) о демократизации, демилитаризации и денацификации Германии. Эти требования нашли свое воплощение в приговоре Нюрнбергского суда, который объявил преступными нацистскую партию и германский милитаризм, наказал их главарей и сделал принципом международного права ответственность государств и правительств за совершение агрессии, за преступления против человечности, за расистское изуверство, — принципом, торжественно закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций. Но не столько юридические акты и декларации, сколько живая традиция антифашистского Сопrotивления явилась серьезным препятствием для реакции, когда противоречия, не исчезающие в рамках единства во время войны, выступили наружу, вылившись в борьбу за определение путей устройства послевоенного мира.

И в Европе и в Азии речь шла не только о надеждах на будущее. С большей или меньшей решительностью народы разных стран включались в активные действия, имевшие целью их национальное и социальное освобождение. В одних случаях эти действия перерастали в новую вооруженную борьбу, в других — протекали преимущественно в мирных формах, хотя и отличались большим напряжением и резкостью политического размежевания. Совокупность же событий и конфликтов позволяет характеризовать их как революционную ситуацию. Рядом черт она отличалась от революционной ситуации, возникшей к концу первой мировой войны и под воздействием победы Октябрьской революции в России. Неизмеримо шире были на этот раз и масштаб революционных событий, и связь между ними, придавая процессу в целом

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 296.

более четко выраженную форму мировой революционной волны. Качественно новым моментом, имевшим громадное будущее, явилось сближение задач завоевания, восставления и обновления демократии с исторически назревшей задачей продвижения всех народов, всего человечества к социализму. Крушение старой буржуазной и полуфеодальной государственной машины в результате освобождения от фашистских, профашистских и коллаборационистских режимов вплотную подводило освободительное движение к проблеме революционной власти, к созданию нового типа демократической государственности, которая была бы свободна от неизлечимых язв и пороков «классической» буржуазной демократии, обеспечила бы подлинную независимость, социальный прогресс и действительно равные возможности для всех.

В борьбу оказались вовлеченными миллионы, в их числе множество мужчин и женщин, которые еще накануне войны стояли весьма далеко от политики, смутно представляли себе ее смысл и механизм. Под знаменем антифашизма объединились люди различных мировоззрений, имевших весьма несхожие, а в значительной мере еще не оформившиеся, не откристаллизовавшиеся представления о том, каков должен быть облик их стран и всего мира после разгрома фашизма. Национально-освободительный характер войны, способствуя пробуждению широчайших слоев общества, вместе с тем создавал и немалые трудности для политического и идейного размежевания, облекал его сплошь да рядом в сложные, запутанные формы. Но при всем многообразии революционного процесса, при всей неравномерности его, общим и главным интернациональным фактором была гегемония пролетариата в освободительном движении. И там, где она проявилась в наиболее зрелой форме, там, как правило, и революционная ситуация быстрее превращалась в революционные преобразования, менявшие весь облик общества.

Круто преломился исторический путь ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы, где борьба за национальное освобождение переросла в антифашистскую, народно-демократическую революцию. В каждой из стран — Польше, Югославии, Чехословакии, Албании, Болгарии, Венгрии и Румынии — революция развивалась по-своему, преодолевая свои трудности, не совпадая в решении ряда задач. Но доминировали общие для всех закономерности. Повсюду рабочий класс и коммунистические партии сыграли решающую роль в борьбе против нацистского гнета, фашистских и монархических режимов. Основы революционной власти складывались в ходе уничтожения советскими войсками гитлеровской военной машины, по мере нарастания вооруженной борьбы самих народов этих стран. Новые государства строились путем более или менее быстрого слома и радикальной перестройки старой системы управления, имея надежную опору снизу — в народных комитетах, Национальном фронте и других массовых организациях трудящихся. Хотя первоначальные задачи были повсюду демократическими, осуществление их подорвало самые основы крупной собственности, всего буржуазного строя, создав важные предпосылки перехода к социализму.

Иначе сложилась обстановка в странах, в освобождении которых от нацистского господства принимали участие английские и американские войска, действия которых с самого начала были направлены на то, чтобы предотвратить или приостановить революционное развитие событий. Трагическая судьба постигла Грецию: стремление народа к демократическому обновлению страны натолкнулось на решительное противодействие правящих кругов Англии и внутренней реакции, спровоцировавших длительную и кровопролитную гражданскую войну (1946—1949).

В большинстве западноевропейских государств господствующие классы, серьезно ослабленные войной, поражением фашизма и коллаборационистов, не решились бросить открытый вызов организованному и вооруженным силам рабочего класса и трудящихся масс, отвергавших самую мысль о реставрации довоенных порядков. Национальное освобождение сопровождалось в этих странах рядом реформ разного масштаба и значения — от изменений в избирательной системе до частичной национализации банков и некоторых отраслей промышленности (Франция 1944—1947 годов). В Италии из движения Сопротивления родилась как сама республика, так и антифашистская конституция 1947 года, не ограничившаяся только признанием демократических прав граждан, но и декларирующая «действенное участие всех трудящихся в политической,

экономической и общественной организации государства». Массы стремились сделать декларации реальностью, превратить лозунги в действия, которые носили бы не только негативный, но и созидательный характер; в «битвах за производство», в борьбе рабочего класса за демократическое решение задач национального возрождения открылись и новые революционные перспективы, новые формы движения к социализму. Духом этого творческого поиска отмечена деятельность коммунистических партий, их работа в массах и характер участия в правительствах.

Многое, однако, затрудняло развитие революционной борьбы в странах Западной Европы — от присутствия англо-американских войск до далеко еще не исчерпанных возможностей политического маневрирования буржуазии, часть которой была связана в годы войны с движением Сопротивления и играла руководящую роль в восстановленных после освобождения органах государственной власти. На спасение капитализма направила свои усилия и вековой опыт католическая церковь. Клерикальные партии стали важным фактором политической жизни Италии, Франции, Австрии, Бельгии, а также Западной Германии. Связь с крупной буржуазией обеспечила им деньги и влияние, а подновленный «христианский социализм», выраженная в программах и декларациях готовность к осуществлению широких реформ создавали массовую базу и обманчивую видимость существования «третьей силы».

Социалистические партии медленно восстанавливали свое влияние. В массе рядовых социалистов ощущалась сильная тяга к сохранению и расширению традиций Сопротивления, к единству действий с коммунистическими партиями, встречавшая тогда поддержку у многих лидеров социалистического движения. Они разделяли и курс на радикальные реформы, лозунг национализации, однако тщательно отделяли его экономический аспект от классового, от коренного вопроса — о характере власти. Традиционные догматические представления и реформистские концепции рождали нерешительность и колебания, боязнь резких перемен, отличавшие позиции социалистов особенно там, где они входили в правительства или возглавляли их. Сдвиг в массах принес победу лейбористам на парламентских выборах в Англии сразу же после окончания войны, когда консерваторам во главе с Черчиллем, военным лидером страны, казалось, что они имеют прочные шансы на успех. Но события, приковавшие к Англии внимание трудящихся западноевропейского континента, вновь и с особой отчетливостью показали иллюзорность надежд на введение социализма чисто верхушечным путем, без коренных изменений структуры общества.

Вторая мировая война и решающая роль СССР в ее победоносном завершении ускорили исторический процесс подрыва и ликвидации колониализма. Колонии, зависимые страны были теперь не только театром военных действий, поставщиком людских континентов для армий стран-метрополий. Угнетенные народы сражались и за свои собственные интересы. События послевоенных лет сделали очевидным необратимый сдвиг, который произошел в мире: ни один народ больше не позволит рассматривать себя как трофей в борьбе империалистических держав за очередной передел территории Земли.

В течение первых пяти послевоенных лет завоевали независимость около полутора миллиардов человек — без малого половина всего человечества. Естественно, что характер и формы освобождения отдельных стран и народов отличались рядом специфических черт, порожденных различием не только в уровне социально-экономического развития, но и в расстановке классов, в глубине и интенсивности революционного процесса, наконец во внешних условиях, сложившихся к концу войны. Если в Китае освободительное движение против японских захватчиков, возглавленное коммунистической партией, явилось этапом в развитии антиимпериалистической, антифеодальной революции, имевшей за спиной более десятилетия массовой вооруженной борьбы, то в других странах Азии не было к началу войны столь мощных революционных сил. Но они быстро росли в ходе войны, особенно на ее последнем этапе. Общей для большинства стран (Индокитая, Индонезии, Бирмы, Филиппин и других) была тенденция к образованию единого Национального фронта, объединявшего на антиколониалистской основе авангард трудящихся во главе с коммунистами и патриотические слои национальной буржуазии, которая в ряде случаев играла руководящую роль.

В 1945 году партизанская борьба в Азии переросла в вооруженные восстания. Вступление в войну с Японией Советского Союза, разгром Квантунской армии сделали безнадежным для японского милитаризма продолжение войны на материке. В этих условиях народно-освободительные силы Китая распространили свою власть на районы северо-востока страны. Победа Советской Армии дала мощный толчок освободительному движению в Корее. Северные районы ее были охвачены подлинной демократической революцией. Власть перешла в руки народных комитетов. Их первым шагом было проведение аграрной реформы, передавшей землю тем, кто ее обрабатывает, следующим шагом — национализация всех предприятий и банков, принадлежавших японским империалистам или национальным изменникам.

Вооруженные восстания на огромной территории Юго-Восточной Азии смели власть японских оккупантов, выдвинув проблему ближайшего будущего стран и народов этого района мира: завоюют ли они подлинную независимость или капиталистическим державам — победительницам в войне — удастся восстановить былое господство? Решающим фактором явилась революционная активность масс. Во Вьетнаме народ сбросил ярмо французских колонизаторов и уничтожил монархический режим. «Вьетнам имеет право быть свободным и независимым и действительно стал свободным и независимым государством. Вьетнамский народ решил мобилизовать все свои духовные и материальные силы, не жалея ни имущества, ни даже своей жизни, чтобы решительно отстаивать свое право на свободу и независимость», — гласил исторический акт 2 сентября 1945 года, провозгласивший Демократическую Республику Вьетнам — первое из возникших после войны народно-демократических государств в Азии. Однако французский империализм отнюдь не собирался «добровольно» уходить из Индокитая, так же как английский — из Бирмы и Малайи, голландский и английский — из Индонезии. Повсюду начались вооруженные действия, перемежавшиеся политическими маневрами колонниалистов с общей целью — расколоть складывающийся народный, национальный фронт, используя как социальные противоречия его участников, так и политическую неопытность, тысячелетние патриархальные, национальные, расовые предрассудки, живущие в толще масс.

Эта тактика отчетливо прослеживается в ходе событий, завершившихся крахом английского господства в Индии. К 1945 году освободительное движение индийского народа приобрело громадный размах и стало принимать боевые, революционные формы; в феврале 1946 года оно вылилось в восстание королевского индийского флота в Бомбейском порту, соединившееся с выступлениями рабочих, ремесленников, крестьян. Правящие круги Англии были поставлены перед необходимостью пойти на значительно более широкие уступки, чем те, которыми колонизаторы (наряду с репрессиями) тормозили рост национального движения в годы войны. Один из видных английских деятелей уподоблял Индию судну, «у которого пожар на палубе, а трюм полон взрывчатыми веществами».

Первоначальный план англичан состоял в раздроблении Индии на множество отдельных государств и полугосударств. Натолкнувшись на решительное противодействие лидеров национального движения, отражавших стремление масс к немедленному завоеванию независимости, английское правительство встало на путь раздела Индии на два государства-доминиона: Индию и Пакистан (1947 год). Политическая независимость была завоевана, но она была еще неполной, осложненной взрывом религиозно-общинных противоречий, резкими столкновениями индийцев и мусульман, братоубийственной резней. Однако попытки колониалистских кругов Англии сохранить в видоизмененной форме свое господство не увенчались успехом. Несмотря на громадные трудности, процесс политической консолидации Индии привел спустя три года к провозглашению республики; национальная буржуазия пришла к власти, опираясь на народные массы, — фактор, в значительной мере определивший ближайшее будущее страны. К национальной независимости шел, хотя и более сложным путем, Пакистан.

Антиимпериалистическая революция постепенно охватывала и другие районы мира. Из арабских стран вначале только Сирии и Ливану удалось добиться государственной независимости. Еще малоприметные признаки революционного подъема появились в Тропической Африке, где в сороковые годы возник ряд национальных полити-

ческих организаций и партий, которые уже не ограничивались требованием отдельных реформ, а выдвинули лозунги уничтожения колониального ига, улучшения экономических и социальных условий жизни африканских народов, завоевания ими азбучных прав человека. Начало освобождению этого глубочайшего тыла империализма положило в 1948 году движение в английской колонии Золотой Берег (ставшей после десятилетней упорной борьбы суверенным государством Гана). В преддверии крупных событий и острых классовых схваток находились страны Латинской Америки — полуколонии империализма, прежде всего североамериканского, использовавшего обстановку мировой войны для расширения своих позиций. Путь к подлинному национальному освобождению латиноамериканских народов лежал через борьбу с господством олигархических кланов, компрадорского капитала и латифундистов. Антиимпериалистическое, народное движение в середине сороковых годов добилося свержения реакционных режимов в Гватемале, Эквадоре, Венесуэле. В авангарде этого движения, объединявшего рабочих, крестьян, интеллигенцию и часть национальной буржуазии, шли коммунисты. Однако революционный подъем в Латинской Америке вскоре сменился ожесточенной контратакой реакции, сумевшей в большинстве случаев восстановить свое господство.

Таким образом, уже первые годы после войны показали, что вызревание революционного кризиса происходит с существенным отличием в условиях отдельных областей и стран, составе участников движения, характере ближайших задач, политических и идеологических формах. Но повсюду в н у т р е н н и й революционный процесс развивался под громадным и нарастающим воздействием м и р о в о г о — меняющегося соотношения сил между капитализмом и социализмом.

Победа Советского Союза в Отечественной войне была настолько очевидно связана с новым общественным строем, что попытки представить ее «чудом» или вывести из особых, «исконных» свойств русского характера терпели неудачу. Фактами, теперь уже ясными для миллионов, было доказано, что строй, рожденный синтезом марксистско-ленинских идей и революционного творчества народов СССР, открывает неизвестные до того человечеству возможности прогресса, ликвидации отсталости, защиты независимости, обеспечения внутреннего единства на социалистической и интернационалистской основе.

Империалистическая буржуазия была поставлена перед необходимостью выработать новую стратегию борьбы против социализма, считающуюся с изменением в соотношении сил, а также с моральным и политическим переломом, назревавшим повсеместно в народных массах. В планах противодействия революционному процессу, которые реакционные лидеры буржуазного мира вынашивали уже на заключительной стадии войны, за аксиому принималась неизбежность экономического обессиления Советского Союза, который без помощи Запада не сможет осуществить даже восстановления собственного хозяйства. Что касается военной мощи СССР, с которой нельзя было не считаться, то противовесом ей, способным создать совершенно новую «ситуацию силы» на бесконечно долгий срок, призвана была стать американская атомная бомба. Жертвой первых атомных взрывов стали не только Хиросима и Нагасаки, но и надежды, скреплявшие антифашистское, антимилитаристское единство в годы войны. Родился страх за будущее, и этот страх стал новым фактором политической жизни, в том числе и в самой Америке. «Бомба, которая упала на Америку» — назвал свою поэму Герман Эйджедорн.

В студень трясущийся все
превратилось,
В студень, ползущий у нас под
ногами.
Вот что с Америкой нашей
случилось.
Что же нам делать,
Страна моя?
Что же нам делать?

Властвующая элита уже подготовила ответ. Ровно через месяц после окончания войны с Японией США перешли к массовому производству атомного оружия.

«Победа, которую мы одержали,— заявил президент Трумэн,— возложила на американский народ бремя постоянной ответственности за руководство всем миром. Будущий мир во всем мире будет во многом зависеть от того, докажут ли Соединенные Штаты, что они полны решимости сохранить свою роль руководителя всех наций».

У этой велеречивой решимости была вполне прозаическая подкладка: интересы сильнейших монополистических групп, которым давно уже стало тесно на американском континенте. Не меньшее значение имели политические соображения. Североамериканский финансовый капитал, опасаясь революционного взрыва прежде всего в Западной Европе, даже в движении за социальные реформы усматривал угрозу «свободному предпринимательству» во всем мире. Старая идея «американского века» получила новую интерпретацию: стремление любой ценой сохранить повсеместно господство капитала. Быстро складывалась новая, «атомная» дипломатия, исходившая из того, что самый факт монопольного владения чудовищным оружием заставит остальные государства и народы подчиниться «руководству» Вашингтона.

Буржуазная верхушка западноевропейских государств, как правило, видела в американском вмешательстве спасение для себя. Этому отчасти способствовало объективное положение Западной Европы: невозможность осуществить в короткие сроки восстановление на частнокапиталистической основе, опираясь только на внутренние ресурсы. Американская помощь, обставленная политическими условиями, углубила процесс классового размежевания, выдвинув вновь и по-новому проблему независимой национальной политики и связав ее с борьбой масс за социальное обновление. Вчерашний антинацистский блок не выдержал испытаний. На сторону крупной буржуазии перешли значительные прослойки средней и мелкой буржуазии — отчасти под прямым давлением финансового капитала, отчасти в силу старых антикоммунистических предрассудков. Конфликт достиг кульминационного пункта летом 1947 года — накануне и в момент принятия «плана Маршалла». Резко обозначились два курса: курс на равноправное экономическое сотрудничество всех стран, включая СССР, и курс на «атлантическую солидарность», прикрывающую диктат империализма и восстановление в полном объеме довоенных отношений собственности и власти. Раскол рабочего движения и антифашистского единства был облегчен и ускорен полным или частичным переходом верхушки социал-демократии на позиции сотрудничества с консервативными и реакционными силами. Руками правых социалистов была проведена операция исключения коммунистов из правительства Франции. В Италии создавалась опасность ликвидации демократических завоеваний и монополизации всей политической власти демохристианской партией, которая заручилась поддержкой со стороны отколовшейся части социалистической партии (социал-демократов).

Реакционный поворот во внутренней жизни крупнейших буржуазных государств имел и отчетливо выраженный внешнеполитический аспект. Уже фултонская речь У. Черчилля (1946 год), впервые произнесшего слова «железный занавес», была открытым призывом к холодной войне, словесным обрамлением «жесткого» курса, возведенного вскоре до уровня руководящей политической концепции не только североамериканской, но и всей международной буржуазии. Так прокладывался путь к созданию — буквально через несколько лет после окончания второй мировой войны — новой империалистической коалиции. Первоначальным ядром ее явился «Западный союз» (1948 год), который к началу 1949 года перерос в «Организацию Североатлантического договора» (НАТО) — военно-политический блок двенадцати капиталистических государств, мировой и агрессивный характер которого маскировался региональной вывеской и оборонительной фразеологией.

Обозревая все послевоенное двадцатилетие, полное драматических событий, мы можем с достаточным основанием сказать, что конец сороковых — начало пятидесятых годов были самыми критическими для прогрессивных сил, чреватými серьезными опасностями для судеб мирового революционного, освободительного движения. Психологически империализм никогда так не был близок к началу атомной войны, как в то время. Влиятельные круги американской военщины считали, что не следует упускать благоприятной возможности для нанесения сокрушающих ударов по СССР. Общественному мнению внушалось изо дня в день, что Америке угрожает внезапное нападение совет-

ской авиации. Советскому Союзу приписывали планы истребления населения США. Воистину это была «большая ложь», повторяемая (по словам американского публициста) «столь часто, что она уже принимается за правду, и используемая для раздувания ненетовых страстей, подавляющих голос разума и позволяющих осуществлять намерения, не оправдываемые никакой логикой». Правительства США и ведомыми капиталистических стран не скрывали планов, согласно которым вслед за реставрацией капитализма в Восточной Европе и подавлением революционных течений на Западе должна была наступить очередь СССР, который надлежало «переделать». Когда позднее Дж. Ф. Даллес объявил о намерении «оовободить» русских и китайцев от «атенстического международного коммунизма», он лишь следовал ранее взятому курсу.

В сложившейся обстановке решающее значение имела способность Советского Союза к противодействию планам империалистической реакции. Задачи, вставшие перед социалистическим государством, были предельно осложнены тем, что их приходилось решать без всякой передышки после войны, в которой СССР понес наибольшие жертвы. Погибло свыше двадцати миллионов людей, значительная часть которых принадлежала к самой жизнедеятельной части общества, обогатенной опытом довоенного социалистического строительства. Целые районы страны, многие ее индустриальные центры и области товарного земледелия были превращены войной и оккупацией в зону пустыни. Миллионы людей остались без крова. Главный материальный ущерб пал на долю общественной собственности (государственной и колхозно-кооперативной). Этим определялся социальный аспект восстановления. Речь шла о возрождении экономической структуры социализма на освобожденной территории и вместе с тем о расширении и обновлении основы народного хозяйства в целом — с тем чтобы возобновить и ускорить движение вперед. Поэтому приоритет должен был оставаться за развитием тяжелой индустрии, форсировать которое настоятельно требовала и международная обстановка. Чтобы сдержатъ массивное давление империализма, защитить себя и страны, вставшие на революционно-демократический, социалистический путь, нужно было создать в максимально короткий срок свое атомное оружие, сконцентрировав ресурсы для интенсивных научных исследований, развития новых, технически наиболее сложных отраслей промышленного производства.

Социалистическое общество вновь и в крайне неблагоприятной для себя обстановке выявило громадные потенциальные возможности плановой системы, а советский народ еще раз доказал способность преодолеть трудности и лишения во имя сохранения и закрепления оплаченной кровью победы. Нельзя умолчать и о других трудностях, которые создавались сосредоточением необъятной власти в руках одного человека, окончательно вышедшего из-под контроля партии и трудящихся масс. ореол победы, укрепивший авторитет И. В. Сталина как главного руководителя вооруженных сил и страны, мешал понять опасности, связанные с субъективизмом в решении многих политических и экономических проблем, с нараставшим отходом Сталина от ленинских принципов, от пролетарского интернационализма. Но определяющим остается тот факт, что в исключительно сложных условиях Советский Союз выполнил свой первейший долг перед народами мира. Уже в 1946 году была в основном завершена перестройка хозяйства на мирный лад, а в 1948 году объем промышленного производства не только достиг довоенного уровня, но и превзошел его. 25 сентября 1949 года мир был поражен сообщением о наличии у СССР атомного оружия.

Успехи послевоенного строительства СССР непосредственнее всего отразились на развитии социалистической революции в европейских странах народной демократии. Наглядно продемонстрирована была решимость Советского Союза воспрепятствовать «экспорту контрреволюции» в форме интервенции, а также способность советской экономики содействовать ускоренному восстановлению и социалистическому преобразованию хозяйства народно-демократических государств. Классовая борьба внутри этих государств вокруг центрального вопроса — о пути развития — вступила в решающую фазу. Провал контрреволюционных заговоров в Венгрии и Чехословакии (1947—1948 годы), ликвидация монархии и провозглашение республики в Румынии (конец 1947 года), окончательное поражение реакционеров в Польше, принятие новой консти-

туции Болгарии (декабрь 1947 года) выразили коренной сдвиг: изоляцию старых буржуазных и мелкобуржуазных партий, консолидацию рабочего класса и создание на этой основе единых марксистско-ленинских партий, укрепление союза рабочего класса и крестьянства, единства организованных народных масс, отвергших традиционный буржуазно-демократический путь и решительно высказавшихся за социализм.

Глубокий перелом произошел в исторических судьбах Германии. Перспектива полного уничтожения германского милитаризма с самого начала не устраивала наиболее реакционные круги США, Англии и Франции. Дальнейшая позиция западных держав в германском вопросе определялась в громадной степени задачами борьбы с европейской и мировой революционной волной. Курс на восстановление и усиление экономического и военного потенциала Западной Германии, превращение ее в форпост антикоммунизма с неизбежностью вел к расколу Германии. «Мы достигли конца пути: времена Ялты остались позади», — писала в декабре 1947 года газета «Нью-Йорк геральд трибюн» и тут же с предельной откровенностью разъясняла: «Раскол Германии развяжет нам руки и позволит включить Западную Германию в систему западных государств». Не секрет, что «проблема Германии» была одним из главных факторов, заставлявших империалистические круги спешить с созданием НАТО. И те же круги выступили в 1949 году «отцами-основателями» Федеративной Республики Германии.

Однако диалектика развития такова, что на развалинах гитлеровского рейха возникло два государства, противоположных по своему социально-политическому содержанию. Процесс демократического, революционного обновления в Восточной Германии создал прочную основу для власти рабочих и крестьян. В условиях раскола Германии исторически неизбежным стало образование суверенного антиимпериалистического, антиреваншистского государства — Германской Демократической Республики, вставшей на путь социализма. 1949 год завершил, таким образом, складывание системы социалистических государств в Европе. Империалистические планы возвращения Восточной Европы в лоно капитализма потерпели крах.

Холодная война ознаменовалась серией лобовых контратак колониализма. Голландские колонизаторы вновь открывают вооруженные действия против Индонезийской республики. Франция, вероломно нарушив соглашение, начинает «грязную войну» против Демократической Республики Вьетнам. Лейбористское правительство Англии бросило своих солдат против освободительного движения в Малайе. Участие США в вооруженной борьбе против повстанцев на Филиппинах, попытки путем террора, провокаций, военного давления предотвратить объединение Кореи на народно-демократической основе, блокировать и уничтожить революционную базу на севере страны, прямое участие США в осуществлении гоминдановских планов уничтожения Народно-освободительной армии и Коммунистической партии Китая — все эти факты открыто выявили превращение североамериканского империализма в лидера и главную военную опору колониалистской реакции.

Но времена изменились. Антиколониалистское движение приобрело прочную и быстро разрастающуюся массовую базу, стало организованнее, сплоченнее, сознательнее. Сталкиваясь с активным противодействием международного империализма, революционное движение в Азии сумело отчетливее отделить себя от проимпериалистических слоев и групп, более точно определить и направление главного удара. Укрепление народно-демократического строя на севере Кореи и объединительное движение, охватившее широкие слои населения всей страны, подготовили создание Корейской Народно-Демократической Республики (сентябрь 1948 года). Крупнейшей вехой в освободительном движении явилась победа Народно-освободительной армии Китая, отразившей атаки вооруженных сил Чан Кай-ши и перешедшей в середине 1947 года в решительное наступление, которое спустя два года увенчалось полной победой над внутренней и внешней реакцией. 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Героически сопротивлялся нашествию французских войск вьетнамский народ. Из рук английских колонизаторов вырвал политическую независимость народ Бирмы (1948 год). После нескольких лет вооруженной борьбы, провокации внутренних конфликтов и «мирных» маневров империалисты Голландии, Англии и США оказались

вынужденными отступить в Индонезии. Планы «сдерживания» и «отбрасывания», под знаком которых развертывалась холодная война, терпели крах и в другом своем важнейшем звене.

Так, в цепи сложных, не всегда совпадавших, но внутренне связанных между собой событий нашла проявление новая расстановка социальных и политических сил. Самым важным итогом было превращение социализма в мировую систему. Изпод владычества капитала вырвалось еще восемьсот миллионов людей. Крушение колониальной системы, сначала охватившее в основном Азию, стало принимать характер мировой «цепной реакции»: в июле 1952 года восстанием частей каирского гарнизона началась антиимпериалистическая и антифеодалная революция в Египте, спустя два года развернулась вооруженная борьба в Алжире. Самое бешенство контратак, которые предпринимали наиболее агрессивные силы, уповая на военную мощь США, прикрывало до поры до времени тот очевидный факт, что историческая инициатива уходит из рук старого мира. Правда, реакция добилась некоторых существенных успехов: в ряде стран революционный процесс был замедлен или временно приостановлен, силы демократии здесь были расколоты и ослаблены. Однако общий результат политики, целиком связанный с военным решением возникающих проблем, оказался прямо противоположным замыслам ее инициаторов.

Холодная война пришла в непримиримое противоречие с действительностью, с тем объективным процессом революционных изменений, который с разной степенью интенсивности схватывал как сферу экономики, так и сферу политики, социальных, национальных и межгосударственных отношений в послевоенном мире. Временные преимущества, которые милитаризация дала экономике капиталистических государств, не окупались огромными растратами производительных сил, опустошениями в бюджетах, растущей диспропорцией в народном хозяйстве. Резко возросший гнет крупнейших корпораций и военно-монополистических клик, все сильнее распространявших свое влияние на политику и создававших новые угрозы буржуазной демократии, рождал недовольство, протест и сопротивление масс. Вырисовывались возможности складывания демократической коалиции антимонополистических, антимилитаристских сил внутри буржуазных государств и объединения миролюбивых демократических сил на международной арене.

Угроза атомной войны вызвала к жизни всемирное движение сторонников мира. Своим Стокгольмским воззванием (19 марта 1950 года) оно положило начало мобилизации широчайших масс, в том числе определенных слоев буржуазного общества, на борьбу против угрозы ядерной катастрофы. Коммунистическое движение сделало существенно важные шаги по сплочению разнородных потоков революционной, демократической, национально-освободительной и антивоенной борьбы, объединенных общей целью — сломить наступление реакции, обеспечить социальное преобразование мира в условиях, исключающих мировую термоядерную войну.

Серьезным поражением империализма явилась ликвидация «горячих войн» в Корее (1950—1953 годы) и Индокитае (1946—1954 годы). И хотя надо было ожидать, что колониалисты, при более благоприятных для них обстоятельствах, не преминут вновь раздуть огонь войны в этом районе мира, использовав раскол государств и марionеточные режимы, сам факт решения крупного военного конфликта дипломатическими средствами имел не только местное, но и более широкое значение. Им была выявлена реальность осуществления политики мирного сосуществования как системы взаимоотношений между государствами с разным социальным строем и вместе с тем формы соревнования и борьбы двух систем, двух лагерей, в ходе которой лагерь социализма и демократии может, наращивая свои силы, принудить империалистические государства к отказу от войны и даже к всеобщему разоружению.

Очевидно было и другое: путь к решению этой великой задачи современности исключительно сложен. Он требует от антиимпериалистических сил, и прежде всего от рабочего класса, бдительности и мужества, глубокого проникновения в смысл перемен, совершающихся в мире, трезвости и гибкости решений, единства действий.

Сознанием чувств ответственности за судьбы своего народа и всего человечества были продиктованы решения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза

(1956 год). Мужественный анализ и критика идеологии и практики культа личности Сталина помогли съезду выработать новую перспективу в борьбе за мир, демократию и социализм. Вывод, сделанный международным коммунистическим движением, гласил: силы мира огромны, они могут не допустить войны, сохранить мир.

«Мы, коммунисты, посвятили свою жизнь делу социализма. Мы, коммунисты, непреклонно верим в победу этого великого дела. Именно потому, что мы верим в триумф наших идей — идей Маркса и Ленина, идей пролетарского интернационализма, — мы желаем мира и боремся за мир. Война — наш враг...

Мы протягиваем руку всем людям доброй воли. Общими силами сбросим бремя вооружений, гнетущее народы! Освободим мир от угрозы войны, смерти и уничтожения! Перед нами светлое и счастливое будущее человечества, идущего к прогрессу.

Миру мир!»

Этими словами заканчивался исторический Манифест мира, принятый шестьюдесятью четырьмя коммунистическими и рабочими партиями, представители которых собрались в Москве в ноябре 1957 года.

* * *

Середина XX века — рубеж, от которого берет начало новая полоса всемирной истории. Этот рубеж не связан с каким-нибудь одним, решающим событием. Он, и в этом его отличительная черта, концентрирует в себе глубокие сдвиги и перемены, происшедшие не в одной стране и даже не в одной группе стран, а на огромной части населенного пространства Земли. Суть этих сдвигов и перемен, их генеральная тенденция — освобождение от капитализма и всех оставшихся в наследство от прошлого форм и видов социального гнета, неравноправия и духовного рабства, творческий поиск путей, ведущих через ряд промежуточных стадий к высшим формам общественного развития, к грядущей единой коммунистической цивилизации.

История не знала в прошлом эпох одновременного и стремительного движения всех народов без исключения. Прогресс протекал либо в форме крайне медленного, растянутого на многие тысячелетия или столетия поступательного развития (такими были эпохи господства первобытно-общинного строя и господства феодализма, конечно, с существенными отличиями в эволюции каждой из них). Существовала и другая форма всемирного прогресса — скачкообразное выдвигание вперед небольшой группы стран и народов. Прогресс их был обусловлен глубокими, иногда революционными сдвигами в развитии производительных сил, но вместе с тем он совершался в громадной мере за счет прямой или косвенной эксплуатации других народов и стран, имея своей непременной чертой внешнюю экспансию, подчинение слабых господству сильных. Такими чертами отмечены, каждая по-своему, эпоха расцвета рабовладельческих античных обществ и эпоха подъема, утверждения капитализма. Лишь на очень высокой ступени развития общественного производства, в результате уничтожения классовых антагонизмов станет возможен действительно всеобщий, универсальный прогресс — к этому выводу научный социализм пришел не путем умозрительных выкладок и фантастических построений картины будущего, а через анализ реальных тенденций и противоречий капиталистического строя.

Никто не мог заранее сказать, как конкретно произойдет переход от старого к новому типу всемирно-исторического развития. Незадолго перед Октябрем Ленин писал: «Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело»¹. Теперь человечество располагает опытом, позволяющим с большей ясностью определить пути, ведущие отдельные народы и все народы вместе к общему будущему. В этом самая важная примета времени, самая характерная черта новой полосы всемирной истории.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 260.

Темп развития человечества резко ускорился. От первой попытки свержения власти буржуазии — Парижской коммуны — до первой победоносной пролетарской революции прошло почти полвека, от Октября до создания мировой социалистической системы — немногим более тридцати лет. Крушение же колониализма, завоевание политической независимости многими десятками народов заняло поразительно короткий срок; решающая стадия этого процесса пришлась на третье послевоенное пятилетие, когда перевес в историческом соревновании социализма и капитализма стал явно и необратимо переходить на сторону социализма. Бурное движение мира, взрывчатая сила событий, изменивших его облик, могут породить (или возродить) иллюзию примата политики над экономикой, возможности революционного решения задач, еще не подготовленных ходом общественно-экономического развития. Но это, конечно, не так. Человечество сейчас, как и в прошлом, решает лишь те задачи, которые оно способно решить. Все дело в том, что его способности, его возможности гигантски выросли — по сравнению не только с далеким прошлым, но и с условиями, существовавшими два-три десятка лет назад.

Энгельс уподобил промышленный переворот в XIX веке Великой французской революции, заметив, что первый был «менее шумный, но не менее грандиозный»¹. Современный научно-технический переворот заявил о себе человечеству событиями достаточно шумными и драматическими. Грандиозность же его беспрецедентна, перспективы, которые он открывает, еще не могут быть в полной мере взвешены и оценены. По наиболее ярким проявлениям этого переворота наш век принято называть «веком атома», «веком космоса», «веком кибернетики». Решающие же сдвиги происходят в фундаменте общественного здания — в сфере материального производства, где отдельные открытия, соединяясь друг с другом, меняют характер трудовой деятельности людей, открывают принципиально новые пути воздействия человека на природу, в том числе и на природу самого человека и человеческого общества.

Каждый этап технического прогресса связан с расширением его энергетической базы. Вплоть до XVIII века ежегодный прирост мирового производства энергии измерялся долей процента (правда, непрерывно возраставшей). В XIX веке он составлял менее двух процентов, в первой четверти XX века — два с половиной процента, во второй — три процента, а ныне приближается к четырем процентам, причем производство важнейшего вида энергии — электрической — удваивается каждые десять лет. Не только старые, но и сравнительно новые источники энергии — нефть и газ — способны поддерживать такие темпы роста лишь на протяжении ближайших десятилетий. Но еще задолго до того, как иссякнут запасы этого топлива, должна будет развернуться в полную мощь атомная энергетика. Впереди использование таких неиссякаемых источников энергии, как солнце, ветер, вода, включая сюда энергоресурсы мирового океана. После овладения секретом управления термоядерными реакциями человечество получит в свое распоряжение практически любое потребное ему количество энергии. Значительные же успехи математики и кибернетики, электроники и физики полупроводников позволяют неизмеримо более рационально использовать существующие и будущие энергетические ресурсы. Опираясь на них, человечество уже достигло огромных успехов в развитии металлургии и химии, а в сравнительно недалеком будущем сделает материально-сырьевой базой своего производства все богатства литосферы, гидросферы и атмосферы Земли.

Качественно обновляются все элементы производительных сил. С изменением предмета труда связано и изменение орудий труда. Если промышленная революция XIX века имела своим итогом создание системы машин, крупного фабрично-заводского производства, то научно-техническая революция современности идет к созданию автоматической системы машин, к комплексной автоматизации всего общественного производства. Уже сейчас реальной является задача полного вытеснения невооруженного, неквалифицированного ручного труда, механизации трудовой деятельности во всех ее видах. Меняются не только характер труда, но и прежние формы его разделения, создаются материальные предпосылки стирания грани между так называемым физическим

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 271.

трудом и «чисто» интеллектуальной, научной деятельностью, протекавшей веками вне непосредственной сферы общественного производства.

Новая роль науки — важнейшая черта промышленной революции XX века, делающей самое производство, как предвидел еще Маркс, «материально-творческой и предметно-воплощающейся наукой». В начале века исследовательскую деятельность регулярно вело не более пятнадцати тысяч человек, в настоящее время число ученых измеряется сотнями тысяч и миллионами; подсчитано, что их почти вдесятеро больше, чем ученых всех времен и народов прошлого. Место одиночки-ученого занимают огромные научные коллективы. Идет интенсивный рост новых дисциплин, особенно в пограничных областях науки, с ярко выраженной тенденцией к выработке общих методов и понятий, к синтезу результатов многих, с прежней точки зрения весьма отдаленных друг от друга областей. Человек, вооруженный мощными средствами и орудиями познания, освобожденный от существенной части «черной» работы в науке, сделал громадный шаг в овладении фундаментальными законами неживой и живой природы и в их практическом применении. То, что сегодня рождается в лаборатории, может через считанные месяцы материализоваться в новых конструкциях машин, в новых приборах и механизмах, лекарственных препаратах, синтетических материалах с заранее заданными свойствами. Наука преобразует не только промышленность, но и транспорт, связь, строительство, становится частью сельскохозяйственного производства, активнейшим фактором изменения географической среды. Она приблизилась к решению задачи продления жизни, уничтожения самых тяжелых заболеваний людей, а также создала новые возможности повышения творческого потенциала каждого человека — с помощью современных методов обучения, развития памяти и способностей.

Если обобщить итоги и перспективы научно-технической революции середины XX века, то главным в этих итогах и перспективах является реальная возможность достижения в обозримые сроки такого уровня развития производительных сил, который принесет изобилие материальных и духовных благ для всех народов без исключения, для всего человечества.

Однако реализация этой возможности не автоматический процесс, как и сама научная революция не является абсолютным благом. Ей свойственны внутренние противоречия. Часть из них относится к собственной сфере науки, бурный прогресс которой имеет одним из своих последствий все более дробную специализацию. Гигантское расширение кругозора человечества сопровождается сплошь да рядом сужением кругозора отдельного человека. Чудовищно быстрое увеличение объема и рост сложности научной информации породили тревогу, что информация «задушит» ученого, а коллективность исследований, грандиозность механизма современной науки приведет к нивелированию творческой индивидуальности. Трудности научного прогресса эксплуатируются буржуазными философами и социологами, авторами бесчисленных трактатов, речей и статей, призывающих задержать развитие исследовательской мысли во имя «спасения цивилизации». «Новые попытки приковать Прометея будут безумием», — отвечал на эти реакционные стенания великий французский ученый Фредерик Жолио-Кюри. Как и другие передовые представители науки, принявшие мировоззрение марксизма, он понимал, что путь к преодолению противоречий выводит ученого за пределы самой науки — в социальную сферу, в конечном счете зависит от природы общественных отношений.

Тем более это относится к противоречиям, связанным с практическим применением успехов науки и технических новшеств. Подобно тому как переход от ремесла и мануфактуры к машинному производству породил вместе с индустриальным капитализмом новые формы рабства, переход к автоматическому производству в развитых буржуазных странах воспроизводит в иных формах традиционные социальные бедствия, добавляя к ним опасности «обесчеловечивания», превращения рабочего в простой придаток автоматической системы, подавления трудящихся гигантской машиной государственно-монополистического капитализма, к услугам которого не только средства прямого насилия, но и всепроникающий механизм духовного подчинения. Концентрация научных исследований ускоряет процесс обобществления производства, делая его в еще большей мере, чем в начале XX века, несовместимым с частнособственническими отношениями. Но пока процесс совершается в данной оболочке, он ведет к увеличению разрыва меж-

ду богатством все более узкой финансовой олигархии и ограниченными возможностями масс удовлетворять свои потребности, хотя это глубочайшее противоречие скрыто от сознания немалой части трудящихся улучшением их материального положения по сравнению с прошлым. Еще сильнее разрыв между экономическим уровнем богатейших капиталистических государств и уровнем вчерашних колоний и полукolonий. Научно-техническая революция, резко увеличив производственный потенциал в странах развитого капитализма, создала для них дополнительные возможности давления на слабо-развитые страны, возможности сохранения экономического раздела мира — одного из главных источников бедственного положения сотен миллионов людей.

Опасности угрожают всему человечеству, пока достижениями современной науки распоряжаются военно-промышленные концерны и милитаристско-чиновническая верхушка. Подобно каждому сходящему с исторической арены эксплуататорскому классу, буржуазия не может не отдавать предпочтения насильственным средствам удержания своего господства. Но империалистическое насилие, сопряженное с потенциальной возможностью термоядерного уничтожения, способно создать ситуации, которые выйдут из-под контроля людей и могут привести к гибели земной цивилизации. Эта особенность середины XX века накладывает глубокий отпечаток на все стороны жизни, социальной и политической борьбы. Если в недавнем прошлом переход к социализму диктовался преимущественно интересами пролетариата, трудящихся масс, то теперь он становится неумолимой потребностью огромного большинства человечества. Отсюда и новая роль самого социализма, идеологии и политики рабочего класса, выражающего коренные интересы общечеловеческого развития. Этими высшими интересами определяются ныне развитие мировой социалистической системы, ее воздействие на все остальные потоки освободительного движения и революционной борьбы.

Образование мировой социалистической системы — явление, не имевшее прецедента в истории. Оно не могло не быть принципиально отличным от складывания мировой системы капитализма, ибо было вызвано иными объективными причинами, диктовалось иными побудительными мотивами. Оно требовало и совершенно других средств и форм, ибо речь шла о складывании политического и экономического содружества свободных народов и суверенных государств.

Существование и развитие могучей социалистической державы — СССР — создало основу, естественную ось кристаллизации новой мировой системы. Оправившись от чудовищных утрат, вызванных войной, Советский Союз приступил к решению задач, совокупность которых предусматривает создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование общественных отношений и всестороннее развитие социалистической демократии, резкий подъем благосостояния народа и духовный рост советских людей.

Народно-демократические страны вступили в период перехода к социализму, коренной переделки экономического строя и общественных отношений, преодоления неравномерности развития и ликвидации вековой отсталости ряда стран — наследия империалистического господства и полуфеодальных режимов. Многоукладность и различие экономических уровней предопределили и различие между странами и группами стран в продолжительности переходного периода, своеобразии в решении хозяйственных задач, формах приобщения масс к социалистическому строительству. Необходимо было учесть при этом исторические традиции, обычаи, особенности национального склада разных народов. Крайне осложняли создание нового строя последствия войны. Собственно лишь теперь, когда осталась позади самая тяжелая полоса — полоса одиночного существования СССР во вражеском капиталистическом окружении — и более короткая, но достаточно тяжелая полоса послевоенного наступления реакции, социализм как система может полностью раскрыть все заложенные в нем возможности прогресса.

О том, насколько они велики, свидетельствуют реальные итоги послевоенного развития. опередивший еще до войны все капиталистические страны по темпам индустриализации СССР достиг важного рубежа — превосходства в абсолютных размерах ежегодного прироста промышленной продукции. Все социалистические страны увеличили размеры промышленного производства (по сравнению с довоенными размерами на их современной территории) более чем в восемь раз, в то время как в капиталистических

странах увеличение составило около 2,9 раза. Сейчас социалистические страны дают почти тридцать восемь процентов мировой промышленной продукции, доля же капитализма сократилась с девяносто семи процентов после Октябрьской революции до пятидесяти восьми процентов в начале шестидесятых годов (с вычетом промышленного производства независимых государств Азии и Африки). Речь идет, таким образом, о бесспорной тенденции утраты капитализмом вековой промышленной гегемонии, а тем самым о начале самого глубокого и важного общественного перелома. Другой его показатель: бурный научный и технический подъем социалистических стран, выдвигающихся на передовые позиции в ключевых направлениях мировой науки и техники. Триумфальные достижения СССР в освоении космоса стоят перед глазами всего человечества.

Теперь усилия народов социалистических стран направлены на то, чтобы сделать прогресс фронтальным, ликвидировать диспропорции, резко двинув вперед (в зависимости от конкретных нужд отдельных стран) развитие отстающих отраслей индустрии, сельского хозяйства, производства средств народного потребления. Во весь рост встали проблемы усовершенствования форм социалистического планирования и хозяйствования, более гибкого сочетания общественных и личных интересов, соединения целостности и пропорциональности народнохозяйственного развития с расширением инициативы и самостоятельности отдельных трудовых коллективов, повышения роли рабочего и народного самоуправления.

Трудность состоит в принципиальной новизне задач, о которых человечество в прошлом не имело понятия, задач, перевод которых с языка марксистской теории на язык практики не мог не потребовать творческих коррективов и в самой теории. Трудность — и в объективных условиях, и в разнородных субъективных препятствиях. В одних случаях это противодействие еще существующих, хотя уже резко ослабленных и оттесненных на задний план остатков эксплуататорских классов. В других случаях речь идет о более широком и сложном сопротивлении, имеющем своим источником мелкобуржуазную стихию, формы мышления и привычки, созданные многими веками существования собственнического мира, застойные, консервативные традиции, способные не только проникнуть в социалистический организм, но и воспроизводиться в новых, подчас трудных различных формах. Наконец существует и инерция собственного развития социализма, трудности, рождаемые задержкой перехода его от одной исторической ступени к другой, заострением формул и методов, которые уже непригодны в изменившихся условиях и потому способны тормозить и даже нарушать нормальный, естественный ход развития.

Гигантское значение XX съезда КПСС состояло в том, что он сломал опаснейшие из преград на пути советского общества к коммунизму. Очевидна глубокая и закономерная связь между генеральной экономической перспективой, намеченной КПСС в ее новой Программе (1961 год), и сформулированным в ней же курсом на развитие демократии в рамках общенародного государства. Существование культа личности вело к извращению некоторых сторон диктатуры пролетариата, к выхолащиванию реального содержания прогрессивнейших демократических форм и институтов, созданных социалистической революцией. Потому столь важно было не только дать точную историческую оценку деятельности Сталина, ликвидировать наиболее вопиющие последствия произвола, восстановив правду и справедливость в отношении людей, павших его жертвой, но и создать политические, идеологические и нравственные гарантии невозможности возрождения культа личности. Эти гарантии — коллективность руководства и опора на массы, развитие гласной критики и народного контроля, творческой самодеятельности во всех звеньях общества, укрепление социалистической законности, совершенствование системы мер, обеспечивающих свободу личности и охрану гражданских прав.

Внутренние проблемы СССР и всей социалистической системы неотделимы от международных. Социализм вошел в самую жизнь народов, оказывая нарастающее воздействие на решение ими собственных задач, на ход революционной борьбы и выбор формы общественного развития. Сейчас — и в этом один из залогов всемирного прогресса — стало более ясным и конкретным решение важнейшего вопроса: что в советском опыте является всеобщим, обязательным и что, относясь к специфическим условиям первой страны социализма, необязательно, может не быть и даже не должно быть

повторено народами, приступившими к созданию нового общества в иной, неизмеримо более благоприятной обстановке. Ленин отмечал еще в 1919 году: «В том государстве, где буржуазия не окажет такого бешеного сопротивления, задачи Советской власти будут легче, она сможет работать без того насилия, без того кровавого пути, который нам навязали господа Керенские и империалисты»¹.

Поучителен пример народно-демократических государств Центральной и Юго-Восточной Европы. То, что в СССР в результате беспощадного, резкого размежевания во время гражданской войны оказалось невозможным, а именно — длительное существование других партий, кроме коммунистической, стало постоянным фактором общественной жизни этих стран. Банкротство помещичье-буржуазных партий в ходе антифашистской, антиимпериалистической революции свело к минимуму политическое влияние реакционных сил. В условиях, исключавших империалистическую интервенцию, народный строй смог выйти из трудностей классовой борьбы, успешно отбить попытки реставрации (последняя и самая опасная — в Венгрии в 1956 году), не прибегая к существенному ограничению демократических прав. Исторический опыт и более плавное развитие социалистической революции решающим образом повлияли на поведение мелкой буржуазии, сделали возможным превращение первоначального блока авангарда рабочего класса — коммунистических и рабочих партий — и демократических партий, выражающих интересы крестьянства, городской мелкой буржуазии, интеллигенции, в прочный союз по созданию социалистического общества. Сложилась новая форма диктатуры пролетариата, соединяющая непосредственное участие трудящихся в управлении государством с использованием парламентских институтов и некоторых буржуазно-демократических традиций. Развитие социалистической государственности в этих странах проходило не без серьезных трудностей, потребовало в ряде случаев со стороны партий рабочего класса и трудящихся масс решительных действий, направленных на преодоление элементов культа личности и бюрократических извращений. Результатом же является не только обеспечение устойчивого, здорового развития социалистических стран, но и беспорный рост их авторитета и влияния.

Перед народами, порвавшими с капитализмом, встала задача исторического значения — научиться использовать преимущества, вытекающие из факта существования мировой социалистической системы. Военно-политический союз СССР и народно-демократических государств стал действенным средством защиты социалистического лагеря от новых угроз со стороны империализма. На возникновение НАТО, на его агрессивные поползновения и политику возрождения германского милитаризма социалистические страны ответили заключением Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (май 1955 года), созданием Объединенных Вооруженных Сил под общим командованием. Однако главный аспект сотрудничества — экономический. Это сотрудничество — по самой природе своей сотрудничество равноправных — исключает привычное для капитализма деление на страны, которые обладали бы промышленной монополией, и страны — поставщики сырья. Поэтому важнейшим фактором роста связей было индустриальное развитие народно-демократических государств, совершаемое их внутренними силами при активном содействии СССР, видящим свой первейший интернациональный долг в ускорении и облегчении процессов социалистического строительства и укреплении экономической независимости братских стран. Тем самым была заложена основа для перехода к более высокой ступени — международному социалистическому разделению труда, потребовавшему и новых организационных форм (в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и других). Хозяйственная консолидация социалистических стран уже сейчас выявила огромные возможности, которые создаются разумной кооперацией и специализацией, рациональным использованием общих ресурсов и научно-технических достижений, не говоря уже о преимуществах, связанных с существованием колоссального и устойчивого мирового социалистического рынка.

Но еще важнее перспектива, которая открывается. Если капиталистическое хозяйство, несмотря на имманентную противоречивость, проявляет тенденцию к единству, то социалистическая экономика немислима без единства — единства в интересах всех

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 245.

народов без изъятия, без каких-либо привилегий и дискриминаций. Развитие идет в направлении, предсказанном Лениным, — «к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого...»¹. История не раз показывала, что чем сложнее задача, тем больше трудностей на пути к ее осуществлению. Задача же, которая стоит перед социалистическими странами, принадлежит к числу самых сложных. Естественно, что требуются исключительные усилия, терпение и зрелость мысли, чтобы «доработаться» до прочного добровольного союза многих наций. Встают не только экономические, но и политические, идеологические проблемы, нужно умело соединять «национальный критерий» с критериями, создаваемыми развитием социалистического содружества. Прогресс, уже достигнутый и в этом отношении, является предпосылкой громадного подъема мировой системы социализма, в исходной фазе которого мы сейчас находимся.

Этот подъем социалистических стран имеет тем большее значение, что сила воздействия социализма на все человечество заключается в первую очередь в мирных хозяйственных успехах. Оценивая с этой точки зрения экономическое соревнование двух общественных систем, можно сказать, что в настоящее время оно все более становится концентрированным выражением классовой борьбы в международном масштабе, могучим ускрителем кризиса капиталистической системы, краха колониализма и роста новых государств, того «третьего мира», возникновение которого внесло существенные перемены в общий ход исторического развития.

Распад колониальной системы, на некоторое время замедленный наступлением империалистических держав, вступил в середине пятидесятых годов в решающую фазу. Важным моментом явился суэцкий кризис (1956 год): в результате мужественного сопротивления народа Египта и твердой позиции Советского Союза агрессия Англии, Франции и Израиля потерпела крах. Через год срывается нападение империализма на Сирию. В 1958 году ареной борьбы прогрессивных и реакционных сил становится значительная часть Ближнего и Среднего Востока. Вслед за народным восстанием в Ливане происходит революция в Ираке. Антиколониалистская революция набирает силы. Сфера ее быстро расширяется, охватывая остальной арабский мир и распространяясь на весь африканский континент. 1960 год вошел в историю как «год Африки» — из восемнадцати государств, добившихся независимости, семнадцать было африканских. Крупнейшей вехой в крушении колониальных порядков в Африке явилась окончательная победа революции в Алжире (1962 год).

Победы, достигнутые в одних странах с помощью вооруженной борьбы, облегчают освобождение других народов, делая его менее трудным и сравнительно мирным. В ряде случаев колонизаторы «сами» спешат предоставить независимость, рассчитывая предотвратить приход к власти радикальных демократических элементов и закрепить свои позиции сделкой с феодальными, компрадорскими группировками, племенной верхушкой. Но политика «разделяй и властвуй», служившая раньше надежным, почти безотказным средством упрочения колониального владычества, в новых условиях терпит чаще всего неудачу. Ведущей тенденцией является — вне зависимости от географического положения отдельных стран и районов мира и необычайной пестроты местных условий — нарастающее революционирование национально-освободительного движения.

Весьма показательны в этом отношении развитие событий в Латинской Америке, считавшейся «спокойным» тылом империализма, надежно охраняемым от революций союзом США и латиноамериканских олигархий. Уже в начале пятидесятых годов появились признаки нового подъема, подготовившего революционный взрыв, который смел ненавистный народу террористический режим на Кубе (1959 год). Отражая натиск внешнего врага и внутренней реакции, кубинская революция быстро радикализировалась, перейдя к коренным антикапиталистическим преобразованиям. Куба стала составной частью мировой социалистической системы, а для освободительной борьбы в Латинской Америке открылись новые перспективы.

Конечно, развитие антиколониалистской революции не представляет собой непре-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 125.

рывного поступательного движения. Победы и успехи сменяются отдельными поражениями и неудачами. На наступление революции ее враги отвечают контратаками. Колониализм получил смертельную рану, но он не исчез, не исчерпал всех возможностей сохранения своего господства. Не пренебрегая старыми, привычными средствами — от интервенции и блокады до подкупа и политических убийств, — колонизаторы пытаются приспособиться к обстановке, меняя тактику и формы, с помощью которых можно удержать позиции, сохранить привилегии и источники сверхприбылей. На первый план выдвигается политика, получившая название «неоколониализма». Главная ее цель — удержать развитие молодых независимых государств в рамках капитализма, мировой капиталистической системы. Империалистические державы, в первую очередь США, отдают предпочтение новым формам экспансии, поскольку это дает им также некоторые возможности заработать политический капитал на мнимой готовности считаться с независимостью недавно освободившихся стран, а тем самым — и большую возможность обрести себе опору в правых, консервативных группировках национальной буржуазии.

Однако эти планы и расчеты, если их рассматривать в широкой исторической перспективе, обречены на банкротство. Даже наиболее гибким и трезвым буржуазным политикам, отдающим приоритет общим интересам сохранения капитализма, приходится отступать перед ненасытностью могущественных монополистических клик, для которых абсолютно неприемлема перспектива превращения развивающихся стран в промышленные государства с действительно независимой экономикой. «Американский образ действий, — констатирует американский историк В. Вильямс, — привел к тому, что США предстали в роли главного препятствия для революции растущих надежд». Провал неоколониализма является объективной закономерностью, которую было бы наивно сводить только к неразумной или нерасчетливой политике. Решающее значение приобретает собственный опыт недавно освободившихся народов, осознание ими новых возможностей, возникших в силу существования мировой социалистической системы и резкого ослабления капитализма.

Факты показывают, что ни одна из освободившихся стран не смогла достичь успешного решения своих проблем на пути капиталистического развития, и тем убеждают, что только социалистические формы экономического и общественного развития открывают перед народом каждого государства перспективу — догнать промышленно развитые страны, получить возможность пользоваться всеми материальными и культурными благами, доступными в наше время. Вот почему идея некапиталистического развития стала великой прогрессивной силой и заняла после второй мировой войны ведущее место в идеологии национально-освободительного движения.

Логика борьбы против империализма, против его неоколониалистской тактики толкает влево большинство участников национально-освободительного движения, в том числе и тех, которые вначале не стояли еще на революционных позициях, а само движение обогащается новым социальным содержанием, принимая формы, существенно отличающиеся от недавнего прошлого. Одна из этих особенностей — приход к политическому руководству в ряде молодых государств (особенно там, где отсутствует или почти отсутствует промышленный пролетариат) революционных демократов, выражающих интересы широких слоев крестьянства, мелкой буржуазии, интеллигенции и выдвигающих в качестве своей основной цели ликвидацию всех видов гнета, создание социалистического общества.

Под давлением народных сил многие политические лидеры освободившихся стран, в том числе и представляющие национальную буржуазию, вступают на путь широких общедемократических преобразований (создание государственного сектора экономики, аграрная реформа, национализация иностранной собственности), последовательное осуществление которых укрепляет национальную независимость и объективно становится важной предпосылкой перехода страны на рельсы некапиталистического развития.

Невозможно предугадать быстроту и формы прогресса освободившихся народов. К антиколониалистской революции трудно подходить с мерками, созданными опытом прежних буржуазно-демократических революций; здесь неизменно сложнее отделить один этап от другого, настолько совмещаются во времени задачи, которые человечество

в прошлом решало порознь, в течение столетий (от преодоления родовых пережитков и племенной розни до начальных стадий социалистических преобразований).

Новое в жизни молодых государств переплетается с обладающим огромной живучестью старым. Иногда патриархальные формы и институты, которые в условиях колониализма служили подспорьем ему, могут в обстановке некапиталистического развития способствовать приобщению масс к коллективному труду. Во многих других случаях застойные представления и консервативные традиции служат препятствием для прогресса. Двойственную роль играет в недавно освободившихся странах национализм. Выражая рост национального самосознания, являясь нередко формой антиколониалистской идеологии, национализм таит в себе и реакционные тенденции противопоставления эгоистических интересов «своей» нации интересам других народов, общим интересам мирового освободительного движения. Жизнь исправляет ошибки и заблуждения. Пример, опыт, помощь развитых социалистических стран помогают находить наиболее правильные решения, ускоряют процесс общественных преобразований.

Нельзя, однако, не считаться и с тем, что длительное господство классовой идеологии буржуазии, насаждаемые ею шовинизм и расизм оставили тяжелое наследство человечеству, последствия чего еще долго будут давать себя знать. И в наше время империалистическая буржуазия широко прибегает к разжиганию националистических конфликтов, пользуясь тем, что вековое угнетение колониальных народов империалистическими державами оставило в трудящихся массах угнетенных стран не только ненависть к колонизаторам, но и «недоверие к угнетающим нациям вообще, в том числе и к пролетариату этих наций»¹. Изживание, преодоление недоверия и националистических предрассудков не может быть достигнуто сразу. Решающая роль принадлежит здесь сознательности коммунистического авангарда и практике строительства нового, социалистического общества, создаваемого на основе принципов пролетарского интернационализма. Эти принципы лежат в основе внешней политики социалистических стран. Претворение их в жизнь ведет к ограничению и сужению сферы действия законов капитализма на мировой арене, укрепляет единство антиимпериалистических сил в решении коренных проблем современности.

Громадные перемены, происшедшие в послевоенном мире и с особенной четкостью вырисовавшиеся в последнее десятилетие, наложили глубокий отпечаток и на социально-экономическое и политическое развитие буржуазного общества. Тенденции этого развития никогда не были столь сложными и противоречивыми, как сейчас. Внешне капитализм кажется помолодевшим. Он немало извлек для себя из научно-технической революции, вызванных ею изменений в структуре капиталистической экономики. Существенно деформировалось обычное течение капиталистического цикла, создавая иллюзию бескризисного развития. Сравнительно высокие темпы роста промышленного производства в таких странах, как Западная Германия, Япония, Франция и Италия, ввели в искушение не только буржуазных апологетов, готовых именовать эти явления «экономическим чудом», якобы вновь (и в какой уже раз) опровергшим коренной вывод Марксовой теории о неизбежном крушении капитализма в силу прогрессирующего нарастания его внутренних противоречий.

Среди множества подобных подделок одна из самых распространенных — миф о радикальной трансформации буржуазного общества, которая будто бы сделала его совершенно непохожим на классический капитализм XIX века. Эту трансформацию обычно связывают с гигантским ростом акционерного капитала. Утверждают: старая экономическая ткань, основу которой составляли атомы частновладения, нарушена. Апологеты «нового» капитализма любят говорить о диффузии собственности, которая будто бы окончательно превращает рабочих в капиталистов, капиталистов в рабочих, а буржуазное общество — в общество «всеобщего благосостояния». Так словесными ухищрениями стараются оторвать капитализм от его основы, скрыть его сущность, «приобщить» к гигантскому процессу социально-экономического обновления, происходящему в мире. Из факта технического прогресса делается вывод об автоматической ликвидации всех капиталистических противоречий, о ненужности классовой борьбы и коренных социаль-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 128.

ных преобразований. Теперь народу уже не за что бороться, заявляют буржуазные и иные правосоциалистические идеологи, сейчас уже «нет ни Бастилии, которую нужно разрушить, ни аристократов, которых нужно вешать на фонарях».

Самый ход событий вскрывает фальшь апологетики, подводя вместе с тем к более углубленному марксистскому пониманию характера и форм движения общего кризиса капиталистического строя. Экономика развитого капитализма обнаруживает тенденцию к иссяканию временных факторов, стимулировавших взлет производства некоторых стран. Усиление общей неустойчивости, неравномерности развития всех капиталистических государств обостряет старые и рождает новые конфликты между ними. Главное же: еще резче выявилась диалектика умирания капитализма, вызвавшего к жизни такие производительные силы, с которыми он не может справиться, которые требуют в неизмеримо большей мере, чем раньше, обобществления народного хозяйства — притом не только в национальном, но и в интернациональном масштабе. Новым фактором, обострившим все процессы, происходящие внутри буржуазного общества, явился рост социализма. Мировая социалистическая система оказывает двоякое воздействие на мир капитализма. С одной стороны, экономический и духовный прогресс нового общества становится постоянным объектом для сравнения, живым инструментом критики, фактором роста революционного и общедемократического движения. С другой стороны, развитие социалистической системы, расширение ее международных позиций и экономических связей со странами, обретшими государственную независимость, вынуждает правящие капиталистические круги вырабатывать более гибкую политику, идя в зависимости от соотношения классовых сил на большую или меньшую модификацию традиционных экономических форм и социальных институтов.

Систематическое вмешательство буржуазного государства в хозяйственную жизнь и общественные отношения, притом не только в условиях войны, но и мира,— одно из самых характерных явлений в развитии современного капитализма. Это вмешательство уже не ограничивается лишь охраной внешних условий капиталистической эксплуатации. «Ночной сторож» буржуазной собственности сам превратился в крупнейшего собственника и работодателя. Сосредоточивая в своих руках значительную часть национального дохода, опираясь на государственный сектор, правящая верхушка буржуазии может в гораздо большей мере, чем прежде, использовать плоды совокупного труда всего общества, оказывать сильное воздействие на рынок, цены и условия труда в целом. Соединение гигантской силы капитализма и гигантской силы государства в один механизм, о чем писал еще Ленин, стало возможным прежде всего в результате объективного процесса концентрации и монополизации. Но в определенной мере это и результат классовой борьбы, заставляющей буржуазные правительства вступать на путь частичной национализации, заимствовать у социализма методы планирования, приспособлявая их к частнособственническим отношениям, к интересам и требованиям господствующего класса.

Все эти процессы, разумеется, не меняют природы капиталистического гнета, неравенства и зависимости человека от власти денег. Огромные секторы буржуазного общества, несмотря на большое увеличение национального богатства, продолжают испытывать физическую нищету со всеми ее последствиями, будь то в «районах бедствия» США, на юге Италии или в очагах промышленной депрессии в Англии. Автоматизация производства рождает новую разновидность безработицы, ведет к усилению эксплуатации в утонченных формах (интенсификации, нервного перенапряжения и т. д.). Регулирование и программирование экономики создает для финансового капитала новые возможности давления на заработную плату, ограбления — через каналы государственного бюджета — массы налогоплательщиков, использования внутренних ресурсов для осуществления внешней экспансии в рамках международных экономических объединений и союзов.

Но есть и другая сторона тех же явлений. В конечном счете они ведут к углублению основных противоречий капитализма, усилению его диспропорциональности и неравномерности развития. Огосударствление по самой сути своей гечно и непосредственно связывает экономику с политикой, с проблемой власти, обнажает связь (ранее

весьма завуалированную) между монополиями и государством, создавая предпосылки для более органического и массового соединения экономической борьбы трудящихся, демократического движения за реформы с революционной перспективой борьбы за социализм. В результате смысл политических событий, их социальная природа начинают глубже усваиваться миллионами людей, переходящих от пассивного созерцания и простого сочувствия передовым идеалам к активному общественному действию.

Перегруппировка сил внутри буржуазных стран связана с глубокими сдвигами в социальной структуре общества. Во всех индустриальных странах растет численность, удельный вес и концентрация пролетариата, прежде всего в тяжелой промышленности, в ее новых отраслях. Еще быстрее растет число людей наемного труда, занятых в непродуктивной сфере. Значительная часть инженерно-технических работников и служащих по условиям труда сближается с квалифицированными рабочими. Проникновение монополий в сельское хозяйство и торговлю ускоряет вытеснение мелких собственников. Хотя эти процессы в известной мере способствуют «разводнению» классовосознательных слоев пролетариата, распространению в его среде мелкобуржуазных иллюзий, решающее значение имеет противоположная тенденция. Вопреки утверждениям буржуазных социологов, идет не всеобщий процесс «обуржуазивания» пролетариата, превращения его в некий «средний класс», а, напротив, процесс пролетаризации средних прослоек общества, обострения антагонизма между наемным трудом и капиталом, между огромным большинством населения и монополистической верхушкой.

Меняется не только сам рабочий класс — меняется его место в обществе, формы его классовой борьбы, начиная от стачечных битв, которые ныне и по размаху и по разнообразию приемов значительно превосходят то, что наблюдалось между войнами, и кончая применением более глубоких и гибких форм политического действия, широких антимонополистических союзов. На этой почве появились значительно большие возможности организации совместного отпора реакции со стороны народных масс. В Италии единство масс, вдохновляемое коммунистами, сорвало реакционные планы изменения избирательной системы, а впоследствии смело неофашистское правительство, заставив господствующие классы искать выход из положения на путях «левоцентристской» политики. В 1960—1961 годах французские трудящиеся своей активной борьбой нанесли решающий удар заговору «ультра», выполнив тем самым и свой интернациональный долг по отношению к алжирскому народу. Рабочий класс Испании сумел самоотверженной борьбой в условиях франкистского режима пробудить активность в широких слоях населения, выдвинув новую демократическую альтернативу для своей страны.

Борьба рабочего класса и других демократических сил становится все более важным фактором национальной жизни стран развитого капитализма. А если иметь в виду, что в этих странах сосредоточена почти половина мирового пролетариата, то очевидно, что в решении всемирно-исторической задачи — ликвидации капиталистического строя, окончательного поворота человечества к социализму — пролетариат, народные массы этих стран призваны сыграть исключительную роль. Рабочему классу противостоит здесь сильный, политически искушенный противник. Он умеет прибегать в критические моменты к широкому маневру, обновляя и приемы обуздания, и особенно приемы разращения, обмана. раскола трудящихся, привлечения на свою сторону не только профсоюзной бюрократии и верхушки рабочего класса, но и более значительных его слоев и отрядов с помощью так называемого предпринимательского патернализма («участия» в доходах, «человеческих отношений» и т. п.). В ряде случаев буржуазии удается удержать, а иногда и расширить свою массовую базу, используя прежде всего националистические традиции и предрассудки. Там же, где политика антикоммунизма дает осечку, где зреет сдвиг влево в широких массах, буржуазные партии и политики пытаются — и нередко успешно — перехватить инициативу, используя в искусно обезвреженном виде лозунги демократии, спекулируя на общенациональных проблемах и даже беря на себя частичное осуществление требований масс.

Монополистическая буржуазия стремится лишить организованное рабочее движение политической самостоятельности, сделав его составной частью государственно-капиталистической структуры общества. В зависимости от условий эта тенденция проявляет-

ся по-разному: от переуступки власти на длительный срок правым социалистам до опоры на профессиональные союзы в осуществлении не только рабочей и вообще внутренней политики, но и внешней политики во всех ее аспектах. Конечно же, менее всего это похоже на «отказ от власти», хотя и является своеобразным итогом предшествующей классовой борьбы. В целом это подсказанное опытом и инстинктом самосохранения последнее (в социологическом смысле) средство «мирного» удержания власти классом крупнейших собственников, господство которого объективно стало уже безусловным общественным анахронизмом.

В этих условиях многое зависит от умения пролетариата и его марксистско-ленинских партий успешно применить такую революционную стратегию, которая стояла бы, как говорил Ленин, на уровне наилучшей международной стратегии самой «просвещенной» буржуазии. Современное коммунистическое движение, освобождаясь от догматизма и сектантских ошибок, достигло той зрелости мысли, которая позволяет партиям рабочего класса наметить правильную перспективу, определить специфические национальные формы перехода своих стран к социализму, овладеть всеми формами борьбы — мирными и немирными, парламентскими и внепарламентскими, легальными и нелегальными. Являясь инициаторами и руководителями многих экономических битв пролетариата, коммунисты буржуазных стран отдают себе отчет в том, что переход от экономической борьбы к политической и от ее начальных форм к завоеванию власти, переход сложный всегда и везде, особенно сложен в современных условиях, когда существует немало старых и новых факторов, еще удерживающих значительную часть рабочих (в отдельных странах большинство их) в пределах «цехового», оппортунистического мышления. Как никогда в прошлом, путь к революционизированию масс проходит через развитие их сознания, терпеливое и настойчивое воспитание и укрепление классового, интернационалистического духа, преодоление — на собственном опыте масс — живучих реформистских иллюзий. Коммунисты выступают последовательными сторонниками единства рабочего движения, всех его отрядов. Деятельность коммунистических партий проникнута искренним стремлением сотрудничать с рабочими-социалистами, выступать вместе с социалистическими партиями в интересах и на почве отстаивания демократии, интересов трудящихся, борьбы за мир и коренные социальные преобразования.

Сейчас стратегия и тактика рабочего класса включают в себя в качестве неотъемлемой и огромной по значению части — воздействие на внешнюю политику. История совершила крутой поворот, сделав возможным такое развитие событий, при котором трудящиеся массы еще до завоевания власти могут оказывать реальное воздействие в сфере, веками считавшейся «тайное тайных» господствующих классов. Соединение усилий всех революционных, демократических сил с последовательной миролюбивой и активной антиимпериалистической политикой социалистических государств принуждает все чаще правящие круги буржуазного мира к замене политики «глобальных» контрреволюционных акций сравнительно гибким курсом, пытающимся достичь тех же целей менее опасными для капитализма средствами. Действительность служит лучшим аргументом в пользу более благоразумного подхода к международным проблемам.

Президент США Джон Кеннеди был одним из тех, кто понял, что истерические призывы к «массированному возмездию» лишь подрывают престиж Америки даже в глазах людей, враждебных коммунизму, в конце концов ставят под удар собственную безопасность США. Однако судьба самого Кеннеди и еще больше развитие последующих событий на международной арене показали, что внутри империалистической системы действуют мощные силы, вновь и вновь возвращающие ее политику в прежнее русло. Конечно же, не простые совпадения — новый пароксизм политики «большой дубинки» (Индокитай, Конго, Латинская Америка) и новые атаки реакции внутри страны — белый террор в южных штатах и очередная попытка преследования коммунистов и левых, попытка задержать рост другой, демократической Америки. Эта Америка существует, у нее и сегодня есть свои мученики и герои. Ей еще предстоит завоевать свободу для самой себя и внести свой вклад в освобождение мира от «безобразного американца» — воплощения милитаристского безумия, политического лицемерия и бесчеловечности.

* * *

Середина XX столетия — время, когда развитие каждого народа, каждой страны зависит в громадной мере от судеб мира в целом, а любое событие в одной из частей земли оказывается не только связанным со всеми остальными, но может вызвать быструю «цепную реакцию», приводящую в движение все человечество. Этот факт, который в определенной мере учитывается и используется врагами прогресса, создает новые стимулы к единству демократических, освободительных, революционных сил и прежде всего их интернационального коммунистического авангарда. Сейчас даже крайним реакционерам не придет в голову игнорировать величайшую реальность века: громадный рост влияния и политической силы коммунистического движения. Оно м е ж д у н а р о д н о в самом прямом смысле, ибо уже мало осталось уголков земли, где бы идеи коммунизма не дали всходов на национальной почве. Можно сказать, что именно успешное решение задачи «перевода» интернациональной идеологии рабочего класса на язык массовой, практической политики в конкретных условиях различных стран превратило коммунистическое движение в неустрашимый фактор всемирного развития.

И так же очевидно, что проблема единства движения в современных условиях не может не решаться с учетом этой решающей особенности. Новые революционные элементы, новые многочисленные отряды коммунистического движения принесли в него свежий опыт, свои проблемы, новые подходы к решению традиционных задач. Как ни велики были различия в тактике, организационных формах, существовавшие ранее, они не идут ни в какое сравнение с современными. По мере становления целого ряда социалистических государств перед коммунистами встала задача — правильно определить характер и формы межгосударственных отношений нового типа. Приобрела много новых аспектов проблема взаимоотношений между коммунистическими партиями, не находящимися у власти, и правящими коммунистическими партиями. Для одних партий некоторые проблемы имеют преимущественно теоретическое значение, для других они представляют уже повседневный практический интерес, связанный с острой государственной ответственностью за все сферы жизни своих стран. Вместе с тем товарищеская, продуманная критика со стороны братских партий наряду с контролем народных масс самих социалистических стран является для правящих партий одним из средств проверки и уточнения своей политической и идеологической линии.

Окунувшись в народное море, коммунистическое движение разных стран и континентов в громадной мере укрепило себя. Одновременно оно зачерпнуло из этого глубочайшего источника и неустоявшиеся представления только пробудившихся к борьбе масс, их вековые предрассудки, преломляющиеся, иной раз весьма своеобразно, в сознании не только рядовых коммунистов, но и руководителей партий. На путь перехода к социализму встали страны, где внутренние социально-экономические предпосылки такого перехода не вполне созрели и где руководящие политические силы, искренне желая осуществить социализм, вместе с тем не принимают или не смогли еще органически усвоить его научные марксистско-ленинские принципы. Между тем эти страны — один из главных отрядов освободительного движения современности; координация действий с ними коммунистов социалистических государств и коммунистов развитых буржуазных стран жизненно необходима для успеха мирового революционного развития в целом.

Напрасно злорадствуют наши враги по поводу нынешних трудностей, испытываемых международным коммунистическим движением. То, что буржуазные политики и идеологи именуют «расколом коммунистического монолита» (связывая с этим расколом наиболее далеко идущие свои планы и надежды), это действительно болезненный, иногда мучительный процесс, но вместе с тем это э т а п в решении сложнейшей и важнейшей проблемы — выработки совместными усилиями всех марксистско-ленинских партий наиболее правильного, отвечающего современным условиям соотношения между национальными и интернациональными задачами коммунистов, революционеров, демократов. Здесь неминуемы большие отличия в подходах, возможны ошибки и разногласия, у которых есть не только объективные причины, но и свои идеологические и даже гносеологические корни (проблема соотношения общего и особенного принадлежит к числу труднейших в диалектике). Опасны, однако, не ошибки сами по себе, а превра-

шение их в «особый» курс, опасные, чуждые коммунизму методы преодоления разногласий. когда дискуссии вырождаются в раскол, а творческий поиск решений подменяется и заменяется диктатом, претензией на гегемонию.

Коммунистическое движение — живое и развивающееся, и, как все живое, оно изменяет формы по мере роста, обогащения, дифференцирования своего содержания. Уже накануне второй мировой войны, а особенно после нее стало очевидным, что движение переросло первоначальные рамки, когда молодость большинства коммунистических партий и безусловная необходимость для них сосредоточить максимум сил на защите единственного, окруженного со всех сторон врагами, социалистического государства требовали единой международной организации коммунистов с централизованным руководством. Роспуск Коминтерна был закономерен, а опыт Информбюро коммунистических и рабочих партий (1947—1956 годы), включавший в себя и так называемый югославский конфликт, подтвердил необходимость отыскания новых, неизмеримо более гибких форм связи между партиями, форм взаимообогащения опытом и взаимной критики.

XX съезд КПСС создал перелом и в этом отношении. Последующие памятные встречи и документы совещаний компартий 1957 и 1960 годов укрепили линию на единство и самостоятельность, создали важные предпосылки для преодоления любых отклонений от общего революционного курса как в сторону ревизионизма, капитулянтства, так и в сторону догматизма, «левого» сектантства и авантюризма. Когда представители девятнадцати коммунистических партий, собравшиеся в Москве в марте 1965 года, подчеркнули, что главный путь к восстановлению единства всех отрядов коммунистического движения — повышение интернациональной ответственности каждой партии, активное ее участие в совместных действиях и общей борьбе, — они выразили мнение и волю миллионов, определили одно из коренных условий всего современного прогресса, успеха в упорной борьбе с империалистической реакцией, борьбе нередко тяжелой, иной раз более медленно протекающей, чем это хотелось бы, но ведущей все народы, все человечество неизмеримо быстрее, чем прежде, к окончательной победе.

Энгельс говорил в свое время о Первом Интернационале, что он господствовал над одной стороной европейской истории — именно той стороной, в которой заложено будущее. С тех пор прошло сто лет. Рабочий класс пришел к власти в России, сыграл решающую роль в строительстве первого социалистического общества, раскрепостил огромные революционные силы в масштабе всей Земли, создал мировую социалистическую систему, пришел на помощь угнетенным нациям, сумел сплотить вокруг себя прогрессивные силы мира, выступает законным и самым бережливым наследником всех духовных богатств, созданных человеческим гением. Теперь рабочий класс и его идеология поистине господствуют над той стороной в с е м и р н о й и с т о р и и, в которой заложено будущее.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СОКОЛОВ

★

СВОЙ ЖАНР

(О документальной прозе С. С. Смирнова)

Принципиальность и гражданское мужество может проверяться не только в больших сражениях, но и в будничных, ежедневных боях за справедливость. Хорошо, когда человек не бережет свои лучшие качества до «особого случая», а проявляет их каждый день, в делах больших и малых — в этом, мне кажется, одна из отличительных особенностей активного бойца, коммуниста. Таковы и «неизвестные герои» С. С. Смирнова, они и в обычных условиях «мирной» жизни стремятся жить в согласии с той высшей мерой человеческого достоинства, какой был отмечен их подвиг в Бресте или в Аджимушкайских каменоломнях. И не эта ли скромность героизма, не желающего видеть в себе чего-то исключительного, заставляла многих из них долгие годы оставаться неизвестными в глазах окружающих?

Собственно говоря, о том, что защитники Бреста с первой минуты войны заставили гитлеровцев изумиться их стойкости и мужеству, было известно и раньше, до Смирнова, — об этом писала печать, демонстрировался фильм. При этом считалось, что все герои Бреста погибли, а если кто и остался в живых, то о тех лучше не вспоминать: попавшие в плен или оказавшиеся в оккупированных немцами районах недостойны подвига погибших. Существовал даже легендарный рассказ о том, что фашисты, ворвавшись в крепость и найдя там одних убитых, настолько были поражены их мужеством, что в назидание своим похоронили всех героев на крепостном валу с воинскими почестями... Эта версия событий считалась достоверной. Заслуга

С. С. Смирнова состояла в том, что его не остановила полная завершенность сложившейся легенды. Писатель задавал себе вопрос: а все ли мы знаем об этих героях, знаем ли, кто из них уцелел, а кто погиб, где и до какой минуты сражался?

Спустя десять лет после Победы С. С. Смирнов решил прочесть историю Брестской крепости заново, своими глазами. Будучи в Бресте летом 1955 года, я видел, как все находившиеся в ту пору в крепости (большую часть ее занимал городской гарнизон) откликнулись на призыв Смирнова, охотно и увлеченно включились в новые поиски: пристально читались и перечитывались надписи на стенах, отыскивались клочки довоенных справок и фотографий... Теперь уже картина событий вставала не такой слитной, как прежде. Она заново вырисовывалась из фактов, из историй людей — мертвых и живых. Но разыскать живых героев Бреста оказалось ничуть не легче, чем погибших, — каждый, кто прочел книгу «В поисках героев Брестской крепости», наверняка почувствовал, с какой настойчивостью, целеустремленностью велись эти поиски.

Впрочем, одной настойчивостью всего не объяснишь — в успехе этих поисков играла свою роль и профессиональная, журналистская опытность Смирнова. Сейчас, когда читаешь об этом в новых рассказах писателя, сам поиск выглядит делом несложным, обычным. Например: «...когда по Всесоюзному радио передавались мои рассказы о героях Брестской крепости, почта принесла мне большое письмо от электромонтера Ивана Игнатьева из города Ростова-

на-Дону. Бывший сержант одной из авиационных частей, стоявших в 1941 году в районе Бреста, Иван Игнатьев случайно оказался в день начала войны на Брестском вокзале и стал участником его обороны... Позднее по воспоминаниям Игнатьева я рассказал об этой обороне по радио, и тогда откликнулись и другие ее участники... Они дополняли картину, нарисованную Игнатьевым, новыми важными подробностями и помогли исправить одну допущенную им существенную ошибку — фамилию старшины, руководившего обороной, Игнатьев помнил неточно. На самом деле старшину звали не Басовым, а Павлом Петровичем Басневым, и он был родом из Ивановской области, где позднее мне удалось разыскать его родных.

Все это рассказано так просто и бесхитростно, что кажется, будто любому из нас ничего не стоит повторить то же самое: рассказать публично о полузабытом военном эпизоде, получить отклики его участников и, связав воедино эти письма-отклики, написать еще одну документальную повесть о «неизвестных героях». Вроде и особым талантом для этого обладать не обязательно... На поверку все оказывается не таким простым, как кажется издали.

Есть в журналистике хорошее правило: не обещать читателю больше, чем можешь сделать. Не водить за нос, не обманывать! Поэтому в газетах, на радио, на телевидении с понятной настороженностью принимают и по многу раз проверяют заметки о «снежном человеке», о телепатии или о чудодейственном средстве лечения рака.

И вот приходит на радио человек, который громко, во всеулышание, на всю страну заявляет, что не было на войне пропавших без вести, не было безымянных героев — были лишь те — живые и мертвые, — о подвиге и мужестве которых мы пока что толком не узнали, не успели рассказать и написать. И в соавторы к себе в этих розысках Смирнов приглашает миллионную аудиторию! Тут есть чему удивиться и над чем задуматься...

Ведь и до него десятки раз писатели и журналисты призывали, возмущались, требовали: пора воздать почести тем, кто этого заслужил, пора назвать по именам всех тех, кто самоотверженно сражался в подполье, в партизанах, в плену, тех, кто выстоял в героической обороне Ленинграда,

в десантах у Керчи и Одессы, в легендарной эпопее Севастополя.

(Недавно я снова побывал в Севастополе и вновь услышал у знаменитой панорамы и на Малаховом кургане подробнейшие рассказы о подвигах во время той, прошлой Севастопольской обороны, а Сапун-гора, политая кровью многих тысяч наших современников, памятники-временки на Северной стороне и на Малаховом кургане, оставшиеся здесь со времен Отечественной войны, по-прежнему хранят молчание о многих героях, не менее славных, чем солдаты и полководцы времен Нахимова и Корнилова. Когда я рассказал об этом С. С. Смирнову, он горестно подтвердил: «Знаю, севастопольские письма мне уже и откладывать некуда. Ведь тогда, в пятьдесят четвертом, я тоже не знал, с чего начать — с Бреста или с Севастополя? Первым пришло письмо из Бреста, защитники его быстрее откликнулись, отыскивались — так и пошло... Знаю, перед Севастополем мы все еще в долгу».)

С. С. Смирнов первым от благородных заклиний перешел к конкретным делам — взял в руку микрофон Всесоюзного радио и сказал:

— Я берусь отыскать всех героев Бреста, берусь ответить матерям и детям, как и где пропали без вести их близкие. Помогите мне в этом поиске.

Как журналист с многолетним, еще довоенным стажем, Смирнов не мог не понимать, что эти его обращения по радио, а затем и по телевидению равносильны команде: «вызываю огонь на себя». Тысячи людей, потерявших друг друга в годы войны, тысячи семей, не знающих о судьбе своих близких, будут теперь писать ему — и он должен будет для них заменить и бюро розыску, и военный архив, и редакционные отделы писем, не бравшихся за такое сложное и хлопотное дело.

Наверно, все это выглядело бы легкой мысленной авантюрой, если бы за этим смелым шагом не стояло твердое желание довести дело до конца и уметь взяться за это дело серьезно.

Еще собирая материалы к книге «Сталинград на Днепре», С. С. Смирнов приобрел опыт работы в архиве. Работа с документами приучает к точности, а стремление к точности постепенно обнаруживает не полностью, ограниченность самих архивов: ведь их гоже собирали люди со своим

представлением о том, что нужно и чего не нужно сохранять для истории. А годы идут, и вчерашнее «неважное» сегодня становится и важным и ценным, без него уже не обойтись, если хочешь быть до конца точным и честным. Как же тогда разыскать и проверить не сохранившиеся в документах факты? У очевидцев и участников интересующего тебя события. Их память не всегда надежный свидетель? Верно, но ведь С. С. Смирнов не просто спрашивает «наудачу» — разысканные документы, архивные материалы уже воссоздали для него контуры события, а письма и отклики заполняют лишь «белые пятна» на этой карте. Встречная проверка воспоминаний дает возможность отсеять слишком пристрастное, субъективное, ошибочное.

По свидетельству Смирнова, самыми интересными, самыми важными в его почте для дальнейших поисков оказываются обычно письма, в которых люди пишут не о себе, а о товарище, об однополчанине, о потерянном друге — то есть письма заведомо бескорыстные. Для авторов таких писем дороже всего восстановление истины, полнота и правдивость исторической картины, и эта жажда правды сразу обнаруживает себя в безыскусных рассказах.

Кто из нас не помнит слова довоенной песни: «Когда страна быть прикажет герою, у нас героем становится любой»? Кто не писал со школьной поры сочинений на тему: «В жизни всегда есть место подвигу»? Привычная истина, избитая тема, готовая от бездумных повторений превратиться в банальность, во фразу, теперь, именно теперь, требовала новых и конкретных доказательств.

В испытаниях войной, в тяжелейшей проверке на прочность наших нравственных и идейных устоев выявилось, что у нас действительно много, очень много подлинных героев и они по-человечески интересны, значительны не только «в сумме», но и каждый в отдельности, как бы глубоко в сегодняшней мирной жизни они ни затерялись. В этом главный итог всех поисков и рассказов Смирнова. Доверие к людям — вот что стало и конечным смыслом и постоянной формой этих поисков. И чем выше время поднимает степень доверия друг к другу, тем современнее и занимательнее кажутся нам эти новые и новые истории о событиях двадцатилетней давности.

Кто первым в дни Отечественной войны

совершил воздушный таран? Газетная летопись дает недвусмысленный ответ на этот вопрос: 9 июля 1941 года был опубликован Указ о присвоении звания Героя Советского Союза трем летчикам ленинградской обороны — Харитонову, Жукову и Здоровцеву, — они совершили этот подвиг. Но вот первый же из отысканных С. С. Смирновым защитников Брестской крепости политрук Матевосян рассказывает о таком же подвиге над Брестом, в первое утро войны, часов в девять... Героем, совершившим его, оказался летчик-коммунист Петр Рябцев.

Значит, он был первым? «И вдруг обнаружилось, что я ошибался. Письма читателей и радиослушателей принесли мне совершенно неожиданные известия. Боевая история нашей авиации оказалась еще более удивительной и славной, чем я предполагал». Младший лейтенант Леонид Бутелин протаранил фашистский бомбардировщик в первый же боевой вылет — в 5 часов 15 минут 22 июня. А еще часом раньше то же самое на разных участках фронта совершили Дмитрий Кокорев и Иван Иванов...

Подвиг самоотверженной преданности родине и высшего летного мастерства перестал быть единичным, исключительным — он обнаружил себя как черта характера, как такое проявление мужества, к которому с первых минут войны разные люди оказались в равной мере подготовленными.

Или история еще двух «первых». «Побег этих двух русских был первым и единственным побегом пленных из Гамбурга в Швецию на торговом судне», — написано в рассказе С. С. Смирнова «Путь на Родину». Подвиг настолько фантастический, что совершившему его коммунисту Алексею Даниловичу Романову долго не верили и только в 1957 году восстановили его в партии и представили к ордену.

Да разве не верили только этому подвигу? Вспомните один из недавних рассказов С. С. Смирнова — его очерк в «Правде» и фильм о Катюше Михайловой, медсестре-десантнице, участвовавшей вместе с моряками Азовской и Дунайской флотилий в труднейших, отчаяннейших операциях, в том числе и в штурме дунайской крепости Илок в декабре 1944 года. «Катя Михайлова за бой под Илоком была представлена к званию Героя Советского Союза. Бывший командующий Дунайской флотии

лией вице-адмирал Г. Н. Холостяков вспоминает, что вышло с этим представлением. В наградном листе написали примерно так: «Главстаршина — Екатерина Михайлова, будучи сама ранена, стоя по горло в воде, участвовала в бою и оказывала помощь другим раненым». В наградном отделе, прочитав это описание подвига, сочли его явным вымыслом и вернули представление в штаб флотилии».

В этом и суть того, что делает и пишет С. С. Смирнов — он верит там, где другие не верят и даже отстаивают порой свое недоверие. Он шире и смелее верит людям — многим и разным, каждый раз начиная с глубоко демократического «аванса доверия».

Конечно, всякие широкие, «стихийные» поиски связаны и с риском неудач, и с неожиданностями (как, вероятно, и всякие писательские поиски), но Смирнов знает, ради чего он рискует. Он исходит из того, что в минуты испытаний мелочное, обыденное отступает в человеке перед лучшим и главным, тем, что воспитало в нем время. Совершив подвиг, обнаружив в себе это лучшее, человек и дальше готов мерить свою жизнь этой меркой — только не забывайте о ней, не занижайте ее снова обыденностью и мелочностью. У каждого есть свой талант, свой лучший день, свой подвиг — помогите ему не забыть об этом!

«Редю случается,— признается Сергей Сергеевич,— чтобы среди потока писем, подтверждающих и дополняющих то, что ты написал об этом человеке, не попало два-три кислых, а то и сердитых отзыва. Человеческие отношения сложны — к ним всегда примешиваются личные симпатии и антипатии, давние счеты и обиды или просто даже обычная зависть. Да и сам герой никогда не бывает «сверхчеловеком»; он способен не только совершать подвиги, но и допускать иногда какие-то ошибки, проявлять какие-нибудь человеческие слабости».

Быть выше мелочных обид и зависти, жить с «авансом доверия» к людям, искать и находить в них то главное, лучшее, что открыло вчера или откроет завтра первое серьезное жизненное испытание,— вот что подсказывают поиски Смирнова, вот чем они так заразительны и так характерны.

У С. С. Смирнова сейчас десятки и сотни добровольных помощников и последовательцев, на его обращения и призывы отклика-

ются и профессиональные журналисты, и отряды «юных следопытов» по всей стране. Газеты, радио, телевидение теперь уже с большей смелостью обращаются за помощью и советом к своей многомиллионной аудитории. Оттого-то многое, начатое Смирновым десять лет назад с огромным трудом и риском, сегодня кажется нам делом привычным, естественным, несомненным.

* * *

В отборе, в организации материала возможности Смирнова предельно ограничены избранным жанром: ведь он берется рассказать нам о фактах, и только о фактах, за каждым событием и именем — реальный человек, автор не может примыслить даже портрет или пейзаж, если не хочет потерять читательское доверие в главном. Его рассказы — строго документальны. Значит, и в отборе, в композиции рассказа он не смеет нарушить этой документальной правды. А вместе с тем — это рассказ, который не может быть простой копией документа, иначе зачем нужен посредник между документом и читателем? И Смирнов нашел свою манеру в документальном повествовании: он не только отбрасывает малозначительные и повторяющиеся друг друга свидетельства, он постоянно чередует «общий» и «крупный» план в повествовании. При чем в «общем» плане остается хроника событий, а укрупненными перед нами предстают детали, наиболее характерные и решающие в авторской оценке события или героя. Разумеется, ничего нового для прозы в таком отборе нет — новое лишь в том, что этот закон художественного повествования Смирнов применил для журналистского монтажа вполне реальных документов и фактов.

Вот один лишь пример. Можно было бы длинно описывать, как трудно бывало девушке попасть во флот, через сколько отказов и унижений проходили такие отчаянные, пока счастливый случай или чье-то сочувствие не помогли им. А ведь именно этот первый экзамен — отчаянный порыв Кати Михайловой, решившей стать солдатом морской пехоты,— многое объяснит читателю в характере ее героизма. Но как передать живое и реальное ощущение всей серьезности того, на что решилась эта необъяснимая девушка? Чем больше тут будет выпрених слов, тем меньше пой-

мам мы это упрямство, эту «причуду», — и С. С. Смирнов снова отбирает характерную деталь, бытовой случай, показывая его «крупным планом».

«...Перед отправкой батальона на фронт был 50-километровый марш-бросок по палящей кавказской жаре, с полной выкладкой, причем часть пути предстояло пройти в противогазах. И тут Катя удивила моряков... Никто из матросов не знал, что на обратном пути Катя то и дело незаметно ощупывала раненую ногу. Она распухла и сильно болела — девушке стоило больших усилий не захромать. Когда в десяти километрах от Баку сделали привал и Катя присела на траву, она с ужасом почувствовала, что уже не сможет встать.

В это время духовой оркестр, высланный навстречу морякам, заиграл вальс, и молодой лейтенант остановился около Кати.

— Ты у нас одна девушка. Пойдем потанцуем, — пригласил он ее.

И хотя от боли у нее темнело в глазах, она встала и пошла кружиться по траве, потому что больше всего на свете боялась, как бы командиры не узнали про больную ногу и не отчислили ее из батальона. А когда вернулись в расположение части, она несколько дней потом пролежала в отведенной ей комнате, сказавшись больной гриппом. Мало-помалу раненая нога снова пришла в норму».

За такой подробностью встает уже не просто случай и не просто цепочка поступков — встает характер, тот самый характер неприметного, «неизвестного героя», который так дорог Смирнову и которым объединены между собой все его рассказы.

Конечно, любой значительный эпизод из биографии Катюши может повести к психологическому анализу и обобщениям, располагает порассуждать и поразмыслить вместе с читателем, но законы документального жанра строги, и короткую сцену, недолгий диалог писатель, как правило, обрывает строкой репортажа: «Летом 1943 года морских пехотинцев перебросили на Азовское побережье». Это уже справка, чистый документ — его неотрывность от предыдущей сцены помогает нам и ее воспринять в той же строгой документальности (хотя, конечно же, Смирнова на том привале не было и точных слов молодого лейтенанта никто ему передать не мог).

Чтобы сохранить полное доверие читателя, Смирнов не скрывает от него всей

«технологии» своего дела. Подчеркивая эту прямоту и откровенность разговора, он с нарочитой деловитостью начинает почти каждый свой устный или записанный рассказ:

«Первое известие о ней пришло ко мне еще несколько лет назад, когда я рассказывал по радио о подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны» («Катюша»).

«Среди многих тысяч писем, полученных мною в 1957—1958 годах после серии передач по Всесоюзному радио с рассказами о поисках героев Брестской крепости, было письмо медицинской сестры Оксаны Трофимовны Романченко из села Веприк Гадячского района Полтавской области» («Госпиталь в Еремеевке»).

«Сначала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрителя и ветерана войны из далекого уральского городка» («Рассказ о настоящем человеке»).

И эту документальность, полную доверительность по отношению к читателю он не нарушит до конца, даже в самую трагическую или патетическую минуту рассказа. Сама сдержанность тона повествования обнажает существо, значительность факта, поступка, подвига. Этот скупой рассказ обладает особой мужественной силой.

Не от бедности воображения выбрал писатель эту манеру и этот материал — он сделал это сознательно, выверяя каждый шаг мерой своего вкуса и таланта. Однажды он сам объяснил свой выбор: «Быть может, иные из литераторов и читателей упрекнул меня в некоторой сухости изложения, в отсутствии ярких метафор или сравнений, пейзажа, диалога. Но мне кажется, что температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала, а то, о чем я здесь пишу, — добела раскаленный материал удивительных героических подвигов наших людей, и о нем, по моему мнению, следует рассказывать максимально сдержанно и строго, даже, быть может, с оттенком лаконичности военных донесений».

В биографии Сергея Сергеевича, о которой я почти ничего не рассказал, было много такого, что, на первый взгляд, казалось не очень целесообразным. Кончал институт, без пяти минут инженер-энергетик — и вдруг сбежал в газету «Гудок» на поденную и черную работу репортера и фельето-

ниста. Занимался в Литературном институте, в просьбе отправить на фронт отказали — добился, чтобы взяли хотя бы в истребительный батальон московского ПВО. Попал все-таки на фронт, прошел войну, потом нашел неплохое применение своим литературным способностям в Воениздате — и опять неожиданный поворот: к явному неудовольствию военного начальства демобилизовался, чтобы пойти работать в литературный журнал. Все это нелегко объяснить с точки зрения житейского благополучия и целесообразности. Одно несомненно: человек искал свой жанр в писательском деле и своя дорога привела талантливого журналиста к успеху, к признанию, к миллионной читательской аудитории.

О многих сторонах разнообразнейшей деятельности Сергея Сергеевича Смирнова

я здесь не рассказал — например, об интересной его работе на телевидении и в кино: о документальных кинолентах «Катюша» и «Его звали Федор» и о совместной с Де Сантисом работе над художественным фильмом «Они шли на Восток». Эти кинопроизведения действительно по-своему интересны, как интересны и первые его книги, и пьесы, и его литературные пародии.

Все это Сергей Сергеевич Смирнов делал и умеет делать не хуже других — я же постарался обратить внимание на то, что он делает лучше других. На то, в чем гражданский и писательский талант проявился полней, ярче, совершенней всего. И вполне закономерно, что как раз за этот «свой жанр» документальных рассказов — за книгу о героях Брестской крепости — Сергей Сергеевич Смирнов удостоен Ленинской премии.



Л. ЗОНИНА

★

ЗАМЕТКИ О СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

I

С гранно подумать, что впервые мы прочли Антуана де Сент-Экзюпери меньше десяти лет тому назад: осенью 1957 года были переведены на русский язык «Ночной полет» и «Земля людей». То было время, когда в наш обиход входило немало новых — для нас — имен западной литературы, пробуждая любопытство, интерес, любовь, заставляя думать. Философская проза Сент-Экзюпери сразу обрела своего читателя. И читателя широкого, что было, на первый взгляд, неожиданностью. Поначалу, правда, больше всего поражала и занимала сама личность писателя-пилота. За каждым словом: вставало обаяние жизни, ее упорство в поисках истины, в служении человеку. Уважение к автору сообщало его словам особую весомость.

Критика по отношению к этому представителю Запада проявила трогательное единодушие: она была позитивна, не без сентиментальности. Популярность Сент-Экзюпери, однако, оказалась не молодой, не скоро переходящим увлечением — более устойчивая, глубокая, если угодно, органичная, чем даже пылкая страсть к Ремарку, она не только не остыла, но, напротив, упрочилась. Появление в журналах «Маленького принца», «Военного летчика», «Письма к заложнику» всякий раз становилось событием нашей духовной жизни. Сейчас два издательства¹ выпустили однотомники Сент-Экзюпери, включающие все произведения писателя, изданные при его жизни. Тираж однотомника русских переводов Экзюпери — 100 000

¹ Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения. «Художественная литература». М. 1964. Antoine de Saint-Exupéry. Oeuvres. «Прогресс». М. 1964.

экземпляров, но попробуйте купить его! Значит, читательская потребность до сих пор не удовлетворена.

Новые издания Сент-Экзюпери интересны также и тем, что по ним можно судить о глубине освоения творческого наследия писателя. Однотомник издательства «Художественная литература» впервые знакомит нас с письмами, с очерками Сент-Экзюпери. Много нового материала включают в себя комментарии Рида Грачева — мы погружаемся благодаря им в жизнетворную среду, в ту, выражаясь словами Сент-Экзюпери, почву, на которой произрастает его творчество. Свободнее, естественней стали переводы. Сравните «Планету людей» в переводе Норы Галь с «Землей людей» первого издания или новую и прежнюю редакцию «Ночного полета», который перевел Морис Ваксмахер. Удачны оба предисловия: работа М. Ваксмахера, адресованная многотысячному читателю, более повествовательна, популярна, беллетристична; предисловие К. Наумова в издании, предназначенном главным образом для студентов, изучающих французскую литературу, для специалистов, не уклоняется от постановки самых серьезных философских вопросов, вскрывает противоречия мировоззрения писателя. От дифирамбов мы перешли к исследованиям. Можно с уверенностью сказать, что за восемь лет Сент-Экзюпери перестал быть для нас экзотической фигурой. И хочется разобраться в причинах его популярности.

В западной критике — и это вполне естественно — есть апологеты Сент-Экзюпери, пишущие о нем книги, как пишутся жития святых (и думается мне, что Гораций Велле, переведший на русский язык книгу Мижо о Сент-Экзюпери — она вышла в серии «Жизнь замечательных людей», — даже усу-

губил в ней эту тенденцию автора). Трагическая гибель Сент-Экзюпери переосмысливается некоторыми — в том числе, например, Жюлем Руа — как логическое завершение судьбы человека, тяжело разочаровавшегося в своем времени. Жюль Руа утверждает, что Сент-Экзюпери преднамеренно шел на смерть, хотел смерти — и в нем шла на самоубийство совесть эпохи, сердце эпохи, изверившееся в человеке, который из *homo sapiens* превратился в *homo politicus*. Наряду с поклонниками Сент-Экзюпери во Франции есть и ярые его поносители — вроде Жана Ко. Они отказываются видеть в творчестве писателя что-либо, кроме «нас возвышающего обмана», кроме слов высоких и пустых, ибо для них душевное благородство, нравственность, человеческая общность не более как слова, слова, слова. По мнению Жана Ко, Сент-Экзюпери устремляет взор человека в небо, а там только пусто, тогда как он — Жан Ко — считает необходимым тыкать читателя носом в землю, преимущественно загаженную.

Меж этих крайностей следует найти истинное место писателя — и те человеческие ценности, которые он несет нам, и те слабости его мысли, которые требуют спора.

II

Вскоре после Освобождения, суммируя опыт писателей, прошедших школу войны, оккупации, Сопrotивления и «вынужденных волею обстоятельств обнаружить давление истории, как Торичелли обнаружил атмосферное давление», Сартр писал в своей работе «Что такое литература?» о необходимости, которую все они ощущают, ответить на основные вопросы бытия. Именно исторический опыт и время сделали наиболее интересных и глубоких литераторов писателями-философами, которые, каждый по-своему, пытаются разрешить всеобщие проблемы. В качестве предтечи, первооткрывателя этой литературы «конкретной всеобщности» Сартр назвал Сент-Экзюпери.

Постижение истины у Сент-Экзюпери неотделимо от деятельности, сообщающей смысл бытию. Ему претят формулы, лопающиеся, как сухая скорлупа, под напором живой жизни. Если он противопоставляет Рассудок и Дух («l'Intelligence» и «l'Esprit»), то не потому, что не верит в силы Разума: Разум плодоносит, когда человек действует. Абстрактное умствование,

отвлеченная логика, саморазвитие понятий представляются Сент-Экзюпери бесплодными, заводящими в тупик. Нельзя понять смысла жизни, не приобщившись к ее созданию. Всеобщие истины открываются человеку, когда он отдается своему — конкретному — делу.

«Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы загадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам».

Сент-Экзюпери — летчик, то есть человек XX века. Он один из пионеров гражданской авиации — в те годы дела еще нового, рискованного, требующего человеческих жертв на каждом этапе освоения. Но он не ощущает ни себя, ни друзей — Гийоме, Мермоза — представителями некоей касты «победителей» на манер авантюристов Мальро. Не в риск жизнью смысл опасной профессии («Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь»), а в том, что, как и всякое другое ремесло, профессия пилота требует от человека самоотдачи — и раскрывает ему его собственные духовные силы; она объединяет людей, стремящихся к одной цели, сплавивает их, делает частью некоей общности. Новая техника — самолет — не отделяет пилота, не изолирует его, но помогает по-новому увидеть то, о чем веками думает человечество.

Как точно заметил Сартр, «Сент-Экзюпери... показал, что самолет для пилота — орган восприятия». Сент-Экзюпери не только по-новому увидел земной пейзаж, поднявшись на высоту нескольких километров и обвъяв взором равнины и горы, пространства океана и пустынных плато, он нашел новый поэтический язык для разговора о нашей планете, потому что и он сам, и его герои-летчики в своей практике формируют новое лицо земли — планеты людей. В этой схватке раскрываются во всей красоте своей и человек и земля: «Требования ремесла преобразуют и обогащают мир».

И поэзия Сент-Экзюпери — все его горные кряжи, напоминающие драконов, бездонные глубины ночи, лучистые магниты

звезд — не кажется нам ни манерной, ни чрезмерной, потому что рядом со стихиями и под стать им — в одном с ними масштабе, — меряясь с ними силами, стоит человек.

Вся нравственно-философская проблематика нашего века затронута в книгах Сент-Экзюпери, хотя он и не философ в строгом смысле слова. Мысль его развивается не как логическая цепь доказательств, ей свойственны поэтическая вольность ассоциаций, переплетение тем и мотивов, внезапные повороты и переходы, настойчивые возвращения к излюбленным, емким, обращающимся в символы образам. Сент-Экзюпери ворожит, околдовывает, но, трогая сердце, будит разум.

Если в «Южном почтовом» и «Ночном полете» — первых своих романах — Сент-Экзюпери еще связан условностями жанра, то зрелые его произведения с трудом укладываются в рамки привычных традиционных форм. Он рассказывает обычно — и в «Планете людей», и в «Военном летчике», и в «Письме к заложнику» — о том, что случилось с ним самим. Один эпизод влечет за собой другой, воспоминание наплывает на воспоминание, подчиняясь подспудному течению мысли автора. Сквозь оболочку конкретной истории, нередко исключительной — потому что опыт Сент-Экзюпери нов, необычен, — проступает общечеловеческая ее сущность. Случай кристаллизуется в поэтический символ.

«Планета людей» начинается с рассказа об ученичестве. Подготовка к первому самостоятельному рейсу. Тесный старый автобус, дождливое утро, дорога на аэродром, откуда новый пилот почтовой линии отправится в свой первый рейс, «сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний». Как прекрасно и е похожа его жизнь на прозябание спутников по автобусу — стареющих чиновников, инспекторов вроде Робино, описанного в «Ночном полете». Чиновники переписываются скучными словами, убогими репликами, унылыми сообщениями о смертях и болезнях, мелких домашних заботах. И незаметно, исподволь, постепенно нарастая, возникает одна из основных нравственных тем Сент-Экзюпери, проходящих через все его творчество: тема бессмысленности обывательской жизни, тема творцов, загубленных этим эгоистическим, замкнутым, посвященным материальному комфорту существованием.

Бытовая зарисовка выливается в страстную лирическую тираду: «Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибой и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то».

Человек только тогда живет полной жизнью, когда раскрывается в нем духовное начало. Интенсивность духовной жизни — не интеллектуальной, а именно духовной — меряется плотностью связей человека с другими людьми. Крестьянин, возделывающий землю, ученый, склонившийся над микроскопом, счетовод из Барселоны, взявший ружье, чтоб защитит республику, летчик, прокладывающий новые пути, — все они вырвались из замкнутого обывательского мирка, все они — жители планеты людей.

Но не каждому дано осуществить свое призвание. И возникает новый поворот той же темы: рабочие гетто, продымленные, мрачные; усталость, убивающая в человеке человеческое; груд, превратившийся из творчества в каторгу. Так человек жить не должен, не может. Одна, две фразы то в одном, то в другом эпизоде, как тени, которые тем черней, чем солнце ярче. И наконец, в заключительной главе «Планеты людей» с полной силой выливается гневная горечь. Поляки-шахтеры, которых высылают из Франции, так как экономический кризис обесценил рабочие руки. Непосильная работа, нищета, недоедание. Дети, которым суждена та же доля. И, как всегда у Сент-Экзюпери, описание переходит в прямую, страстную авторскую речь: «Я со-

трел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды!.. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс... Моцарт обречен... Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт».

В «Планете людей» Сент-Экзюпери говорит обыденным языком о самом высоком. Каждый рассказ его, в сущности, развернутая метафора. Все исключительное, единичное он умеет сблизить со знакомым, общедоступным и общезначимым. Он сводит нас с неба на землю, не теряя при этом ни грана поэзии. «Так радость жизни воплотилась для меня,— говорит летчик,— в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы — в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей». Он сравнивает труд летчика с трудом крестьянина, напряжение пилота, попавшего в циклон, с напряжением грузчика, который старается сохранить в равновесии тяжелую поклажу. Он неизменно возвращается к впечатлениям детства — страны, откуда мы все вышли. Он действительно для всех и со всеми.

От эпизода к эпизоду, от одного лирического обобщения к другому, с совершенной естественностью человека, который на глазах у читателя искренне и непосредственно ищет ответа на главные — для себя и, как он убежден, для всех — вопросы, Сент-Экзюпери приходит к выводу, составляющему краеугольный камень его мировоззрения: «Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека».

«Планета людей» замечательна «конкретной всеобщностью», органической слитностью прозы и поэзии, живых наблюдений и философских раздумий. Непосредственные впечатления отливаются в символы, затвердевая у нас на глазах, как застывает, застывая движение, поток лавы. Мы присутствуем при эволюции, которая завершится аллегориями «Маленького принца»,

притчами неоконченной писателем «Цитадели». В «Планете людей» все еще живо. Пустыня здесь еще реальная пустыня — пески, солончаки, обнаженные плоскогорья, толща известняков, спрессованных тысячами лет ракушек. Здесь летчику, потерпевшему аварию, грозит смерть от жажды. Здесь кочуют непокорные племена. Здесь сплетаются следы фенеков и проносятся стада газелей. И в то же время пустыня — некая почти условная атмосфера очищения от городской суетности и скверны, свидания человека с планетой, где с особой пронзительной ясностью осознаются истинные связи человека с миром. Здесь глубже думается, здесь острее чувствуется. Тому есть вполне реальные объяснения. Но все это важно, значительно не только для одинокого сержанта, охраняющего затерянный форт, не только для Сент-Экзюпери и Прево, спасенных бедуином в сердце Сахары,— это важно для всех, потому что в пустыне познается подлинная цена человека, потому что колодец, оазис — это не просто вода и зелень, это полюсы притяжения, это узлы связи, а истина человека — в его связях с другими людьми. В «Маленьком принце» пустыня — аллегория духовной жажды. Она прекрасна, ибо в ней таятся родники, найти которые человеку помогает только сердце.

В «Планете людей» с Маленьким принцем из сказки автор сравнил реального шахтерского ребенка; в сказке Маленький принц — символ всего чистого, детского, непосредственного, всего, что человеку необходимо сберечь в себе, чтоб не стать «взрослым», «тулузским мешанином», или одним из монстров, проживающих на астероидах.

В «Планете людей» рассказана история раба Барка, выкупленного у арабов Сент-Экзюпери и авиамеханиками Лобергом, Маршалем и Абгралем. Свободный, снабженный деньгами, он был волен идти куда вздумается. Но этого оказалось мало. Барк не мог почувствовать себя человеком, пока в нем никто не нуждался. «Он был свободен, да — слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость». И Барк потратил все свои деньги на игруш-

ки для агадирских ребят, он отяготил себя ребячьими надеждами и только тогда вновь стал человеком среди людей.

Свобода не в своеволии. Свобода несовместима с равнодушием и эгоизмом. Человечу необходима дружба, любовь, возможность щедро дарить себя. Забота о саде — последняя мысль умирающего садовника. Мысль о близких, чувство ответственности за них — сила Гийоме. «Величье рождается прежде всего и только в том случае, если есть цель — вне себя самого... Стоит запереть человека в нем самом — он становится нищ. Стоит только начать служить себе самому». От этой заметки в записной книжке, от истории раба Барка — прямой путь к необходимости «приручения», о которой говорит в «Маленьком принце» мудрый Лис. Приручить или приручиться — ведь это в данном случае одно и то же — означает «создать узы», жить не для себя и тем самым обрести смысл существования, найти свою истину.

— Скучная у меня жизнь, — говорит Лис. — Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится.

И человек всегда в ответе за тех, кого приручил.

В «Маленьком принце» сходятся все нити, все темы творчества Сент-Экзюпери. И то, что этот итог подведен в форме философской сказки с ее стремлением к вечным нравственным категориям, очень характерно для идейной эволюции Сент-Экзюпери.

III

«Хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?..» Этот вопрос задает себе Жак Ривьер, герой «Ночного полета». В сущности, все творчество Сент-Экзюпери — поиск ответа на него. И не в этом ли секрет успеха Сент-Экзюпери в наш «воистину жестокий век», когда презрение к человеческой смерти — и жизни — стало бытом. Презреть смерть, отдать жизнь ради дела, которое превыше всего. Презирать человека, унижать, пытаться, убивать, посылать на смерть обманом или силой. Вот полюсы, между которыми, если воспользоваться выражением Сент-Экзюпе-

ри, натянулось силовое поле морали нашего времени. Полюсы, отрицающие друг друга.

Когда читаешь подряд произведения Сент-Экзюпери, создававшиеся на протяжении двух десятилетий¹, видишь, что поиски этого — главного — ответа были мучительно трудны. Что история, точно подпочвенные воды, просачивающиеся сквозь трещины, непрерывно подтачивала основания нравственных построений, безошибочно нащупывая уязвимые их точки. Так было не с одним Сент-Экзюпери. «Жестокий век» сводил в глазах одних жизнь человеческую к сизифову труду, оставляя в качестве основной и единственной нравственной заповеди требование личной стойкости; в глазах других обрекал человека на бессмысленные поиски справедливости, может быть, записанной — а может быть, и нет — в непостижимых, недоступных сводах законов, в путаных указаниях канцелярий Замка. Но Сент-Экзюпери был летчиком. Он увидел нашу планету сверху — в ее цельности. Он увидел землю, из которой мы — человечество — вышли и которую мы — человечество — покоряем. Человек вступает в бой с природой ради человечества. Солидарность человечества в этой борьбе — исходная позиция, на ней зиждется мироощущение Сент-Экзюпери.

Сначала все лубочно просто и четко.

Гибнет в борьбе со стихией летчик Жак Бернис, ведя Южный почтовый. Гибнет, сражаясь с чудовищным циклоном, пилот Патагонского почтового Фабьен. Гибнет Мермоз — неукротимый разведчик, воспетый Сент-Экзюпери в «Планете людей». И это не трагедия, или во всяком случае, если употребить термин, созданный советским драматургом, — оптимистическая трагедия. Потому что каждый из них сознательно и самозабвенно покоряет природу для человека. Каждый из них выступлет от лица человечества против исконного его противника — стихийных сил. «Одолев пески, он (Мермоз. — Л. З.) вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки... Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подоб-

¹ Первый рассказ Сент-Экзюпери «Летчик» был опубликован в 1926 году. Погиб он в 1944 году.

ной схватки живым, Мермоз прокладывает дорогу для других». Мермоз овладел воздушной дорогой через Анды, он передал свой опыт товарищам и вступил в борьбу с ночью: «Он справился и с этим и проложил путь другим». И когда была покорена ночь, он взялся за океан.

В очерке «Пилот и стихия», впервые опубликованном на русском языке, Сент-Экзюпери рассказывает о том, как, будучи пилотом почтовой авиации в Южной Америке, он попал в циклон. Он говорит о том, как вел самолет против шквального ветра над пиками гор, как руки на штурвале переставали слушаться (этот реальный опыт отзовется в описании последней ночи Фабьена), как не было у него никакого чувства совершающейся трагедии, хотя живым из этой схватки он выйти не чаял. Был тяжелый труд, было напряжение всех сил, каждое мгновение требовало всего человека, без остатка. «Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл», — заключает этот очерк Сент-Экзюпери.

Но, кроме отношений человека с природой, существует мир социальных отношений. Сент-Экзюпери сам овладевал природой, сам покорял ее. Общественная борьба, человек как субъект истории были вне поля зрения молодого Сент-Экзюпери.

Его, разумеется, не могла удовлетворить «светская жизнь», на которую давало право происхождение и родственные связи. В «Южном почтовом» «ненастоящая» жизнь парижских салонов с ее эгоизмом, пустотой, ложью, обманным блеском, юношески прямолинейно противопоставлена «настоящей» жизни летчика, рискующего собой ради установления подлинных связей между людьми, несущего над морями и пустынями хрупкий груз человеческих чувств и забот. По письмам Сент-Экзюпери и Ренэ де Соссин, опубликованным в одном томе, видно, что этот приговор буржуазному Парижу — отнюдь не являющийся литературным открытием, — был не одной только данью доброй традиции, но был поддержан и личным опытом.

«Я не могу относиться к идеям, как к теннисным мячам или мелкой разменной монете, имеющей хождение в светских салонах... Светские же люди используют науку, искусство, философию, как они используют шлюх... Мне отвратительны светские люди, когда они самодовольно сообщают:

«Мы пофилософствовали...» Я люблю людей, которым жизнь открывается во всей неприкрытой наготе, потому что им приходится заботиться о собственном пропитании, о том, чтобы прокормить детей и дотянуть до очередной полочки. Таким людям многое понятно без философствований».

Однако герой «Ночного полета» — романа, где вопросы «как жить?», «для чего жить?» поставлены в лоб, — Жак Ривьер, директор авиакомпании, меньше всего принадлежит к людям, познающим жизнь в заботах о хлебе насущном. Ривьер вершит их судьбами. «Ночной полет» построен с жесткостью, не характерной для более позднего Сент-Экзюпери. В романе две «оси координат»: пилот — стихия, дело — чувство. В этой системе отсчета должен быть решен вопрос, в чем истина человека, в чем подлинная полнота бытия, то есть, иными словами говоря, что есть в мире более ценного, чем отдельная, частная, неповторимая человеческая жизнь, и есть ли такое?

Жить ради денег, ради комфорта, посвятив себя наживе, накопительству? Этот путь Сент-Экзюпери отвергает сразу. Нет, впрочем, ни одного настоящего художника, который попытался бы воспеть буржуа в его истинной и неприглядной сущности. Героическое, творческое, великодушное в человеке — а для Сент-Экзюпери эти качества слитны — искажено и подавлено буржуазным обществом. Но где выход? Не без влияния Ницше Сент-Экзюпери ищет его сначала в сильной личности, творящей жизнь.

Герои «Ночного полета», как и сам Сент-Экзюпери в тот период, когда он работал над романом, живут еще вне истории, не осознают конкретных общественных отношений и конфликтов. Иначе была бы невозможна героизация Жака Ривьера — мудрого, всезнающего, всепонимающего, жестокого, беспощадного, неумолимого хозяина машины, в которой люди — винтики и колесики.

На Ривьера падает отблеск героических деяний летчиков. Покоренные подлинной поззией борьбы Фабьена с циклоном, твердой силой Пельрена, мы на веру принимаем утверждение, что Ривьера и пилотов связывает молчаливое братство, что ими владеет жажда одной победы. А ведь это не так. Ривьер только псылает их в бой, он воюет чужими руками. Ривьер полагает, что созидает людей, что своей беспощадно-

стью, неумолимостью он побеждает в людях слабость, трусость, дряблость. Но на самом деле Ривьер — образцовое орудие отчуждения, он низводит людей до роли механической детали в аппарате авиакомпания; для него существуют не индивиды, а номенклатура: пилот, инспектор, механик, секретарь. Каждому из них он отводит участок работы, для каждого создает регламент, не подлежащий обсуждению. «Правила, — думал Ривьер, — похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей». Себе одному Ривьер позволяет творить — правила, распорядок, людей и обстоятельства. Остальным должно исполнять, не рассуждая. «Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей: для Робино существовало лишь изучение правил». Ривьер думает за всех. Ценным он считает работника, который, не задумываясь, укладывается в отведенное для него гнездо механизма. Инспектор Робино, например, «вообще не думает... это лишает его возможности думать неверно», поэтому инспектор Робино для Ривьера — идеальная шестеренка, важно только следить, чтоб она не заржавела. Надо унижать Робино, чтоб он не возомнил себя равным пилоту, надо заставлять его накладывать взыскание на пилота, чтобы тот тоже помнил свое место в системе, которой заправляет Ривьер. Даже вдову погибшего летчика Ривьер воспринимает не как человека, а как функцию — она жена, вдова, ей, как вдове, положено убиваться, в этом ее истина, в этом ее правда, непримиримая с его, Ривьера, делом. «Ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги».

Слабость Сент-Экзюпери состоит в том, что, обожествляя дело, которому служит Ривьер, а отсюда и самого Ривьера, он не отдает себе отчета в том, какому же делу в конечном итоге приносятся человеческие жертвы. Здесь происходит некое смещение, мистификация — социальная природа мировоззрения Ривьера подменяется мироощущением летчиков, борющихся с природой от имени человечества. Хорошо пишет об этом К. Наумов в своем предисловии к одноименному Сент-Экзюпери, выпущенному издательством «Прогресс». «Пора, наконец, — говорит он, — сорвать с дела его сверхчуждый, почти мистический покров... Дело, которому служит Ривьер, имеет свою оборотную, весьма прозаическую, меркантиль-

ную сторону... И когда Ривьер, увольняя старика Робле, допустившего единственную за двадцать лет беспорочной службы оплошность, не желает считаться с тем, что отнимает у того единственную радость, что пожилому рабочему «дорог самый стук инструментов по металлу самолета», что... наконец, ему «нужно как-то жить», — он предстает перед нами образцовым администратором капиталистического предприятия... и в этом контексте дело связывается уже просто с холодным расчетом, с отношением к человеку, как к орудию и инструменту, который, не задумываясь, выбрасывают, когда он изнашивается».

Оказывается, что система Ривьера, опозитивизированная в «Ночном полете», не так уж далека от теории и практики «неокапитализма» с его стремлением замкнуть рабочего в строгой иерархии «организации», помешать ему самостоятельно думать, устранить его из политической жизни.

Ривьер считает себя вправе вести с людьми «игру, в которой почти не принимается в расчет истинный смысл вещей». Каждое поколение читает книги по-разному, если, конечно, книга доживает до следующего поколения читателей. Мы — современники слишком многих процессов, где палачи, охранники и капо пытались оправдаться тем, что они только выполняли приказы в неведомой им игре, только следовали ее правилам. Конечно, романтизируя Ривьера, Сент-Экзюпери не предполагал, что его герой предвосхищает своими рассуждениями идеологию фашизма, ни во что не ставящего свободу человека и его достоинство. Нужен был опыт позднейших лет, чтоб иное поколение писателей задумалось о том, к чему приводит игра, в которой одним из основных правил является слепое подчинение авторитету, и как формируется психология фашиста. В романе Робера Мерля «Смерть — мое ремесло» Рудольф Ланг — образцовый винтик иерархической машины, который «вообще не думает и поэтому не может думать неверно», — из рабочего парня превращается в убицу миллионов людей, коменданта гитлеровского лагеря смерти, ибо такова «формирующая его» воля вождя. В палача же превращается и Франц фон Герлах, воспитанный, чтоб править людьми, в «Альтошских узниках» Сартра.

Рудольф Ланг отрицает свою ответственность — он признает только подотчетность: исполнительность идеально функциониру-

ющего приводного ремня подменяет сознательную активность. Конечно, от дела авиакомпании, осуществляющей почтовую связь, до операции «Ночь и туман» дистанция огромна, но если говорить о нравственной структуре социальных взаимоотношений, то наш общественный опыт побуждает нас крайне настороженно относиться к выдвижению Ривьера в позитивные герои.

В сущности, жесткая иерархия Ривьера глубоко чужда демократическому гуманизму Сент-Экзюпери, для которого полнота бытия обуславливается вовсе не тем, какое место занимает человек в обществе, а тем, для чего он живет, каковы его связи с людьми: «Человек — узел связей». «Пусть только тот, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслит свой труд, — и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи». И «Планета людей», и вся система аллегорий «Маленького принца» фактически спорят с Ривьером. Ривьер противопоставляет себя и летчиков мешанам, которые бессмысленно кружат под музыку гарнизонного оркестра по дорожкам городского сада. Он презирает секретаря, инспектора, отказываясь видеть в них людей, равных себе, как и он — тающих в себе мечту «спасти компанию от великой опасности», почувствовать себя творцом дела. Он хочет заставить людей жить в постоянном напряжении и тем самым якобы избавить их от мешанского прозябания. Но самое прекрасное ремесло превращается в уродство, если оно самоцельно. Прекрасно давать свет людям, но нелепа жизнь фонарщика на крохотном астероиде, где высокий труд превращается в тупой и бессмысленный ритуал, напряжение самоотдачи — в тяжкую усталость. Нет ничего общего между трудом каторжника, в руках которого кирка обращается в орудие наказания, и трудом свободного геолога. «Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком».

Ривьер подчиняет человека делу, но мешает секретарю или инспектору Робино стать причастными к делу. А между тем только сопричастность дает ощущение полноты жизни. «Ненавижу эту эпоху, в которой под гнетом всеобщего тоталитаризма человек становится тихим, выдрессированным и покорным животным», — писал Сент-

Экзюпери под конец жизни генералу Х., гневно отрицая тем самым философию и практику Ривьера. И в «Маленьком принце» с проникновенной наивностью мечтал о приручении, которое прочнее всяких уз. Ибо приручение, в противоположность дрессировке, построено не на власти силы, давящей сверху, а на сознательном доверии, на велении души и радости взаимного обогащения. Заповедь мудрого Лиса куда как проста: чем больше себя вкладываешь в дело — будь то пестование цветка, забота о друге или — добавим от себя, потому что ведь сказка для того и написана, чтоб добавлять от себя, — строительство справедливого общества, — тем крепче, тем богаче становятся твои связи с миром; чем больше ты отдаешь, тем больше становишься Человеком.

IV

Столкновение с историей для Сент-Экзюпери, как и для большинства западных интеллигентов, было столкновением с фашизмом. История насильственно вторглась в мир человека, покоряющего стихию и обретающего счастье в сознании своей связи с другими людьми, своей ответственности за планету людей. «Вы добились своего, мы вошли в Историю. И на пять лет утратили возможность наслаждаться пеньем птиц», — писал в «Письмах к немецкому другу» Альбер Камю.

Первый урок истории Сент-Экзюпери был преподан в Испании, куда он поехал в качестве корреспондента. Атмосфера духовного пробуждения, патетика борьбы испанских республиканцев не могла не привлечь Сент-Экзюпери, остро ненавидевшего мешанскую замкнутость «тулузского обывателя». Он увидел, как в пастухе, вчера еще неграмотном, просыпается человек — с его благородством, самоотверженностью, жаждой познать широкий мир. Он увидел, что под обстрелом, в сотрясающемся от грохота разрывов мадрилском подвале бойцы республиканской армии счастливы тем высоким счастьем служения, которое для него было единственно настоящим. Он почувствовал в этих людях полноту духовной жизни. Эти впечатления были столь важны для Сент-Экзюпери, что и в «Планете людей», и в «Письмо к заложнику» он включил почти полностью некоторые из испанских очерков — включил как свидетельства о подлин-

ной человечности, как доказательства обоснованности веры в человека.

Но он увидел и войну. Гражданскую войну. Беспощадную, жестокую, братоубийственную. Ее он не принял. Не захотел — не смог — разобраться в сущности идей сражающихся сторон, в том, на чьей стороне правда. Сент-Экзюпери было трудно принять неизбежность, неотвратимость революционного насилия, вдобавок он столкнулся прежде всего с анархистами, с эксцессами своеволия, с кровопролитием, подчас вовсе не обусловленным необходимостью. «Гражданская война — вовсе не война: это болельщик...» — заключил он.

Сент-Экзюпери, как никто, остро, неуступчиво ощущал потребность в единстве, в целостности человечества. И в этом смысле он был человеком XX века, человеком техники XX века, уничтожившей расстояния между народами, сделавшей весь земной шар обозримым и доступным. Самолет (и еще телеграф, радио, телевидение) спрессовали время, отделявшее прежде страну от страны, континент от континента.

Свое органическое ощущение целостности, свою жажду единства Сент-Экзюпери пытается перенести в область идеологии. Он отказывается мыслить противоречиями. Он отказывается принимать во внимание, что эти противоречия реально существуют, хотя сам сражается против фашизма. Он противопоставляет труд городских пролетариев, загнанных в прокопченные гетто, вольному труду пахаря или пастуха, в которых живо творчество. Но не хочет считаться с тем, что крестьянин в буржуазной Франции ничуть не более свободен, чем рабочий. И ничуть не более счастлив, разве что дышит воздухом, в котором меньше индустриальных отходов. В сущности, когда Сент-Экзюпери говорит о земледельцах, пастухах, садовниках, он имеет дело с некой общей идеей труда, украшающего землю и дарующего человечеству хлеб, молоко, вино, красоту розы. Его крестьяне живут вне истории.

В испанских очерках, в «Планете людей» обнаруживается вся парадоксальность и внутренняя противоречивость миропонимания Сент-Экзюпери. Чтоб раскрыть смысл поступка барселонского счетовода, ставшего добровольцем республиканской армии и готового умереть за дело революции, Сент-Экзюпери сравнивает его с лямашней уткой, которой не дает покоя клеток перелетных птиц, или с ручными газелями, которых

неудержимо тянут просторы пустыни. Так и сержанту, объясняет он, не хватало чего-то в его будничной обывательской жизни, он нашел это нечто — «свою истину» — на фронте. Так в чем же она? В приобщении к большому миру. Однако этот мир разорван. Однако приобщение означает включение в борьбу. Этого Сент-Экзюпери не приемлет. Он закрывает глаза на сущность идеи, которая стала орудием приобщения. «Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны». Коль скоро сержант «подчинился великому зову, не понимая его», коль скоро он «пошел на войну, о которой ничего не знал», «отправился в путь по внутренней необходимости», то нет ничего удивительного, что кто-то иной обретет ту же полноту бытия, откликнувшись на зов убийцы сержанта. Один умрет за черное знамя анархистов, другой — за церковь. Сент-Экзюпери страстно убеждает, что это одно и то же: «Слова у нас разные, но за ними — те же порывы и стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, но цели у нас одни».

Цели были далеко не одни, это становилось все яснее и яснее.

Противоречия существуют реально. Ими движется история. Их разрешает история, чтоб породить новые противоречия. Но людям свойственна жажда ясности. Человеку, чтобы действовать, необходимо совершить выбор. Это нелегкое дело. Если б можно было выбирать между фашизмом и демократией, сложности бы не существовало. А если приходится выбирать между уступками фашизму и войной? После Мюнхена Сент-Экзюпери писал в одном из очерков: «Мы не можем отделаться от чувства неловкости. Мы предпочли спасти мир. Но, спасая мир, мы искалечили друзей. Многие из нас, это не подлежит сомнению, готовы были рискнуть жизнью ради выполнения долга дружбы. И они ощущают какой-то стыд. Ведь тем самым им пришлось бы согласиться на то, чтоб рухнули навсегда библиотеки, соборы, лаборатории Европы. Согласиться на то, чтоб погби традиции, чтоб земля превратилась в тучу пепла».

Сент-Экзюпери не был исключением. Позорное чувство облегчения охватило Францию после Мюнхена. Естественная радость — войны не будет — заглушала стыд предательства. Среди французских интеллигентов, вынесших из первой мировой войны

ненависть к бессмысленной войне, к крови и грязи окопного безумия, много было таких, кто, подобно Симоне де Бовуар, думал: «Чехословакия вправду возмущается предательством Англии и Франции: но все, даже самая чудовищная несправедливость, — лучше, чем война...» Пацифисты настаивали на том, что «мир работает на демократию», другие — более дальновидные, те, у кого хватало мужества смотреть в обезумевшие глаза Истории, — спорили с ними: «Нельзя бесконечно уступать Гитлеру». Левая интеллигенция была в растерянности.

Приходилось расставаться с великой иллюзией, не просуществовавшей и двадцати лет, с послевоенными радужными настроениями. Фашизм и война шли рука об руку. Мир на демократию не работал. Перед лицом войны с фашизмом приходилось заново учиться солидарности, приходилось взваливать на свои плечи бремя исторической ответственности. Та же Симона де Бовуар свидетельствует в своих воспоминаниях: «Мне трудно назвать день, неделю, даже месяц, когда произошло мое обращение. Но ясно, что весна 1939 года стала переломом в моей жизни. Я отказалась от моего индивидуализма, от моего антигуманизма. Я научилась солидарности... Теперь я знала, что до мозга костей связана с моими современниками, и я открыла обратную сторону этой зависимости: мою ответственность».

Сент-Экзюпери обнаружил свою ответственность и сказал о ней гораздо раньше — уже в «Южном почтовом», — пусть в самой наивной форме. Однако сопротивление гитлеризму столкнуло людей вплотную с ответственностью исторической. Индивидуальная свобода утратила цену. Она стала припахивать коллаборационизмом. Свобода обнажила свою гражданскую сущность. Чтобы почувствовать себя свободным, нужно было бороться и устоять, как Антигона против Креона и его стражников, против его «нового порядка» в пьесе Ануяля, поставленной в 1943 году. Как Орест — герой пьесы Сартра «Мухи», написанной и поставленной в ту же пору, — Орест, отказавшийся от мнимой свободы, «подобной свободе паутинок, плывущих по ветру», чтоб обрести свободу гражданина среди граждан. Как доктор Рие в «Чуме» Камю, вступающий в упорный, неравный бой с бедствием, обрушившимся на Оран, и тем самым превращающийся в средоточие человеческих связей.

И то чувство общности, причастности к общему делу, которое всегда было силой мироощущения Сент-Экзюпери-авиатора, по-новому проявляется в его произведениях, написанных после 1939 года, — в «Военном летчике», в «Письме к заложнику». Оно приобретает дополнительное измерение гражданственности. Сент-Экзюпери формулирует как самое важное открытие, данное ему участием в боях: «Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы, из группы 2/33, неотделимы от нее...»

В то же время он резко отграничивает подлинное от мнимого в понятии «общность»: подлинная общность создается в борьбе за идею человека против фашистских мифов об «общности», основанной на расовом превосходстве или милитаристском угаре. В «Военном летчике» Сент-Экзюпери осудит социальную систему, построенную на «подчинении каждого строгим правилам». С горечью человека, увидевшего воочию все ужасающие последствия превращения личности в нерассуждающий винтик государственного механизма, он напишет: «Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой». Поражение Франции для него — это прежде всего распад общности, гибель некоей целостности, некоего Существа. (Думается, что, переведя сентэксюперское l'Être как Сущность, переводчик недооценил чрезвычайно значительного для мироощущения Сент-Экзюпери представления об органическом, можно сказать, биологическом единстве всякой «общности».) В «Военном летчике» появляется вовсе не свойственный для писателя, почти кафкианский образ взбунтовавшейся машины — администрации, шестеренки которой отказались подчиниться человеку, своему создателю. Это заводное устройство, пущенное в ход при иных обстоятельствах и для иных целей, злобно мстит мастеру, отрешившемуся от творческого отношения к жизни.

«Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При наличии безупречной администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться. Но, подобно машине, по-

строенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна к какому-либо творческому акту... в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика».

В противоположность Кафке, мрачный этот образ отнюдь не торжествует в «Военном летчике». Но поскольку гуманистические устремления поэта вступают в конфликт с диалектикой реальной жизни, с Историей, он Историю отводит, берет ее за скобки; поскольку Сент-Экзюпери не находит логики в происходящем, он кидается на логику как на виновницу мучительного разлада.

Здесь впервые у Сент-Экзюпери возникает некая идеализация прошлого — цивилизации, опирающейся на христианскую мораль. Распаду, разброду, разгрому, частицей которого является и он сам, и его группа 2/33, он противопоставляет нравственную конструкцию, образ человечества как прекрасного собора, где каждый камень необходим и значим, где все организовано и скреплено внутренней идеей, геометрией, замыслом великого зодчего. Собор действительно прекрасен, но он, увя, лишь памятник архитектуры. Сент-Экзюпери восстает против разобщенности, раздробленности, индивидуалистического самоволия общества, в котором живет. Он страдает от того, что буржуазный гуманизм исчерпал себя, рассыпался на слова, лишённые всякого содержания. Но, понимая, что сущность человека «не есть абстракт, присущий отдельному индивиду», что понятие Человек не может быть составлено, как некая мозаика, из этих индивидуальных сущностей, он в то же время отворачивается от диалектики исторической действительности. Вместо того, чтобы думать о том, как изменить общественные отношения, из совокупности которых складывается облик человека эпохи, Сент-Экзюпери обращается вспять, пытается ухватиться за идеальный образ, за идею Человека, являющуюся продуктом христианской цивилизации.

Внутреннее противоречие этого исповедания веры в том, что, справедливо настаивая на необходимости действовать («Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его усилия не увенчались успехом»), Сент-Экзюпери определяет характер этого действия, его духов-

ную сущность как Жертву и отказывается низвести этот опозитизированный субстрат до языка практики. Отказывается принципиально решать, как и что следует сделать. «Что нужно делать? — спрашивает он.— Это. Или противоположное. Или еще что-то. Будущее не детерминировано. Чем следует быть? Вот основной вопрос, ибо только дух оплодотворяет рассудок». Но чем же следует быть? Ветвью дерева, камнем собора, зерном, павшим в землю, образом и подобием бога.

Сент-Экзюпери противопоставляет созерцание и действие, в которых проявляет себя дух, холодной и отвлеченной логике рассудка — и в этом нетрудно различить протест против логики «реальных политиков», которые могут доказать все что угодно. Сент-Экзюпери протестует против умствования, сухой рассудочности, неспособной объять мир в его целостности, против анализа, за которым не следует синтез, против ограниченности здравого смысла, инфляции высоких слов. Однако сам он, как только обращается к формулировкам своего «исповедания веры», теряет ясность и топит конкретное в бесформенных облаках поэтической всеобщности. Когда Сент-Экзюпери берется нас поучать, когда он, ненавидящий формулы, пытается их вывести, — мы ускользаем из его объятий. Мораль, извлеченная им самим из собственного творения, тоща и убога. В процессе сотворчества с Сент-Экзюпери мы живем в таком благотворном духовном напряжении, под таким высоким давлением собственных размышлений, что нищета прописей в «Военном летчике» вызывает некое подобие кессонной болезни.

Любопытно, что именно здесь спотыкаются и переводчики Сент-Экзюпери. Там, где читатель проскользнет, движимый еще инерцией, заданной повествованием, переводчик, высвобождающий единственно возможное слово, точно передающее смысл, сталкивается в работе над текстом с сыпучим, невыкристаллизовавшимся веществом.

Философ оперирует понятиями, поэт — образами. Сент-Экзюпери в этой проповеди оперирует понятиями-образами, в которых поэтическая многозначность не поддерживает, а размывает значение понятия, обнаруживая опасные пустоты мысли автора. Стройность нравственно-этической конструкции Сент-Экзюпери обманчива — это взлет линии на чертеже без учета силы зем-

ного тяготения. Нет, Сент-Экзюпери силен не в доказательствах, не в попытках философской аргументации — это противно самому характеру его таланта. В «Военном летчике» он обрушивает на читателя, подготовленного всем повествованием к восприятию кредо поэта, мощную риторику проповеди, лавину образов. Собор и разрозненные камни, дерево и почва, из которой оно черпает питательные соки, зерно, павшее в землю, чтоб погибнуть и прорасти, и стать колосом, хлебом, строитель Собора и ризничий, удобно устраивающийся в уже отстроенном Соборе, — и в каждой из метафор есть правда, эмоциональная сила. В особенности, если мы помним, откуда произросли эти символы. И все же их выпренность, расплывчатость обнаруживаются при первом столкновении с действительностью. Возвышенная риторика не выдерживает сопоставления с грубым фактом. Хуже того, здесь впервые появляется нечто совершенно чуждое автору «Планеты людей» — краснота. Когда летчик поднимается в воздух — он действует, когда писатель воспаряет над грешной землей — он витийствует.

V

Обаяние Антуана де Сент-Экзюпери в немалой мере — обаяние личности. Отвратительно, когда беспринципный интриган кричит о совести, когда богач проповедует бескорыстие и воздержание. Сент-Экзюпери был причастен ко всему, о чем писал, — к покорению стихий, к борьбе с фашизмом. Когда началась война, Жироду предложил Сент-Экзюпери, к тому времени уже известному писателю, место в службе информации. Дидье Дора звал его в гражданскую авиацию. Сент-Экзюпери настоял на том, чтоб сражаться в качестве военного летчика, он погиб, выполняя боевое задание.

Сент-Экзюпери до конца жизни не смог преодолеть внутренних противоречий. Абсурдность окружающего мира, стандартизация жизни, гибельность буржуазного индивидуализма мучили его с юности, и он не переставал искать ответа на «проклятые вопросы». Он никогда не сдавался, потому что сдаться для него было равносильно предательству. Он был томим духовной жадой, и именно поэтому все его поиски — даже если источник, к которому он припадал, не может утолить нашей жажды — так

важны, так значительны для нас. Сент-Экзюпери не очень сводил концы с концами. Он мечтал, чтоб в шахтерском ребенке нестовали Моцарта, но отказывался искать для этого пути в общественном переустройстве. Политику он ненавидел. «Невозможно больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами! Совершенно невозможно. Невозможно жить без поэзии, без красок, без любви», — писал он в 1944 году, когда все — и он сам — жили главным образом борьбой с фашизмом, то есть политикой. И он же замечательно сформулировал: «Замкнувшись в сектантских распрях, я могу забыть, что политика теряет смысл, если она не служит духовной истине».

«Его гуманизм — упорный, ограниченный и чистый, суровый и чувственный — вел против событий эпохи, обрушившихся на нас своей тяжестью и уродством, бой с сомнительным исходом. Но в то же время самим упорством своего неприятия он утверждал в сердце нашей эпохи — наперекор всем макиавеллистам, наперекор золотому тельцу реальных политиков — существование нравственности. Он сам был этим неодолимым утверждением... Надо было либо переубедить его, либо победить: одним словом, он был необходим, ибо создавал напряжение, без которого нет жизни духа», — эти слова, сказанные Сартром о другом нашем современнике — Альбере Камю, во многом определяют и силу воздействия Сент-Экзюпери.

Споря, сколь «современен» тот или другой писатель, мы нередко пытались вычлнить некую формулу «современного стиля», погружаясь в дискуссию тупоконечников и остроконечников о лаконизме или поэтической метафоричности как основном и бесспорном признаке. Но, думается, основную характеристику «современности» писателя следует искать в системе его отношений с читателем. Сегодняшний читатель хочет думать сам, писатель — «объясняющий господин» или даже «учитель жизни» — ему претит. Он ищет в книге, в театре (недаром такой успех имеет Брехт) собеседника, которого он уважает. Собеседника трудного, требующего напряжения ума и совести. Если позволительно аргументировать доказательством «от противного», то ведь не случайно «неокапитализм» делает ставку на так называемое «массовое искусство», низвергаемое на «человека улицы» капиталистической индустрией «забвения», — кино

как фабрика снов, телевидение как фабрика бытовых штампов, чтиво как фабрика при-тупления мысли. Сент-Экзюпери — подобно Кафке, Фолкнеру, Камю — не усыпляет, а тревожит. Он современен, потому что с ним хочется спорить, он берет за живое, он притягивает и отталкивает. Нашего читателя пленяет в Сент-Экзюпери высокое духовное напряжение его творчества, его ненависть к серийной, «стандартной культуре», к превращению человека в винтик механизма.

Сент-Экзюпери вовлекает нас в активное постижение мира, вызывает к нашей способности мыслить и действовать. Польских шахтеров, изуродованных условиями существования в буржуазном обществе, превращенных в рабочий скот, тупой и измученный, невозможно холодно созерцать, потому что художник остро тревожит нас памятью о Моцарте, о творце, убитом в каждом из них. В лучших своих произведениях он зовет к нашему чувству ответственности, к нашей совести не поучением, а самой художественной тканью своего повествования. Мы восхищаемся Мермозом или Гийоме — и жаждем подражать им; мы страдаем вместе с Барком — и клянемся изменить поло-

жение, и задумываемся о том, на что мы тратим свою свободу; мы удивляемся всем нелепостям жизни вместе с Маленьким принцем — и обнаруживаем в себе самих ростки баобабов, которые необходимо вы-полоть. В эстетическом императиве мы черпаем императив нравственный. За иронической наивностью ребячьего девиза: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету» — для каждого из нас целая программа действий.

Из книг Сент-Экзюпери невозможно извлечь формулы поведения. Его самого постигла неудача, когда он попытался это сделать. Каждый человек неповторим. Каждый, чтоб стать человеком, а не шестеренкой, садовником, а не бизнесменом, должен найти на планете людей свою розу, своего Лиса, свою группу 2/33. И отдать делу, которое выбрал, всю щедрость души, принять на свои плечи всю ответственность за него, связать себя со всеми, кто шагает в ту же сторону, к той же цели.

Чтение Сент-Экзюпери оставляет в душе счастливое и требовательное сознание своей причастности к человечеству.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лебедева. Мужественная поэзия.— **Е. Ландау.** Странный и обыкновенный человеческий взгляд — **Всеволод Ревич.** Лед и пламень.— **Г. Березкин.** О прошлом — сегодня.— **Видас Силюнас.** Трагедия мертвого времени.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Гоффеншефер. Первая марксистка.— **Д. Валентей.** Наука о народонаселении.— **Ю. Кузнец.** Торжество правды.— **С. Эпштейн.** Ученые приказчики капитала.— **Б. Левин.** Рассказывает «отец кибернетики».

Литература и искусство

МУЖЕСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Давид Кугультинов. Стихи. Перевод с калмыцкого («Библиотека советской поэзии»). «Художественная литература», М. 1965. 246 стр.

«Я видел жизнь и людей, радости и горести», — написал Давид Кугультинов в конце авторского предисловия к сборнику своих стихов. Это могут сказать о себе многие, но далеко не все скажут по праву. Богатый житейский опыт, пережитые радости и страдания сами по себе не определяют ни ценности человеческой, ни цельности. И тот, кто считает, что опыт обязательно приносит право поучать, обычно ничего не отдает людям, кроме снятого молока обывательской умудренности. А это недорого стоит!

Нет, видеть людей — значит понимать их и принимать близко к сердцу, значит сочувствовать им в том, что заслуживает сочувствия, и испытывать отвращение к тому, что не имеет ничего общего с истинно человеческим. Поэзия Давида Кугультинова несет в себе именно это; его поэтическое слово насыщено и по-настоящему просто. Он вдумчив и оттого, наверное, кажется иногда слишком спокойным. Но чем больше вчитываешься в эти спокойно сказанные слова, тем сильнее ощущаешь их внутрен-

нюю страстность, словно бы силу туго закрученной стальной пружины. От строки к строке нарастает напряжение — и вот в последней строфе пружина развернулась, и главное, то, для чего и почему написано стихотворение, находит выражение в точных, скупых, ударающих по сердцу словах:

Скончался мой друг. Но лишь тело
Исчезло, как рябь на воде,
Лишь куртка его опустела,
Обвиснув на ржавом гвозде.

Лишь речи затихли, хоть мало
Тревожили воздух они,
Земля же просторнее стала
Всего только на две ступни.

Но как велико его место
Во мне! Это знаю лишь я.
Как сердцу безвыходно, тесно.
Как сдавлена память моя!

(Перевод Н Матвеевой)

Эти стихи датированы 1960 годом. От начала творческого пути Кугультинова их отделяет двадцать лет — трудных лет. Ку-

кугультинов-поэт пришел в литературу рано: в 1940 году, когда вышла его первая книжка, ему было восемнадцать. Писал он стихи и во время войны, когда был на фронте.

Кугультинов по духу своего творчества романтичен, но его романтика претерпела с течением времени существенную эволюцию, и начало этой эволюции — именно в стихах военных лет. Образ внешне эффектный, но не слишком глубокий и оригинальный, уступает место более простому, можно даже сказать — неприятельному и вместе с тем точному, внутренне значимому, запоминающемуся. Если можно так выразиться, романтика формы уступает место романтике мысли и чувства. Поэт идет в глубину, к нему является зрелость мужественного, чуткого, прямого по взглядам на жизнь художника и человека.

Но происходит это, понятно, не сразу, не во мгновение ока.

Ветер поет,
скользя по штыку граненому.
Песня его
пронзительна и грустна.
В синее тело небес
жестоко вонзенная
Алая сабля луны
сквозь тучи видна,—

так начинается написанное в 1942 году стихотворение о войне «Песнь осеннего ветра».

Это сильное по чувству стихотворение, полное сурового солдатского гнева и горечи за тех, кому война принесла страдания и смерть,— за любимых, за матерей, за погибших бойцов. Но в нем, особенно в начале, процитированном выше, еще заметно стремление к эффектности, к красивости, к орнаментальности образа. И, однако же, здесь орнаментальность носит уже куда менее самодовлеющий характер, чем, например, в написанной в 1940, довоенном, году «Девушке-джангри», где юношеская увлеченность Кугультинова внешними аксессуарами романтики выражается совершенно очевидно.

Но вернемся к «Песни осеннего ветра» и попробуем взглянуть на это произведение еще с одной стороны. Это не только гневные, «бурные» стихи о войне. В «Песни» звучит тема, ставшая основной в поэзии Кугультинова. Человек и его отношение к миру, человек и его отношение к людям, человек и его отношение к самым острым и

трудным проблемам современности — вот некоторые из многих возможных определений этой темы.

...клятвы своей вовек

не нарушу я.

Не убежать от стонов мира,

Не отступать от зовов мира...

(Перевод Н. Матвеевой)

Строки эти можно считать программными для Кугультинова. Он не нарушил своей клятвы, хотя сдержать такую клятву нелегко для любого, пусть и очень сильного человека, а для Давида Кугультинова было это вдвойне и втройне нелегко — не потому, конечно, что он человек слабый. «В 1945 году я был арестован за стихи, в которых осуждал несправедливость по отношению к моему народу, учиненную в годы культуры личности Сталина», — пишет поэт в предисловии-автобиографии. Освобождение и реабилитация пришли в 1956 году, после XX съезда партии. Эти тяжкие десять лет не убили в поэте ни мужества, ни жизнестойкости, ни веры. Десять лет не печатались его стихи (а он писал их — об этом свидетельствуют даты под стихотворениями!), не выходили его книги, голос его не звучал для нас.

С 1956 года прошло тоже десять, или почти десять, лет. И ныне с читателями говорит поэт самобытный, творчески зрелый, принимающий жизнь так же прямо, с открытой зовам мира душой, как это было в начале сороковых годов. Мастерство его стало более высоким, а людей и жизнь он любит не меньше, наверное даже больше, чем тогда, в начале пути.

Естественно, что в поэзии Кугультинова большое место занимают стихи о судьбе его народа. Эта остро гражданственная, большая и сложная тема органична для поэта. Он не мог не разделить с народом его судьбу в годы тяжелых испытаний — и не мог не писать об этом. С большой искренностью, мужеством и прямоотой — а иначе он и не представляет себе слова поэта — высказывает он свои мысли и чувства по этому поводу в большом стихотворении «От правды я не отрекался»:

Не потерял и совести от страха,
Не позабыл природный свой язык,
Под именем бурята или казаха
Не прятался...

Я был и есть калмык!

Ни под каким нажимом и допросом

СТРАННЫЙ И ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Андрей Платонов. Джан. Повесть. Журнал «Простор», № 9, 1964.

Как по случайному жесту угадывается иной раз характер человека, так брошенная вскользь метафора или эпитет может дать ключ к пониманию художественного мышления писателя.

«Станным и обыкновённым человеческим взглядом» назван взгляд девочки Айдым в повести Андрея Платонова «Джан», написанной в 1933—1935 годах и увидевшей свет спустя тридцать лет. Этими же словами хочется охарактеризовать взгляд автора повести на жизнь, способы ее изображения. С одной стороны, здесь реалистические краски — подробности и детали, поражающие своей точностью и правдивостью. С другой — причудливые, порой гиперболические описания жизни пустыни, людей из небывалого племени джан.

Обыкновённые события, о которых рассказывает автор. Коммунист Назар Чагатаев, окончив московский институт, возвращается в Среднюю Азию и по заданию партии оказывает помощь затерянному в песках пустыни вымирающему народу джан — своему родному народу.

Но странно развиваются эти события. По дороге из Москвы в Ташкент герой повести нарочно отстает от поезда и продолжает путь пешком. Он хочет сродниться с природой, от которой успел отвыкнуть: приручает и выхаживает отощавшего верблюда, отбивается от беззубой черной собаки... Старик Суфьян, никогда ранее не виденный Чагатаевым, узнает в нем «мальчика Назара». Мать Назара — старая Гюльчатаяй, пятнадцать лет не имевшая от него вестей, чувствует приезд сына и находит его в пустыне, в ночной темноте. Блуждая в песках, Чагатаев сражается с хищными птицами. «Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей: клювы их были, как у стервятников, но толстая могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище».

Все это придает повествованию особый колорит: оно воспринимается как сказка или легенда, в которой самые простые слова и действия героев исполнены особо значительного смысла. Автор так передает мысли Назара, заночевавшего в пустыне:

«...все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже брялая жалкая трава — ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим...»

Даже образ Назара Чагатаева на протяжении всей повести освещен как бы двойным светом: это и вполне реальный уполномоченный ЦК компартии Узбекистана, и некий легендарный подвижник, видящий свое призвание в том, чтобы делать людям добро.

Большое значение имеет начало повести, посвященное последним дням жизни Назара в Москве. Здесь описаны его странные отношения с Верой, которая выходит за него замуж, но не живет с ним. Необычный характер этих отношений свидетельствует, мне кажется, об особом призвании Чагатаева, о его «избранничестве». В то же время московские сцены повести говорят о том, какая легкая и спокойная жизнь ожидала Назара в случае, если бы он остался в Москве. Недаром Назар впоследствии видит во сне, что танцует с дочерью Веры, Ксений, — но просыпается оттого, что на него напали орлы. В другой раз Чагатаев наяву скучает по столице, ему хочется «поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям», но он отгоняет эти мысли, говоря вслух: «Нет, здесь тоже Москва!»

Теми же художественными средствами обрисован антагонист героя — Нур-Мухаммед, уполномоченный райисполкома, носящий за пазухой халата учрежденческий портфель. Это бюрократ, глядящий «на людей чужими глазами», равнодушный к их страданиям и для порядка аккуратно регистрирующий каждый случай смертности; это развратник, растлевающий девочку-подростка; это авантюрист, задумавший угнать народ джан в Афганистан и продать его в рабство. А вместе с тем во всем его облике, в том удовлетворении, с каким он делает «вычитание погибшей души в своей записной книжке», есть что-то напоминающее сказочных злодеев, которые сродни нечистой силе. И когда Нур-Мухаммед, ранен-

ный Чагатаевым. бросает похищенную Айдым и навсегда скрывается за песчаным холмом,— трудно понять, бегство ли это разоблаченного преступника, или изгнание злого духа.

Символическая двуплановость чувствуется и в изображении народа джан. Это небывалый народ: он состоит из нескольких десятков стариков, детей и калек, принадлежащих к различным национальностям, томящихся «где-то на дне пустыни» и постепенно вымирающих. «Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавали ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь». Перед нами — обобщенный образ человеческого страдания. Недаром секретарь ЦК в Ташкенте говорит Чагатаеву, что народ джан живет в аду. И это не просто метафора. Платонов до конца верен избранной им поэтике: он показывает читателю «яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад», и тут же рассказывает миф об Ормузде и Аримане.

Народ, живущий в аду, носит название «джан», что, как разъясняет автор, означает душу, ищущую счастья. Принести ему счастье, «научить этот небольшой народ социализму» — вот в чем состоит и призвание Назара Чагатаева, и его партийное поручение. «Что мне там делать — социализм?» — спрашивает он секретаря ЦК и слышит в ответ: «Чего же больше! В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю...» Утверждение гуманистической сущности социализма — в этом пафос повести «Джан».

Но не только в этом. Вдумаемся в заключительную главу повести. Миссия Чагатаева выполнена. Главные трудности преодолены. Изгнан злобещий Нур-Мухаммед. Сократилась смертность. Люди накормлены, одеты, получили теплое жилье. Избран «совет трудящихся, куда членами вошли все». Можно было бы ожидать, что теперь народ заживет спокойно и безмятежно там, где поселил его Чагатаев. Это ожидание, однако,

не оправдывается. Физически и духовно окрепнув, люди расходятся «поодиночке во все страны света».

«Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного, небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом...»

Только эти строки, завершающие повесть, до конца раскрывают ее философский замысел. Платонов жил в годы, когда все заметнее нарушались демократические нормы общественной жизни, когда укреплялось представление о рядовых людях как о винтиках государственной машины, когда формировался тип руководителя-бюрократа, ставящего себя над массами и пытающегося думать за них.

В мысли Чагатаева, признающего, что «самим людям виднее, как им лучше быть», нет ничего анархического. Многое, очень многое зависит от руководства, но главная сила, творящая историю народа, — это сам народ. Пафос строительства социализма закономерно дополняется у Платонова пафосом демократизма. Не очень созвучное времени, когда оно писалось, произведение Платонова близко по духу нам, читающим его сегодня.

Такова повесть «Джан», странная, обыкновенная и удивительно человеческая. «Странное» в ней никогда не перестает быть реальным, оно не имеет ничего общего с формалистским «остранением». «Обыкновенное» в повести ни на минуту не становится обыденным, тусклым, невзрачным, оно постоянно освещается изнутри светом поэзии. И повествование, не утрачивая исторической конкретности, раскрывает общечеловеческий смысл изображаемого. Велики страдания людей, изображенные в повести, и грустно поэтому звучат многие ее страницы. Но, как сказано в ней, «музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная».

Е. ЛАНДАУ.

Алма-Ата.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Александр Казанцев. Леды возвращаются. Фантастический роман. «Советская Россия». М. 1964. 479 стр.

Я хорошо помню — это было перед самой войной, — с каким нетерпением тогдашние мальчишки ждали выхода очередного номера «Пионерской правды», как, просыпаясь утром, мы бежали к почтовому ящику, чтобы успеть заглянуть в газету до школы. На четвертой странице «Пионерки» печатался «с продолжением» роман Александра Казанцева «Пылающий остров»...

Конечно, в «Пылающем острове» легко обнаружить и схематизм характеров, и сюжетные натяжки, и многое другое. Но недостатки книги искупались новой для советской фантастики темой, увлекательно «закрученным» сюжетом. «Пылающий остров» принес своему автору известность.

Нам не случайно вспомнился «Пылающий остров», это типичное детище тридцатых годов, когда мы познакомились с последним романом того же автора — «Леды возвращаются». Многие — даже в чисто сюжетном отношении — разделяют эти две книги: если в первой человечество едва-едва не задохнулось в результате гигантского атмосферного пожара, то во второй оно чуть-чуть не замерзло, на землю стали возвращаться ледники; если в первой пропавший без вести герой: чтобы сообщить о себе, конструирует радиопередатчик из человеческого скелета (позывные — «ти-ти-ти»...), то во «Льдах» герой в аналогичной ситуации пользуется уже совсем иным предметом, а именно — обыкновенным аккумулятором (позывные — «герц-герц-герц»...). Но есть в новом романе и такие особенности, которым мы вряд ли найдем аналогию в ранних произведениях А. Казанцева.

Самое общее представление о книге дает издательская аннотация: «Роман «Леды возвращаются» популярного советского фантаста Александра Казанцева — это роман-памфлет, направленный против холодной войны. Несмотря на всю фантастичность событий, судьбы героев, которых читатель видит, любит или ненавидит вместе с автором, фантастические, порой страшные картины воспринимаются как сама реальность».

Некоторые нелады с русским синтаксисом в последней фразе не позволяют с полной уверенностью утверждать, что мы целиком поняли замысел издателей. Но во всяком

случае нам показалось излишним предвзирать чтение романа утверждением, что читатель уже любит или ненавидит его героев. А вдруг у читателя появятся к ним иные чувства или не появится никаких?

Обратимся, однако, к роману.

Поскольку А. Казанцев в обращении «От автора» предупреждает, что научные идеи не претендуют на достоверность и предвидение, то и мы оставим их в стороне. Начнем прямо с главного героя, которого — нас предупредило издательство — «читатель видит» (как и всех остальных). Действительно ли мы его видим? О да! И это не так уж трудно, ибо его двойников мы встречали множество раз, в том числе у того же Александра Казанцева, и уже малость присмотрелись к ним. «Огромный, тяжеловатый, но», конечно же, «быстрый в движениях», «силах со лбом мыслителя», Сергей Буров обладает всеми необходимыми качествами интеллектуального Тарзана. Он красив, решителен, верен и постоянен в привязанностях, в его голове постоянно зреют дерзкие планы; развеивая дурное настроение, он сутками гоняет по тундре на лыжах, «не ощущая холода», и т. д. и т. п.

Научные заслуги Бурова грандиозны. Это он открыл «Б-субстанцию», в присутствии которой не может происходить термоядерная реакция, и тем самым спас мир от атомной войны. Правда, проклятые империалисты тут же пустили субстанцию на Солнце, чтобы погубить Землю. Несчастное светило и впрямь стало гаснуть. Но волноваться не следует. Сергей Буров тут же открывает «А-субстанцию» — с противоположным действием, благодаря чему спасает мир вторично. (Почему сначала «Б», а потом «А» — неясно, но так в романе.)

Единственная неудача, которая постигает героя, касается сферы интимных чувств. Он влюбляется с первого взгляда, но получает отпор, после чего, испытывая, естественно, некоторое душевное смятение, начинает думать о своей любимой в сгиле Остапа Бендера, потерявшего чувство юмора: «Что за женщина, черт возьми!.. Ангел, сирена или стерва!.. Сочувствует льдам и раскольникам. Боярышня, а бьет, как в поллицейской школе. Но хороша!»

Предпоследняя фраза этих лирических раздумий объясняется тем, что женщина, к которой Буров полез целоваться, во-первых, дала ему по физиономии, а во-вторых, нанесла удар не по-женски профессиональный удар, что «он почувствовал нестерпимую боль, согнулся пополам, сдержав стон... слабый, поверженный, ухватился за поручни, почти повис на них, а она, не удостоив его взглядом, прямая, как деревце, пошла прочь» (Надеемся, что читатели не будут на нас в претензии за обильное цитирование. Нет другого способа показать, какова «сама реальность» романа, так высоко оцененная в аннотации.)

Что ж это за чемпионка по джунджу-джитсу, сурово обошедшая с очаровательным молодым человеком? Зовут ее Елена Кирилловна Шаховская. Ее мы тоже видим. У нее «чудесная фигура», «красивые обнаженные руки», «точные ноги», «восхитительнейшие ноги», «миниатюрные ступни», она — «милая загадочная колдунья, злая волшебница с добрыми глазами ангела и бесовскими, сводящими с ума линиями плеч, талии, бедер...».

Изунив Бурова и читателя при своем первом появлении, Елена Кирилловна продолжает столь же успешно делать это и в дальнейшем. Спасенная из вод Ледовитого океана после кораблекрушения, она, нежась в теплой ванне, бесцеремонно требует у приютивших ее людей принести ей коктейль, чем повергает гостеприимных хозяев в немалое смущение. Откуда добродетельной профессорше и ее дочке-выпускнице знать, как составляются коктейли? Нет, тут что-то не то, соображает проницательный читатель. Не иначе, как эта фифочка от туда. Правда, читателю тут же приходит в голову и вторая мысль: ежели оттуда, то зачем же она выдает себя с головой на каждом шагу и, главное, почему никто из окружающих этого не замечает? Вскоре выясняется, что Елена Шаховская действительно американская резидентка — Элен Сэхевс. Впрочем, проницательный читатель все же остается в дураках, ибо позднее обнаруживается, что на самом-то деле она тайная коммунистка, решившая нарочно завербоваться в шпионки, чтобы ложными донесениями сбивать с толку империалистов.

Вот далеко не полный перечень деяний Элен-Елены: она спасает Бурова из жерла подводного вулкана, возбуждает в нем пламенную страсть и жестоко отвергает ее,

между делом рождает ребенка от неизвестного для окружающих отца, опускается с Буровым в еще один вулкан, теперь уж подземный, едва не гибнет в потоках лавы, схватывает чудовищную дозу радиации; неизлечимо заболевает раком, но старый ученый, личный друг Эйнштейна, не только излечивает ее, но и попутно омолаживает, в результате чего она становится похожей на другую (впрочем, тоже красивую) девушку. После всех этих передрыг Элен счастливо соединяется с отцом своего ребенка, который к тому времени совершил головокружительную эволюцию от продажного журналиста до стойкого борца за мир во всем мире и стал президентом Соединенных Штатов.

Суть излагаемых событий соответствует и образный строй, и стилистика. Вот, например, Элен и ее суженый строят для брачной ночи в африканских джунглях шалаш из банановых листьев, который им помогают соорудить нагие негрятя, «черные ангелочки». Все это происходит под пение старинного русского романса: «Нас венчали не в церкви...», а вокруг прыгают обезьяны, которые «тоже завидовали», «им тоже хотелось заглянуть... в глаза» влюбленной паре, для чего они «перебежали тропинку, показывая свои лоснящиеся зады и одобрительно щелкая языками». Герой в упоенье рассказывает: «Моя милая, моя несравненная и чистая жена выглядывала из шалаша, прикрываясь луком травы. Это был самый поразительный наряд, который я мог представить себе для белой женщины в Африке».

Элен-Елена уединяется не только в шалашах. В действие вновь включается Буров. Для проверки своей гипотезы он опускается вдвоем с заморской красавицей в подводную лабораторию. Ведь Шаховская еще и талантливый физик. В исследованиях, которые ведут отшельники на дне океана, ярко раскрыт высокий уровень науки атомного века: «Понадобились изоляторы. Их не было. Буров посмотрел на потолок, увидел люстру. Поставил стул на стол, забрался на него и снял плафоны. Из них получились великолепные изоляторы».

Шаховской потребовались металлические нити. Он, не задумываясь, вынул из рояля струны и победно протянул их помощнице. Из этих же струн он устроил великолепную подвеску для особо точного прибора...»

Так и стоит перед глазами силач со лбом

мыслителя, выдирающий из рояля струны для своих великолепных, особенно точных приборов...

Неужели, однако, могут сказать нам, вас не затронул гражданский пафос «Льдов», о котором предупреждает издательство («Роман пронизан горячей верой в победу разума на Земле») Неужели вы не поняли, что гаснущее Солнце и льды на полях — это ошестьствие метафоры «холодная война»? Мы ничуть не сомневаемся в искренней ненависти писателя к империалистам, атомным бомбам и холодной войне. Мы сомневаемся лишь в эффективности тех средств для борьбы с ними, которые выбрал А. Казанцев. В его изображении судьбы мира целиком в руках кучки миллиардеров, «боссов» и «шефов», проводящих на роскошных яхтах (чтоб не подслушали) тайные совещания, где куются зловещные заговоры против мира. «Боссы» имеют «жесткие лица с обозначившимися подглазными мешками», «маленькие сверлящие глаза», «багровые шеи и неизменные сигары»... Управы на них нет никакой: народы и правительства начинают активно действовать лишь после того, как шайка поджигателей успевает в очередной раз натворить непоправимых бед. Страшно подумать, что случилось бы с нашей планетой, не встань на их пути Сергей Буров с двумя хорошенькими помощниками.

Если автор и издательство всерьез думают, что в романе «разоблачаются» вот эти самые плакатные злодеи, они глубоко заблуждаются. Разоблаченными в романе скорее оказались — едва ли в соответствии с авторскими намерениями — двое советских ученых, академик Овесян и профессорша Веселова-Росова. Это тупоголовые консерваторы, которым по чьему-то преступному недомыслию вручены судьбы советской ядерной энергетики. Как у щедринского органчика, у них на устах лишь одна фраза, повторяемая бесчисленное количество раз: «Фантазии мешают науке». Оказываясь каждый раз посрамленными, они с удивительным упорством и при полном равнодушии обществу вновь и вновь принимаются мешать спасителю Земли Сергею Бурову проводить в жизнь свои «дерзкие планы». Правда, напоследок академик вдруг меняет свои взгляды на диаметрально противоположные. Этот поворот столь же непонятен и необоснован, как и его пре-

дыдущее нудное упрямство. Тем не менее Буров приходит в восторг: «Плохо же мы разбирались в нем. Он принадлежал не прошлому, а будущему!»

Итак, мы находим в этом романе погасшее и снова разгоревшееся Солнце, очаровательную шпионку (она же — коммунистка), простреливающую апельсины на лету и способную «объехать все веселые места города за одну ночь», одно кораблекрушение, два возникающих на глазах вулкана, три любовных треугольника с общими вершинами, новый ледниковый период, бороться с которым человечество по примеру Китая принялось вручную, атомный взрыв в Африке, антиимпериалистическую революцию на Земле, открытие дозвездного протозвещества, победу над раком с одновременным омоложением... Но всего этого автору показалось недостаточным. В роман входят еще межпланетная экскурсия, в которую улетает разочарованная дочка миллионера; телепатическая связь, с помощью которой передаются шпионские шифровки; и гипотеза о внеземном происхождении человека. Эта гипотеза по сравнению с недавними повестями того же автора претерпела известные изменения: теперь уже категорически не утверждается, что родом мы — марсиане: оказывается, человек произошел от фазтов, жителей гипотетической планеты, якобы существовавшей между Марсом и Юпитером. Занятно, что эту теорию излагает в книге американская шпионка (не Эллен, другая).

Такова «сама реальность» этого романа, первоначально напечатанного в журнале «Дон», а ныне выпущенного двухсоттысячным тиражом в издательстве «Советская Россия».

Читатели у новой книги А. Казанцева, к сожалению, найдутся. Подобная литература всегда находила поклонников. Книготорг в данном случае не просчитался.

Задумаясь, однако, над другим. Порою при публикации хороших книг скудными тиражами бывают слышны сетования на нехватку бумаги. Можно усомниться в их искренности при виде неслыханной щедрости, с которой издаются иные произведения изысканной словесности, активно способствующие падению читательского вкуса.

Всеволод РЕВИЧ.

★

О ПРОШЛОМ — СЕГОДНЯ

Александр Исбах. На литературных баррикадах. «Советский писатель». М. 1964. 366 стр.

Книга портретов и воспоминаний Александра Исбаха называется воинственно, как в двадцатые годы и в начале тридцатых обычно назывались сборники критиков-напостовцев, — «На литературных баррикадах». Бесчисленное количество раз встречаются здесь такие слова, как «бой», «борьба», «бороться». Тон задает издательская аннотация к сборнику: «Александр Исбах рассказывает о писателях, с которыми ему лично приходилось... участвовать во многих боях за социалистический реализм». Выступая в феврале 1930 года на конференции Московской ассоциации пролетарских писателей, Маяковский, как свидетельствует А. Исбах, не просто говорил об искренности в поэзии — он говорил «о борьбе за искренность поэтических чувств». На некоторых страницах книги А. Исбаха литературная борьба принимает редкий по ожесточению, прямо-таки убийственный характер.

«Фурманов мечется в бреду, и мы не хотим огорчать его рассказами о ходе конференции (имеется в виду чрезвычайная конференция ВАПП в феврале 1926 года. — Г. Б.). Но представитель наших противников пробивается к его постели. 13 марта днем он появляется на квартире Митяя будто бы справиться о состоянии его здоровья. Фурманов спрашивает его о делах. — На что ты надеялся, — цинично отвечает непрощенный гость, — ведь вас меньшинство. Некоторые хотели тебе тоже записать «уклончик»... Да уж пощадили. Выздоровливай, найдем общую точку. Пора тебе бросить эту нелепую борьбу. Никому она ничего не принесет. Сам понимаешь, что слишком загнул. — Фурманов рванулся с кровати. Мы с Матэ Залка едва удержали его. Он что-то крикнул, потом повернулся к стене и замер. В ту же ночь температура подскочила до сорока градусов. Врачи констатировали менингит».

Читая этот рассказ Ал. Исбаха, человека, литератора, на протяжении ряда лет дружившего с Дмитрием Фурмановым, мы нимало не сомневаемся, что дело было именно так, как об этом рассказано; мы с большим пониманием относимся к самому Фурманову, непримиримому художнику-большевику, комиссару гражданской вой-

ны; мы безусловно верим и в то, что, даже тяжело заболев, он «дает оперативные и тактические указания для борьбы с противниками, искажающими партийную линию в литературе».

Да, все это несомненная правда, передающая многими и весьма существенными своими чертами действительную картину литературной борьбы двадцатых — тридцатых годов, ее напряжение и остроту. Впечатление такое, будто листаешь периодику тех лет, так и пестреющую призывами «бороться жестоко, драться свирепо», грозными предостережениями: «ударяя налево», ни в коем случае не забывать «ударить направо» и т. д. и т. п.

Но почему же, читая сборник «На литературных баррикадах», мы не можем вместе с тем избавиться от ощущения какой-то преувеличенности, что ли, той правды, которую являет нам автор? Откуда ощущение суетности и тщеты, столь очевидно и явно примешавшихся к этой правде?..

В 1956 году, готовя к печати книгу избранных статей и выступлений о литературе и искусстве «За тридцать лет», А. Фадеев счел необходимым специально оговорить статьи рапповского периода: «Этого нельзя вычеркивать. Тогда так воспринималось». Если бы у Ал. Исбаха была аналогичная цель — собрать свои выступления того же периода, он мог бы, в общем-то, ограничиться объяснением, подобным фадеевскому, и речь бы тогда могла идти разве только об относительном интересе этих выступлений, о большей или меньшей целесообразности их переиздания. Но ведь Ал. Исбах сегодня вспоминает события далеких лет, события противоречивые, сложные, и совершенно естественно было бы предположить, что оговорка Фадеева: «Тогда так воспринималось» — станет для Исбаха сознательно примененным принципом осмысления этих событий, новым, сегодняшним знанием их.

К сожалению, этого не произошло, «двойное зрение» (вот так оно было, и я не подчищаю пережитого, но вот как я сейчас к этому отношусь) не возобладало над методом прямолинейного, я бы сказал, слишком доверчивого изложения разнозначащих и разноречивых фактов. В этом —

причина неудовлетворенности книгой Ал. Исбаха, по крайней мере многими ее разделами.

Но что оно реально означает, это «двойное зрение», применительно к явлениям литературной жизни двадцатых — тридцатых годов и к какого рода просчетам приводит его отсутствие?

Начать хотя бы с так называемого напостовского (позднее рапповского) движения, к которому, кстати, очень рано, с первых шагов своего творчества, примкнул и автор рецензируемой книги. Ал. Исбах исходит из совершенно правильной предпосылки о том, что напостовцы вели (особенно в раннюю пору движения) принципиально важную, своевременную борьбу с буржуазной идеологией, сменовеховством, аполитичностью, формализмом, за сплочение сил молодой пролетарской литературы. Но, рассматривая напостовство, Ал. Исбах не берет в расчет, не подвергает анализу многие, пусть и обусловленные временем, слабости движения, приведшие его в конце концов к тому, что оно все более и более стало «выпадать» из жизни и литературы.

Современный литератор, если ему не чуждо желание извлечь из старых споров плодотворный урок для наших и даже для завтрашних дней, вряд ли должен был, скажем, пройти мимо такой рапповской установки: «Никакая форма гуманизма в периоды обостренных классовых боев не может и не способна укреплять и сплачивать рабочий класс в его общественной практике» («На литературном посту», № 21—22, 1930). Не мог он не обратить внимания и на то обстоятельство, что, широко развернув классовую борьбу на идеологическом фронте, напостовцы теряли в азарте этой борьбы, нередко заменявшейся, по выражению Горького, «бесконечной, мелочной схоластической полемикой всех со всеми», перспективу развития советской литературы в целом. Писал же один из рапповских критиков, оспаривая бесспорное, казалось бы, положение другого критика о благоприятных условиях, обеспечивающих расцвет советской литературы: «О какой, собственно, литературе идет речь?.. Говорить о том, что литературе (очевидно — «русской», очевидно — общенациональной) обеспечен небывалый расцвет,— так может говорить только безнадежно правый человек» («На литературном посту», № 21—22, 1930).

Скажут: рассмотрение этой стороны дела не входило в намерения и задачи автора. Вот и жаль, что не входило: недостаток сегодняшнего зрелого взгляда на вещи повлек за собой преувеличенное внимание к явлениям сугубо «периферийным», таким, что целиком принадлежат прошлому. Например, к спорам и разногласиям внутри самой РАПП, в частности к разногласиям между рапповским руководством и так называемой «группой Панферова».

История этих разногласий в такой степени драматизирована Ал. Исбахом, так близко он и сейчас принимает их к сердцу, что можно подумать, будто именно здесь и решались какие-то коренные вопросы нашей литературы.

Вот совместное совещание руководителей РАПП и членов панферовской группы. «Атмосфера все накалялась. Кончался третий час заседания. Ни о каком «сближении точек зрения» не могло быть и речи... Совещание окончилось. Члены ЦК ушли. За ними ушли «правдисты» и философы. Но мы не расходились. Тут же в зале открылось заседание фракции секретариата РАПП... Опять почти до утра скрещивались мечи, и густые облака дыма застилали поле сражения». Или еще: «Мы были слабыми теоретиками. Но мы ясно ощущали, что авербаховское руководство уже явно вредит развитию литературы. И мы начали бой»; «воплощая на практике лозунг Панферова «Прощупать жизнь своими руками», мы опубликовали 1 сентября в «Правде» обращение: «Искусство — на службу пролетарской революции». Обращение подписали Ф. Панферов, В. Ильенков, А. Исбах, И. Нович, М. Платошкин».

Нет, ко всему этому следовало бы сегодня отнестись более спокойно и сдержанно. Лозунг Ф. Панферова «Прощупать жизнь своими руками» не был достаточно нов и содержателен, чтобы под его «сенью» могло оформиться и окрепнуть нечто существенно противоположное сектанству и догматизму рапповских теоретиков (к слову сказать, тоже не слишком поощрявших «кабинетные методы» писательства). Да и знакомясь с печатными выступлениями группы Панферова, с ее декларациями, видишь, что не было в них резкого разрыва со схоластикой Авербаха. «Речь идет,— заявил В. Ильенков на пленуме бюро РАПП 5 июля 1931 года,— о конкретизации метода диалектического материа-

лизма в применении к художественному творчеству», «наша группировка... несомненно выступит в ближайшее время, но не для того, чтобы написать очередную декларацию, а для того, чтобы прийти в рапповское руководство и сказать: «Вот наши дополнения и поправки к общерапповской установке» («На литературном посту», № 23 1931). Простая, «нормальная» мысль о том, что в литературе нет ничего достойного нашего внимания, кроме нее самой, литературы, кроме книг, правдиво, с высоких идейных позиций отображающих жизнь, так же мало владела умами «панферовцев», как и их противников. Отсюда и бесконечные дискуссии «по линии уточнения лозунгов» и «установок», отсюда и та гипертрофированная забота о второстепенном и «боковом», которая часто отвлекала от главного даже очень крупных писателей.

Весьма распространенное в двадцатых — тридцатых годах представление о том, что литература должна и может непрестанно пополняться за счет всевозможных мобилизаций и призывов, и сегодня не кажется Ал. Исбаху ошибочным и наивным. «Благая мысль о пополнении советской литературы новыми кадрами из рядов рабочего класса была на практике извращена верхушкой РАПП». Верно, была извращена. Но и мысль была отнюдь не «благая». Говоря о Маяковском, А. Исбах отмечает его «большую организческую связь... с широкими литературными массами». А собственно, какие еще «массы», кроме читательских, нужны литературе? Ведь она по самой сути своей отрицает чисто «количественный показатель», тем более когда он оторван от критериев качества и глупины.

Думаю, что не следовало А. Исбаху оставлять без комментария то место из письма А. Серафимовича, в котором писатель говорит о «травле» романа В. Ильенкова «Ведущая ось». В свое время группа молодых писателей (А. Афиногенов, А. Гидаш, А. Сурков, М. Колосов и другие) опубликовала («На литературном посту», № 9, 1932) коллективную статью о романе «Ведущая ось», в которой очень убедительно были раскрыты недостатки романа (риторичность, «бытовщина, поднятая на ходули», «ложная красивость, лишаящая предмет всякой жизни»). К чему же в видах давно отшумевшей групповой поле-

мики завышать оценку романа, который никак не выдержал испытания временем, и тем самым создавать нежелательные для наших дней критические прецеденты? К чему же повторять вырвавшееся в пылу полемики несправедливое словечко «травля»? Кстати, напомню, что среди тех, кто остро критиковал «Ведущую ось», был и М. Горький...

Александр Исбах целиком в «дне вчерашнем» и тогда, когда рассказывает о вступлении в РАПП двух крупнейших советских поэтов — Маяковского и Багрицкого, преувеличивает значение этого факта. «Самый большой советский поэт занял свое место на правом фланге пролетарской литературы» — это после принятия Маяковского в РАПП. «Самый большой», а все-таки чего-то не хватало!.. Еще торжественней, с каким-то трубным оттенком, сказано о Багрицком: «А сколько поэтов вопрос этот о нужности массам, вопрос «выбора» волновал многие десятилетия — от Генриха Гейне до Сергея Есенина и Поля Элюара!.. Для Багрицкого в организационном плане эта проблема «выбора» решилась в 1930 году вступлением в Российскую ассоциацию пролетарских писателей». Бедный Гейне — «...к вам приставить бы кого из напостов,— стали б содержанием премного одаренней...!»

Ал. Исбах говорит о взаимоотношениях рапповцев и Маяковского: «Он всегда тянулся к коллективу. А наш рапповский коллектив не сумел по-настоящему принять его в свою среду». Это сказано чересчур мягко. Рапповцы и после вступления поэта в организацию, и даже после смерти его всячески «боролись против переоценки Маяковского». Разные вещи! Что касается привлечения поэта «в свою среду», то не думаю, чтобы Маяковского уж очень соблазняла возможность принять участие в обсуждении какой-либо очередной проблемы вроде того, удалось или не удалось Уткину «совершить прыжок из царства мелкобуржуазной необходимости в царство пролетарской свободы» («На литературном посту», № 5—6, 1930).

В книге «На литературных баррикадах» приведено много записей и высказываний Дм. Фурманова. Одни из них не утратили своего интереса и по сию пору. Скажем: «Эстетика должна быть наукой исторической и отнюдь не догматической. Она не предписывает правил, а только выясняет

законы...» Или: «Простота в искусстве — не низшая, а высшая ступень». Но есть и высказывания, которые никак не звучат сегодня, принадлежат целиком своей эпохе. К примеру: «Существующие формы — лишь исходные точки для пролетарского писателя в деле создания новых форм»; «12» (поэма Блока.— Г. Б.) — лебединая песня индивидуалистического искусства». У Ал. Исбаха, верного принципу не «выдвигаться» из времени, которое он вспоминает, одинаково апологетическое отношение ко всем фурмановским высказываниям. А разве не поучительней было бы попытаться исторически объяснить, откуда у талантливого революционного писателя этот более чем странный взгляд на «новые пролетарские формы», его восприятие живых художественных традиций как традиций «исчерпанных»?

Когда Ал. Исбах пишет: «Мы были свидетелями разговора Фурманова с Маяковским... обоих писателей объединяла борьба за реализм», то мы бы хотели каких-то подробностей этого разговора — без них он слишком смахивает своей четкой «формулировочностью» на зыдержку из диссертации. Когда мы читаем в другом месте: «При встрече с земляком Бабеля Семеном Кирсановым он (Фурманов.— Г. Б.) долго расспрашивал его о Бабеле, требовал каких-то очень конкретных деталей жизни и творчества полюбившегося ему писателя», то этих «конкретных деталей» жаждем и мы — иначе можно подумать, будто сведения об этой встрече Ал. Исбах почерпнул из общедоступного и давно известного нам источника: из кирсановского стихотворения

«Разговор с Дмитрием Фурмановым». Когда Ал. Исбах пишет: Есенин не любил, «когда его поучали вапповские вожди — Вардин или Лелевич. Но вот к Фурманову он приходил всегда за самыми разными советами», то это производит странное впечатление — из писем Есенина мы знаем, что с Вардиным он был в отношениях близких, почти дружественных. Когда Ал. Исбах говорит: «Наших противников возглавлял пользовавшийся большим авторитетом редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский», то мы бы хотели знать, почему же все-таки «главарь противников» пролетарской литературы пользовался авторитетом. И у кого именно — неужели только у своих единомышленников?..

В книге «На литературных баррикадах» есть интересные, содержательные страницы. Это преимущественно те, на которых автор рассказывает о своей поездке с Евг. Петровым на Дальний Восток, о Вл. Луговском в дни освобождения Западной Белоруссии осенью 1939 года, о выступлениях Э. Багрицкого перед коломенскими рабочими, о первом знакомстве с Маяковским в 1921 году в кафе Союза поэтов. Здесь есть люди, судьбы, творчество, не привязанные насильно, где надо и не надо, к литературным «сражениям» и «боям». Здесь есть жизнь, раскрытая в ее непредвзятой сложности и пестроте. К сожалению, работая над своей книгой, Александр Исбах часто придавал излишне большое значение тому, что не было ни жизнью, ни творчеством, а только шумной пеной на том и другом.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

ТРАГЕДИЯ МЕРТВОГО ВРЕМЕНИ

Ана Мария Матуте. Мертвые сыновья. Роман. Перевод с испанского. «Художественная литература». М. 1964. 485 стр.

Как в каждой подлинной трагедии, в «Мертвых сыновьях» герои видны нам на тревожном фоне истории, и, как каждая настоящая трагедия, роман испанской писательницы — это неустанные поиски ответа на вопрос: в чем корни личных катастроф и бед народных?

Поэтому, хотя непосредственное действие книги протекает с января по сентябрь 1948 года, мы вновь и вновь возвращаемся к годам республики, гражданской войны и пора-

жения, к странствиям на чужбине и судьбе тех, у кого отняли родину. Порой светлая, но чаще тяжелая память о прошлом вытесняет в сознании действующих лиц сегодняшнее. Композиция, построенная на частом возврате в прошлое, глубоко содержательна; два основных и противостоящих друг другу героя Даниэль Корво и Мигель Фернандес обречены — они лишены настоящей жизни.

Шестнадцать лет тому назад бежал из

дома юный Даниэль, бедный родственник владельцев полуфеодалного поместья Энкрусихада. И вот теперь он вновь появляется здесь, чтобы наняться лесником к хозяевам поместья — своему дядюшке Корво и двоюродной сестре Исабелли. словно кровавый спрут, присосалась Энкрусихада к скудным землям Эгроса, оплела своими щупальцами бедняков и нищих издольщиков. И возвращение сюда Даниэля воспринимается как предательство.

Боец республиканской армии, он очутился в гуще борьбы без верного компаса, ведомый одной жадной справедливости. В детстве он убежал из Энкрусихады к детям бедняков, а затем возвращался под кров поместья, и так каждый день: туда и обратно, туда и обратно. И все же — холоп среди господ, господский сын среди батраков — он, особенно в годы гражданской войны, испытывал чувство единения с людьми именно как близость с мыкающими горе, с труженниками. Потому для него потеря чувства человеческой общности означала потерю общности с трудовым народом. Порой одиночество бывает равносильно предательству. После поражения республики, после гибели жены Вероники, тоже одной из Корво, убежавшей за ним из Энкрусихады, Даниэль замкнулся в одиночестве...

Сегодня Даниэль в любви двадцатилетнего заключенного Мигеля Фернандеса, томящегося в лагере, расположенном в ущелье вблизи Энкрусихады, и младшей дочери дядюшки Корво Моники увидел как бы повторение своей молодости.

Дитя городских трущоб (впервые он узнал вкус масла в дни республики), голодный оборванец Мигель рано понял, какая пропасть разделяет нищету и ослепительную роскошь. В искалеченном ужасами войны сознании подростка этот антагонизм приобрел форму выбора: быть рабом или быть господином. Он решил стать господином, и в стране, где закон предопределял ему жить среди рабов, он мог пойти к своей цели только вопреки закону. Мигель стал преступником.

Наказание только укрепило его в своем жестокости. «Доброта» Диего Эрреры, «хорошего» начальника эгросского лагеря, приводила его в иступление. Своими утешительными проповедями Эррера превращал заключенных в терпеливых рабов. Взбешенный тупой покорностью побежденных, Мигель как бы непрерывно решал для себя

раскольниковский вопрос: кто же я — Наполеон или тварь дрожащая?

Впрочем, близость к Достоевскому не только в том, что мы можем провести параллель между Мигелем Фернандесом и Родионом Раскольниковым, не только в болезненно-остром восприятии несправедливости мироустройства (как обратная сторона этого — эпилепсия Мигеля, «туман», служащий ему подтверждением собственной исключительности), не только в том, что судьба Даниэля как бы говорит нам: если душа мертва, если умолк голос совести, то нет уже ничего, что удерживало бы от подлости, от преступления.

Подобно великому русскому писателю, Ана Мария Матуте раскрывает в своем драматически насыщенном повествовании и гибель окончательно исчерпавшего себя, выродившегося помещичьего мира, и звериный лик идущей ему на смену буржуазной жизни. Мертвое время, время, которое летит, «кружится в воздухе, развевается пеплом, угольной пылью, ветром, вернувшимся на круги своя».

С одной стороны, «недоповесившийся» помещик, трясущийся алкоголик дядюшка Корво (Даниэль вынул его из петли, и с тех пор дядюшка ходит с искривленной шеей), с другой — власть буржуазного города, растлевающая и калечащая Мигеля власть золота.

И Даниэль Корво и Мигель Фернандес социально обречены. И символично, что именно Даниэлю суждено сыграть роковую роль в судьбе человека, в котором он увидел самого себя в прошлом.

Не нужно быть меланхолическим датским принцем, чтобы понять зловещую истину: Испания — тюрьма. Это понимает и Мигель Фернандес. Но он сам отравлен мертвым воздухом этой гюрьмы. Он истерически бьется в своей клетке и предпринимает отчаянную попытку побега. («Я не могу больше. Лучше пулю в спину... Я и минуты не могу больше выносить эту собачью жизнь и эту ужасную, как называешь ты, свободу...» — говорит Мигель другому узнику, Санте.) Но Санта поверил начальнику, что тюрьма — это спасительное место, он вцепляется в Мигеля, чтобы не дать ему бежать, чтобы силой отстоять идею смирения. И Мигель убивает Санту. А Даниэль подстерегает Мигеля, чтобы толкнуть под жандармскую пулю...

Расплата Даниэля с Мигелем Фернандесом — это его разрыв с единственным, что у него еще осталось, со своим республиканским прошлым. Поражение республики таким образом — причина гибели не только Даниэля, но и Фернандеса. Трагедия настоящей жизни в том, что когда-то ее не удалось повернуть по другому руслу, в том, что время республики, время надежд и свободы словно замерло («часы — те часы с круглым циферблатом и незабываемым звоном, что висели на лестнице в интернате Розы Люксембург в Вилладрау, — остановились однажды утром навсегда»).

Судьбы Даниэля и Мигеля очерчены рельефно и глубоко, но они существуют не сами по себе, а в полове жизни. Роман многоголос и многолик — тут и бойцы гражданской войны, и узники лагерей, и воспитанники интерната для детей республиканцев, и крестьяне, и уголовники... Зоркость и образная емкость позволяют Матуте в одной-двух фразах нарисовать персонаж. Весь роман как бы состоит из коротких фрагментов поэтической летописи — своего рода стихотворений в прозе. Но впечатлительные от «Мертвых сыновей» не дробятся: словно из разноцветных камушков, разбросанных с точным художническим расчетом, возникает величественная фреска народной жизни. И в этом полифоническом звучании нет места удручающему унынию.

Изображая крушение судеб своих героев и картины жизни народных низов, полных нечеловеческого горя, как полна им душа матери, увидевшей труп взорвавшегося на петарде мальчика, эта книга не только говорит нам: так дальше жить нельзя. Она полна порыва к иной, достойной человека жизни.

Может быть, потому Матуте так щедро и нестесненно в описании красок и красот земли. У нее поразительное живописное видение. Заключенный в ее книге видит через решетку «золотую и зеленую воду среди камышей, единственный свежий мазок в этом царстве скал и красной земли. Тут бы-

ло только одно дерево — бук на том берегу, от него под вечер падала длинная тень. Железные прутья отражались в реке. Мокрые круглые камни — розовые, белые, голубые — блестили от солнца».

Тут уже вспоминаешь не Достоевского, а Лорку. Густая вязь своеобразных, не всегда до конца досказанных образов-символов, словно наполненных лорковской печалью и таинственностью, придает поэтическое обаяние авторской интонации. И жаль, что эта эмоциональная окрашенность образного строя книги, выделяющая творчество Матуте среди молодых испанских писателей (большинство из них придерживается манеры беспристрастного рассказа, где детали живут как бы вне авторского отношения к ним), не нашла отражения в предисловии к «Мертвым сыновьям». Тем более что в целом предисловие Г. Степанова — это тонкое и вдумчивое исследование творчества Матуте. И безусловная удача — труд Н. Трауберг, М. Абезгауз и Е. Бабицкой, осуществивших в едином стилистическом ключе перевод этого очень сложного в языковом отношении произведения.

«Я писала и буду писать романы неприятные на вкус для неба буржуев и эстетов. Роман уже не может служить лишь для времяпровождения или для того, чтобы забыть о действительности. Он должен быть документом нашего времени, должен ставить проблемы современного человека и одновременно ранить, если можно так выразиться, сознание общества, порождая желание улучшить его», — говорит Ана Мария Матуте. После «Мертвых сыновей» (1958) она опубликовала две части своей трилогии «Торгаши»: «Первые воспоминания» (1960) и «Солдаты плачут по ночам» (1964). Надо надеяться, что наши читатели смогут со временем познакомиться с этими произведениями, являющимися по своей социальной глубине и художественным достоинствам одними из лучших западноевропейских романов последнего времени.

Видас СИЛЮНАС.



Политика и наука

ПЕРВАЯ МАРКСИСТКА

П. Виноградская. Женни Маркс. «Мысль». М. 1964. 358 стр.

Начну с курьеза, о котором можно было сказать в конце рецензии, если бы он не был связан с существенным вопросом.

Взяв в руки хорошо оформленную книгу П. Виноградской «Женни Маркс», вы первым делом читаете помещенную на суперобложке аннотацию, где излагается суть этой книги. И вот что здесь сказано:

«Необыкновенная красота Женни, ее замечательный ум, широкая образованность и высокое происхождение сулили ей «блестящую будущность» в светском обществе. Женни пренебрегла всеми кандидатами на ее «руку и сердце», сулившими ей жизнь в роскоши, отказалась и от самостоятельной роли (подчеркнуто мной.— В. Г.) ради своего избранника Карла Маркса, гений которого она распознала очень рано».

Ну чем не «завлекательное» либретто из программы к опереточному представлению о том, как «урожденная баронесса» предпочла богатым и знатым женихам бедного, но гениального студента!

Особенно умилительны слова об отказе Женни фон Вестфален «от самостоятельной роли», которая в условиях Германии тридцатых годов прошлого столетия девушке и мерещиться не могла. И об этом последнем обстоятельстве хорошо рассказано в самой же книге П. Виноградской, к счастью, не совпадающей по сути своей с тем «конферансом», который предпослан ей на суперобложке.

«Женни, которая по своему положению в обществе и по условиям тогдашней Германии не могла самостоятельно выступить и принять участие в политической жизни,— справедливо пишет автор,— была все же самой замечательной из своих современниц, так как сумела распознать гениального человека своей эпохи и вместе с ним отдать себя служению наиболее передовому классу с великим будущим».

Речь идет, конечно, не о холодном расчете в выборе пути (ох, каким тернистым он был!), а о беспредельной любви к человеку, страстная революционная натура и передовые взгляды которого нашли отклик в сердце девушки, о любви, открывшей для

нее и единственную возможность включиться в активную борьбу.

Против сенсационности в изложении истории любви Карла Маркса и Женни фон Вестфален в свое время возражал еще и сам Маркс. Когда в декабре 1881 года в газете «Justice», редактируемой зятем Маркса Шарлем Лонге, появился некролог о Женни, где говорилось, что в ее браке с «сыном трирского адвоката» «нужно было преодолеть не мало предрассудков, из которых самым сильным был, конечно, предрассудок расовый», Маркс назвал это «литературными прикрасами». «Вся эта история,— писал он,— чистая выдумка; не приходилось преодолевать никаких предрассудков».

Не только расовых, но «никаких»... Маркс утверждал это, несмотря на то, что такое утверждение, казалось бы, противоречило его же собственному свидетельству. В 1843 году он писал Руге: «Я обручен уже более семи лет, и моя невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подточившую ее здоровье борьбу, отчасти с ее пие-тистски-аристократическими родственниками... отчасти с моей собственной семьей, где засело несколько попов и других моих врагов».

Сделанное почти через сорок лет категорическое заявление Маркса относительно того, что «не приходилось преодолевать никаких предрассудков», относилось, конечно, не к этим родственникам Женни вроде ее сводного брата, будущего прусского министра Фердинанда фон Вестфалена и ему подобных, а к самой Женни и ее отцу, представителю просвещенной либеральной интеллигенции того времени, дружившему с отцом Карла. Но смысл возражения Маркса не сводится, однако, к указанному уточнению. Вернее предположить, что, оглядываясь на историю своего брака с Женни с высоты прожитых лет, Маркс меньше всего склонен был видеть тернии, устилавшие их путь к счастью, но больше всего — то духовное единство, которое позволило ему и его жене стойко выдержать все испытания. Несмотря на различия в происхождении, молодые люди принадлежали к одной и той

же духовной среде, дышали одним и тем же воздухом рейнской провинции, освеженным ветром Великой французской революции, жили — путь пока еще смутно романтическим — предчувствием революционной борьбы против утвердившейся реакции и филистерского национализма.

Именно это важное обстоятельство и стало ведущим для марксистских биографов Женни Маркс и в особенности для книги П. Виноградской.

Являясь автором первой книги о Женни Маркс, вышедшей в 1931 году, П. Виноградская ныне создала новую книгу о ней, значительно дополненную и переработанную, которую нельзя рассматривать как переиздание.

Это наиболее крупная и значительная из появившихся за последние годы биографических работ, повествующих о членах семьи Карла Маркса. В частности, хотелось бы отметить здесь добрым словом вышедший в 1955 году в ГДР и переведенный у нас в 1961 году научно-популярный очерк о Женни Маркс, принадлежащий перу немецкой писательницы Луизы Дорнеман. В пределах скромных популяризаторских целей, поставленных перед собой автором, ее работа принесла несомненную пользу. Образцом научно-популярного произведения, где легкость и увлекательность изложения достигаются доскональным знанием материала, следует признать и вышедшую в 1961 году небольшую книжку О. Б. Воробьевой и И. М. Синельниковой «Дочери Маркса». Выделяя книгу П. Виноградской, мы отнюдь не хотим принизить значение упомянутых научно-популярных работ, не ставивших перед собой те широкие цели, которые поставил перед собою автор новой биографии Женни Маркс. К тому же — в отличие от Луизы Дорнеман, да и от самой Виноградской при ее работе над первым вариантом книги тридцать лет назад — автор располагала новым материалом, в частности, такими важными свидетельствами, как неизданные письма Женни Маркс и ее дочерей, переданные несколько лет назад Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС правнуком Маркса Марселем-Шарлем Лонге.

Но справедливости ради следует сказать, что преимуществу книги П. Виноградской в области привлеченного ею материала отнюдь не исчерпываются тем, что ей «повезло» с обогащением архивных фондов. Перед нами кропотливая исследовательская

работа, в которой учтены и использованы все публикации, имеющие хотя бы малейшее касательство к теме.

В числе этих материалов имеются и такие, которые уже давно увидели свет, но почему-то не были использованы в очерке Луизы Дорнеман, как, например, опубликованные еще в 1922 году в Германии письма Женни Маркс к Лассалю. Использование этих писем, отличающихся дружеским характером даже в то время, когда уже нарастал разрыв между основоположниками марксизма и Лассалем, ставило перед исследователем известные трудности: надо было это обстоятельство объяснить. Луиза Дорнеман избегла этих трудностей простым, но не лучшим способом: она, как уже было сказано, вовсе не стала обращаться к переписке Женни Маркс с Лассалем, а их отношения охарактеризовала односторонне, цитируя лишь отрицательный отзыв Женни о Лассале того периода, «когда, — по ее словам, — он уже окончательно вступил на скользкий путь, который вел его в лагерь Бисмарка».

Виноградская же превосходно использовала свои преимущества как автора появившихся еще в двадцатые годы специальных исследований «Фердинанд Лассаль» и «Взаимоотношения Маркса и Лассалья» и, сумев объяснить сложность этих взаимоотношений, смело ввела в свою книгу письма Женни Маркс к Лассалю, в которых ярко характеризуются и ее нестареющая любовь к мужу, и ее преданность партии.

Я привел этот пример для того, чтобы показать, что широта охвата материала имеет в книге Виноградской не только количественное значение, она связана с глубоким изучением предмета.

Вряд ли требуется доказывать, что рассказ о верной спутнице Маркса или его дочерях — это в первую очередь рассказ о самом Марксе, что образы их озарены ореолом его дел и его славы. Но для биографамарксиста они предстают не только в пассивном свете близкой причастности к делам и славе Маркса. Женни Маркс, Женни Лонге, Лаура Лафарг и Элеонора Маркс-Эвелинг — это деятельницы пролетарского революционного движения, ученицы и соратницы Маркса и Энгельса. И когда читаешь их переписку и их биографии, перед тобою встает семья тех «новых людей», о которых в русском варианте мечтал их современник Чернышевский.

Можно утверждать, что первую схему биографии Женни Маркс набросал Энгельс в своей надгробной речи о ней. Начав эту речь с биографических сведений о Женни фон Вестфален и дойдя до ее брака с Марксом, Энгельс сказал: «С этого дня она не только разделяла участь, труды и борьбу своего мужа, но и активно участвовала в них с величайшей сознательностью и с пламенной страстью». И вполне естественно, что дальнейший рассказ Энгельса о биографии покойной вылился в характеристику этапов жизни Маркса и революционной борьбы пролетариата от сороковых до восьмидесятых годов. Речь шла обо всем том, чем жила Женни Маркс, что радовало или ранило ее сердце.

И вместе с тем Энгельс отметил, что все сделанное Женни Маркс для революционного движения «не выставлялось напоказ перед публикой, не оглашалось на столбах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней».

Эти слова звучат как своеобразный наказ будущим биографам, как призыв создать жизнеописание замечательной женщины, чей ясный и критический ум, верный политический такт, страстная энергия и великая самоотверженность сыграли немалую роль в подвиге ее мужа и в революционном рабочем движении. Книга советской исследовательницы в известной мере представляет собой ответ на этот призыв.

Вполне закономерно П. Виноградская уделяет большое внимание вопросу о духовном мире и формировании мировоззрения Женни в девические годы. Это имеет решающее значение для дальнейшего, ибо только в таком случае можно понять, что сблизило ее с Марксом, как она «угадала» в нем гения. Неопубликованные письма Женни оказали здесь немалую услугу исследователю. Они раскрывают и широкие интересы девушки, и ее ироническое отношение к филистерам всех мастей, и — главное — страстное стремление к действию. Мы видим, как обостряется ее политическое чутье, когда она сообщает о том, что в Германии ощущаются «подземные взрывы почвы», и говорит о восстании силезских ткачей. В одном из писем 1844 года она с едкой иронией характеризует положение в Германии после неудавшегося покушения на короля Фридриха-Вильгельма IV и опровергает тех, кто утверждал, что «в Германии политическая революция невозможна» (ссы-

лаясь на разыскания Г. А. Багатуряна, Виноградская сообщает, что это письмо было передано Марксом в «Форвертс» и напечатано там в виде анонимной корреспонденции). Особый интерес представляет письмо Женни к Марксу от 24 марта 1846 года, в котором она подвергает критике «истинного социалиста» Гесса и ремесленный социализм Вейтлинга. Это письмо было написано до известного выступления Маркса против Вейтлинга на заседании Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета 30 марта 1846 года, и надо, по-видимому, отнести за счет неудачной формулировки слова Виноградской о том, что, «судя по письмам, она (Женни.— В. Г.) целиком одобряла ту тактику, которую проводил тогда Маркс» по отношению к Вейтлингу. Как ясно видно, мы имеем дело не с одобрением выступления Маркса *post factum*, а с характеристикой Вейтлинга, полученной Марксом еще при его подготовке к этому выступлению. В том же письме Женни торопит Маркса с критикой Штирнера, с работой над «Немецкой идеологией»: «...Займись книгой. Время неотступно этого требует».

Женни была одаренным литератором, о чем можно судить и по ее немногочисленным статьям, и по многим ее письмам, в которых нашли достойное воплощение все жанры: и политический памфлет, и бытовая зарисовка, и меткие портреты-характеристики. «Настоящий виртуоз в эпистолярном искусстве», как назвал ее Маркс, Женни, передавая, добавив, свой дар и дочерям (прочитайте хотя бы многочисленные письма Лауры Лафары к Энгельсу), была превосходным стилистом. И нельзя удержаться от того, чтобы не привести здесь наставление, с которым еще в 1844 году Женни обратилась к Марксу, набирающему силу в литературно-полемическом мастерстве:

«Не пиши так желчно и раздраженно. Ты знаешь, насколько сильнее воздействовали твои другие статьи. Пиши по существу, но тонко или с юмором, легко. Пожалуйста, мой дорогой, мой любимый, дай перу свободно скользить по бумаге: не беда, если оно где-нибудь споткнется или даже целая фраза будет неуклюжей. Ведь мысли твои все равно сохранятся. Они стоят в строю, как гренадеры старой гвардии, исполненные мужества и достоинства, и могут тоже сказать: «*Elle meure, mais elle se ne rend pas*» («Гвардия умирает, но не

сдается»). А что, если мундир будет сидеть свободно, а не стеснять. Как естественно и непринужденно выглядят французские солдаты в их легкой униформе. И вспомни наших неуклюжих пруссаков, разве они не внушают тебе отвращения! Пусть легче дышится — ослабь ремень, освободи ворот, сдвинь шлем, дай свободу причастным оборотам, пусть слова ложатся так, как им удобней. Армия, идущая в бой, необязательно должна маршировать по уставу. А разве твое войско не идет в бой?! Желаю счастья полководцу...»

Нет возможности продолжать здесь столь же подробную характеристику остальных писем. Даже приведенные примеры, отражающие лишь небольшую частицу того, что вносит в образ Женни Маркс исследование нового материала, дают представление о ее участии в борьбе, которую вел ее муж, и в его литературной работе.

Ряд писем — к Лине Шёлер, Берте Маркгейм и другим — дополняет картину лишений и бед, которые выпали на долю семьи Маркса, в первый период лондонской эмиграции в особенности. Они еще ярче показывают нам подвижническую жизнь Женни Маркс, ее борьбу с нуждой, голодом, болезнями, отбиравшими у нее одного ребенка за другим, ее самоотверженную помощь товарищам по эмиграции. Но в заслугу П. Виноградской следует поставить то, что этот материал привлекается ею не только для того, чтобы нарисовать быт семьи Маркса, но главным образом для того, чтобы показать, как слитны были для Женни преодоление трудностей этого быта и борьба за великое дело, которой она жила.

Когда Людвиг Кугельман в одном из писем назвал ее «милостивой государыней», Женни написала ему: «Почему Вы обращаетесь ко мне так официально — «милостивая», — ко мне, старому ветерану, седовласому участнику движения, честному сподвижнику и сотоварищу?» Эти слова Женни служат ее биографу как бы ретроспективным ключом к повествованию о главном в ее жизни. Рассказывая нам о том, как Женни, выполняя обязанности литературного секретаря Маркса и перенисчика его рукописей, становится первым читателем его трудов, как вслед за ним она

проникает в сложные проблемы политики, философии и политической экономии, рассказывая, как, выполняя поручения Маркса и будучи в пору Интернационала секретарем-корреспондентом, Женни Маркс проявляет широкий кругозор опытного политического деятеля и борца за дело пролетариата, — П. Виноградская рассматривает Женни Маркс как верную соратницу Маркса и Энгельса, первую марксистку. Такое определение верно и освещает образ Женни Маркс в широком аспекте, ставя ее первой в славной шеренге женщин — борцов за коммунизм.

В интересной книге П. Виноградской имеются и некоторые недостатки. Помимо композиционной рыхлости, вызываемой повторениями, автор этих строк как литературовед не мог не заметить некоторого упрощения при характеристике, например, такого сложного и разнообразного по своим социально-классовым предпосылкам явления, как немецкий романтизм конца XVIII — начала XIX века.

Представляется также не очень правомерным сближать высокую оценку, данную Женни в 1872 году прозе Лютера, с ее девическим увлечением народной поэзией и средневековьем. В похвалу Беккеру Женни говорит, что его статья напоминает ей «Лютера — отца нашей немецкой прозы с его выразительным, суровым стилем, лаконичностью и смелостью». Не говоря уже о том, что Лютера и его произведения нельзя относить к «средневековой народной поэзии и прозе», черты, за которые Женни хвалит этого, как она говорит, «мастера крепких выражений» («никаких обходных путей, никаких церемоний, виляния, лавирования. Прямая и смелая правда в прямой и смелой форме»), весьма отличаются от того, что питало ее романтический интерес к старонемецкой народной поэзии в юные годы. Уж если сопоставлять эти явления, то только как вехи, характеризующие эволюцию литературного вкуса Женни в условиях борьбы.

Такого рода недостатки или спорные моменты не умаляют, однако, общей ценности интересной книги П. Виноградской.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

НАУКА О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ

Население мира. Справочник. Политиздат. М. 1965. 343 стр.

В наше время трудно представить себе специалиста, который замыкается только в своей узкой области. Механика, космонавтика, океанология, да и многие другие (в том числе и наука о народонаселении) — это комплексные науки, позволяющие ученым разных специальностей изучать один и тот же предмет, но с разных точек зрения. Все меньше и меньше встречаешь людей, которые бы говорили о нецелесообразности совместного труда социолога и демографа, экономиста и этнографа, географа и врача.

Книга, о которой я хочу рассказать читателям журнала (справочник о населении мира), служит лишним доказательством того, что многие явления в общественной жизни — изменения классовой структуры, расового состава населения и ряд других — можно познать голько в результате совместного труда представителей многих общественных наук.

В стране нашей, как это ни парадоксально, книги по проблемам народонаселения выходят очень редко. После Всесоюзной переписи населения 1959 года на книжных полках появились всего лишь три небольшие работы, посвященные анализу богатейшего материала. Не кроется ли тут ошибочное представление о науке народонаселения лишь как о статистике населения? Не ясно ли, что демографическая статистика дает богатейший материал для анализа и определения путей решения тех или иных проблем народонаселения?

Справочник «Население мира» выпускается в нашей стране впервые. Не было такого издания и в других странах. Здесь вы найдете материалы по наиболее важным показателям народонаселения всего земного шара — узнаете общую численность населения Земли, рост населения по континентам и отдельным странам, размещение его, состав по полу и возрасту, образованию и занятости. Специальные разделы справочника посвящены классовой структуре, расовому, языковому и национальному составу мира и ряду других вопросов.

Большой авторский коллектив, в составе которого этнографы, экономисты, демографы, географы, проделал исключительно сложную работу. Надо иметь в виду, что во

многих странах, особенно в слабо развитых в экономическом отношении, переписи населения проводятся нерегулярно или вообще не проводятся. Тем не менее собранные в справочнике данные позволяют составить интересную картину, получить нужные сведения о населении нашей планеты.

Сейчас на Земле живет примерно три миллиарда триста миллионов человек. Это в два раза больше, чем было в 1900 году. И, по оценкам Комиссии по населению ООН, оно снова удвоится в ближайшие сорок лет (а если сохранится уровень рождаемости 1960 года, то удвоение произойдет еще раньше). В справочнике мы находим данные о том, что восемьдесят процентов всего естественного прироста народонаселения мира приходится на страны Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. Численность населения СССР к началу этого года, видимо, достигла двухсот тридцати миллионов человек. Ежегодно оно увеличивается на три — три с половиной миллиона человек. Уровень рождаемости, смертности, а следовательно, и естественного прироста населения в союзных республиках далеко не одинаков. Наиболее быстро увеличивается население в республиках Средней Азии, в Армении, Азербайджане и в Казахстане. Что касается Украины, ряда прибалтийских республик, то из-за сравнительно невысокой рождаемости здесь в последнее время наблюдаются пониженные темпы роста населения.

В разделе, посвященном естественному движению населения, рассматривается изменение численности населения мира. Здесь обращают на себя внимание сведения, посвященные состоянию здоровья населения нашей планеты. За средними цифрами скрываются значительные различия в уровне медицинского обслуживания развитых и менее развитых капиталистических стран, имущих и неимущих слоев населения. Органические пороки капитализма, непроизводительные затраты человеческой энергии, тяжелые условия труда и быта способствуют распространению многих болезней, пагубно отражаются на психическом и физическом состоянии людей. Если в промышленно развитых капиталистических государствах основными причинами смерти являются сер-

дечно-сосудистые, раковые и нервные заболевания, то в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки причиной смерти являются кишечечно-желудочные, грипп и другие инфекционно-паразитарные болезни и болезни, связанные с недоеданием. Действительность, как мы видим, далека от заявлений апологетов капитализма о мнимом «бурном развитии» здравоохранения в отсталых районах мира. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сотни миллионов человек на Земле больны глистными паразитарными заболеваниями крови и печени, малярией, трахомой и другими глазными болезнями.

Свыше шестисот миллионов детей в странах Азии, Африки и Латинской Америки постоянно недоедают, страдают малярией, туберкулезом, трахомой. Естественно, что именно в этих странах исключительно велика детская смертность.

Из справочника мы узнаем любопытные сведения о плотности населения. Оказывается, в наиболее густо населенных районах земного шара, занимающих всего лишь семь процентов суши, проживает около семи-десяти процентов всего населения нашей планеты.

Весьма различна плотность населения и на территории СССР. В европейской части страны приходится более тридцати человек на один квадратный километр, а в азиатской части — примерно три человека на квадратный километр.

Все большее и большее число людей — примерно одна треть всего населения мира — проживает в городах. Подсчитано, что в настоящее время число городских жителей растет вдвое быстрее, чем численность населения всей Земли. При этом растет число городов-«миллионеров». Их уже более ста тридцати (на заре века таких городов в мире было всего двадцать шесть, в 1923 году — тридцать девять, в 1939 году — шестьдесят пять).

Увеличение числа городских жителей характерно и для Советского Союза. У нас теперь восемь городов, в которых проживает один миллион жителей и более. Это Москва, Ленинград, Киев, Горький, Ташкент, Харьков, Баку, Новосибирск. Видимо, в ближайшее время к их числу присоединятся Свердловск и Куйбышев.

Листая справочник, находишь все новые и новые интересные данные. Каков, например, состав населения мира по полу? Выяс-

няем, что в масштабе всего мира женщин несколько меньше, чем мужчин. В СССР же по оценке на 1 января 1964 года было мужчин сто три миллиона, а женщин — сто двадцать три миллиона. Но есть у нас и районы с преобладанием мужского населения. Особенно высок процент мужчин в северных и восточных районах страны с суровым климатом, причем здесь преобладают мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти лет.

Небезынтересны и такие цифры: в Китае число мужчин примерно на двадцать один миллион превышает число женщин, в Индии — на тринадцать миллионов, в Пакистане — почти на пять миллионов.

Раздел справочника, посвященный возрастной структуре населения, привлечет внимание многих специалистов, ибо возрастная структура населения — один из важнейших демографических и экономических показателей.

Листаем справочник. Знакомимся с данными о долголетии на нашей планете, семейном состоянии населения; узнаем, помимо прочего, что самый высокий показатель разводов в мире отмечен на Виргинских островах — владениях США в Карибском море — и в самих Соединенных Штатах Америки.

Внимательно просматриваем раздел об уровне образования. Оказывается, около половины взрослого населения нашей планеты (в возрасте от пятнадцати лет) неграмотно, причем каждый год число неграмотных взрослых людей увеличивается на двадцать—двадцать пять миллионов человек. Немалое количество неграмотных насчитывается не только в отсталых, но и в экономически развитых капиталистических странах.

Известны успехи социалистических стран в ликвидации неграмотности, эти данные мы также находим в справочнике. А попутно узнаем, как увеличивается удельный вес студентов в населении социалистических стран.

На языке цифр отражена в справочнике и самая острая проблема современного капитализма. Даже по официальным данным буржуазной статистики в экономически развитых капиталистических странах Северной Америки, Западной Европы, а также в Японии и Австралии насчитывается более семи миллионов полностью безработных. Велики

масштабы безработицы и в менее развитых капиталистических странах.

В промышленно развитых капиталистических странах крупная и средняя буржуазия, остатки земельной аристократии составляют не более трех-четырёх процентов экономически активного населения. Почти семьдесят процентов экономически активного населения этих стран — рабочие и служащие, трудом которых и создаются все богатства. Данные о развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки свидетельствуют о том, что трудящиеся слои общества — крестьянство и все увеличивающийся пролетариат — становятся серьезной социальной силой, стремящейся повернуть свои страны по некапиталистическому пути

★

развития. Многочисленные беспристрастные справки позволяют проследить, как меняется на земном шаре соотношение сил в пользу стран, вступивших на социалистический путь развития.

Справочники относятся к тому виду литературы, которую не читают в один вечер. Само название — справочник — предполагает, что он твой помощник. Таким хорошим помощником и станет для каждого из нас справочник «Население мира». Он пригодится и социологу, и ученым многих других отраслей науки, и всем, кто стремится расширить свой кругозор, полнее представить себе мир, в котором мы живем.

*Проф. Д. ВАЛЕНТЕЙ,
доктор экономических наук.*

ТОРЖЕСТВО ПРАВДЫ

В. К. Ф у р а е в. Советско-американские отношения. 1917—1939. «Мысль», М. 1964. 319 стр.

Многочисленные биографы Франклина Рузвельта приводят следующий факт, непосредственно предшествовавший признанию Советского Союза Соединенными Штатами Америки. Вскоре после вступления Рузвельта на пост президента США его жена Элеонора Рузвельт совершила поездку по стране. В школе одного из населенных пунктов ее внимание привлекла необычная карта мира: место, где должен был находиться СССР, представляло собой бесформенное белое пятно.

— Какое государство расположено здесь? — спросила Элеонора Рузвельт у учительницы.

— Нам запрещено называть его, — последовал ответ.

Некоторые американские историки и мемуаристы приводят этот эпизод не как незначительный случай, забавный и прискорбный одновременно, а как решающий и чуть ли не единственный фактор, обусловивший установление дипломатических отношений между СССР и США. Рассматривая отношения между обеими странами с момента признания СССР, они волюн или невольно «списывают в небытие» период продолжительностью в шестнадцать лет, известно, что на протяжении 1917—1933 годов между СССР и США не было официальных отношений и реакционные силы Соединенных Штатов всячески препятствовали всякой возможности их установления.

Понимая нереалистичность такой политики, некоторые буржуазные историки тем не менее все еще прибегают к традиционной «фигуре умолчания», когда доходят до советско-американских отношений двадцатых и начала тридцатых годов.

А как развивались советско-американские отношения после их официального установления и до образования антигитлеровской коалиции? Ответ на этот вопрос также представляет непреодолимую трудность для многих буржуазных авторов, стремящихся возложить на СССР ответственность за трения в советско-американских отношениях.

Каковы содержание, характер и объем отношений между СССР и США до официального их установления? В чем заключались усилия Советского государства по налаживанию взаимовыгодных деловых связей и нормализации отношений с США? Каковы главные итоги развития советско-американских отношений к моменту возникновения второй мировой войны?

Эти вопросы давно занимают советских историков-американистов. Однако до недавнего времени дать на них обстоятельный ответ было чрезвычайно трудно. Во время культа личности Сталина история советско-американских отношений двадцатых и тридцатых годов фактически не могла быть предметом научного анализа — и не только вследствие трудностей, которые пересживала историческая наука в целом, но

и потому, что многие советские государственные деятели и дипломаты, сыгравшие видную роль на различных этапах развития советско-американских отношений, не пользовались расположением Сталина (Л. Б. Красин, Г. В. Чичерин и другие), а некоторые пали жертвами необоснованных репрессий (П. А. Богданов, В. И. Межлаук, Б. Е. Сквирский).

Несколько лет назад усилиями советских историков, в частности Н. Н. Иноземцева и Н. Н. Яковлева, были созданы первые обобщающие труды по вопросам внешней политики США в эпоху империализма и новейшей истории США в целом. Опубликован коллективный двухтомный труд «Очерки новой и новейшей истории США». В этих работах получили освещение отдельные проблемы развития советско-американских отношений межвоенного времени. Но задача создания исследования, в котором дается последовательный и цельный анализ этих отношений, решена лишь теперь — с выходом в свет монографии В. К. Фураева.

Тема, столь усердно фальсифицируемая в США одними историками и не менее тщательно замалчиваемая другими, освещена в рецензируемой книге на солидной документальной и историографической основе. Перед читателем раскрываются факторы экономического, политического, дипломатического, военного и идеологического порядка, влиявшие на политику США «в русском вопросе» на протяжении двух межвоенных десятилетий

Один из первых и наиболее интересных разделов книги знакомит читателя с тем периодом, когда, как утверждают некоторые американские авторы, между нашими странами вообще не было никаких отношений. Анализируя внешнеполитические акты Советского правительства, переговоры с Р. Робинсоном, У. Буллитом, автор показывает инициативу и маневренность, которые были так свойственны советской дипломатии ленинского периода. В. И. Ленин, неизменно уделявший много внимания налаживанию советско-американских отношений на основе принципа мирного сосуществования, лично руководил деятельностью Наркоминдела и Наркомвнешторга, давал соответствующие указания Г. В. Чичерину, М. М. Литвинову, Л. Б. Красину, следил за работой первого советского представительства в США во главе с Л. К. Мартенсом.

Сотрудники этой миссии завязали широкие контакты в деловом мире США. К началу 1920 года девятьсот сорок одна фирма из тридцати двух штатов заявила о своей готовности вести торговлю с Советской Россией. В целях деловой информации советская миссия направила в редакции более двухсот двадцати газет списки товаров и сырья. Помощник государственного секретаря Полк признавал тогда, что правительство получает из многих штатов требования разрешить торговлю с Россией. 15 мая 1922 года известный американский политический деятель сенатор У. Бора внес на рассмотрение сената первую резолюцию о признании Советского правительства.

Казалось, уже тогда, на заре существования советской власти, логика и здравый смысл, диктовавшие необходимость установления нормальных дипломатических и торговых отношений между США и Страной Советов, пробьют себе путь. Так бы и случилось, если бы эта логика не оказалась столь чуждой правящим кругам США, которые приняли активное участие в организации антисоветской вооруженной интервенции и экономической блокады. Дипломатический бойкот Страны Советов служил тем же целям. Однако и после провала интервенции и блокады руководящие деятели США надеялись, что их непризнание окажется губительным для Советского государства.

Буржуазным историкам нелегко объяснить читателям подлинные причины отказа от признания СССР.

«Основной причиной непризнания Советского Союза Соединенными Штатами,— писал, например, известный американский ученый С. Бемис,— была несовместимость революционной коммунистической теории и практики управления с теорией и практикой американской демократии и капитализма». В таком же духе высказывается и Ф. Уэлборн: «Главным в американской позиции в то время и впоследствии был непримиримый конфликт между русской и американской идеологией...»

Наиболее вдумчивые исследователи, стремящиеся избежать предвзятых выводов, не находят оправдания дипломатическому бойкоту СССР со стороны официального Вашингтона. Так, профессор Ф. Шуман порицает в связи с этим всю систему действий госдепартамента, придерживающегося

«странного обычая... не признавать объективных политических фактов».

В книге В. К. Фураева прослеживаются все перипетии не столь сложного, сколь максимально усложненного американской стороной процесса установления отношений между США и СССР. Хорошо показана роль Ф. Рузвельта, встретившего в своем стремлении нормализовать отношения между обеими странами многочисленные препятствия, воздвигнутые американскими правыми — так сказать, голдуотеровцами тридцатых годов. Известно, что несколько позже, накануне второй мировой войны, политические предки современных «ультра» торпедировали усилия СССР, направленные на создание системы коллективной безопасности и организацию отпора агрессорам в критические предвоенные годы и месяцы.

Работа В. К. Фураева выгодно отличается от некоторых других книг на внешнеполитические темы сдержанностью общего тона изложения, обилием приведенных архивных материалов, широким историографическим фоном. Она, правда, не свободна и от некоторых недостатков. Думается, в ча-

стности, что следовало бы уделить больше внимания развитию культурных и научных связей двух великих держав. Хронологические рамки книги могли бы, очевидно, быть шире, с тем чтобы довести изложение до вступления обеих стран во вторую мировую войну.

У советско-американских отношений трудная история. Не будет преувеличением сказать, что их состояние является одним из важнейших критериев при оценке политического курса того или иного правительства США. Именно область этих отношений неизменно рассматривается американскими правыми в качестве «мишени № 1». Книга В. К. Фураева позволяет проследить не только действия реакционных кругов, срывавших советско-американское сотрудничество, но и выступления сил мира, разума и доброй воли в США, находящихся и теперь под жестоким обстрелом реакции, но неизменно продолжающих свою благородную борьбу за сближение народов Советского Союза и Соединенных Штатов.

Ю. КУЗНЕЦ,

кандидат исторических наук.



УЧЕНЫЕ ПРИКАЗЧИКИ КАПИТАЛА

Г. В. Осипов. Современная буржуазная социология (Критический очерк).
«Наука». М. 1964. 416 стр.

Книги по социологии не залеживаются в магазинах. Уже не найти вышедшие совсем недавно сборники «Марксистская и буржуазная социология сегодня» (по материалам V Всемирного конгресса социологов), «Современная философия и социология в странах Западной Европы и Америки». Так же быстро разошелся двухтомник «Социология в СССР», датированный уже 1965 годом и содержащий конкретные исследования советских социологов. Расхватали и книгу Андреевой «Современная буржуазная эмпирическая социология».

Появление в короткий срок ряда крупных работ по социологии и такой спрос на них сами по себе симптоматичны. Ведь еще недавно социология, золушка среди наших общественных наук, была в загоне. Даже само слово «социология» было как бы под запретом. Социальными исследованиями, как и вообще изучением фактов, пренебрегали. Многие социологические термины и

понятия, разработанные классиками марксизма, были изгнаны из науки.

За последние годы обстановка изменилась, на социологию обращено пристальное внимание. Однако Г. Осипов — автор рецензируемой книги — не переоценивает наши успехи в этой области. Тут делаются лишь первые шаги. Еще не все последствия культа личности в этой области полностью преодолены, пишет Г. Осипов.

Возросший интерес к социологии связан с повышением роли науки, научного анализа в руководстве общественной жизнью и с преодолением элементов субъективизма и произвола. Изменяется и характер науки, она все больше начинает отвечать ленинскому требованию: «Побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словопреятий».

Г. Осипов поставил перед собой нелегкую задачу — представить в систематическом

виде все направления современной буржуазной социологии. Он критикует основные ее концепции, показывает существенные изменения в этой науке в период общего кризиса капитализма, раскрывает ее классовую природу и гносеологические корни, а также ее место в современной идеологической борьбе, показывает, какие философские концепции лежат в основе разных социологических теорий.

Отдельные разделы книги посвящены трактовке буржуазной социологией таких проблем, как социальные последствия автоматизации, применения атомной энергии, урбанизации.

В США, по словам американского социолога Р. Мертона, насчитывается пять тысяч социологов, и у каждого «своя социология». Единообразной буржуазной социологии нет. Порой школы отличаются лишь оттенками. Кроме того, социология распадается на массу специализированных, мелких «социологий» — «социология города», «социология деревни», «социология семьи», «социология преступности», «социология алкоголизма», «социология малых групп», «социология элиты», «индустриальная социология» и т. д. Есть даже «социология рекламы» и «социология проституции».

Что же наиболее характерно для буржуазной социологии в целом, если отвлечься от различий между отдельными социологиями?

Прежде всего ее охранительная функция. Так было, так будет! «Большинство социологов, занимающих в современной социологии господствующие позиции, — пишет английский социолог Л. Козер, — далеко от того, чтобы считать себя коллективом реформаторов... Оно сосредоточивает свое внимание скорее на проблемах приспособления, а не конфликта, на социальной статике, а не на динамике. Ключевое значение для них имеет поддержание существующих структур, а также пути и средства для этого». Они оправдывают статус-кво, ссылаясь то на законы биологии, то на природу человека, то прямо на божественные установления. Всякое нарушение «стабильности» или «равновесия» есть социальная «дизорганизация». «Как только они (социологи. — С. Э.) перестают выполнять эту задачу, — пишет Г. Осипов, — они лишаются всех привилегий и благ — кафедр, высокой заработной платы, средств для проведения эмпирических исследований и т. д., объяв-

ляются «красными» или «скрытыми коммунистами».

Нынешние социологи, как правило, отличаются от своих предшественников пессимизмом. Трудно теперь доказывать, что капитализм — лучшая из систем. Буржуазная наука уже не может не отражать того факта, что капитализм вступил в период заката. Человеческое общество, заявил Ж. Морено, находится в стадии опасного заболевания. «Не начинает ли весь космос, — пишет он, — все больше и больше походить на огромный сумасшедший дом, с богом в качестве главного врача?» «Общество страха», «шизоидная культура» — эти термины стали ходовыми в социологии.

Больное общество надо лечить. Морено предлагает против смертельного недуга магическое средство — «социальную психологию». Несмальтузианцы призывают ограничить рождаемость, технократы — вручить власть инженерам, школа «человеческих отношений» — наладить сотрудничество между рабочими и администраторами. Другие рекомендуют регулирование экономической жизни. Как правило, рецепты сводятся к тому, чтобы устранить отрицательные последствия капитализма, сохранив в неприкосновенности социальный строй, их порождающий.

Буржуазная социология, естественно, против борьбы, она не признает ее неизбежности. Революция рассматривается как аномалия, явление «патологическое», вызванное множеством случайных причин. Равным образом ненормальны и конфликты между рабочими и предпринимателями. Их причины, учат социологи, не в экономике, а в дефектах человеческой психики. Точно так же не империализм, а «агрессивный характер» человека порождает войны. Уходя от проблемы классов, социологи сосредоточивают внимание на малых социальных группах (особенно группах рабочих на предприятиях) и стараются определить их поведение, подчинить их своему контролю.

Кроме небольшой группы социологов, которая составляет мозговой трест монополий и подыскивает «большие идеи» для оправдания капитализма, основная масса социологов ушла в «микросоциологию», в мельчайшие практические детали. «Несмотря на то, что войны и эксплуатация, бедность, и несправедливость, и неуверенность отравляют жизнь людей и общества или

угрожают самому их существованию, многие социологи занимаются проблемами, столь далекими от этих катастрофических явлений, что они являются безответственно малыми», — заявил крупный американский социолог Р. Мертон.

Г. Осипов подробно останавливается на характерной черте буржуазных социологов — их пренебрежении к народным массам. Народ они изображают как бессмысленную толпу, движимую слепыми инстинктами. Они превозносят «элиты», избранных личностей, «главных дирижеров». Выдуман даже «железный закон олигархии». По утверждению американского социолога Э. Ледерера, лидер наделен «харизмой», то есть пророческой благодатью, и является выразителем воли бога. Некоторые буржуазные ученые доказывают, что героям и пророкам свойственны особые гены. Американская социология создала культ «сильных личностей» бизнеса. Субъективный идеализм, волюнтаризм, эмпиризм были всегда свойственны буржуазному мышлению.

Автор не ограничивается разбором буржуазных теорий, он приводит против них фактический, в частности цифровой, материал. Причем эти данные он берет главным образом из работ самих буржуазных ученых, которых подчас сама логика исследования толкает к правильным выводам. Предостерегая против нигилистического отношения к буржуазной науке, Ленин учил марксистов «уметь отсеять их (буржуазных профессоров.— С. Э.) реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов». Пример такого диалектического подхода к буржуазной науке Ленин неоднократно показывал сам (взять хотя бы его отношение к системе Тэйлора, в которой Ленин увидел и реакционную и прогрессивную стороны). Есть чему поучиться у западной социологии в области техники и методики исследований, сбора и обработки информации.

В буржуазной социологии идет борьба реакционных и прогрессивных сил. Некоторые социологи критически относятся к капитализму. Назовем хотя бы Р. Миллса или М. Харрингтона, автора изданной в СССР на русском языке книги «Другая Америка». К разным социологическим школам, справедливо указывает Г. Осипов, необходим различный подход.

Тот, кто прочтет книгу, а прочтут ее многие: научные работники, студенты, деятели идеологического фронта, — получит представление о западной социологии и найдет много интересных мыслей.

К сожалению, книга написана неровно и читать ее нелегко. В какой-то мере это вытекает из замысла автора. Он «размахнулся» на огромную тему, и это привело к некоторому схематизму. Часто книга напоминает конспект, в котором мелькают сотни фамилий. На крупнейших социологов (Дюркгейм, Вебер, Конт) выпадает по нескольку страничек, а иногда и того меньше. На трех страницах (169—171) приводится семнадцать определений культуры, данных буржуазными социологами, и столько же опровержений. Мы узнаем, например, что «функционалистическая» школа, одна из влиятельных в современной американской социологии, «разрабатывает средства и методы сохранения и поддержания существующей системы угнетения и эксплуатации» (стр. 154). Но законное любопытство, как же она это делает, остается неудовлетворенным.

Читатель так и не узнаёт, чему же полезному можно научиться в области хотя бы конкретных исследований у наших противников. Но, возможно, прикладная социология выходит за рамки данной работы и требует специального исследования.

То и дело мы читаем в книге: «Самнер попытался... Смолл попытался... Кули попытался...» Или: такие-то «развивали» Спенсера. Поскольку слово взято в кавычки, читатель недоумевает: развивали или не развивали? На странице 332 сказано, что индукция господствует в американской социологии, а на странице 333 читаем, что социологи-эмпирики отрицают значение индукции. На странице 334 выясняется, что они же «преувеличивают значение анализа и индукции и игнорируют роль синтеза и дедукции»...

Недостатки работы Г. Осипова, увы, свойственны не только ей и относятся не только к социологии. Разумеется, научное произведение — это не беллетристика и в нашем случае даже не научно-популярная книга. Но неужели сухость, трудная форма изложения, через которую читатель должен продирается к содержанию, — непременный спутник учености? Разве научная книга не должна увлекать? Разве читатель, «входящий в науку», должен заранее оставить на-

дежду на всякие эмоции и подготовиться к преодолению в поте лица языковых и им подобных барьеров?

М. Баскин, автор вступительной статьи, напоминает, что в редком научном трактате можно найти столько «сердца», столько горячих и страстных слов против представителей отсталых взглядов, как в «Капитале» Маркса. А все работы Ленина? Речь ведь идет не только об удобствах читателя,

но и о действенности научного произведения.

Стилистические погрешности книги тем более досадны, что автор вложил в нее большой и полезный труд. Он опирается на исследования многих социологов-марксистов, советских и зарубежных. Его книга — важная ступенька в развитии возрождающейся науки.

С. ЭПШТЕЙН.

★

РАССКАЗЫВАЕТ «ОТЕЦ КИБЕРНЕТИКИ»

Норберт Винер. Я — математик. Сокращенный перевод с английского. «Наука». М. 1964. 355 стр.

«Я — математик» — вторая часть автобиографического повествования Норберта Винера, американского ученого, которого называют «отцом кибернетики». (Первая часть — «Бывший вундеркинд», вышедшая в свет в 1951 году, была посвящена детским и юношеским годам автора; на русский язык не переводилась.)

В последние годы жизни Винер отдавал много времени литературе и публицистике. Возможно, это была дань семейным традициям: его отец, эмигрировавший в Америку из России в 1880 году (за пятнадцать лет до рождения Норберта), был профессором славянских языков и литературы в Гарвардском университете и переводил на английский сочинения Льва Толстого. Кроме упомянутых мемуаров, перу Н. Винера принадлежат два романа («Искуситель», 1959, и «То, что под камнем», 1961), а также блестящий памфлет «Кибернетика и общество» (1954; русский перевод выпущен в 1958 году Издательством иностранной литературы). В 1964 году появилось социально-философское эссе Винера — «Творец и робот». Однако «Я — математик» занимает в литературном наследии ученого особое место. В предисловии автор пишет, что мотивом, побудившим его взяться за написание такой книги, было, с одной стороны, стремление осмыслить пройденный путь, а с другой — рассказать широкому кругу читателей, «какие обязательства налагает на человека занятие наукой и в какой обстановке протекает жизнь ученого».

На первых страницах этой небольшой по объему и очень увлекательной книги мы встречаемся с талантливым восемнадцатилетним юношей, получившим высшую уче-

ную степень доктора философии в Гарвардском университете. После защиты докторской диссертации университет предоставил Норберту возможность совершенствовать свои знания в Европе, где его наставником по математической логике был философ Бертран Рассел. С тех пор на протяжении всей жизни Винер поддерживал тесную связь с европейскими математиками. Исключая военные годы, Винер почти каждые летние каникулы проводит на европейском континенте. Он выступает с лекциями и докладами в университетах Кембриджа и Праги, в Цюрихе и Осло, в Париже и Геттингене. Даже внезапная смерть застигла его не на родине, а в Швеции весной прошлого года.

Вопреки индивидуализму, свойственному многим ученым, сформировавшимся в условиях буржуазного общества, творческим методом Винера было сотрудничество. В числе первых его близких друзей и помощников в период становления были французский математик Поль Леви и голландский математик Дирк Ян Стройк. Одна из лучших работ Винера выполнена вместе с молодым английским математиком Пэли, не знавшим страха альпинистом, трагическая смерть которого в Скалистых горах оборвала плодотворное сотрудничество. Нашумевшая книга «Кибернетика» возникла в итоге более чем десятилетних исследований, предпринятых совместно с мексиканским нейрофизиологом Артуро Розенблэтом. Подобное творческое сотрудничество — «способность работать с любым ученым, с которым у вас есть общие интересы», — Винер считает профессиональной привилегией математиков и физиков.

Винер рано понял актуальность приложений математики к физике и технике, он «не мог удовлетвориться художескими концепциями математиков, не имеющими контакта с физикой». Не противопоставление «чистой» математики прикладной, а их неразрывная связь — вот цель, которую он считал для себя главной. Это были времена, когда ученые только начинали осознавать, какие богатые возможности открываются в промежуточных областях, лежащих на стыке нескольких наук. Уже в последние десятилетия мы стали свидетелями рождения и бурного развития «гибридных» наук, появившихся благодаря взаимному проникновению на первый взгляд разнородных наук, таких, как математика, биология, физика, экономика, химия. К числу подобных новорожденных относится и кибернетика.

Настоящую поддержку стремления Винера получили с приходом в 1930 году на пост директора Массачусетского технологического института (МТИ) известного физика Комптона, понимавшего значение математики для технического прогресса и считавшего, что институт должен «заниматься не только подготовкой инженеров, но и воспитанием ученых». Результаты сказались уже в период второй мировой войны, когда в МТИ были проведены фундаментальные исследования в области радиолокации. С этим институтом связана вся научная деятельность Винера, здесь в течение сорока пяти лет он был профессором математики.

Норберт Винер — прежде всего крупный математик, неутомимый труженик, выполнивший большое число работ, опубликованных в виде монографий и статей. Именно это и подчеркивает название автобиографической книги. Однако имя Винера облетело весь мир лишь после выхода в свет в 1948 году его «Кибернетики», с которой связывают рождение новой научной дисциплины — теории управления и связи в машинах и живых организмах, представляющей одну из примет технического прогресса нашего века. Речь шла не о новой терминологии (как выяснилось позднее, слово «кибернетика» использовал в близком смысле еще в начале прошлого века французский физик Ампер), а о единой точке зрения на вопросы, ранее порознь относившиеся к математике, технике и биологии, причем самому Винеру принадлежит скорее только постановка проблем, состав-

вивших эпоху в науке, нежели их эффективное решение.

Характерным для Винера является вероятностный подход к исследованию физических процессов. Конечно, плодотворному синтезу теоретико-вероятностных методов с инженерно-физическими наука обязана не только работам Винера и его учеников. Если иметь в виду, например, теорию информации, являющуюся в некотором смысле теоретической основой кибернетики, то рядом с Винером (а в некоторых случаях и впереди) должны быть поставлены имена американских ученых К. Шеннона и фон Неймана, С. Райса и Д. Миддлтона, английского ученого Д. Габора, советских ученых А. Н. Колмогорова и Р. Л. Добрушина, В. А. Котельникова и А. А. Харкевича, а также многих других.

При известном уровне знаний новые, объективно существующие законы неминуемо должны быть открыты, и это могут сделать несколько исследователей, обладающих талантом, интересом к проблеме и примерно одинаковым запасом знаний. Теперь иногда трудно установить приоритет того или иного научного результата, так как к нему независимо и почти одновременно приходят несколько ученых. С этим явлением Винер сталкивался на протяжении всей своей жизни и, быть может, немного чаще других, так как всегда интересовался интенсивно развивающимися областями математики. Еще в 1920 году закончив одну из своих первых работ, он вскоре обнаружил статью львовского математика Стефана Банаха, содержащую полученные им результаты. А через несколько лет, вспоминает Винер, произошел и более курьезный случай с его небольшой заметкой по теории потенциала, посланной для опубликования в «Доклады Французской Академии наук. Письмо Винера пришло в Париж в тот же самый день, когда был вскрыт конверт со статьей французского математика Булигана, сообщавшего те же результаты. Обе заметки были опубликованы рядом в одном и том же номере журнала. Ровесник Винера, выдающийся советский математик профессор Московского университета А. Я. Хинчин (1894—1959) разделил с ним честь быть основоположником корреляционной теории случайных процессов. Фундаментальное положение этой теории известно теперь в литературе как теорема Хинчина — Винера. Когда в 1912 году Винер писал очень интерес-

ную работу по вопросам фильтрации, содержащую первую четкую формулировку теории связи как статистической проблемы, он не знал, что еще в 1939 году наш тридцатилетний академик Андрей Николаевич Колмогоров напечатал в «Докладах» Французской Академии наук статью, предвосхищавшую идеи, на которых базировалась его работа. Вот что пишет Винер о «мирном» соревновании с советскими математиками: «Мои исследования этих лет тесно соприкасались с работами нескольких русских математиков, и в России к ним относились с особым интересом. На довольно длительный срок у меня установилась очень своеобразная связь с ведущими математиками этой страны. Я никогда не встречал никого из них и, по-моему, даже никогда ни с кем из них не переписывался. Но Хинчин и Колмогоров, два наиболее видных русских специалиста по теории вероятностей, долгое время работали в той же области, что и я. Больше двадцати лет мы наступали друг другу на пятки: то они доказывали теорему, которую я вот-вот готовился доказать, то мне удавалось прийти к финишу чуть-чуть раньше их. Ни я, ни, как мне думается, они не делали этого намеренно».

Норберт Винер высоко ценил достижения советской науки. Во время своего пребывания в Москве в июне 1960 года он говорил в интервью корреспонденту «Литературной газеты»: «Русская математическая школа всегда отличалась тем, что ее ученые ставили наиболее острые проблемы и разрешали их с блеском и изяществом». Есть и такие слова о советских ученых в его последнем интервью, данном за три недели до кончины для журнала «Юнайтед Стэйтс энд Уорлд Репорт»: «Они впереди нас в разработке теории автоматизации».

Когда читаешь книгу Винера, во всей полноте и многообразии встает образ выдающегося ученого и человека, полного внутренних противоречий.

Это и страстная влюбленность в математику, «увлекательную и волнующую профессию», представляющую собой «культурную и эстетическую ценность», а не «почти то же самое, что занятие бухгалтерией», как думают некоторые из «культурных людей, не связанных с математикой по роду своих занятий». Это горячий призыв к молодежи «использовать пору расцвета своих творческих сил на поиски такой неизвестной области науки или таких новых задач, которые,

обладая достаточным внутренним содержанием и достаточной реальной ценностью, обеспечат... возможность плодотворно работать в избранном направлении на протяжении всей жизни». И наряду с этим глубокий пессимизм по поводу судеб молодежи и ученых, эксплуатируемых в условиях капитализма. Он пишет: «Я от всего сердца желаю современных молодых ученых, многие из которых, хотя и этого или нет, обречены из-за «духа времени» служить интеллектуальными лакеями или табельщиками, отмечающими время прихода и ухода с работы» И еще: «Я совершенно уверен, что чрезмерно напряженный ритм работы и явно недостаточное время для отдыха виной тому, что наиболее талантливые люди, работающие в нашей промышленности, так быстро изнашиваются».

Это и неоднократное подчеркивание важности коллективной работы ученых над решением кардинальных проблем, и критика больших научных организаций, в которых «при благополучном стечении обстоятельств... можно сделать много замечательных открытий, при неблагоприятном... тонут способности и руководителей, и сотрудников». «Если бы новая теория Эйнштейна,— пишет Винер,— появилась в виде правительственного отчета в одной из наших лабораторий-гигантов, много шансов, что ни у кого не хватило бы терпения раздобыться в массе материалов, поступающих под той же рубрикой, и дать себе труд понять, что это такое».

Для Винера характерны твердая убежденность в торжестве человеческого разума над силами природы и глубокая озабоченность по поводу последствий автоматизации, которая в условиях капиталистической анархии производства означает не только увеличение безработицы, но и несет в себе много других серьезных угроз.

Книга Винера — это прекрасно написанные мемуары, в которых главное место отводится встречам со многими замечательными современниками, впечатлениям заядлого путешественника, исколесившего Европу и совершившего кругосветное путешествие. Изложению придает живость большое число любопытных деталей и интересных наблюдений. Мы узнаем, например, некоторые подробности об Артуро Розенблюте, который был не только талантливым физиологом и врачом, но и хорошим пианистом, первоклассным шахматистом, поклонником

изящных искусств. Здесь рассказывается о французском профессоре Адамаре, с которым Винер встречался в Пекине, когда в весеннем семестре 1935 года читал лекции в университете Цинхуа, и о самоотверженной помощи русского эмигранта математика Я. Д. Тамаркина. Тамаркину, пишет Винер, «больше чем кому бы то ни было я обязан тем, что в Америке ко мне постепенно начали относиться как к серьезному ученому». Не миновало Винера и модное на Западе увлечение психоанализом и последовавшее за этим разочарование лечившим его шарлатаном от медицины, который обвинил своего пациента в неподатливости,

— ситуация, чем-то напоминающая «Четвертый позвонок» Мартти Ларни.

При некоторой переоценке личных заслуг, которую в двух-трех местах допускает автор, книга Винера — это книга главным образом не о себе, а о времени, о полной грандиозных изменений в науке первой половине XX века, о творческих лабораториях теоретиков, которые не теряют связи с жизнью, но активно переделывают ее, будучи даже не в состоянии предугадать всех прогрессивных последствий своих открытий.

Проф. Б. ЛЕВИН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. «Наука». М.—Л. 1964. 478 стр.

Фольклор войны — своеобразная летопись народного мужества, драматическая повесть о народном горе, безыскусственное выражение народного жизнелюбия. Попытка осветить историю фольклора военных лет — не первая в науке. Что явит нам новая книга? Скажем сразу: ее даже нельзя сравнивать, например, с соответствующим разделом весьма слабых «Очерков русского народно-позитического творчества советской эпохи» (Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1952). Успешное развитие науки о фольклоре в полной мере сказалось на освещении темы, хотя и не все заблуждения недавнего времени оказались преодоленными.

Собственно массовое поэтическое творчество памятных лет становится предметом исследования в книге, начиная лишь с ее IV главы (авторы С. Минц, О. Гречина, Б. Добровольский). Этот раздел изобилует тонкими наблюдениями, оснащен подробным комментарием, позволяющим понять жизнь массовой песни в годы войны. Здесь предложена достаточно обоснованная классификация песен, произведенная частично по тематическому, частично по жанровому признаку.

Частушкам военных лет посвящена глава V (автор З. Власова). С особым интересом знакомишься с главами об устных рассказах, пословицах, поговорках, загадках, прозвищах и метких словах (главы VI и VII, автор Л. Домановский). Партизанское выражение «лапотный телефон», любовное прозвище самолета У-2 «Иван-полночник» (самолет выполнял боевые задания по преимуществу ночью), неприязненные прозвища «хейнкеля-12б»; «кочерга», «горбач», «карактица», — десятки других подобных «поэтических эмбрионов» доносят до нас живые приметы военных будней.

Глава VIII (автор Б. Кирдан) ставит целью дать сводную характеристику поэтического «репертуара» массовой художественной самодеятельности. Здесь перечисляются материалы, публиковавшиеся в газетах, обследуются рукописные песенники и пр.

Суммируя наблюдения и выводы предшествующих разделов в завершающей главе, В. Гусев предлагает идейно-эстетическую характеристику фольклора войны с точки

зрения его отношения к литературной эстетике, пишет об особенностях творческого процесса, отличающего фольклор от литературы. Наряду с четкими обобщениями и характеристиками В. Гусев делает и напрасную попытку защитить ряд неверных положений, развитых в книге.

Так, А. Астахова и Н. Новиков в главе II рассказывают о бытовании старых песен, сказок, пословиц и даже былин в годы войны. Исследователи подробно говорят о созвучности старых произведений фольклора чувству наших современников. Эта созвучность неоспорима. Однако остается необъясненным, почему отдельные случаи «персифраза» старых сказок и песен надо считать (как это делают авторы статьи) фольклором, творчеством, массовым по природе. Вряд ли на это дают право и обычные для новейших фольклорных записей «вкрапления» примет нового быта в старые сказки, песни, такие, как: «Иванушка приехал в город и встал к царю и а до в о л ь с т в и е». Об антиэстетичности подобных «вкраплений» достаточно много писали. Знают об этом и авторы главы. Старую сказку следует считать старой и не выдавать ее порчу за творческое соиздание.

В III главе книги рассмотрена «патриотическая деятельность и творчество мастеров русского фольклора». Если бы «мастеров фольклора»! А то опять выходят на свет старые знакомцы — «советские былины» и т. п.

В главе, правда, упоминается о том, что подобные произведения сказителей «далеко не всегда отвечают строгим эстетическим требованиям». Мягко сказано. Произведения эти не только не отвечают «строгим эстетическим требованиям», но даже самым неприхотливым вкусам.

Исследование завершается публикацией интересных документов, фиксировавших фольклор по горячим следам событий. К этим публикациям, равно как и к умело составленной обширной библиографии (М. Мельц), еще не раз будут обращаться исследователи фольклора войны. Историческое, общественное и научное значение этой работы, как и той, которая уже проделана всеми авторами книги, вне всякого сомнения. Что же касается отдельных ошибочных представлений, то, надо надеяться, они вскоре будут окончательно протерты.

В. Аникин.

В. БОРОДАВКИН. Годы грозные. Дальневосточное книжное издательство. Владивосток. 1964. 196 стр.

Жил паренек в семье многолетнего сапожника. Рано лишился родителей. С детских лет начал трудиться. Был амшиком, молотобойцем, токарем... С 1909 года — он член партии. Таков автор этой книги.

Университетом для Владимира Александровича Бородавкина были кузница, железнодорожные мастерские, тюрьма, царская казарма, большевистское подполье, фронты гражданской войны... Ему есть о чем рассказать молодежи.

В. А. Бородавкин был в составе отряда рабочей милиции на площади у Финляндского вокзала в Петрограде, когда в ночь на 4 апреля 1917 года в Россию вернулся В. И. Ленин. «До сих пор я слышу, как звучит его голос, и вижу энергичный взмах его руки», — пишет автор этой простой и вместе с тем увлекательной книжки. И вот с тезисами Владимира Ильича и решениями Апрельской конференции он отправляется к текстильщикам в Кинешму, потом оказывается на Дальнем Востоке, в тех краях, где еще до войны получил боевое крещение.

С неослабевающим интересом читаются страницы, посвященные участию автора в гражданской войне на Дальнем Востоке. Он воевал под руководством Сергея Лазо и других прославленных командиров.

Владивостокское книжное издательство сделало доброе дело, выпустив книгу В. А. Бородавкина. Годы идут. Все меньше остается среди нас участников революционных событий Октября и гражданской войны. У них — богатейший материал, и надо сделать его достоянием новых поколений. Такие книги очень нужны.

М. Кегелес.

Сочи.

★

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Ногин. «Молодая гвардия» («Жизнь замечательных людей»). М. 1964. 431 стр.

Виктор Павлович Ногин — один из соратников В. И. Ленина — прожил жизнь почти легендарную. Семь ссылок и шесть дерзких побегов, пятьдесят царских тюрем, десятки нелегальных переходов через границу, двенадцать лет подполья, четырнадцать чужих имен, сотни нелегальных квартир и явок — таков далеко не полный послужной список профессионального революционера. В 1901 году жил в Лондоне политический эмигрант Василий Новоселов, а весной 1920 года в Лондон прибыл в качестве заместителя главы торговой делегации Виктор Павлович Ногин — тонкий дипломат и эрудированный экономист, выдающийся руководитель советской текстильной промышленности.

На протяжении жизни одного поколения совершился величайший в истории человечества социальный переворот, и одним и тем же людям приходилось одновременно разрушать старый и создавать новый мир.

Удача книги «Ногин» не только во вновь раскрываемом материале, но и в том способе, которым он раскрыт. Протоколы допросов царской охранки, документы партийных съездов, выдержки из «Искры» и других газет, официальные и личные письма, отрывки из воспоминаний — можно лишь поражаться обилию документального материала, привлеченного автором, и той естественности, с которой он вплетается в повествование. Авторское повествование и приводимые документы сливаются в единый материал, рисуют образы главного героя и его товарищей, раскрывают сложности и противоречия бурной эпохи.

А. Злобин.

★

М. ЧАРНЫЙ. Направление таланта. Статьи и воспоминания. «Советский писатель». М. 1964. 412 стр.

Эта книга написана опытным, много издававшим на своем веку литератором. Автор был знаком с Горьким, часто встречался с Маяковским, бывал у Луначарского. И многое из того, что рассказывает М. Чарный, интересно и доказательно.

Мне, к примеру, понравилась его статья «Горький в Италии». В ней личное восприятие великого «скриттор» сочетается с умной и тонкой трактовкой таких сложных проблем, как отношение Горького к особенностям русской революции в 1917—1918 годов, его жизни за рубежом. После смерти Горького автор этой книги побывал на Капри и в Сорренто, беседовал с людьми, лично знававшими великого писателя. В книге есть немало ценных для горьковедения живых записей.

Весьма интересна и статья «Маяковский в нашей газете», хотя полагаю, что роль «Вечерней Москвы» в судьбе Маяковского преувеличена. (Надо иметь в виду, что М. Чарный был заместителем редактора этой газеты в то время, когда В. Маяковский публиковал свои стихи на ее страницах.)

Читатель обратит внимание и на статью «Последний вечер у Луначарского». Радует горячее желание автора напомнить, что же сделал этот талантливый человек для нашей культуры, каким авторитетом пользовался у художественной интеллигенции.

Однако в других статьях М. Чарного я далеко не во всем могу согласиться с автором. В статье «Человек на войне», например, мне кажется необоснованным противопоставление прозы К. Симонова творчеству Ю. Бондарева и Г. Бакланова. Критик пишет, что «глубина и серьезность чувств» в романе Симонова ему представляются «гораздо более значительными и волнующими, чем история любви фронтовых командиров к санинструкторам в повестях Бакланова и Бондарева». Так одной пренебрежительной фразой отрицается общественное значение, глубина всего рассказанного о войне этими писателями.

В статье «О свободе любви и свободе от

серьезного в любви» М. Чарный высказывает недовольство повестью «Кира Георгиевна» В. Некрасова. Ему не нравится поведение героини, ставшей жертвой «ультрамодернистского», а по существу мещанского представления о красивом в жизни и в быту. Недостаток «Кире Георгиевны» М. Чарный видит, правда, не в том, что изображается отрицательное, а в том, что В. Некрасов, по его мнению, не сумел «это отрицательное как следует обличить». Все «беды» В. Некрасова критик выводит из будто бы присущего ему объективизма. С таким мнением я никак не могу согласиться. В своей повести В. Некрасов как раз показывает, как эгоизм, легкомыслие в любви обращаются против самой героини. При чем же тут «объективизм»? Да и вообще творчество В. Некрасова многостороннее и интереснее, чем это представлено М. Чарным.

Весьма спорной мне кажется и полемика с К. Симоновым о двух редакциях «Молодой гвардии». Мне представляется более отвечающей замыслу А. Фадеева первая редакция «Молодой гвардии», где показано, как, говоря словами Симонова, даже «оставшись в исключительно тяжелых обстоятельствах... эта молодежь показала себя достойной своих отцов». Так, помнится, объяснял и А. Фадеев свой замысел на одной из читательских конференций.

В заключение несколько слов об авторе. Я знаю Марка Чарного много лет и была свидетелем того, как он, тяжело пострадавший в пору культа личности, очень больной, вернувшись в Москву, сосредоточенно работал над своими книгами. Нельзя не отдать должное его самоотверженному труду.

О. Войтинская.

★

РАСУЛ ГАМЗАТОВ. Письмена. Сборник стихов. Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева. «Молодая гвардия». М. 1964. 262 стр.

Поэзия последних лет знает много задушевных лирических стихов, но много ли у нас мудрых?

«Письмена» Расула Гамзатова привлекают именно своей мудростью, почерпнутой в народных глубинах.

Интересен лаконизм формы этих стихов — это восьмистишия, а часто четверостишия и двустишия. Лаконизм не случайный: само содержание потребовало этой древней формы, когда слово, тем более писаное, ценилось много больше, чем это принято в наше время. Но как просторно мысли в этой суровой форме!

Большой раздел книги составляют «Надписи»: «На часах», «На могильных камнях», «На книгах», «На знаменах».

Ведь если сабля — воин,
То знамя — это рать.

Или:

Страница здесь похожа на окно:
Открывшему увидеть мир дано.

Когда открываешь книгу Гамзатова, действительно видишь целый мир, хотя часто речь идет о небольшом ауле сурового Дагестана и о простой человеческой жизни.

Пусть пространством одарен не щедро
Отчий край с незапамятных пор,
Могут быть необъятными недра
Невысоких разрушенных гор!

Гамзатов верен своей «горской» природе не только, так сказать, тематически. Его образы органически связаны с природой, с обычаями Кавказа. Так, даже для возлюбленной он нашел неожиданный эпитет — «моя дорогая, моя ледяная», так видит он и детей своего народа:

Орлы, парившие над их отцами,
Над маленькими горцами парят.

Драгоценно, что в энергичных, темпераментных стихах Гамзатова есть своего рода внутренний покой — не покой пассивности или отрешенности, а покой понимания своего времени, своего народа и нерасторжимой связи молодого поколения с отцами и дедами, так же любящими и любившими и свободу, и труд, и удал, как их дети и внуки.

Большинство читателей может знакомиться со стихами Гамзатова, к сожалению, только в переводе, но перевод Н. Гребнева высокохудожествен. Переводы читаются как оригинальные стихи. Правда, бывают и срывы. Так, неудачно переведено стихотворение «На сабле Шамиля горели...», его рефрен: «думает о последствиях» — прозаичен, немусыкален. Но зато нельзя не отметить чудесное по звучанию и ритму стихотворение «Рокочут ручьи, и гремит водопад...», кончающееся строфой:

Зачем ты шумишь и смеешься, вода,
Навеки свой край покидая?
Я с печалью всегда, я молча всегда
Ухожу из родного края.

Так умеет говорить лишь настоящая поэзия.

Надежда Павлович.

★

СЕРГЕЙ БОНДАРИН. Гроздь винограда. Записки. Рассказы. Повесть. «Советский писатель». М. 1964. 364 стр.

Писательская судьба Сергея Бондарина была трудной с самого начала (писать он начал рано, но долго не печатался), еще более трудной она оказалась позже, в послевоенные годы (в конце сороковых годов С. Бондарин подвергся необоснованным репрессиям). С тех пор, как С. Бондарин вернулся к писательскому труду, выходит в свет третья его книга. Самые разные рассказы и заметки, вошедшие в нее, соединены размышлениями об искусстве, о литературе и о людях, оставивших в ней неисчезающий след.

Во вступлении к книге писатель вспоминает слова, сказанные ему однажды Юрием Олешей: «Как хорошо чувствовать правду. Как хорошо всею душой, честно говорить о людях и вообще о том, что ты хочешь сказать». Лучшие страницы книги Бондарина — страницы воспоминаний, где он «честно,

всею душой» говорит о писателях, которых он знал и любил: о Маяковском, Бабеле, Ильфе, Олеше, Багрицком, Артеме Веселом.

Рассказывая о прошлом, С. Бондарин старается не столько формулировать свои теперешние выводы, сколько вспоминать свои чувства, мысли тех лет, слова, поступки людей, с которыми он был дружен. Так, с большой достоверностью и выразительностью написаны воспоминания об Ильфе. «Давно и верно сказано, что необыкновенным был этот молодой человек, тихий, но язвительный», — пишет С. Бондарин.

Имя Олеси, не раз появляющееся в книге, — едва ли не самое близкое автору. Бондарин удачно замечает о прозе Олеси, что ее «пафос — в дистанции, создающейся между опытом, сознанием стареющего человека и воспоминаниями души».

Под этим особым углом зрения можно рассматривать часто и прозу самого С. Бондарина. В книге, среди рассказов о войне и о наших днях, есть несколько рассказов о прошлом, о первом десятилетии века — бесфабульных, близких к воспоминаниям («Иду на мяч», «О том, как прозвучало слово», «Красивый гол»). Писатель хочет передать в них впечатления сильные, не стертые, запомнившиеся с детства, с юности. Иногда он будто слегка сожалеет о «незначительности» воскрешенных им картин. Но, надо сказать, писательская удача всегда ожидает С. Бондарина именно там, где у него нет недоверия к себе, где он твердо знает — то, что запомнилось, что видишь до сих пор, это и достойно изображения.

Центральное место в книге занимает повесть «Мальчик с котомкой». Время действия — середина пятидесятых годов. Место — Капкары, глухой поселок в Красноярском крае, где Николай Николаевич, в прошлом кораблестроитель, ожидает «амнистии», о которой уже ходят по поселку слухи.

Спокойно и обстоятельно показаны отношения людей, разных и за разное сюда собранных — на поселение, на промысел сосновой смолы. «живицы». Само строение, слог, «стиль» повести, не говоря уж о сюжете, как бы настраивает на значительное: подчеркнута ровным вниманием к мелочам «детской» и «взрослой» жизни обитателей Капкар, особой замедленностью авторского голоса. Но значительность строя фразы, серьезность взгляда повествователя не всегда оправдываются.

С напряженным вниманием смотрит вокруг себя Коля, «мальчик с котомкой», который приходит в Капкары поговорить со взрослым и знающим человеком. Мальчик ожидает от Николая Николаевича правды, задает ему «трудные» вопросы. Но что в конце концов отвечает ему этот человек, главный герой повести, так сочувственно выписанный автором? «Да, да, мудроно... Мудрено, — возбужденно твердит Николай Николаевич». С этими словами, все-таки никак не способными насытить ни его соб-

ственную, ни Колину мысль, и уходит он из повести

В повести ослабло эмоциональное напряжение, которым именно и сильна проза С. Бондарина, особенно его воспоминания с их богатством размышлений, с их добрым, светлым, но и трезвым отношением к литературе и к жизни.

М. Чудакова.

★

М. ПАРХОМОВ. Нелетная погода. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1964. 207 стр.

Автор книги обращается к теме войны, чтобы рассказать о погибших, «ради самих погибших... ради матерей, у которых не высохли слезы». Он обращается к теме войны, потому что люди его поколения «до сих пор носят в сердце ее осколки».

Повесть «Нелетная погода» посвящена жизни наших летчиков в годы войны. Привлекает в ней своей жизненной достоверностью образ Лавриновича — сына адмирала, репрессированного в 1938 году. В войну, «после длинного ряда лет, полных подозрений, равнодушного участия и недоверия, Лавринович обрел наконец-то настоящих друзей. И вот именно теперь, когда, выстрадав это право, он почувствовал себя человеком, к нему пришла смерть» — он был убит в первом же бою, тогда, «когда ему больше всего хотелось жить».

Запоминается фигура Минаева, когда-то карманника, а теперь ставшего любимцем полка — остроумного, бесшабашного, отважного летчика. Удачны сцены, в которых автор передает колоритные черточки быта на прифронтовом аэродроме.

С этой повестью перекликается повесть «Пароль «Снег» — подлинная история юных херсонских подпольщиков. Герои повести — мальчики, четырнадцать обыкновенных «пацанов». Младшему было четырнадцать лет, старшему — восемнадцать. Ребята помогают скрыться морякам с потопленного немцами буксира, затем спасают с того же буксира оружие, топят немецкий катер.

Автор рассказал о трудной работе юных подпольщиков почти с документальной точностью. Наиболее рельефной фигурой получился Толя Тендитный. К сожалению, образы остальных ребят лишены ярких индивидуальных черт. Приходится довольствоваться их характеристикой, данной одним из героев: «Анатолий — властный, рассудительный парень. Андрей Запорожчук... горяч, и его в шорах держать надо. Федька мягок, как воск... А Мишка Еременко и Шурка Рублев — просто сорванцы. Больше всего ему нравился Петька Чернявский. Этот сумеет постоять за себя». Постепенное созревание человеческой души могло бы стать внутренним стержнем развития сюжета. Но эта линия только намечена автором.

Н. Долотова.

ВЕРА ПЕТРОВА. Красная строка. Очерки. Книжное издательство. Ставрополь. 1964. 132 стр.

Очерки, собранные в книге Веры Петровой, посвящены сегодняшнему дню нашей школы, ее перестройке, укреплению связи с жизнью. Автор ставит перед собой задачу добрую и благородную — показать нелегкий труд учителей, их огромную роль в формировании и направлении тысяч и тысяч молодых жизней.

Беда в том, что добрые намерения автора так и остались добрыми намерениями. Воплотить их Вере Петровой не удалось. Живых людей — с индивидуальными, запоминающимися характерами и судьбами — в книге нет. Из очерка в очерк переходит один и тот же — под разными именами — добрый, чуткий, умный человек и совершает чудеса: то чуть ли не в один день выведет на светлую жизненную дорогу отбившихся от рук мальчишек (очерк «Несущий свет»), то как по мановению жезла наладит развалившуюся ученическую бригаду («Лунная соната»), то одним взглядом перевоспитает «трудных» ребят («Бубенчик зазелен»). Автор то и дело восхищается своими героями. И вместо книги о бесконечно важной и благородной, но очень нелегкой работе учителей читатель получил какое-то подобие умильного «задушевного слова».

Не более индивидуализированы в этом сборнике и ребята. Все они совсем неплохие, но или заблудившиеся, или недопонимающие. Таков Владимир из очерка «Лунная соната»: только в конце десятого класса «вдруг обнаружилось: проглядели товарища, одноклассника Владимира». И так как его «проглядели», Владимира исключают из комсомола. «Из комсомола исключили, но из поля зрения не выпустили: мало ли как воспримет человек такую беду». По меньшей мере наивно звучит конец этой истории: во время полевых работ Владимир, конечно, все понял, исправился, и летом ребята снова приняли его в комсомол.

Не так-то просто вернуть к нормальной человеческой жизни ребят, ушедших из дому в катакомбы и живущих воровством (очерк «Несущий свет»). Это тяжелое испытание и для учителей, взявшихся вернуть им человеческое детство. Как удалось школе справиться с этими ребятами? Что думали и переживали учителя, как постепенно налаживалась жизнь мальчишек? Если бы Вера Петрова попыталась всерьез ответить на эти вопросы, она могла бы провести читателя по всем ступеням этой воистину самоотверженной борьбы за человека. Но автор решает свою задачу удивительно облегченно. Начали, как водится, с собрания. «Получилось, может быть, не совсем по-макаренковски остро и прямо, но разговор все-таки состоялся», — пишет автор. На собрании директор школы твердо заверил, что замков в школе не будет. «Будто в насмешку назавтра с вешалки украли пальто. Потом пропали из библиотеки книги. Но Божко не отступал: «Замков не бу-

дет!» И уже в следующей за процитированными строке читаем: «В школу уже шли делегациями. Как говорили учителя, «за культурой». В самом деле, школа сняла чистотой...» и т. д.

Вероятно, большинство очерков, собранных в этой книге, было по горячим следам опубликовано в газетах. И очевидно, как живой газетный отклик, они имели право на существование и сделали свое дело. Но очевидно также, что книга предъясляет к писателю новые, повышенные требования. Сборник В. Петровой их не выдерживает.

В. Швейцер.

★

ЕВГЕНИЙ НИЛОВ. Зелинский. Под редакцией О. Писаржевского. «Молодая гвардия». М. 1964. 256 стр.

Если бы ученые восемнадцатого века, когда был открыт азот, знали, что этот элемент служит важной составной частью белка, они не назвали бы его азотом (безжизненным). Ведь белковые вещества — носители жизни.

Раскрытие тайны строения белка привлекало к себе внимание многих ученых. Заинтересовался этой волнующей проблемой и Николай Дмитриевич Зелинский. После трех лет упорных и напряженных исследований он напечатал в журнале Русского физико-химического общества статью, описывающую созданный им новый метод синтеза аминокислот, — «кирпичиков», из которых строится молекула белка. Это важное открытие заложило основы новой теории строения белка.

Занимаясь изучением многих химических проблем (особенно вопросами переработки нефти и ее производных), Н. Д. Зелинский неоднократно возвращался к исследованиям строения белка. Накопленные им и его учениками опытные данные позволили подойти ближе к синтезу белка. И недалеко то время, когда сбудется замечательное предсказание Ф. Энгельса: «Как только будет установлен состав белковых тел, химия сможет приступить к изготовлению живого белка».

Рецензируемая биографическая книга последовательно знакомит читателя с необычайно широким кругом научных интересов выдающегося химика.

Химия тесно связана с окружающей нас жизнью, любил говорить Н. Д. Зелинский. И все его научные исследования, которые подробно описаны в книге, всегда были подчинены этому девизу.

Автор знакомит нас и с его педагогической деятельностью, протекавшей главным образом в стенах Московского университета.

Некогда Д. И. Менделеев писал о трех службах ученого родине: первая служба — научный подвиг, вторая — на педагогическом поприще, третья — способствовать росту отечественной промышленности. Н. Д. Зелинский не только сам ревностно

выполнял все эти три службы, но и гого-вил к этому и своих учеников.

Новая биография Н. Д. Зелинского отличается от выпущенных ранее (в 1952 и 1953 годах) живостью изложения, рядом малоизвестных подробностей из частной жизни и научной деятельности Н. Д. Зелинского и некоторых его учеников и современников.

Б. Розен,

кандидат химических наук.

Ленинград.



Э. КЭМБЕЛЛ. 60 семейств, владеющих Австралией. Перевод с английского. «Мысль». М. 1964. 222 стр.

В последнее время пятый континент, который довольно долго оставался «заповедной» сферой географов, зоологов и этнографов, привлекает все большее внимание буржуазных экономистов и социологов. В их работах Австралия зачастую фигурирует как некая капиталистическая «земля обетованная». Капитализм в Австралии, уверяют они, лишен якобы пороков, свойственных капитализму на других континентах. Так, виднейший австралийский буржуазный экономист Д. Коплэнд утверждает, что здесь «противоречия между имущими и неимущими перестали быть острой политической проблемой». В Австралии, заявляют апологеты австралийского капитализма, восторжествовали «принципы эгалитаризма», она-де является «страной простого человека».

Известный австралийский экономист, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Австралии Э. Кэмпбелл в своей книге «60 семейств, владеющих Австралией» развенчивает подобного рода концепции, разоблачая мифы о «народном капитализме», «действительно свободном предпринимательстве» и «независимости и жизнеспособности» мелких предпринимателей на пятом континенте.

«Концентрация производства и централизация капитала в финансах и промышленности Австралии,— подчеркивает Э. Кэмпбелл,— находятся на сравнительно более высоком уровне, чем в Великобритании и Соединенных Штатах Америки». Рост монополий в Австралии, как и в других капиталистических странах, ведет к концентрации все большего капитала в руках все меньшего числа лиц.

В книге показано, что богатство страны сосредоточено в руках приблизительно шестидесяти очень богатых семейств. Капитал каждого из этих семейств составляет не менее одного миллиона австралийских долларов, а у большинства из них значительно превышает эту сумму.

Эти семейства оказывают огромное влияние на политическую жизнь страны. Их ставленники входят в федеральное правительство и правительства штатов.

В Австралии, отмечает Э. Кэмпбелл, обращают внимание на политическую опасность, создаваемую ростом американских

капиталовложений. Перед глазами австралийцев «пример Канады, где контроль над большей частью важнейших отраслей экономики оказался в американских руках и где американское правительство пытается диктовать внешнеполитический курс».

В заключительной главе излагается выдвинутая Коммунистической партией Австралии программа борьбы против монополий, эксплуатирующих трудящихся. КПА выражает уверенность, что эта борьба поведет рабочий класс пятого континента к пониманию необходимости коренных перемен: «В борьбе против капиталистических монополий рабочий класс объединится, окрепнет и поймет, что единственно победоносный путь борьбы с монополиями — это социалистическое преобразование общества».

И. Лебедев,

кандидат исторических наук.



БЕНЬЯМИНО ДЖИЛЬИ. Воспоминания. «Музыка». Л. 1964. 373 стр.

Эта книга и по манере изложения, и по характеру описываемых событий очень неприятательна, даже в чем-то наивна. Написана она человеком простодушным, непосредственным, снисходительным к себе и людям. Автор ее — выдающийся итальянский певец Беньямино Джильи.

В своих «Воспоминаниях» Джильи пишет о своей личной жизни, актерской судьбе, но за этим вырисовывается типичная картина судьбы актера на Западе. Попав в цепкие лапы бизнесменов от искусства, певец невольно превращается в своего рода слаженный механизм для извлечения доходов — из души, таланта, мастерства, постепенно теряя какую-то частицу и того, и другого, и третьего.

Не потому ли повествование, столь обстоятельное, живое, эмоциональное в начале книги, вскоре после описания первого дебюта на профессиональной сцене становится отрывистым, почти хроникальным: перечень городов, стран, театров, оперных партий, традиционных и уже приевшихся успехов. Джильи попадает в зависимость от публики, которая диктует ему свои вкусы, от импрессарио, агентов рекламы, газетчиков, кассового сбора. В первое время он пытается сопротивляться. Но нужно иметь сильный характер, чтобы устоять в этой борьбе за жизнь и не идти на постоянные компромиссы, сделки с совестью. Джильи таким характером не обладал. Он сам, как бы оправдываясь, пишет о себе: «Я во всем, за исключением голоса, самый обыкновенный человек... я не философ и по характеру ничем не отличаюсь от других людей. Я самый обыкновенный итальянец, заурядный и нестроптивый». Что же касается голоса, то здесь он действительно почти не имел себе равных.

В своей книге Джильи много и как-то по-особому волнующе пишет о пении: без всякой рисовки, самолюбования, как чело-

век, для которого его профессия была единственным смыслом, призванием, назначением жизни. Страницы, где он описывает свои выступления, анализирует исполняемые им партии, занимают основное место в его «Воспоминаниях». И опять характерная деталь. Подробно останавливаясь на разборе многих современных ему опер, он легко примиряется даже с очень посредственным произведением, если в нем есть хотя бы одна хорошая ария для его голоса. Недаром критики часто упрекали его в отсутствии вкуса, требовательности к себе. Но для него главным было — вызвать живую реакцию зрительного зала, получить столь радующие его аплодисменты.

Мемуары есть мемуары. Мы не можем требовать от их автора, чтобы он жил, мыслил и чувствовал так, как нам того хотелось бы. Но читатель испытывает некоторое разочарование, неудовлетворенность, когда мемуарист, человек чем-то выдающийся, чувствует порою мелко, поступает иногда некрасиво, живет часто ограниченными интересами. Но Джильи не заботится о том, какое впечатление произведет на читателя тот или иной его поступок. Он искренен и откровенен до конца. И эта искренность изложения превращает книгу в свидетельство о времени — со всем интересным и порой неприятным, что в пей есть.

З. Раевская.

★

И. КРАМОВ. Эфенди Капиев. «Художественная литература». М. 1964. 152 стр.

Не совсем обычна судьба Эфенди Капиева — лацка по национальности, человека, глубоко связанного с Дагестаном и писавшего почти исключительно на русском языке.

Литературная работа Капиева относится главным образом к середине тридцатых годов. В своем критическом очерке И. Крамов стремится понять обусловленность книг писателя конкретными обстоятельствами его времени и в то же время сказать об их более общей художественной ценности, о том, что сохранилось в них для читателя-современника.

«Не нужно закрывать глаза на сложность его пути и противоречия его духовной жизни. Как раз это одна из важных проблем, связанных с творчеством писателя». И. Крамов пишет о «нерассуждающей готовности шагать в ногу» со своим временем, «куда бы оно нас ни привело», которая заметна в творческой работе Капиева и порою прямо звучит в его дневниках.

Хорошо рассказано о книге новелл «Поэт», одновременно «условной» и «реальной», о «проповеднической страсти» размышлений автора об искусстве. Несколько мешает И. Крамову желание начать «по традиции — с проблемы прототипа». Сулейман, герой «Поэта», конечно, был связан у Капиева с обликом Стальского, но это — проблема творческой истории, и так ли уж ощутима эта связь для читателя, не распо-

лагающего специальными сведениями обо всех обстоятельствах работы Капиева со Стальским? «Вспомогательный» материал творческой истории порою заслоняет художественный смысл литературного произведения как законченного целого.

И. Крамов показывает сложный путь духовного развития писателя — от «бурного освоения новых понятий» юношей-литератором начала тридцатых годов до напряженного «стремления к ясности, к отрешению от иллюзий во фронтовых «Записных книжках»: «Друзья! Давайте же хоть раз поговорим честно, не преувеличивая хорошего и не преуменьшая плохого».

Автор книги об Э. Капиеве мало касается проблем его поэтики, места его прозы в литературном процессе второй половины тридцатых годов. Но широко осмыслены общие проблемы творчества Капиева, тонко почувствованы особенности его своеобразной личности.

М. Ч.

★

Н. ЗАДОНСКИЙ. Тайны времен минувших. Исторические этюды. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж. 1964. 108 стр.

Недавно в свет вышла небольшая книжка воронежского писателя Н. Задонского «Тайны времен минувших».

Нет нужды представлять читателям автора многих известных книг. Историческая хроника «Денис Давыдов», «Донская либерия», «Внук декабриста» и другие заняли прочное место на полках любителей историко-художественной прозы.

В «Тайнах времен минувших» собраны рассказы, которые автор именует историческими этюдами. Они посвящены братьям Муравьевым — основателям ранних декабристских обществ. В первом своем наброске «У забытой могилы» автор рассказывает о своих поисках эпистолярного наследия генерала Николая Муравьева. Николай Муравьев — близкий родственник и друг Сергея Муравьева-Апостола — после Отечественной войны 1812 года вместе с братом Александром и Бурцовым организует знаменитую «Священную артель», являющуюся колыбелью тайного общества «Союз спасения». Дальше — как развитие темы — следуют рассказы из жизни этих замечательных людей, их взаимоотношений с декабристами.

Написанные в сдержанной манере рассказы Задонского — своего рода размышления вслух о своих поисках и открытиях. Писатель как бы приглашает нас в соавторы своих догадок и сопоставлений. Особенно отчетливо чувствуется эта связь с читателями в рассказах «Кавказская легенда» и «Встречи с Пушкиным».

Первый из названных этюдов посвящен интереснейшему моменту из истории декабристского движения — задержке присяги кавказских войск императору Николаю. Описываемые события столь значительны,

предлагаемые новые документы так интересны, что мы не замечаем ни академичности изложения, ни перегрузки его сносками и цитатами. Читателя захватывает логика поиска, цепь умозаключений и доказательств, полемика со старыми взглядами по этому вопросу.

Рассказ «Встречи с Пушкиным» наглядно раскрывает сам метод работы писателя, соединяющего в себе художника и исследователя. Автор рисует сцены встреч и разговоров поэта с офицерами кавказского корпуса. А затем выступает как бы ученым-комментатором этих сцен, вводя нас в суть исследовательской работы, предшествовавшей созданию главы о встречах Пушкина с офицерами-кавказцами.

Будем надеяться, что исторические этюды «Тайны времеч минувших» станут достоянием широкого круга читателей.

В. Бахмут.

Пос. Борисовка,
Белгородской обл.

★

САТ-ОК. Земля Соленых Скал. Перевод с польского. «Детская литература». М. 1964. 222 стр.

В 1905 году молодая польская девушка Станислава Суплатович, принимавшая участие в революционном движении, была сослана в самый отдаленный угол Российской империи — на Чукотский полуостров. Чукчи помогли ей совершить отчаянно смелый побег через Берингов пролив. Она оказалась на Аляске, оттуда с величайшим трудом добралась до Канады. Погибающую от голода и переутомления, ее нашли индейцы из племени шеванезов и дали ей имя Белая Тучка. Через три года она стала женой вождя племени — Высокого Орла. В 1920 году у них родился сын, которого назвали Сат-Ок (Длинное Перо).

В 1936 году Белая Тучка с сыном поехали в Польшу. Разразилась вторая мировая война. Сат-Ок и его мать оказались в руках гестапо. Особенно тяжело пришлось Сат-Оку: фашисты видели в нем «человека нечистой расы». К счастью, ему удалось бежать из лагеря смерти Освенцим, и он попал к польским партизанам. Когда Советская Армия освободила Польшу, Сат-Ок начал служить в польском торговом флоте...

Не будем пересказывать содержание этой удивительной автобиографической повести. Правдиво и вместе с тем поэтично рассказывает Сат-Ок о своем детстве, проведенном в дремучих лесах Канады. Мы из первых рук знакомимся с обычаями охотничьего индейского племени, с борьбой индейцев за

свою независимость. Книга исполнена духом подлинного героизма и свободолюбия. Это гневный протест против жестокого угнетения национальных меньшинств в Северной Америке.

В отличие от некоторых других книг, посвященных индейцам, «Земля Соленых Скал» — действительно реалистическое повествование, в котором ничего не маскируется и не приукрашивается.

В. Шпринк.

★

Д. АРМАНД. Нам и внукам. «Мысль». М. 1964. 183 стр.

История знает много примеров, когда неразумное использование природных богатств той или иной страны вело к полному их истощению, к упадку экономики. В наше время, когда быстрыми темпами растет спрос на природные ресурсы, требуется особое внимание к рациональной их эксплуатации. Что оставит наше поколение потомкам — Землю процветающую или Землю, умирающую от истощения? Этой важной проблеме посвящена книга Д. Л. Арманд.

Она открывается главой о значении природных ресурсов для общества. Забота об охране природы не носит, как это бывает у некоторых авторов, «вегетарианского» характера. Человечество не может отказаться от использования природных ресурсов ради сохранения нетронутой природы. Нет, речь идет об организации рационального использования ресурсов — исчерпаемых и неисчерпаемых. Рассмотрев вопросы охраны и использования земель, вод, растительности, полезных животных, ресурсов тепла и влаги, Д. Л. Арманд в заключение показывает, что охрана природы имеет не только большое экономическое значение, но необходима в силу огромного влияния, которое природа оказывает на развитие науки, искусства, на воспитание молодежи.

В книге ставятся важные проблемы государственного значения. И в то же время каждый читатель ощутит, что и он тоже несет ответственность за сохранность природы: как воспитатель своих детей, как турист, охотник или рыбак, как директор завода или председатель колхоза, просто как отдыхающий в лесу или на берегу реки.

Своим трудом человек должен восполнить ущерб, нанесенный природе по неведению или корысти прошлыми поколениями, усмирить враждебные силы природы и оставить потомкам украшенную планету, оборудованную для счастья. К этому и призывает автор.

Э. Файбусович.

Саратов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- И. Баграмян.** Город-воин на Днепре. 160 стр. Цена 16 к.
- Г. Волков.** Эра роботов или эра человека? (Социологические проблемы развития техники). 160 стр. Цена 18 к.
- Ю. Воронцов.** Дезинформация — это тоже бизнес. Заметки с пропагандистской машине моллополи США. 112 стр. Цена 13 к.
- И. Гамбург.** Так это было... Воспоминания. 192 стр. Цена 21 к.
- Герои подполья.** О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 544 стр. Цена 1 р. 14 к.
- П. Демичев.** Ленинизм — научная основа политики партии. Доклад на торжественном заседании, посвященном 95-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 32 стр. Цена 3 к.
- С. Ершов.** Автомобильный гигант США. 64 стр. Цена 6 к.
- А. Исбах.** Рассказы о Ленине. 120 стр. Цена 11 к.
- Л. Кабо.** Невесело быть помещиком!.. 56 стр. Цена 5 к.
- Н. Карев.** Разноэтажная Америка (11 лет в США). 240 стр. Цена 36 к.
- Н. Крупная.** О Ленине. Сборник статей и выступлений. Издание дополненное. 400 стр. Цена 64 к.
- С. Майсров.** Чтобы спасти революцию (Борьба Советской республики за заключение Врестского мира). 72 стр. Цена 7 к.
- В. Смолянский.** Большой гешефт (Концерн «Сименс»). 65 стр. Цена 6 к.
- Хрестоматия по истории КПСС.** В двух томах Том первый. 632 стр. Цена 1 р. 13 к.
- Александр Чапаев и другие.** Очерки. 272 стр. Цена 57 к.
- С. Черняк.** Луч во тьме. Перевод с украинского. 160 стр. Цена 20 к.
- Ю. Юрьев.** Современный Крез (Дом Ротшильдов и его обитатели). 64 стр. Цена 6 к.

«СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ»

- Д. Бакуменно.** Любовь, как море. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 68 стр. Цена 12 к.
- А. Беляускас.** Мы еще встретимся, Вильма. Роман. Перевод с литовского. 272 стр. Цена 51 к.
- В. Бетани.** Земное пламя. Стихи. 96 стр. Цена 17 к.
- Л. Вахер.** Рассказ Эмайыги. Роман. Перевод с эстонского. 476 стр. Цена 80 к.
- С. Виноградская.** Рассказы о Ленине. 264 стр. Цена 40 к.
- М. Воронецкий.** Краина. Стихи и поэма. 92 стр. Цена 10 к.
- А. Глузов.** На рубеже века. Исторический роман 708 стр. Цена 1 р. 39 к.
- Жизнь, не подвластная времени.** Ленинградские писатели о Ленине. 300 стр. Цена 79 к.
- Н. Зарьян.** Там цвела вишня... Японские очерки. Перевод с армянского. 184 стр. Цена 30 к.
- В. Карпенко.** Отава. Роман. 540 стр. Цена 94 к.
- В. Коржинов.** Благодарность. Стихи 124 стр. Цена 14 к.

- Н. Малышев.** Солнце на дне ручья. Стихи и поэма. 80 стр. Цена 16 к.
- А. Ойслендер.** А снег идет... Стихи. 184 стр. Цена 23 к.
- В. Осипов.** Серебристый грибной дождь. Повести. 360 стр. Цена 54 к.
- В. Панов.** Ворота в Сибирь. Повесть и очерки. 344 стр. Цена 61 к.
- В. Померанцев.** Неспешный разговор. Повести и рассказы. 348 стр. Цена 51 к.
- В. Семин.** Ласточка-Звездочка. Повесть. 324 стр. Цена 46 к.
- Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне.** Сборник стихов. 747 стр. Цена 1 р. 32 к.
- Т. Тюрничев.** Светлее звезд. Стихи. 72 стр. Цена 8 к.
- Р. Халид.** Горная река. Стихи. Перевод с татарского. 120 стр. Цена 13 к.
- Ю. Черный-Диденко.** Повести дальних дорог. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 70 к.
- Н. Чертова.** Саргассово море. Повесть. 152 стр. Цена 25 к.
- Д. Щеглов.** Уполномоченный Военного Совета. Записки офицера. 312 стр. Цена 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- М. Ауэзов.** Путь Абая. Роман-эпопея в двух томах. Перевод с казахского. Том первый. 783 стр. Цена 1 р. 46 к. Том второй. 768 стр. Цена 1 р. 44 к.
- Бо Цзюй-и.** Лирика. Перевод с китайского. 212 стр. Цена 28 к.
- Вольтер.** Кандид. Простодушный. Повести. Перевод с французского. 208 стр. Цена 26 к.
- Данте.** Новая жизнь. Перевод с итальянского. 180 стр. Цена 75 к.
- Повести и рассказы.** Великая Отечественная... Том первый. 639 стр. Цена 1 р. 22 к.
- В. Познер.** До свидания. Париж! Роман. Перевод с французского. 312 стр. Цена 67 к.
- М. Шолохов.** Судьба человека. Иллюстрации Кукрыниксы. 68 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Ю. Адрианов.** Меридианы. Стихи. 104 стр. Цена 12 к.
- В. Аксенов.** Пора, мой друг, пора. Роман. 256 стр. Цена 41 к.
- М. Беляев.** Крона. Стихи. 128 стр. Цена 18 к.
- В. Бендерова.** След на земле. Документальная повесть о летчике-испытателе Ю. Алашееве. 190 стр. Цена 29 к.
- А. Бикентаев.** Я не сулю тебе рая. Роман. Перевод с башкирского. 252 стр. Цена 40 к.
- Н. Второв.** Это было на фронте. Повесть. 336 стр. Цена 45 к.
- Е. Жукова.** Здесь жил и работал Ленин. 112 стр. Цена 19 к.
- Из дневников современников.** 496 стр. Цена 87 к.
- Карло Кассола.** Невеста Бубе. Роман. Перевод с итальянского. 254 стр. Цена 65 к.
- В. Кузнецов.** Стихи. 64 стр. Цена 8 к.
- Г. Миронов.** Легенда-быль о русском капитане. 112 стр. Цена 16 к.
- Б. Сиротин.** Дыхание. Стихи. 119 стр. Цена 14 к.

С. С. Смирнов. Брестская крепость. 496 стр. Цена 95 к.
А. Соболев. Везумству храбрых... Повесть и рассказы. 256 стр. Цена 30 к.
Л. Софронов. Все мы были мальчишками. Повесть. 192 стр. Цена 44 к.
В. Степанов. Тетива. Стихи. 144 стр. Цена 18 к.
Мулад Фераун. Дорога, ведущая в гору. Роман. Перевод с французского. 176 стр. Цена 49 к.

«НАУКА»

П. Ананьев. Сельское хозяйство современной Индонезии. 200 стр. Цена 63 к.
Антикоммунизм на службе японской реакции. Пропаганда и политика врагов коммунизма в Японии. Сборник статей. 112 стр. Цена 35 к.
Н. Ашрафян. Аграрный строй Северной Индии. XIII — середина XVIII в. 328 стр. Цена 1 р. 40 к.
Д. Байрон. Дневники. Письма («Литературные памятники»). 440 стр. Цена 2 р.
Библиография Японии. Литература, изданная в России с 1734 по 1917 г. 380 стр. Цена 2 р. 36 к.
В. Бонч-Бруевич. Воспоминания о Ленине. 478 стр. Цена 1 р. 75 к.
В. Вайскопф. Наука и удивительное. Как человек понимает природу. Перевод с английского. 227 стр. Цена 53 к.
В. Вишнякова-Анимова. Два года в восставшем Китае. 1925—1927. Воспоминания. 392 стр. Цена 1 р. 10 к.
Вопросы размещения производства в СССР. Сборник статей. 416 стр. Цена 1 р. 68 к.
М. Гасратян. Турция в 1960—1963 годах. Очерк внутренней политики. 178 стр. Цена 56 к.
А. Григорьян. Популярные беседы о механике. 192 стр. Цена 29 к.
Достижения современной физиологии нервной и мышечной системы. 203 стр. Цена 1 р.
Н. Желтова. М. Горький и изобразительное искусство. По материалам Пушкинского дома. 121 стр. Цена 29 к.
Итальянские коммуны XIV—XV веков. Сборник документов. 395 стр. Цена 1 р. 67 к.
У. Конкка. Карельская сатирическая сказка. 152 стр. Цена 40 к.
Леонардо да Винчи. Анатомия. Записи и рисунки. Перевод с итальянского. 586 стр. Цена 3 р.
Г. Любимова. Новое в архитектуре ГДР. 111 стр. Цена 92 к.
Освобождение Венгрии от фашизма. Статьи и воспоминания. 264 стр. Цена 1 р.

Под знаменем Испанской республики. 1936—1939. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. 576 стр. Цена 1 р. 25 к.
М. Редовский. Вениамин Франклин. 1706—1790. 308 стр. Цена 98 к.
З. Романова. Проблемы экономической интеграции в Латинской Америке. 251 стр. Цена 72 к.
Г. Сорбин. Антиимпериалистическая лига. 1927—1935. 124 стр. Цена 38 к.
Л. Тер-Мкртчян. Армяне в странах Арабского Востока на современном этапе. Научно-популярный очерк. 60 стр. Цена 22 к.
С. Угченко. Кризис и падение Римской республики. 288 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Азерников. Поиск в пути. 80 стр. Цена 6 к.
Е. Виноуров. Земные пределы. Стихи. 206 стр. Цена 23 к.
С. Воронин. Солнечная долина. Рассказы и повести. 264 стр. Цена 57 к.
М. Гали. Песня Акидели. Поэма. Перевод с башкирского. 68 стр. Цена 11 к.
Н. Крупская. О культурно-просветительной работе. Избранные статьи и речи. 192 стр. Цена 34 к.
Ю. Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. 304 стр. Цена 58 к.
Л. Ошанин. Баллады. 104 стр. Цена 19 к.
В. Пасецкий. О чем шептались полярные маки. 192 стр. Цена 63 к.
Я. Полищук. Расщепление ядра. Рассказы и фельетоны. 112 стр. Цена 14 к.
М. Светлов. Сорок лет моей лирики. Стихи. 112 стр. Цена 14 к.

«VAGA» (ВИЛЬНИУС)

Королева Лебедь. Литовские народные сказки. 415 стр. Цена 1 р. 10 к.
Е. Симонайтите. В чужом доме. Автобиографическая повесть. Книга вторая. Перевод с литовского. 423 стр. Цена 64 к.

«ЖАЗУШЫ» (АЛМА-АТА)

Н. Кайсенев. Партизанской тропой. Записки партизана. Перевод с казахского. 431 стр. Цена 75 к.
С. Мауленев. Земное солнце. Стихи и поэма. Перевод с казахского. 95 стр. Цена 13 к.
Н. Шангитбаев. Стихи. Перевод с казахского. 74 стр. Цена 9 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес. Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 5/V 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VI 1965 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 А 03848. Зак. 1С85. Тираж 129.100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636